

Мигель де Сервантес

СТРАНСТВИЯ
ПЕРСИЛЕСА И
СИХИЗМУНДЫ



OriginalBook.ru

- [Мигель де Сервантес](#)
 -
 - [Пролог](#)
 - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая,](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая,](#)
 - [Глава девятая,](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая,](#)
 - [Глава четырнадцатая,](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая,](#)
 - [Глава девятнадцатая,](#)
 - [Глава двадцатая](#)
 - [Глава двадцать первая](#)
 - [Глава двадцать вторая,](#)
 - [Глава двадцать третья](#)
 - [КНИГА ВТОРАЯ](#)
 - [Глава первая,](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая,](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая,](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)

- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)

- [КНИГА ТРЕТЬЯ](#)

- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)

- [КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ](#)

- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)

- [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
-

Мигель де Сервантес

СТРАНСТВИЯ ПЕРСИЛЕСА И СИХИЗМУНДЫ

Дону Педро Фернандесу де Кастро, графу Лемосскому, Андрадскому и Вильяльбскому, маркизу Саррийскому, дворянину свиты его величества, председателю Высшего совета Италии, командору командорства Сарсийского ордена Алькантары.

Не хотел бы я, чтобы те старинные строфы, которые в свое время таким успехом пользовались и которые начинаются словами: «Уже я ногу в стремя заношу», — вполне пришлись к месту в этом моем послании, однако я могу начать его почти так же:

Уже я ногу в стремя заношу,
Охваченный предсмертною тоскою,
И эти строки вам, сеньор, пишу.

Вчера меня соборовали, а сегодня я пишу эти строки; время идет, силы слабеют, надежды убывают, а между тем желание жить остается самым сильным моим желанием, и не хотелось бы мне скончать свои дни, прежде чем я не облобызаю стопы Вашей светлости; и столь счастлив был бы я видеть Вашу светлость благоденствующим в Испании, что это могло бы вдохнуть в меня жизнь. Но если уж мне положено умереть, то да исполнится воля небес, Вы же, Ваша светлость, по крайней мере будете знать об этом моем желании, равно как и о том, что Вы имеете во мне преданнейшего слугу, готового пойти больше чем на смерть, дабы доказать Вам свое рвение. Со всем тем я заранее радуюсь прибытию Вашей светлости, ликую, представляя себе, какими рукоплесканиями будете Вы встречены, и торжествую при мысли о том, что надежды мои, внушенные мне славой о доброте Вашей светлости, оказались не напрасными. В душе моей все еще живут дорогие образы *Недель в саду и Достославного Бернардо*. Если ж, на мое счастье, выпадет мне столь великая удача, что небо продлит мне жизнь, — впрочем, это будет уже не просто удача, но чудо, — то Вы их увидите, а с ними и конец *Галатеи*, которая Вашей светлости пришлась по вкусу. Да почиет же благодать господня на этих моих будущих трудах, равно как и на Вашей светлости. Писано в Мадриде, тысяча шестьсот шестнадцатого года апреля девятнадцатого дня.

Слуга Вашей светлости
Мигель де Сервантес.

Однажды, любезнейший читатель, возвращаясь с двумя приятелями из примечательного местечка Эскивьяс, примечательного по многим причинам и, между прочим, славящегося знатными своими жителями и еще более знатными винами, я услышал позади быстрый топот, словно нас старались догнать, в чем мы и удостоверились, как скоро нам крикнули, чтобы мы не очень спешили. Мы остановились, и к нам подъехал на осле серый студент в очках — серый, ибо таков был его костюм; на ногах у него были башмаки с круглыми носками, сбоку висела рапира, на плечи же он накинул засаленную пелерину с тесемками; по правде сказать, тесемок у него было всего две, и оттого пелерина поминутно съезжала набок, так что ему стоило больших трудов и усилий поправлять ее. Поравнявшись с нами, он сказал:

— Ваши милости, как видно, спешат просить места или же пребенды^[1] у его преосвященства епископа Толедского, а то и у самого короля: ведь они оба теперь в столице, иначе зачем бы вам так мчаться, что даже мой осел, многих опережавший, не мог вас догнать?

На это один из моих спутников ответил так:

— Лошадь сеньора Мигеля де Сервантеса тому виною, ибо у нее чересчур длинный шаг. При слове «Сервантес» студент, соскочив с седла и растеряв все свои дорожные принадлежности, причем в одну сторону полетела подушка, в другую — сумка, бросился ко мне и, схватив меня за левую руку, воскликнул:

— Ах, так вот он, однорукий мудрец, великий во всем, так вот он, забавный писатель, утеха муз!

Выслушав столь великую похвалу моим достоинствам, в столь кратких словах выраженную, я почел невежливым на нее не ответить и, обняв студента за шею, после чего пелерины на нем не оказалось вовсе, заметил:

— В это заблуждение введены по незнанию многие ценители искусства. Да, сеньор, я — Сервантес, но не утеха муз, и все прочие небылицы, которые ваша милость обо мне наговорила, также ко мне не относятся. Садитесь же на своего осла и давайте проведем остаток пути в приятной беседе.

Учтивый студент так и сделал; тронув поводья, мы не спеша поехали дальше, и, как скоро у нас зашел разговор о моей болезни, добрый студент отнял у меня всякую надежду на выздоровление, сказав:

— Болезнь ваша именуется водянкой, и ее не излечить всем водам океана, если б даже вы стали принимать их по капле. Впрочем, сеньор Сервантес, пейте умеренно, не забывайте про еду, и вы поправитесь без всяких лекарств.

— Это мне многие говорили, — возразил я, — однако ж не пить я не могу, ибо это значит отказать себе в том удовольствии, ради которого я словно появился на свет божий. Дни мои сочтены, равно как и удары моего пульса, который, судя по записям, перестанет биться, самое позднее, в ближайший воскресный день, и то будет последний день моей жизни. В тяжелую минуту встретились мы с вами: ведь у меня даже нет времени для того, чтобы поблагодарить вас как должно за ваше внимание.

Между тем мы подъехали к Толедскому мосту, и тут нам надлежало расстаться, ибо путь студента лежал через Сеговийский мост. Молва заботливо сохранит описанное мной происшествие, друзья с приятностью станут о нем рассказывать, мне же еще приятнее будет их слушать. Я еще раз обнял студента — он ответил мне тем же, потом хлестнул своего осла и уехал, оставив меня в столь же скверном расположении духа, сколь скверно умел он сидеть

на осле, что могло бы дать моему перу великолепный повод позабавиться, но времена уж не те. А вдруг да настанет такая пора, когда, связав порванную нить, я доскажу все, чего здесь недостает и что следовало бы сказать? Простите, радости! Простите, забавы! Простите, веселые друзья! Я умираю в надежде на скорую и радостную встречу с вами в мире ином.

Громко кричал варвар Корсикурб возле узкого входа в глубокое подземелье, представлявшее собой скорее склеп, нежели темницу, для множества заживо здесь погребенных. И хотя этот страшный, леденящий душу крик слышен был и вблизи и вдали, однако же слов, произносимых варваром, не понимал никто из пленников, кроме несчастной Клелии, которая вследствие множества злоключений вынуждена была стать смотрительницей этой тюрьмы.

— Эй, Клелия! — кричал варвар. — Я сейчас спущу веревку за тем юношей, которого мы назад тому два дня к тебе препроводили, только пусть руки у него так и будут связаны за спиной! Да вот еще что: нет ли среди женщин, в прошлый раз захваченных нами, такой, что была бы достойна попасть в наше общество и насладиться ярким светом и живительным воздухом?

Сказавши это, варвар начал спускать в подземелье толстую пеньковую веревку, а немного погодя с помощью еще четырех варваров вытащил наверх юношу на вид лет девятнадцати-двадцати; руки у юноши были скручены за спиной, под мышки просунута веревка; на нем был грубый матросский бушлат, красоту же юноши описать невозможно. Варвары первым делом проверили крепость наручников и веревок, коими у юноши были связаны назади руки, взбили ему волосы, вившиеся бесчисленными золотыми кольцами, вытерли ему лицо, и открывшиеся их взору дивные его черты поразили и тронули сердца тех самых людей, что собирались вести его на казнь. Лицо славного юноши не выразило отчаяния, напротив того: окинув радостным взором небосвод, он заговорил, и не дрожал у него от страха голос и вполне повиновался ему язык:

— Хвала вам, необозримые небеса, за то, что вы по милосердию своему судили мне умереть здесь, — ибо здесь мою кончину озарит ваш свет, — а не в этой глухой темнице, где бы ее зловещий окутал мрак! Тяжко умереть без покаяния, — ведь я христианин, — однако ж несчастья мои таковы, что я не могу не желать себе смерти, не могу не призывать ее.

Варвары не постигали смысла его речей, ибо он говорил на языке, им неведомом. Завалив вход в подземелье огромным камнем, они повели все так же скованного юношу на морской берег, к коему было причалено сооружение из бревен, связанных крепкими лианами и гибкими ивовыми прутьями. Юноша тотчас догадался, что сооружение это представляет собою плот, на котором варвары переправляются на другой остров, видневшийся в двух-трех милях отсюда. Варвары нимало не медля прыгнули на плот, усадили пленника, сами сели вокруг него, а затем один из них схватил преогромный лук, вложил в него невероятных размеров стрелу, коей наконечник сделан был из кремня, с великою поспешностью натянул тетиву и с таким видом нацелился в юношу, как будто хотел пронзить ему грудь. Другие варвары взяли три толстые палки, коим была придана форма весел, после чего еще один варвар сел за руль, эти же трое стали грести по направлению к другому острову.

Прекрасный юноша, с минуты на минуту ожидавший, что в него смертоносная вопьется стрела, пригнул голову, стиснул зубы, сдвинул брови и, совершенное храня молчание, мысленно обратился с мольбой к небесам, но с мольбой не о том, чтобы они избавили его от столь же близкой, сколь и лютой казни, но о том, чтобы они послали ему сил ее претерпеть.

Красота юноши смягчила жестокое сердце варвара-лучника, и он, приняв в рассуждение, что не такого рода казнь готовится юноше и что все время целиться в него из лука — это равносильно медленному убийству, бросил лук и, приблизившись к пленнику, знаками постарался ему объяснить, что не собирается убивать его.

Плот между тем достигнул середины пролива, разделявшего два острова, но тут внезапно поднялась буря, до того сильная, что столь неопытным мореходам, да еще на плоту, выдержать ее было немыслимо, а плот сейчас же начало трепать, и он распался на части, на одной из коих, состоявшей из шести бревен, очутился юноша, который еще так недавно готовился к иной смерти — к смерти от стрелы вражьей, но не в пучине морской.

Взвихрились водяные смерчи, сшиблись грудью налетевшие с разных сторон шквалы, утонули варвары, бревна со скованным пленником унесло в открытое море, валы росли, заслоняя от него небо, и он даже не находил в себе сил молить его о том, чтобы оно сжалилось над ним, и все же оно над ним сжалилось, ибо яростные беспрестанно вздымавшиеся волны, поминутно обрушивавшиеся на бревна, не смыли с них пленника, но повлекли его на морской простор, а как у пленника руки были скручены за спиной, то и не мог он за что-либо уцепиться и что-либо предпринять.

Так унесен был пленник в открытое море, а море тем временем немного успокоилось и утихло, и плотик каким-то чудом пригнало к одной из оконечностей острова, где он от ярости волн и укрылся. Измученный юноша сел и, посмотрев вокруг, обнаружил невдалеке корабль, который, как в надежной гавани, стоял в этой бухте.

С корабля между тем заметили плотик и что-то на нем маячившее и, дабы удостовериться, что же это такое, спустили на воду шлюпку, шлюпка приблизилась к бревнам, и тут моряки увидели прекрасного, но уже выбившегося из сил юношу. Преисполнившись жалости, моряки поспешили переправить его на корабль, все же, кто на нем находился, приключению сему подивились.

Юноше помогли подняться на корабль, но тут ноги у него подкосились от слабости (ведь он уже целых три дня не ел), от усталости, от всего, что пришлось ему испытать, будучи игралищем волн, и он, как подкошенный, повалился на палубу, при виде чего капитан корабля, движимый великодушием и непритворным участием, велел сей же час оказать ему помощь. И тут одни давай освобождать юноше руки, другие побежали за консервами и душистыми винами, каковые средства вновь при-вели от смерти к жизни изнемогшего юношу, после чего он вперил очи в капитана, коего привлекательная наружность, а также богатое одеяние не только остановили на себе его взор, но и пробудили в нем дар речи.

— Сострадательные небеса да вознаградят тебя, участливый сеньор, за то добро, которое ты мне сделал! — воскликнул юноша. — Душевные муки переносятся тяжело, если человек не преодолеет немощь телесную. Я в жалком нахожусь положении и могу отплатить тебе за твое благодеяние одною лишь признательностью. И если подобает такому обездоленному человеку, как я, отзываться о самом себе с похвалой, то я осмелюсь утверждать, что в целом мире нет никого, кто испытывал бы сейчас более сильное чувство благодарности, нежели я.

Сказавши это, он попробовал приподняться, дабы, подойдя к капитану, припасть к его стопам, однако ж то было ему не под силу: трижды пытался он встать и всякий раз снова валился на пол. Тогда капитан распорядился унести его в каюту, положить на две циновки и, сменив мокрую его одежду на чистую и сухую, ничем более не нарушать сон его и покой.

Приказ капитана тотчас же стали приводить в исполнение, и сам юноша беспрекословно ему повиновался; когда же юноша поднялся с пола, капитан не мог не подивиться его статности, и сейчас уже капитану не терпелось узнать, кто таков этот юноша, как его зовут и как он в столь бедственном очутился положении. Учтивость взяла, однако ж, в капитане верх над любопытством, и он рассудил так: пусть юноша прежде наберется сил, а потом уже удовлетворит его любопытство.

Глава вторая

Во исполнение приказа капитана моряки оставили юношу одного, дабы он спокойно уснул, однако юношу осаждал рой печальных мыслей и сон не мог пребороть душевное его волнение, а тут еще слуха его достигли тяжкие вздохи и скорбные пени, доносившиеся, как ему показалось, через перегородку из соседнего помещения, что заставило юношу напрячь внимание, и тогда он услышал такие слова:

— В горький и недобрый час зачали меня мои родители, и не под счастливой звездой мать моя вышвырнула меня на свет, — да, именно вышвырнула, а не произвела, ибо о моем рождении иначе не скажешь. Вотще надеялась я, что вдоволь нагляжусь в этой жизни на свет божий, — надежда моя меня обманула: на мою погибель меня собираются продать в рабство, а ведь с таким несчастьем никакое другое сравниться не может!

— Послушай меня, незнакомка! — воскликнул тут юноша. — Если правда, что человек, поведав другому свои испытания и горести, чувствует облегчение, то приблизься, приникни к этой щели в перегородке и поведай мне все, что суждено тебе было испытать и претерпеть, и коли я не сумею тебя утешить, то по крайности участие ты во мне встретишь.

— Ну, так выслушай же меня! — отвечали ему из-за перегородки. — Я поведаю тебе в коротких словах всю правду о той несправедливости, которую судьба по отношению ко мне учинила, но только я бы хотела знать, кому я буду рассказывать. Уж не тот ли ты, юноша, которого назад тому несколько часов полумертвым подобрали на плоту, заменявшем, как слышно, корабль неким варварам, населяющим остров, к коему мы, укрываясь от бури, пристали?

— Я самый, — отвечал юноша.

— Но кто же ты? — допытывался голос из смежного помещения.

— Это я тебе скажу потом; сначала сделай мне одолжение, расскажи историю своей жизни — из тех твоих слов, что различил мой слух до беседы с тобой, я заключаю, что жизнь твоя сложилась несчастливо.

На это ему ответили так:

— Ну, слушай же, — я поведаю тебе вкратце свои невзгоды. Капитан и командир этого корабля Арнальд — наследный принц Дании, и ему во власть многообразные и необычайные события отдали одну знатную девушку, бывшую мою госпожу, такую красавицу, с которой, на мой взгляд, не может идти в сравнение ни одна из красавиц, ныне здравствующих на свете, и перед которой меркнет самое живое воображение. Благоразумие ее равно ее пригожеству, злополучие же — благоразумию ее и красоте; имя ее — Ауристела; родители ее — королевского рода, правящего державою богатейшею. Так вот, эта самая девица, о которой можно сказать, что она выше всяких похвал, была продана в рабство, и купил ее Арнальд, а купив, так страстно и так искренне полюбил ее и любит ныне, что неоднократно намеревался сделать ее не рабынею своей, но госпожою и законною супругою, и притом с дозволения своего родителя — короля, который рассудил, что в силу редких своих душевных свойств, а равно и привлекательной наружности, Ауристела и на более высокий сан, нежели на королевский, притязать достойна. Ауристела, однако ж, воспротивилась: «Я дала обет безбрачия, — объявила она, — и ни при каких обстоятельствах его не нарушу, как бы меня ни улещали и какою бы лютою смертью ни грозили». Со всем тем Арнальд не переставал питать надежды и робкие лелеять мечты, — он утешал себя тем, что ему придут на помощь быстротечное время и изменчивость женского нрава. Случилось, однако ж, так, что когда госпожа моя Ауристела гуляла однажды по берегу моря, ибо она

была на положении не рабыни, но королевы, к берегу пристали корсарские суда, и корсары, похитив Ауристелу, увезли ее неведомо куда. Принц Арнальд вообразил, что это те самые корсары, которые уже однажды ее похитили и продали ему, ибо они рыщут по всем морям, островам и рекам, похищая или покупая самых красивых девушек, дабы продать их с барышом на этом острове, к коему мы, как слышно, причалили, а живут здесь варвары, народ дикий и жестокий, каковые варвары по внушению то ли демона, то ли престарелого кудесника, слывающего у них мудрейшим из мудрецов, почитают за верное и непреложное, что от них должен произойти некий царь, который завоюет и покорит полмира. Кто будет их чаемый царь — они не знают, вот почему кудесник, дабы узнать, дал такой наказ: убивать всех мужчин, которые на их остров придут, у каждого из них вырезать и сжигать сердце, и пепел, растворенный в воде, давать пить знатнейшим варварам острова, а еще он дал особый наказ: кто из этих варваров выпьет такой порошок, не поморщившись и не извергнув его, того-де им надлежит избрать своим царем, но только мир завоюет не он, а его сын. Еще он приказал держать на острове всех девиц, которых им случится похитить или же купить, и самую из них пригожую без промедления доставить тому варвару, которому прием порошка доблестное сулит потомство. С этими похищенными или же купленными девицами варвары обходятся хорошо — только в этом одном они и проявляют себя не как варвары; покупают же они девушек по баснословным ценам и расплачиваются слитками золота и чистейшими жемчужинами, коими море в этих краях преобильно, — вот почему, влекомые жаждой барыша и наживы, многие туземцы стали корсарами и работоторговцами.

Как я уже сказала, Арнальд вообразил, что владычица его души Ауристела, без которой он не может жить, находится на этом острове, и, дабы в том увериться, он приказал продать меня варварам с тем, чтобы я все у них там выглядела и вызнала; и как скоро море утихнет, он тот же час причалит к берегу и совершит сделку. Теперь ты можешь судить, есть у меня повод роптать или нет, ибо какая участь меня ожидает? Мне придется жить среди варваров, а между тем я не настолько красива, чтобы мне можно было надеяться стать царицей, особливо если злая судьба привела на этот остров мою госпожу — несравненную Ауристелу. Вот отчего я вздыхаю, вот чего я страшусь и вот почему я ропщу.

Сказавши это, голос за стеною умолк, а у юноши в горле застрял ком, однако ж, приникнув к перегородке и обильными оросив ее слезами, он сделал над собой усилие и спросил, есть ли хоть какие-нибудь основания предполагать, что Арнальд воспользовался невинностью Ауристелы, или же Ауристела, любя кого-то другого, пренебрегла Арнальдом и отвергла тот богатый дар, который он ей сулил, а именно королевскую корону, оттого что в иных случаях законы любви имеют-де над человеком более сильную власть, чем даже законы религии.

Ответ был таков: хотя, мол, она предполагает, что у Ауристелы был случай полюбить некоего Периандра, который вывез ее из родного края, — благородного юношу, отличными свойствами души снискавшего благоволение всех, кому приходилось с ним сталкиваться, однако ж Ауристела, вознося в своей доле непрестанные жалобы к небу и при всех прочих обстоятельствах, ни разу не произнесла его имени.

Юноша спросил, знает ли она Периандра; она же ответила ему, что не знает, но что, по всей вероятности, это он увез ее госпожу, а она к ней поступила в услужение уже после того, как Периандр вследствие роковой случайности ее оставил.

В это время кто-то сверху позвал Таурису (так звали ту, что повествовала о своей злой доле), Тауриса же, услышав, что ее зовут, сказала:

— Ветер, вне всякого сомнения, упал, море утихло, — вот почему меня, злосчастную, кличут: хотят превратить в предмет купли-продажи. Кто бы ты ни был, оставайся с богом, и

да хранит тебя небо от продажи в рабство на сей остров, где на прахе твоего сердца станут испытывать достоверность бессмысленного и нелепого пророчества: надобно тебе знать, что бесчеловечные островитяне для осуществления заветной своей мечты нуждаются не только в девушках, но и в сердцах мужчин.

Тут они расстались: Тауриса поднялась на палубу, а юноша призадумался, но затем, встряхнувшись, объявил, что хочет встать, и попросил дать одеться. Ему принесли бушлат, но не из парусины, а из зеленой камки.

Когда же он поднялся на палубу, Арнальд, выразив на своем лице удовольствие, усадил юношу рядом с собой, а Таурису тем временем облачали в роскошный и изящный наряд, придававший ей сходство с нимфами и гамадриадами^[2].

Меж тем как юноша любовался сим зрелищем, Арнальд успел рассказать ему о сердечных своих делах, а равно и о своих замыслах, после чего обратился к юноше за советом, как ему поступить, и спросил его мнения, разумны ли те меры, какие он, Арнальд, принял, дабы напасть на след Ауристелы.

Юноша, у которого после разговора с Таурисой и рассказов Арнальда голова шла кругом от всевозможных догадок и подозрений и надрывалась душа при мысли о том, что может случиться с Ауристелой, если она точно находится у варваров, ответил так:

— Сеньор! Молод я еще давать советы, но я твердо намерен оказать тебе услугу, ибо ты меня спас от смерти, ты меня приютил и осыпал милостями, и в благодарность я готов отдать за тебя мою жизнь. Меня зовут Периандром, я от благороднейших происхожу родителей, однако знатность моя равна моей незадачливости и злополучию, злополучие же мое велико, и сейчас не время о нем рассказывать. Ауристела, которую ты разыскиваешь, — это моя сестра, и я ее также разыскиваю, ибо год тому назад мы по роковому стечению обстоятельств потеряли друг друга из виду. Ты назвал мне ее имя, описал ее красоту, и у меня не остается сомнений, что то исчезнувшая сестра моя, для спасения которой я готов пожертвовать не только своею жизнью, но и радостью встречи с ней, а между тем выше этой радости для меня ничего быть не может. И вот, страстно желая найти Ауристелу, я перебрал в уме множество различных способов и в конце концов остановился на таком, который, являясь для меня наиболее опасным, в то же время кажется мне наивернейшим и кратчайшим. Ты, сеньор Арнальд, порешил продать варварам эту девушку, дабы, находясь у них в руках, она удостоверилась, находится ли у них в руках Ауристела, о чем ты сможешь узнать наверное, как скоро вновь причалишь к острову варваров и продашь им еще одну девицу, — тогда Тауриса каким-нибудь образом уведомит тебя, что Ауристелы на острове нет, или же, наоборот, что она здесь, вместе с другими девицами, коих для известной цели держат у себя варвары и коих они так охотно покупают.

— Совершенная правда, — подтвердил Арнальд. — Я остановил свой выбор сначала на Таурисе, а не на какой-либо другой девушке из тех, кого мы с этой целью держим на корабле, — остановил потому, что она хорошо знает Ауристелу: ведь она была ее служанкой.

— Замысел в высшей степени хитроумный, — заметил Периандр. — Сдается мне, однако ж, что лучше меня никто с подобным поручением не справится. Мой возраст, моя наружность, то участие, которое я принимаю в судьбе Ауристелы, равно как и то обстоятельство, что Ауристелу я отлично знаю, — все побуждает меня отважиться на этот шаг. Подумай, сеньор, над моим предложением и решения своего не откладывай, ибо в случаях трудных и многосложных дело должно идти следом за словом.

Проникшись доводами Периандра, Арнальд тот же час стал приводить его замысел в исполнение, невзирая на некоторые с ним сопряженные трудности, и велел облачить Периандра в один из многочисленных и роскошных женских нарядов, которые он хранил на

тот случай, если Ауристела найдется, и в этом наряде Периандр всем показался самой красивой и самой статной девушкой, какую взор человеческий когда-либо видел и с которой могла бы соперничать одна лишь красавица Ауристела. Моряки залюбовались, Тауриса пришла в изумление, принц же смутился, и когда бы Периандр до этого не сказал ему, что он брат Ауристелы, мысль о том, что это мужчина, а не женщина, пронзила бы Арнальду сердце беспощадным копьем ревности, коего острие самому острому алмазу не уступает; я хочу сказать, что ревность пробивает наипрочнейшую броню уверенности и благоразумия, какую облакаются иные любящие сердца.

Как скоро переодевание было закончено, корабль отвалил от берега, — так варварам легче было его заметить. Арнальд, жаждавший получить весть об Ауристеле, даже не спросил Периандра, кто таковы он и его сестра и какие обстоятельства довели ее до обстоятельств крайних, а между тем здравый смысл требует сначала узнать человека, а потом уже ему довериться. Но таково свойство влюбленных: прежде всего они напрягают мысль в поисках средств для достижения своей цели, к только потом их любознательность устремляется и в других направлениях, — вот почему Арнальд не успел расспросить Периандра о том, что ему надлежало знать и о чем он впоследствии все же узнал, но узнал тогда, когда это уже было для него бесполезно.

Отойдя, как уже было сказано, на некоторое расстояние от острова, моряки украсили корабль вымпелами и флагами, и эти развевавшиеся на ветру вымпелы и словно касавшиеся воды флаги тешили и ласкали взор. Тихое море, ясное небо, звуки труб и других инструментов, столь же воинственные, сколь и веселые, — все это поднимало дух моряков. Между тем в душе у варваров корабль, который они увидели вблизи, поднял тревогу, и, вооружившись луками и вышеуказанных размеров стрелами, они высыпали на берег.

Когда же корабль подошел к острову на расстояние меньше одной мили, вся многочисленная судовая тяжелая артиллерия произвела салют, на воду спустили шлюпку, в шлюпку сошли Арнальд, Тауриса, Периандр и шесть моряков и в знак того, что цели у них мирные, помахали прикрепленным к копыю белым полотнищем (этот обычай принят едва ли не во всем подлунном мире), а что с ними случилось далее, о том будет рассказано в следующей главе.

Шлюпка приближалась к берегу, а варвары тем временем сгрудились на берегу: каждому хотелось прежде других удостовериться, что за люди сидят в этой шлюпке; как же скоро на шлюпке подали сигнал, что не войной на них идут, а с целями мирными, варвары стали махать платками, пустили в воздух множество стрел, а иные выказали невероятную легкость движений в прыжках.

Шлюпке, однако ж, не удалось пристать к берегу, ибо море в это время заштило (в здешних краях, так же точно, как и у нас, бывают приливы и отливы). Тогда варвары числом до двадцати человек двинулись пешком по мокрому песку и подошли так близко к шлюпке, что могли до нее дотянуться. На руках они несли женщину, хотя по наружному виду и варварку, однако ж красавицу необыкновенную, и эта женщина, прежде чем кто-либо успел слово молвить, заговорила на языке польском:

— Наш государь, или, вернее сказать, наш правитель, просит вас, чужестранцы, сказать ему, кто вы такие, зачем пожаловали и чего вам требуется. Если вы хотите продать какую-нибудь девицу, то мы вам за нее очень хорошо заплатим; если же у вас другого рода товар, то мы в нем не нуждаемся, — на нашем острове, хвала небесам, есть все необходимое, и мы не испытываем необходимости за чем-либо ездить в другое место.

Арнальд прекрасно понял ее, а потом задал ей вопрос, кто она такая: варварка по рождению, или, может статься, варвары ее купили.

Она же ему на это сказала:

— Отвечай мне ты: мои хозяева не любят, когда я говорю о чем-либо, к делу не относящемся.

Арнальд же ей ответил так:

— Мы из королевства датского, мы и купцы и корсары: что возможно — меняем, что у нас покупают — продаем, что нагребем, то сбываем. Вместе же с другой добычей мы захватили вот эту девицу (тут он показал на Периандра), а как она — одна из самых красивых, вернее сказать — самая красивая девушка в мире, то мы вам ее продадим, — ведь нам известно, для чего вы покупаете девушек. И если суждено сбыться пророчеству мудрых ваших кудесников, то вы смело можете ожидать от такой статной и пригожей девушки, что она родит вам сыновей пригожих и отважных.

Тут варвары обратились к женщине с вопросом, о чем говорят чужеземцы, она же им перевела; тогда от толпы отделились несколько варваров и отправились, должно полагать, с донесением к своему правителю.

Тем временем Арнальд задал переводчице вопрос: содержатся ли на острове купленные женщины и есть ли среди них такая, что по красоте могла бы сравниться с той, которую они сегодня привезли к ним на продажу.

— Нет, — отвечала переводчица. — Хотя здесь и много женщин, однако ни одна из них не может сравниться со мной: ведь я одна из тех несчастных, кого эти варвары предназначают себе в царицы, и ничего ужаснее этого для меня быть не может.

В это время возвратились те, кто ходил в глубь острова, и привели с собой целую толпу и самого правителя, которого можно было узнать по богатому наряду.

У Периандра лицо было закрыто прозрачной и тонкой вуалью, и лишь по временам он светом очей своих, точно молнией, озарял внезапно тех варваров, что с превеликим вниманием на него взирали.

Правитель что-то сказал переводчице, та передала Арнальду, что государь просит снять

вуаль с лица девушки, и это его желание было тут же исполнено: Периандр встал, откинул вуаль, поднял глаза к небу, как бы молча жалуясь на свою судьбу, а затем метнул лучи двух своих солнц, и лучи эти, встретившись со взглядом предводителя варваров, сразили его; да и что иное можно было о нем подумать, видя, как он падает на колени, выражая этим свое преклонение перед дивным образом того, которого он принимал за девушку? Затем, поговорив с переводчицей, он быстро заключил сделку и, нимало не торгуясь, дал за Периандра все, что запросил Арнальд. Варвары тот же час удалились в глубь острова и не в долгом времени возвратились с бесчисленным множеством слитков золота и длинными низками скатного жемчуга и, не считая, бесформенной грудой свалили все это у ног Арнальда, после чего Арнальд, взяв за руку Периандра, подвел его к правителю острова и попросил переводчицу передать ее господину, что спустя несколько дней он, Арнальд, доставит ему еще одну девицу: она хоть и не так, мол, красива, как эта, но, во всяком случае, купить ее, дескать, стоит.

Периандр со слезами на глазах обнял моряков, однако ж слезы те вызваны были не припадком малодушия, их породило чувство благодарности за то самоотвержение, какое они проявили ради него.

Арнальд подал знак морякам дать орудийный залп, правитель острова подал знак своим музыкантам, и мгновенье спустя небосвод едва не рухнул от грохота судовой артиллерии, воздух же наполнился нестройными, режущими слух звуками варварских инструментов.

Так, с особой торжественностью, подняв Периандра на руки, варвары перенесли его на остров, Арнальд же и его свита отбыли на корабль, однако, прежде чем расстаться, Арнальд и Периандр условились, что, если только ветер будет благоприятный, Арнальд попытается далеко от острова не отходить, а лишь скроется из виду с тем, чтобы немного погодя вернуться и в случае надобности продать Таурису; Периандр же даст ему знать, здесь Ауристела или ее здесь нет. И если-де ее нет на острове, то он, Арнальд, всегда изыщет средство выволить Периандра и не остановится перед тем, чтобы пойти на варваров войной и обрушить на них всю свою мощь, а равно и мощь своих союзников.

Среди тех, кто вместе с правителем острова прибыл на берег заключить сделку касательно покупки девицы, находился варвар по имени Брадамир, один из наиболее отважных и знатных жителей острова, попиравший все и всяческие законы, более надменный, нежели сама надменность, и дерзкий, как он сам, — иного сравнения не подберешь. И вот, едва увидев Периандра и, подобно всем прочим, поверив, что перед ним девушка, он задумал взять ее себе в жены, не выполняя условий пророчества.

Как скоро Периандр ступил на остров, варвары заспорили между собой, кто его понесет на руках, и в конце концов со всевозможными изъявлениями восторга понесли его к большой палатке, разбитой на мирном и приветном лугу и увешанной, как и множество окружавших ее палаток маленьких, шкурами зверей, домашних и диких. Женщина, при заключении сделки исполнявшая обязанности переводчицы, не отходила от Периандра и на непонятном ему языке пыталась его утешить.

Правитель распорядился доставить с темничного острова кого-нибудь из мужчин, дабы удостовериться, не сбудутся ли призрачные его надежды. Приказ этот немедленно начали приводить в исполнение, а тем временем расстелили на земле звериные шкуры, выделанные, гладкие, чисто вымытые, опрысканные чем-то душистым, заменявшие варварам скатерть, а на эти шкуры, не соблюдая правил чистоты и порядка, набросали и навалили сухих фруктов, после чего правитель вместе со знатными варварами сел и, принявшись за еду, знаками предложил Периандру последовать его примеру.

Из числа знатных варваров один лишь Брадамир по-прежнему стоял, опершись на лук и устремив взор на юношу, коего он принимал за девушку. Правитель предложил ему сесть, но Брадамир вместо ответа тяжело вздохнул, повернулся и вышел из палатки. Вслед за тем в палатку вошел некий варвар и сообщил правителю, что в то время, когда он и его товарищи готовились к отплытию на темничный остров, к берегу подошел плот, на котором находятся мужчина и смотрительница подземной тюрьмы, каковые вести мгновенно прервали трапезу, ибо правитель со своею свитою поспешил на берег. Периандр изъявил желание пойти вместе с ним, на что правитель весьма охотно дал свое согласие.

Между тем пленник и тюремщица сошли на берег. Периандр обратил взор на пленника: ему хотелось удостовериться, не знаком ли ему этот несчастный, коего злая судьба заточила в ту же темницу, где еще так недавно томился он сам, но лица его Периандру не было видно, оттого что пленник, — по-видимому, нарочно, чтобы никто не мог его разглядеть, — опустил голову; зато женщину, которую называли смотрительницею тюрьмы, Периандр узнал мгновенно, и эта встреча и это открытие перевернули ему душу и помutilи разум, ибо перед ним вживе и въяве была Клелия, кормилица его любезной Ауристелы. Он хотел было с нею заговорить, однако ж не решился из боязни, что может испортить все дело. Словом, он подавил в себе это желание и, стиснув зубы, стал ждать, какой оборот примут события.

Правитель, коему не терпелось произвести испытание и найти для Периандра подходящего супруга, приказал без промедления умертвить юного пленника, сердце его сжечь, а пепел сохранить для нелепого и бессмысленного испытания. Варвары, недолго думая, схватили юношу и, не сделав ему никакого другого снисхождения, кроме как завязав ему глаза, принудили стать на колени и связали за спиной руки; тот же, словно агнец кроткий, молча ожидал удара, долженствовавшего пресечь его дни. Но тут престарелая Клелия голосом громким и с тою горячностью, коей от ее преклонного возраста ожидать было трудно, повела такую речь:

— Помысли, великий государь, о том, что ты делаешь! Ведь этот мнимый юноша, коего ты умертвить велел, на самом деле не мужчина, — перед тобою девушка, да к тому же еще такая красавица, какую только можно себе представить; следственно, она пользы тебе принести не может и для целей твоих не годна. Заговори же, прекрасная Ауристела, и не дай потоку горестей унести тебя и отнять у тебя жизнь наперекор воле небес, повелевающих оставить тебе ее и сохранить, дабы ты безмятежно ею наслаждалась!

При этих словах жестокие варвары приостановили казнь, и нож, сверкавший у самого горла коленопреклоненной пленницы, в нее не вонзился.

Правитель велел вернуть свободу рукам девушки, а ее очам — свет; когда же он в нее взгляделся, то показалось ему, что такого прекрасного женского лица он никогда в жизни не видел; и хоть и был он варвар, а все же сумел оценить ее красоту по достоинству и вынужден был признать, что сравнить ее ни с кем невозможно, разве лишь с Периандром.

Чей язык в силах изобразить, а перо — описать, что почувствовал Периандр, когда узнал, что обреченная на смерть, а затем освобожденная пленница есть не кто иная, как Ауристела? Свет померк у него в очах, сердце зашлось; подойдя к Ауристеле, он обнял ее дрожащими руками и, судорожно сжимая в объятиях, заговорил:

— О лучшая часть моей души! О несокрушимый оплот надежд моих! О сокровище, вновь обретенное мною то ли на мое счастье, то ли на мою беду! Но нет! Конечно, на счастье, ибо из встречи с тобой никакой беды проистечь не может! Ты видишь пред собою брата своего Периандра.

Эти последние слова он произнес так тихо, что никто их не расслышал, а затем продолжал:

— Живи, госпожа и сестра моя, — ведь на этом острове женщин не убивают, — не будь к себе более жестокой, нежели населяющие его, и уповай на промысл: коль скоро он до сей поры охранял тебя от неисчетных опасностей, то не оставит он тебя и впредь.

— О брат мой! — воскликнула Ауристела (то была и правда Ауристела, ожидавшая, что ее, приняв за мужчину, казнят). — О брат мой! — снова произнесла она. — Я верю, что это испытание будет последним нашим испытанием, на котором кончатся наши невзгоды. Благой судьбе угодно было, чтобы я тебя нашла; злая же судьба устроила так, что я нашла тебя в столь мрачном месте и в женском одеянии.

Тут они оба заплакали, и слезы их не укрылись от взгляда Брадамира, и, вообразив, что Периандр плачет, трепеща за жизнь то ли своего знакомого, то ли родственника, то ли друга, порешил он во что бы то ни стало освободить его. Того ради он приблизился к Периандру и Ауристеле и, взяв их обоих за руки, с видом угрожающим и заносчивым возвысил голос:

— Кому дорога жизнь, тот пальцем не посмеет тронуть их обоих! Эта девушка — моя, потому что я люблю ее, а этого человека надлежит освободить, потому что таково ее желание.

Только успел он это вымолвить, как вдруг правитель острова, разгневанный и возмущенный до глубины души, вложил в лук длинную и острую стрелу и, отведя лук на расстояние вытянутой левой руки, правою рукой натянул тетиву на уровне своего уха, прицелился — и до того метко и с такой яростью была эта стрела им пущена, что угодила Брадамиру прямо в рот, сомкнув ему уста навеки, ибо она пронзила ему язык и вынула из его тела душу, чем все присутствовавшие были изумлены, поражены и ошеломлены.

Однако выстрел этот, столь же меткий, сколь дерзкий, не остался безнаказанным и неотомщенным за свою дерзость, ибо сын Корсикурба, утонувшего в то время, когда он переправлял Периандра, рассудил, что ноги его быстрее, нежели его стрелы, а рассудив, в два прыжка очутился возле правителя и со всего размаху всадил ему в грудь кинжал, хотя и

каменный, однако более тяжелый и острый, нежели из кованой стали. В то же мгновение вечная ночь застала правителю взор, и он, поплатившись за смерть Брадамира своею жизнью, воспламенил сердца и души родственников как со своей стороны, так и со стороны Брадамира, и всем им вложил в руки оружие, и, вдохновляемые гневом и жаждою мести, они остриями стрел своих всюду начали сеять смерть; когда же иссякли стрелы, оказалось, что еще из иссякли кинжалы, как не иссякли силы у них в руках, и они ринулись друг на друга, и тут уже сын не щадил отца, а брат брата, напротив того: точно ярые враги, у коих за много лет накопилось множество неотомщенных обид, впивались они один в другого ногтями, пронзали кинжалами, и не нашлось никого, кто бы мог водворить на острове мир.

Среди прышущих стрел, среди разящих кинжалов, среди ран и смертей в смятении и ужасе жались друг к другу престарелая Клелия, девушка-переводчица, Периандр и Ауристела. Подхваченные вихрем злобы, варвары из числа друзей Брадамира, оставив поле битвы, подожгли ближний лес, принадлежавший убитому правителю. Запылали деревья; от сильного ветра еще яростнее забушевало пламя и еще гуще повалил дым; люди боялись ослепнуть от дыма, боялись сгореть. Спускалась ночь, и если бы даже то была ясная ночь, на острове все равно было бы темно от дыма, а тут еще и ночь выдалась темная, черная.

Предсмертные стоны, воинственные клики, пламя пожара — все это вселяло ужас не в сердца варваров, ибо они были полны ненависти и жажды мщения, но в сердца несчастных четверых, не знавших, что делать, куда бежать, где искать спасения. И вот в сей грозный час небо неожиданно послало им избавление, которое все четверо почли избавлением чудесным.

Ночь уже совсем почти наступила, и притом, как было сказано, темная, черная, — различать предметы можно было только при свете лесного пожара, как вдруг к Периандру приблизился юноша-варвар и на кастильском языке, вполне Периандру понятном, сказал:

— Следуй за мной, прекрасная дева, и вели тем, кто с тобой, идти за нами, может, бог даст, я вас и спасу.

Периандр ничего ему не ответил; он только постарался оживить упавший дух Клелии, Ауристелы и другой девушки, а затем они, перешагивая через трупы и наступая на оружие, двинулись следом за юным варваром прочь от горящего леса, коего отсветы, подобно ветру, дующему в спину, уторапливали их шаг. Однако ж Клелия по старости, Ауристела по младости лет не могли угнаться за своим вожатаем. Наконец сильный и крепкий варвар подхватил на руки Клелию, Периандр — Ауристелу, переводчица же, не столь нежная и более храбрая, мужественно и стойко продолжала идти.

Вот так-то, что называется — еле передвигая ноги, вышли они к морю; когда же они берегом моря продвинулись на милю по направлению к северу, варвар свернул в широкий подземный ход, до которого докатывался прибой.

По подземному этому ходу шли они недолго, то сгибаясь в три погибели, то выпрямляясь, где прижимаясь к стенам, где нагнувшись, где ползком, где пешком, где вытянувшись во весь рост, и, наконец, вышли, как им показалось, в открытое поле — так они заключили, ибо их вожатай сказал, что здесь можно распрямиться; сами же они не могли понять, где они находятся, оттого что было темно, а свет от лесного пожара, с особенной силой полыхавшего вдалеке, сюда не доходил.

— Возблагодарим господу, — снова заговорил на кастильском языке юноша, — за то, что он привел нас сюда: здесь если и есть чего бояться, то только не смерти.

Тут все увидели, что навстречу им движется нечто большое, светящееся: можно было подумать, что это комета или же огненный шар несется по воздуху. Четверо ждали со страхом, что скажет юноша.

— То мой отец спешит мне навстречу, — молвил он.

Периандр хотя и не совсем свободно изъяснялся по-кастильски, решился все же заговорить с юношей.

— Да вознаградит тебя небо, ангел во плоти, за все, что ты для нас сделал! — воскликнул он. — И пусть даже ты только отдалил нашу гибель, для нас и это уже великое благодеяние.

В это время источник света приблизился, и тут оказалось, что светоч сей принесен неким, по-видимому, варваром лет пятидесяти с небольшим. Приблизившись, варвар воткнул в землю длинную палку с факелом, — это и был его светоч, — и, обняв сына, спросил его по-кастильски, откуда взялись эти люди.

— Отец! — молвил юноша. — Пойдем скорей в нашу хижину, нам есть о чем потолковать и что обсудить. Остров в огне. Почти все жители погибли или же обгорели. Только вот их мне удалось с помощью божией спасти от огня и от кинжалов варварских. Поспешим же, отец, в нашу хижину, дабы моя мать и сестра выказали и проявили свою доброту и обласкали наших измученных и напуганных гостей!

Отец пошел вперед, остальные — за ним. Клелия приободрилась и пошла сама. Периандр между тем не пожелал расстаться с драгоценною своею ношею, да она и не могла быть для него тяжела, ибо в одной Ауристеле полагал он все свое счастье.

Долго ли, коротко ли, приблизились они к высокой скале, а у ее подошвы обнаружили то ли широкое углубление, то ли широкую пещеру, коей стенами и кровлей служила та же самая скала. Оттуда с зажженными факелами в руках вышли девушка лет пятнадцати и женщина лет тридцати; на них были такие же одежды, как на всех варварках; женщина собою была хороша, но девушка еще лучше.

— Отец! Брат! — воскликнула девушка.

— Наконец-то ты вернулся, сын мой возлюбленный! — воскликнула женщина.

Девушке-переводчице странно было слышать здесь, на острове, не местный, а другой язык, да еще вдобавок говорили на нем женщины, с виду казавшиеся варварками, и она хотела задать им вопрос, каким чудом они его знают, но тут хозяин велел жене и дочери расстелить на земляном полу пещеры звериные шкуры. Женщины, прислонив факелы к стене, принялись исполнять его приказание; заботливые и расторопные, они мигом притащили из другой, смежной пещеры козьи, овечьи и разные другие шкуры и застелили ими пол, отчего ногам путешественников сразу стало теплее.

О том, что рассказал о себе испанец-варвар своим гостям

Ужин приготовили быстро, на скорую руку, однако ж гостям он показался вкусным, оттого что прошел без всяких тревожлений. Зажгли новые факелы, и хотя в помещении стало дымно, да зато тепло. Здесь ели не на серебре и даже не на пизанской глине^[3], — руки хозяев заменяли гостям блюда; стаканы же были сделаны из коры деревьев, росших на острове, — ненамного мягче коры пробкового дуба. Кандия^[4] была отсюда далеко, а потому гостей здесь поили не вином, а водой, но зато чистой, прозрачной и холодной-холодной.

Клелия скоро уснула, оттого что года преклонные больше любят сон, нежели самую приятную беседу. Хозяйка постелила ей постель в смежном помещении, предложив ей вместо тюфяка и одеяла звериные шкуры, а затем снова вышла к гостям, с которыми испанец в это время повел на кастильском языке такую речь:

— Хотя, государи мои, мне надлежало бы прежде узнать о том, какого вы звания и какие были с вами приключения, а потом уже рассказывать вам о своих, однако ж, дабы подать вам пример, я решаюсь начать рассказывать первым, с тем чтобы, выслушав мою повесть, вы затем предложили моему вниманью свою.

По милости благой судьбы я родился в Испании, в одной из прекраснейших ее провинций. Произвели меня на свет родители не худородные; воспитали они меня во всяческом довольстве; я приблизился к вратам грамматики, а это такие врата, которые открывают путь ко всем прочим наукам; моя звезда влекла меня к учености, но еще более — к искусству военному; в юные годы я не водил дружбы ни с Церерой, ни с Бахусом, а потому и Венера^[5] не имела надо мной ни малейшей власти. Повинуясь природной моей склонности, я оставил свое отечество и пошел на войну, а войну вел тогда его августейшее величество Карл Пятый с государями германскими.^[6] Марс явил ко мне свою благосклонность: я стяжал славу доблестного воина, император наградил меня, я приобрел на войне друзей, а главное, научился щедрости и обходительности — тем добродетелям, которые преподаются в школе Марса христианского. Наконец, прославленный и разбогатевший, возвратился я на родину, намереваясь побыть несколько дней с родителями, которые в то время были еще живы, и с друзьями, которые меня ждали, но тут так называемая Фортуна (не возьму в толк, почему ее так называют), позавидовав моему благополучию, повернула колесо, которое будто бы у нее есть, и низринула меня с вершины счастья, на коей я себя мнил, в пучину зол, где я и обретаюсь ныне; орудием же своим она избрала некоего кавальеро, младшего сына одного вельможи, коего имение находится поблизости от того селения, где проживал я. Сын вельможи прибыл в мое родное селение на празднества и, войдя в круг, иначе говоря — в хоровод идальго и кавальеро, вместе с которыми был и я, обратился ко мне и тоном насмешливым и вызывающим молвил:

«А ты, Антоньо, явился сюда во всем своем великолепии! Видно, пребывание во Фландрии и в Италии пошло тебе на пользу. Глядите, каким он нынче франтом! И вообще я должен тебе сказать, любезный Антоньо: ты мне нравишься».

Я же ему на это ответил так:

«Да, я — Антоньо, и я тысячекратно целую вашему превосходительству руки за ваше доброе ко мне расположение. Впрочем, вас, ваше превосходительство, обязывает ваше высокое звание относиться с уважением к землякам своим и верным слугам. Того ради я хочу довести до сведения вашего превосходительства, что франтом я был уже тогда, когда

отправлялся во Фландрию, учтивым же я уродился, а потому ни хвалить, ни порицать меня тут не за что. Коротко говоря, хорош ли я, плох ли я, но я — покорный слуга вашего превосходительства, и я прошу вас оказывать мне то уважение, коего добрые мои намерения заслуживают».

Тут стоявший рядом со мной идальго, закадычный мой друг, сказал мне достаточно громко, так, что кавальеро не мог его не слышать:

«Что с тобой, друг Антоньо? Никто у нас здесь не величает этого выскочку „вашим превосходительством“.

Только хотел было я ему ответить, как вмешался сам кавальеро:

«Любезный Антоньо прав — он ко мне обращается, как это принято в Италии: там вместо „ваша милость“ говорят „ваше превосходительство“

«Мне хорошо известны правила и законы учтивости, — возразил я. — Я называло ваше превосходительство „превосходительством“ вовсе не потому, что таков итальянский обычай, а потому, что я знаю обычай испанский: кто меня называет на ты, того я должен величать „превосходительством“. На самом же деле я, сын родителей благородных, доблесть свою доказавший на войне, заслуживаю того, чтобы все „превосходительства“ говорили мне „ваша милость“, а кто думает иначе (тут я схватился за шпагу), тот понятия не имеет о том, что такое учтивость».

Произнеся эти слова, я дважды изо всех сил плашмя ударил его шпагой по голове, и он до того опешил, что не мог взять в толк, что такое с ним приключилось, и не в состоянии был достойным образом мне ответить, я же с обнаженной шпагой в руке изготавился к обороне. Как же скоро оцепенение у него прошло, он схватился за шпагу и, преисполнившись воинственного пыла, попытался отомстить мне за нанесенное оскорбление, однако ж осуществить благородное это намерение ему помешали, во-первых, я, а во-вторых, кровь, струившаяся у него из головы.

Присутствовавшие возмутились и хотели было на меня напасть, но я бросился наутек, вбежал в родительский дом и рассказал отцу с матерью о том, что со мною произошло, они же, уразумев, какая опасность мне угрожает, снабдили меня деньгами и добрым конем и сказали, чтобы я не медлил ни секунды, ибо теперь, мол, у меня много сильных и могучих врагов. Я послушался их совета — и через два дня был уже за пределами Арагона и только тут получил возможность немного отдохнуть от бешеной скачки.

Коротко говоря, я, уже не так торопясь, двинулся в Германию и там вновь вступил в ряды войск императора. Однако ж вскоре меня известили, что недруг мой вкупе со многими другими ищет случая меня убить. Известие это не могло не утешить меня, и я возвратился в Испанию, ибо нет более надежного убежища, нежели дом недруга твоего. Я свиделся с моими родителями ночью, они дали мне еще денег и драгоценных вещей, и я отправился в Лисабон и там сел на корабль, который готовился к отплытию в Англию и на котором возвращались на родину любознательные английские дворяне, осмотревшие если не всю Испанию, то по крайней мере лучшие ее города.

Нужно же было случиться так, что я, из-за сущей безделицы повздоровив с одним английским моряком, закатил ему пощечину, чем навлек на себя гнев его товарищей, и тут вся команда давай швырять в меня чем ни попадя. Я ретировался на бак и спрятался за одного из английских дворян, и это спасло мне жизнь, а другим дворянам удалось пока что усмирить моряков, — те, однако, поставили непременно условием, чтобы меня выбросили за борт или посадили то ли в шлюпку, то ли в лодчонку, и пусть, мол, она доставит меня к берегам Испании или уж куда бог захочет.

Как сказано, так и сделано: мне дали лодку, снабженную двумя бочонками с пресной

водой, бочонком с маслом, а также некоторым количеством сухарей. Я поблагодарил моих покровителей и прыгнул в двухвесельную лодку. Корабль скрылся из виду, стемнело, я остался один среди безграничного водного пространства, и мне пришлось избрать единственно возможный путь, а именно — не идти против течения и против ветра. Я возвел глаза к небу и стал горячо молиться богу, а затем посмотрел на Полярную Звезду и по ней определил направление движения моей лодки, однако местонахождения моего я все же не установил.

Так я провел шесть дней и шесть ночей, уповая более на милость божью, нежели на силу рук своих, тем более что руки у меня устали и изнемогли от непрерывного напряжения и уже не в состоянии были грести, вследствие чего я принужден был вынуть весла из уключин и сложить их на дне лодки, с тем чтобы снова взяться за них, когда того потребует море или же когда ко мне вернутся силы. Я лег на спину, вытянулся на дне лодки, закрыл глаза, мысленно призвал на помощь всех святых, и тут, как это ни странно, в минуту наивысшего отчаяния и наибольшей опасности, меня сковал сон, да такой крепкий, что все ощущения мои притупились (именно в таком восстанавливающем силы сне нуждается и испытывает потребность наша природа), однако воображение мое продолжало работать: во сне я все время умирал то одной страшной смертью, то другой, главным образом тонул, но потом мне уже снилось, будто меня едят волки, будто меня терзают другие хищные звери, так что не только наяву, но и во сне жизнь моя представляла собой медленное умирание.

Этот мой тревожный сон внезапно нарушил стремительный вал: он перекатился через лодку и наполнил ее водою. Уразумев, что мне грозит, я стал вычерпывать воду, вычерпал, сколько мог, и снова взялся за весла, хотя, по правде сказать, это было совершенно бесполезно. Я видел, как бушуют волны, гонимые и вздымаемые юго-западным ветром, который нигде, видимо, так не проявляет безграничную свою власть, как над этим морем. Я сознавал, что это безумие — пытаться противопоставить их неистовству утлый мой челн, мои с каждым мгновеньем слабеющие силы — их лютости: вот почему я опять сложил весла и отдал свою лодку на волю ветра и волн. Я усилил моления, умножил обеты, примешал к морской влаге ту, что источали мои очи не от страха близкой смерти, но от страха наказания, которое заслужили дурные поступки мои. Словом сказать, несколько дней и ночей носился я по волнам, и в душе моей смятение и отчаяние час от часу росли и росли, пока наконец лодку мою не пригнало к острову, на котором совсем не было людей, зато целыми стаями бродили волки. Я укрылся под сенью прибрежной скалы, сойти же на берег не решился из-за волков, а как скоро укрылся, то принялся за сухари: сухари, правда, намокли, однако нужда и голод не останавливаются ни перед чем. Настала ночь, но не такая темная, как ночь минувшая. Море как будто бы затихало; день грядущий обещал быть спокойным. Я взглянул на небо — расположение светил предвещало штиль и безветрие.

Внезапно при неверном ночном освещении мне почудилось, будто на скалу, заменившую мне гавань, взобрались те самые волки, которых я заметил на берегу, и будто один из них (и так оно и было на самом деле), обратясь ко мне, внятно и отчетливо произнес на моем родном языке:

— Испанец! Выходи в открытое море и где-нибудь в другом месте попытай счастья, если не хочешь, чтобы мы своими зубами и когтями тебя растерзали. И не вздумай спрашивать, кто я таков, а лучше возблаговари небо за то, что ты и в хищном звере нашел участие.

Вы легко можете себе представить, как я был напуган, и все же я был не настолько растерян, чтобы тот же час не послушаться данного мне совета: я вставил весла в уключины, напряг последние усилия и вышел в открытое море. Но как у терпящих бедствия и невзгоды

память обыкновенно затмевается, то и не могу я вам точно сказать, сколько еще дней пробыл я в море, поминутно сталкиваясь лицом к лицу не с одною, но с тысячею смертей одновременно; наконец однажды надо мной разразилась страшная буря, и меня вместе с лодкой выбросило на этот остров, как раз напротив подземного хода, через который вы сюда проникли. Лодка почти вся вошла в подземелье, но затем налетевшая волна оттуда ее извлекла; тогда я выпрыгнул из нее и впился ногтями в песок, так что новая волна уже не могла вновь увлечь меня в море. И хотя вместе с лодкой море, казалось, похищало у меня жизнь, — отнять же у моря лодку я был не в силах, — однако я предпочитал умереть какою-нибудь другою смертью, лишь бы остаться на твердой земле: ведь пока человек жив, он все на что-то надеется.

Только успел вымолвить эти слова испанец-варвар (для такого наименования он подавал повод своею одеждой), как вдруг из соседнего помещения, где находилась Клелия, послышались тяжкие стоны и рыдания. К ней поспешили с факелами Ауристела, Периандр, а равно и все прочие, и увидели, что Клелия сидит на шкурах, прислонившись к скале, а угасающий взор ее обращен к небу. Ауристела, приблизившись, заговорила с нею, и в голосе ее слышались скорбь и сострадание:

— Что с тобой, моя родная? На кого ты меня покидаешь, да еще в такое время, когда я особенно нуждаюсь в твоих наставлениях?

Клелия очнулась и, взяв Ауристелу за руку, молвила:

— Дитя мое милое! Если б ты могла заглянуть ко мне в душу, ты бы увидела, что вся она полна тобой. Я бы хотела прожить до тех пор, пока наконец ты не заживешь счастливо, но если богу это не угодно, то я против его воли идти не могу и добровольно предаю свою жизнь в его руки. Об одном прошу тебя, госпожа моя: когда счастье тебе улыбнется, — а оно не может не улыбнуться, — и ты возвратишься в свою отчизну и узнаешь, что отец мой, или мать, или же какой-нибудь более дальний родственник мой еще жив, то скажи им, что я умерла христианкой, верующей в Иисуса Христа, и из лона святой римско-католической церкви не вышла. Вот и все. Больше говорить не могу.

Произнеся эти слова и несколько раз призвав имя Христово, Клелия закрыла очи навек, а вслед за тем закрылись очи Ауристелы, с которой в эту минуту случился глубокий обморок, меж тем как очи Периандра являли собою два источника, а очи других превратились в реки. Периандр бросился на помощь к Ауристеле, и та, придя в себя, разразилась слезами, и вздохи ее и речи могли бы разжалобить камень. Решено было похоронить Клелию на другой же день; у ее тела остались до утра дочь и сын Антоньо, прочие же удалились, ибо всем давно пора было спать.

в коей испанец-варвар продолжает свой рассказ

В то утро не рассветало долее обыкновенного — по всей вероятности, из-за того, что искры и дым все еще не утихавшего пожара препятствовали солнечным лучам озарить эту часть острова, а как скоро рассвело, испанец-варвар велел своему сыну пойти знакомой ему дорогой и поглядеть, что творится на острове.

Гости плохо спали эту ночь: Ауристеле не давали уснуть печаль и скорбь, вызванные кончиною ее кормилицы Клелии, бессонница же Ауристелы заставляла бодрствовать Периандра; наконец они оба вышли наружу и увидели, что все вокруг так было создано и устроено природой, как будто над этим трудились ремесло и искусство: то была ровная местность, окруженная высокими голыми скалами, тянувшаяся, как подсказывал Периандру его глазомер, больше чем на целую милю и поросшая деревьями, дававшими плоды хотя и твердые, однако ж съедобные. Трава здесь росла высокая и всегда зеленая, оттого что бесчисленные горные потоки беспрестанно освежали ее своею влагой. Периандр и Ауристела невольно залюбовались поразившим их видом, но тут к ним приблизился испанец-варвар и сказал:

— Пойдемте, сеньоры, покончим с погребением, а потом я закончу начатый мною рассказ.

Так они и сделали: опустили тело Клелии в трещину, образовавшуюся в одной из скал, засыпали его землей, а сверху наложили камней. Ауристела попросила испанца поставить на могиле крест в знак того, что здесь лежит христианка. Испанец сообщил, что у него есть высокий крест, и обещал поставить его на могиле. Все сказали покойной последнее «прости», и тут Ауристела снова заплакала, и слезы ее в то же мгновение исторгли слезы у Периандра.

Юноша-варвар еще не возвращался, и все, дабы укрыться от сильного холода, возвратились в ту пещеру, где они провели ночь, и как скоро они уселись на мягких шкурах, хозяин попросил внимания и в следующих выражениях продолжал свой рассказ:

— Итак, я остался на песчаном берегу, лодку же у меня, — повторяю, — похитило море, а вместе с лодкой и надежду на избавление, каковое избавление так до сих пор ко мне и не пришло. Я пошел вперед, окинул взглядом местность, и показалось мне, что природа для того создала ее и сотворила, чтобы она стала театром, на котором разыграется трагедия моих бедствий. Я увидел горных козочек и всяких мелких животных, люди же мне не встретились, и это меня удивило. Я обошел всю местность, в конце концов обнаружил в скале пещеру и порешил здесь поселиться. Я дошел до самого конца пещеры, затем вернулся и, в надежде услышать человеческий голос и узнать, где я нахожусь, вышел наружу. И вот тогда-то благая судьба и милосердное небо, не совсем еще от меня отступившиеся, послали мне пятнадцатилетнюю девушку из племени варваров: меж скал, утесов и камней она собирала разноцветные раковины и съедобные ракушки. Увидев меня, она оцепенела, ноги у нее приросли к земле, она выронила раковины, ракушки у нее рассыпались, я же молча взял ее, тоже безгласную, на руки, внес в пещеру — вот сюда, где мы сейчас с вами находимся, — поставил наземь, поцеловал ей руки, погладил по головке — словом, всеми возможными знаками и движениями дал ей понять, что буду с нею нежен и ласков. Когда же испуг у нее прошел, она пристально на меня посмотрела и обхватила меня руками, и теперь уже она, отринув страх, время от времени улыбалась, прижималась ко мне, потом, вынудив из-за пазухи нечто вроде хлеба, но только отнюдь не пшеничного, сунула мне в рот и заговорила со мной

на своем языке: как я узнал впоследствии, она настаивала, чтобы я поел. Я не заставил себя долго упрашивать, тем паче что есть мне очень хотелось. Затем она взяла меня за руку, подвела к ручью, протекающему невдалеке, и там опять-таки знаками стала меня просить, чтобы я попил воды. Я не сводил с нее глаз, и показалась она мне в ту минуту не земною девушкой, да еще из племени варваров, но ангелом, слетевшим ко мне с небес. Вновь приблизившись ко входу в пещеру, я знаками и непонятными девушке словами стал умолять ее навестить меня еще раз и снова обнял ее, она же запечатлела на моем лбу чистый и безгрешный поцелуй, а затем ясно и определительно дала мне понять, что навестить меня не преминет. После этого я отправился бродить по округе: я обследовал местность, пробовал плоды, коими были отягчены иные деревья, обнаружил орехи, грецкие и обыкновенные, дикие груши. Я возблагодарил бога за это открытие, и угасшая было надежда на спасение оживилась во мне. Ночь я провел на том же самом месте, дождался дня, а с наступлением дня стал дожидаться возвращения девушки, и я уже начал побаиваться ее и опасаться, что она обо мне расскажет и выдаст меня варварам, коими, как я предполагал, полон остров, однако страх у меня прошел, едва я увидел при свете занимавшейся зари, что ко мне идет она, ясная, как солнце, кроткая, как овечка; и варваров мне на погибель она не вела, — она несла съестное для поддержания моих сил.

Любезный испанец успел довести свой рассказ до этой встречи, но тут явился его сын, которого он посылал узнать, что творится на острове, и сообщил, что почти весь остров объят пламенем; что громадное большинство варваров умерло: кто от ран, кто от огня; что спаслись лишь те, кто на плотках ушли в море, дабы уберечься в воде от огня на суше; что им всем беспрепятственно можно будет отсюда уйти через ту часть острова, где нет пожара; что им следует подумать, как лучше покинуть проклятый этот остров; что поблизости есть еще острова, где обитают менее дикие племена, и что когда они изменят свое местопребывание, то, может статься, произойдет перемена и в их судьбе.

— Отдохни, сын мой, — молвил отец, — а я пока доведу до конца повесть о моих приключениях, кончу же я скоро, хотя бедствия мои неисчислимы.

— Не утруждай себя, мой господин, подробным изложением событий, — вмешалась его супруга. — Может статься, ты не только себя утруждаешь, но и докучаешь другим. Дай я расскажу все, что с нами случилось до сегодняшнего дня.

— С радостью повинуюсь, — молвил испанец, — ибо для меня будет великою радостью услышать повесть о происшедших с нами событиях из твоих уст.

— Ну, так вот, — начала она. — Следствием постоянных моих хождений сюда явилось то, что у нас с моим супругом родились вот эта девушка и вот этот юноша. Я называю его супругом, оттого что еще до нашего сближения он дал мне обещание стать моим супругом, как это, по его словам, надлежит всем истинным христианам. Он научил меня говорить на его языке, а я его — на своем; он преподавал мне на своем языке закон божий, сам окрестил меня в ручье, хотя и не по тому обряду, какой принят у него на родине, и объяснил, во что он верит, я же восприняла его веру всею душою моею и всем сердцем моим, — сильнее верить я не умею. Я верую в пресвятую троицу: в бога отца, бога сына и бога духа святого, в единого истинного бога в трех лицах. Хотя и отец есть бог, и сын есть бог, и дух святой есть бог, однако это не разные и разобщенные божества, — нет, это единый истинный бог. Еще я верую во все, чем обладает и что исповедует святая римско-католическая церковь^[7], наставляемая святым духом, управляемая святейшим владыкою — папой, первоиерархом и наместником бога на земле, законным наследником апостола Петра, который после Иисуса Христа, первого и вселенского пастыря своей жены — церкви, является ее первым пастырем. Супруг мой прославил царицу небесную, присно-деву Марию, владычицу всех ангелов и

нашу владычицу, ее, которую возлюбил бог отец, которую чтит бог сын и в коей благоволение духа святого, ее — защиту и покров грешников. И еще он меня многому научил, но об остальном я упоминать не стану, — полагаю, что сказанного мной достаточно для того, чтобы вы уразумели, что я христианка-католичка. Я по своей простоте и из жалости отдала ему темную свою душу, он же, хвала небесам, возвратил мне ее просвещенною и христианскою. Я отдала ему и свое тело, полагая, что тем никому не чиню обиды, и у меня родилось двое детей, — вот они, перед вами, — и оба они увеличили собою число хвалящих истинного бога. Время от времени я приносила мужу золото, коим этот остров обилен, а кроме золота, я еще приберегла жемчугу в ожидании счастливого случая, который выпустит нас из этой темницы и перенесет туда, где мы добровольно, решительно и без малейших колебаний примкнем к стаду Христову; здесь же я поклоняюсь Христу, молясь на этот крест, который вы видите перед собой. Вот все, что я почла нужным досказать за моего супруга Антоньо (так звали испанца-варвара). Испанец же не преминул подтвердить:

— Ты рассказала все как было, милая Рикла.

Риклой звали его жену, чья необыкновенная история привела в изумление присутствовавших, и они осыпали их обоих похвалами и всякого рода добрыми пожеланиями, особенно Ауристела, успевшая привязаться и к матери и к дочери.

Тут юноша-варвар, коего так же, как и отца, звали Антоньо, сказал, что здесь оставаться нельзя, нужно приложить все старания и усилия, чтобы вырваться из западни, ибо если ветер подует в их сторону и пожар, который разгорелся сейчас с новой силой, перекинется через высокие скалы сюда, то все здесь сгорит.

— Твоя правда, — молвил отец.

— А по моему разумению, должно подождать дня два, — заметила Рикла. — Недалеко отсюда есть остров: в иные дни, когда небо безоблачно и море спокойно, его отсюда видно; так вот, жители этого острова приезжают к нам кое-что продать или же выменять. Я выйду из пещеры и, коль скоро на острове некому нас подслушать и никто не может мне помешать, ибо мертвые ничего не слышат и ничему не в силах воспрепятствовать, сговорюсь с островитянами, чтобы они за любую цену продали лодку, а лодка мне, мол, нужна, чтобы спастись с мужем и детьми, которые прячутся от пожара в пещере. Надобно вам знать, что лодки у них из дерева, обиты толстыми звериными шкурами, не пропускающими воду с бортов; однако ж, сколько мне известно и памятно, они выходят в море только в тихую погоду и без этих полотнищ, которые я видела на других лодках, пристающих к нашим берегам и торгующих девушками и юношами, — вы, верно, слышали, какое на нашем острове издавна укоренилось суеверие? Вот этим лодкам я бы не вверила свою судьбу в открытом море, где вечно свирепствуют бури и ураганы.

Тут к ней обратился с вопросом Периандр:

— Почему же за столько лет сиденья на острове ни разу не воспользовался этим средством сеньор Антоньо?

— А вот почему, — отвечала Рикла: — я не могла сговориться с хозяевами лодок, оттого что больно много глаз следило за мной. Да и как бы я объяснила, зачем мне понадобилась лодка?

— Да, именно поэтому, — подтвердил Антоньо, — а не потому, чтобы я сомневался в прочности этих посудин, теперь же само небо указывает мне такой путь. Моя дорогая Рикла, дождавшись купцов с того острова, за ценою не постоит и приобретет лодку со всем необходимым снаряжением, не утаив от купцов, для чего она ей нужна.

В конце концов все изъявили согласие. Когда же они двинулись, к морю, то не могли не подивиться тому опустошению, которое причинили пожар и побоище. Они увидели горы

трупов, воздвигнутые гневом, неправдой и злобой. Еще увидели они варваров, оставшихся в живых: сгрудившись на плотях, варвары издали смотрели, как терзает неумолимый огонь их родной остров; другие между тем переправлялись на тот остров, где содержались в темнице пленники.

Ауристела изъявила желание съездить на тот остров, дабы удостовериться, не остался ли кто-нибудь в мрачном подземелье, однако ж в том не было необходимости, ибо в эту самую минуту они увидели приближающийся к берегу плот, а на нем человек двадцать, коих одежда свидетельствовала о том, что это несчастные заключенные. Высадившись, они поцеловали землю и, казалось, готовы были превратиться в огнепоклонников, ибо некий варвар, выпустивший их из мрачной темницы, объявил им, что весь остров в огне и что им нечего больше бояться варваров.

Свободные люди встретили их дружелюбно и всячески старались утешить. Некоторые заключенные начали рассказывать о своих мытарствах, другие же предпочли обойти их молчанием, ибо не находили слов.

Рикла подивилась человеколюбию того варвара, который их освободил, а еще ее удивляло, почему те варвары, которые сгрудились на плотях, не переправились на темничный остров. Один из пленников ей объяснил, что освободивший их варвар рассказал им по-итальянски про несчастный случай на острове и посоветовал перебраться сюда: здесь, мол, они вознаградят себя за перенесенные муки золотом и жемчугом, коими этот остров богат, а он-де прибудет следом за ними на другом плоту, присоединится к ним и попытается вызволить их из плена. Печальные происшествия, о которых рассказывали вновь прибывшие, были, однако ж, столь необычайны и разнообразны, что вызывали не только слезы, но иногда и веселый смех.

Тем временем к берегу пристало целых шесть лодок — именно таких, о которых толковала Рикла. Лодочники причалили, но товаров не раскладывали, оттого что покупатели не показывались.

Рикла изъявила готовность купить все шесть лодок со всеми товарами, которые она, впрочем, не собиралась брать с собой в дорогу, однако ж купцы продали ей только четыре: две нужны были им самим, чтобы вернуться домой. Рикла с ними не торговалась, за ценой не стояла. Она сбегала в пещеру и принесла в уплату слитки золота. Две лодки Антоньо и Рикла всецело предоставили бывшим заключенным, а две взяли себе — в одну погрузили все продовольствие, какое только могли захватить, и туда же сели несколько человек из недавно освобожденных, а в другую должны были сесть Ауристела, Периандр, Антоньо-отец, Антоньо-сын, прелестная Рикла, благоразумная Трансила и обворожительная Констанса, дочь Риклы и Антоньо. Перед самым отплытием Ауристела объявила, что хочет проститься с могилой ее любимой Клелии, и все пошли вместе с ней. Она поплакала на могиле, а затем все со слезами грусти, но и с изъявлениями радости пошли садиться в лодки, однако ж, прежде чем сесть, преклонили на берегу колена и горячо и усердно помолились, дабы небо указало им верный путь и дабы плавание их окончилось благополучно. Лодка, на которой находился Периандр, должна была идти впереди, а другие следом за ней, но не успели гребцы взяться за весла — парусов на этих лодках не было, — как вдруг на берегу появился некий статный варвар и на тосканском языке громко крикнул:

— Если вы по счастливой случайности христиане, то богом живым заклинаю вас: возьмите с собой и меня — ведь я тоже христианин!

Один из недавно освобожденных, сидевших в лодке, сказал:

— Это он выпустил нас из тюрьмы. Будьте же великодушны, — а вы, как видно, люди великодушные (слова эти были обращены к сидевшим в первой лодке), — и воздайте ему

добром за добро, которое он нам сотворил: возьмите его в лодку!

Выслушав этого человека, Периандр велел ему повернуть лодку к берегу (то была лодка с продовольствием) и взять варвара. После того как приказание Периандра было исполнено, слышались радостные крики, и руки гребцов дружно налегли на весла — таково было радостное начало этого путешествия.

Уже несколько миль прошли четыре лодки, как вдруг впереди показался могучий корабль: с попутным ветром он шел на всех парусах прямо им навстречу, точно собирался на них напасть.

Завидев его, Периандр сказал:

— По всей вероятности, это корабль Арнальда — должно полагать, Арнальд узнал, что со мной приключилось, — ну, а я бы предпочел с ним не встречаться.

Периандр еще до этого рассказал Ауристеле о своей встрече и уговоре с Арнальдом. Ауристела встревожилась от одной мысли, что снова попадет к Арнальду; она, хотя и кратко и сжато, а все же успела рассказать Периандру о том, что произошло с ней в течение года, который она провела у Арнальда, и теперь она не могла без ужаса думать о встрече двух соперников, ибо хотя Арнальд и находился в заблуждении касательно того, что Ауристела якобы сестра Периандра, однако ж она боялась, как бы обман не раскрылся. А потом, кто бы мог поручиться, что при виде всемогущего соперника Периандр не воспылает ревностью? Ведь никакое благоразумие и никакая доверчивость не помогают влюбленному, когда на его беду закрадываются к нему в душу ревнивые подозрения. Но от всех ревнивых подозрений Периандра избавил ветер, ибо ветер внезапно изменил направление: только что корабль шел с ровным попутным ветром, а тут вдруг ветер переменился, и паруса на корабле заполоскались; того ради на глазах у сидевших в лодках моряки на корабле в мгновение ока убрали паруса, а еще мгновение спустя почти не приметно для взора снова поставили их и укрепили, включая и марсели, после чего корабль, показав лодкам корму, пошел в обратном направлении, стремительно удаляясь от лодок.

Ауристела перевела дух, Периандр вздохнул с облегчением — в противоположность своим спутникам, которые мечтали пересечь на корабль, ибо его мощь сулила путешествие безопасное и благополучное. Они попытались идти за кораблем, но это оказалось невозможным: не прошло и двух часов, как корабль скрылся из виду, и гребцам оставалось лишь направить путь к острову, коего высокие снежные горы создавали впечатление, что остров совсем близко, а между тем до него было более шести миль.

Постепенно темнело, дул сильный ветер, по счастью — в спину, и оттого не так тяжело приходилось рукам гребцов, гребцы же усиленно гребли по направлению к острову.

К острову они подошли приблизительно в полночь, — так определил время по Полярной Звезде и ее стражам Антоньо; волны с тихим плеском набегали на песок, и благодаря тому, что прибой был слабый, гребцы пристали к самому острову и втащили лодки на берег.

Ночь была холодная, и путники стали искать, где бы укрыться от стужи, но так и не нашли пристанища. Тогда Периандр распорядился, чтобы все женщины перешли на головную лодку, сели как можно теснее и прижались друг к дружке — так-де им будет теплей. Женщины послушались его, а мужчины порешили нести подле лодок караул и, как часовые, стали ходить взад и вперед в надежде, что на рассвете им удастся определить, где они находятся; в настоящую же минуту не представлялось ни малейшей возможности установить, обитаем этот остров или же необитаем. А как заботы обыкновенно отгоняют сон, то никто из этого озабоченного общества не мог сомкнуть глаза, и, заметив это, Антоньо обратился к итальянцу:

— Я хочу просить вас вот о каком одолжении: не согласитесь ли вы ради препровождения времени и для того, чтобы многотрудная эта ночь была не так для нас тяжела, поведать нам свои похождения, каковые, судя по вашей одежде и по тому, где мы с

вами встретились, должны быть редкостными и необычайными?

— Я с превеликой охотой поведал бы их вам, — отвечал итальянец, — но я боюсь одного: мои многочисленные, необычные и небывалые злоключения вряд ли способны вызвать у вас доверие.

Периандр, однако ж, ему возразил:

— Мы сами испытали такие превратности, что теперь нас уже ничто не удивит, мы способны поверить всему, что бы вы нам ни рассказали, хотя бы в ваших приключениях было больше баснословного, нежели правдоподобного.

— В таком случае приблизимся к той лодке, где находятся женщины, — предложил итальянец. — Может статься, кого-нибудь из них мой рассказ усыпит, а еще кто-нибудь, напротив, воспрянет от сна и выкажет участие, — для того же, кто повествует о своих горестях, это большое утешение — видеть или слышать, что кто-то ему сочувствует.

— Не знаю, как других, а меня это всегда утешает, — подхватила сидевшая в лодке Рикла. — И сейчас, несмотря на то, что меня одолевает дремота, я готова поплакать над вашей недолей и над долговременными вашими мытарствами.

Почти то же самое сказала Ауристела, и тут все приблизились к тому, кого с виду можно было принять за варвара, и стали со вниманием слушать его повесть, он же начал ее так:

в коей Рутилио рассказывает о себе

— Мое имя — Рутилио; мой родной город — Сиена, один из славнейших городов Италии; мой род занятий — учитель танцев; в этом роде я не имел себе равных и при желании мог бы весьма преуспеть.

В Сиене проживал некий богатый дворянин, коему небо послало дочку, не столь благоразумную, сколь пригожую, и отец задумал выдать ее за одного флорентийского дворянина, а как природным умом она не отличалась, то отец почел за нужное восполнить этот недостаток достоинствами благоприобретенными и для того порешил учить ее танцам, дабы ее грация, изящество, гибкость особенно резко означились в благопристойных танцах, каковые танцы дамам необходимо уметь танцевать, ибо мало ли какой может им представиться случай!

Я начал учить ее движениям тела, а кончилось тем, что я приобрел власть над душевными ее движениями, ибо она по своему безрассудству, о котором я уже упоминал, вверила свою душу мне, судьба же, по воле которой мои злоключения разлились широкой рекой, устроила так, что я, дабы мы оба могли наслаждаться своим счастьем, похитил девушку из родительского дома и хотел увезти ее в Рим, но как любовь свои радости не посылает даром, за преступлением же гонится по пятам наказание (вечная угроза для любовников!), то отец моей возлюбленной выказал необыкновенное проворство в розыске, и нас по дороге поймали.

Я объявил, что увожу мою супругу, она объявила, что едет со своим мужем, но это не сняло с меня вины — напротив: вина моя была признана столь тяжкой, что тяжесть эта вынудила, подвинула и побудила судью приговорить меня к смертной казни.

Меня заключили в ту темницу, где содержались другие узники, осужденные на смерть за преступления менее благородные. В узилище меня посетила женщина, которая, по ее словам, была схвачена за *futucherie*, что в переводе с итальянского означает *колдовство*; далее она мне сообщила, что начальница тюрьмы добилась ее освобождения и привела к себе в дом, дабы она травами и наговорами вылечила ее дочь от недуга, который врачи вылечить не сумели.

Однако мне надлежит сократить мой рассказ, ибо всякое повествование, как бы ни было оно само по себе занимательно, проигрывает от длиннот.

Итак, скованный по рукам и ногам, с веревкой на шее, приговоренный к смертной казни через повешение, не питая никаких надежд на помилование, я принужден был дать слово колдунье стать ее мужем, если ей удастся меня спасти. Она сказала, чтобы я не горевал, — ночью-де она порвет мои цепи, собьет колодки и, невзирая ни на какие другие препоны, освободит меня и укроет в таком месте, где недруги мои меня не достанут, сколько бы их ни было и как бы ни были они могущественны.

Я принял ее не за колдунью, но за ангела, посланного небом ради моего спасения. Я стал ждать ночи, и вот в ночной тишине она вошла ко мне и сказала, чтобы я ухватился за конец тростинки, и велела следовать за ней. Я колебался, однако искушение было слишком велико: я попробовал пошевелить ногами, и тут оказалось, что на ногах моих нет ни цепей, ни колодок, все тюремные двери распахнуты настежь, тюремщики и стражи спят мертвым сном. Когда же мы вышли на улицу, избавительница моя расстелила на земле епанчу и, велев мне стать на нее, сказала, чтобы я приободрился и бросил на время свою набожность. В этом

я тотчас же усмотрел недобрый знак: я тотчас же догадался, что она намерена поднять меня на воздух, но хотя, как твердый в своей вере христианин, я считал колдовство вздором (да оно и в самом деле вздор), однако нависшая надо мною смертельная опасность придала мне решимости, и в конце концов я ступил на епанчу, колдунья, бормоча нечто нечленораздельное, стала рядом со мной, и вслед за тем епанча стала подниматься на воздух, на меня же напал необоримый страх, и не было такого святого, к которому я бы мысленно ни воззвал.

Должно думать, она заметила, что мне страшно, и догадалась, что я молюсь, потому что она велела мне перестать молиться. «Горе мне! — воскликнул я. — Какие блага ожидают меня впереди, если мне не дают помолиться богу — подателю всякого блага?»

Тут я закрыл глаза, и демоны меня понесли, а ведь это и есть почтовые лошади колдуний; летели же мы так несколько часов кряду, а в сумерках очутились на неведомой земле. Епанча опустилась на землю, и моя избавительница мне сказала: «Ты находишься в таких краях, друг мой Рутилио, где ни один смертный тебя не достанет».

Сказавши это, она попыталась не весьма скромно меня обнять. Я отвел ее руки и тут только разглядел, что пыталась меня обнять волчица, от какового зрелища в сердце у меня все захолонуло, разум мой помрачился и незаурядное мое мужество начало было мне изменять, однако в минуту великой опасности слабая надежда на спасение обыкновенно пробуждает в душе решимость отчаяния: так и мои слабые силы вложили мне в руку нож, случайно оказавшийся у меня за пазухой, и я, влекомый бешеной злобой, вонзил его в грудь той, кого я принимал за волчицу, она же, грянувшись оземь, утратила обличье волчицы — на земле лежала злосчастная волшебница, окровавленная и уже бездыханная.

Представьте, синьоры, мое положение: я — в неведомом краю, и кругом нет никого, кто бы меня вывел отсюда. Я долго ждал рассвета, солнце все не восходило, небо на востоке даже не светлело. Я отошел от мертвого тела, внушавшего мне страх и ужас, и стал озирать небесный свод и наблюдать за светилами: судя по их течению, дню надлежало уже наступить.

Я все еще находился в недоумении, как вдруг мне совсем близко послышались голоса, и я не ошибся; я пошел навстречу голосам и спросил по-тоскански, что это за страна.

Один из путников ответил мне тоже по-итальянски:

«Эта страна — Норвегия. Но кто ты таков? Ты задал мне вопрос на таком языке, который здесь почти никто не понимает».

«Я несчастный человек, — отвечал я. — Я хотел избежать смерти и очутился у нее в объятиях».

И тут я вкратце рассказал ему о моем полете вплоть до убийства колдуньи.

Незнакомец, как видно, проникся ко мне жалостью.

«Изьяви, добрый человек, бесконечную благодарность богу, — сказал он, — за то, что он вырвал тебя из рук злокозненных колдуний, коими полночные края обильны. Про них говорят, что они превращаются и в волков и в волчиц, приносящих равновеликий вред своим волхвованием. Как такое может статься — того я не ведаю и, будучи христианином-католиком, тому не верю, но опыт мой доказывает мне противное; сдается мне, что все эти превращения суть не что иное, как сатанинское наваждение, как попущение божие, как наказание господне этому отродью за великие его прегрешения».

Я спросил, который теперь может быть час: ночь, мол, тянется нескончаемо долго, а день все не наступает. Он же ответил, что в дальних этих краях четыре времени года: три месяца длится темная ночь, солнце не показывается ни на мгновенье; три месяца висит утренняя полумгла — ни ночь, ни день; три месяца бывает светло круглые сутки, солнце

совсем не прячется, а еще три месяца висит полумгла ночная, — теперь же, мол, пора утренней полумглы и ждать восхода солнца напрасно, равно как напрасно-де стал бы я надеяться скоро вернуться на родину: это может быть не прежде, чем настанет пора непрерывного света, — тогда отсюда идут торговые корабли в Англию, Францию и Испанию.

Незнакомец спросил, что я умею делать и чем бы я мог прокормиться до возвращения на родину. Я ответил, что я танцор, великий мастер по части прыжков и изрядный фокусник.

Незнакомец весело рассмеялся и сказал, что подобного рода искусники, или же ремесленники (называй, мол, как хочешь), в Норвегии, равно как и в других полных странах, не требуются. Он спросил, не знаком ли я с ювелирным ремеслом. Я же ему на это ответил, что легко усваиваю все, что бы мне ни преподали.

«Ну так пойдем, братец, со мной, — предложил он, — только прежде давай предадим земле тело этой несчастной».

Мы похоронили ее, а затем он повел меня в город, и там я увидел, что жители ходят по улицам, держа в руках зажженные факелы, и ведут торг.

Дорогой я спросил моего спутника, каким образом и давно ли очутился он в этой стране, и чистокровный ли он итальянец. Он же мне на это ответил, что один из его далеких предков, прибыв сюда по делам, нашел себе здесь жену, детей же своих научил языку итальянскому, и так это передавалось из поколения в поколение и передалось в конце концов и ему, являющемуся одним из потомков того выходца из Италии.

«И вот я, — добавил он, — исконный житель и гражданин этой страны, любящий отец и муж, породнившийся со здешним народом, — я забыл и думать об Италии и о тамошней моей родне, о которой я слышал от моих родителей».

Описывать вам сейчас дом, куда меня привели, жену и детей моего благодетеля, его многочисленных слуг, то великое довольство, в коем жила вся эта семья, и оказанные мне гостеприимство и радушие — значит отнять у вас слишком много времени. Довольно сказать, что я овладел ремеслом ювелира и несколько месяцев спустя мог уже прокормиться своим трудом.

Тем временем настало такое время года, когда во всей той стране настает беззакатный день, и мой хозяин и учитель (я могу его так назвать с полным правом) надумал отвезти изрядное количество своего товара на ближние и дальние острова. Я отправился с ним как из любопытства, так и с намерением кое-что продать, и во время нашего путешествия я видел много дивного и страшного, смешного и занятного. Я наблюдал нравы, присутствовал при обрядах, дотоле мною не виданных и нигде более не принятых. По прошествии же двух месяцев нас застигла буря, длившаяся около сорока дней, а на сороковой день нас понесло к скалистому берегу того острова, от которого мы сегодня отошли, и судно наше разбилось, и никто из мореплавателей не уцелел, кроме меня.

в коей Рутилио продолжает рассказывать о себе

— Первое, что представилось моему взгляду, прежде чем я еще что-либо успел разглядеть, это висевший на дереве и удушенный варвар, из чего я вывел заключение, что нахожусь в стране варваров диких, и тут страх начал рисовать передо мною картины одна ужаснее другой, и я не знал, как мне быть, ибо воображение говорило мне, что не одна, а целые тысячи смертей здесь меня ожидают.

Однако, как говорится, нужда мудрее мудреца; так и мне пришла в эту минуту престранная мысль: я снял казненного с дерева и, раздевшись догола и закопав свою одежду в песок, надел на себя его одеяние, и оно мне вполне годилось, оттого что это были самые обыкновенные звериные шкуры, не скроенные и не сшитые на чей-либо рост, а лишь перетянутые поясом, — подобного рода одежду вам уже приходилось видеть. Чтобы меня не выдал мой родной язык и чтобы во мне не узнали чужестранца, я притворился глухонемым и, прибегнув к такой хитрости, двинулся в глубь острова, подсакивая и подпрыгивая.

Немного погодя я увидел толпу варваров; они тотчас окружили меня и, как я потом уже догадался, забросали меня вопросами: кто я таков, как меня зовут, откуда и куда путь держу. Я постарался молчанием и красноречивыми знаками объяснить им, что я немой, и давай опять скакать и прыгать.

В конце концов я выбрался из толпы, но за мной по пятам стали ходить мальчишки: куда я, туда и они. Благодаря такой хитрости я сошел за варвара и притом за немого, а мальчишки за мои прыжки и скачки кормили меня.

Так я провел среди варваров целых три года и мог бы провести всю жизнь, оставшись неузнанным. Я со вниманием и любопытством изучал их язык; запомнил много слов; узнал, какое будущее предсказывал их царству один старый и мудрый варвар, которому они верили беспрекословно; присутствовал при том, как, дабы предсказание его сбылось, приносили в жертву мужчин; при мне для той же цели покупали девушек, и так продолжалось до тех пор, пока на острове не вспыхнул пожар, который вам, синьоры, довелось видеть. Не пострадав от огня, я поспешил выручить пленников, томившихся в подземелье, где, по всей вероятности, побывали и вы. Увидев ваши лодки, я прибежал на берег, и тут мои мольбы тронули благородные ваши сердца, и вы меня взяли с собой, за что я вам изъявляю безграничную свою благодарность и прошу благие небеса, всех нас избавившие от такой страшной напасти, да помогут они нам благополучно достигнуть цели нашего путешествия.

На сем окончил свою повесть Рутилио, и она привела слушателей в изумление и доставила им удовольствие.

Настал холодный, пасмурный день, в воздухе закружился снег. Ауристела вручила Периандру то, что перед смертью отдала ей Клелия, а именно — два восковых футлярчика; в одном из них оказался бриллиантовый крестик такой громадной ценности, что определить ее на глаз было немислимо, а в другом — жемчужные серьги, коим также не было цены. По этим драгоценностям все сейчас догадались, что Ауристела и Периандр — люди знатные, хотя об этом еще нагляднее свидетельствовала величественная их осанка, а равно и приятность в обхождении.

Когда рассвело, Антоньо решился побродить по острову, но не обнаружил ничего, кроме скал и снеговых гор, и, возвратившись, объявил, что остров необитаем и что укрываться от холода и пополнять иссякающие съестные припасы придется где-нибудь в другом месте.

Лодки были поспешно спущены на воду, и как скоро все заняли свои места, гребцы стали грести к острову, видневшемуся невдалеке.

Меж тем как они двигались к острову с тою скоростью, на какую способны двухвесельные лодки, с одной из тех двух лодок, где разместились недавно освобожденные пленники, донесся тихий и нежный голос, и все невольно его заслушались. Оказалось, что пел этот голос на языке португальском, на каковое обстоятельство прежде других обратил внимание Антонио-отец, хорошо знавший португальский язык. Затем голос умолк, а немного спустя, уже на языке кастильском, снова запел под тот же аккомпанемент весел, с мерным скрипом стремивших лодки по морской глади, и пел он такую песню:

По воле моря, ветра и светил
Корабль ваш дивный в порт благословенный
Бежит, скользя над бездной довременной,
Чью ширь еще никто не бороздил.

Он не страшится ни Харибд, ни Сцилл,
Ни рифов, скрытых под волною пенной.
Затем что чистотою несравненной
Он защищен от всех враждебных сил.

Но даже если вам, пловец безвестный,
Не верится, что вы придете в порт, —
Назад не поворачивайте судно:

Любовь с непостоянством несовместна,
И к ней находит путь лишь тот, кто тверд
В опасностях дороги многотрудной.

Когда голос умолк, Рикла сказала:

— Видно, этот певец — ленивец и бездельник, коли в такое время вздумал распевать песни.

Периандр и Ауристела с нею, однако ж, не согласились: они догадались, что то не бездельник поет, но влюбленный, влюбленные же всегда чувствуют родственную душу и стремятся завязать дружбу с человеком, который страдает тем же недугом, что и они. Того ради с дозволения всех, кто находился в их лодке, хотя дозволения и не нужно было спрашивать, Ауристела и Периандр предложили певцу перейти к ним, дабы они могли насладиться его голосом вблизи и дабы постигнуть, что же он собой представляет, ибо человек, который способен в такую минуту петь, должен или очень сильно чувствовать, или же быть вовсе бесчувственным. Лодки стукнулись бортами, певец перешел в лодку Периандра, и все, кто в ней находился, встретили его с распростертыми объятиями. Перейдя из лодки в лодку, певец заговорил на смеси португальского с кастильским:

— Благодарю небо, благодарю вас, сеньоры, и, наконец, благодарю свой собственный голос за эту перемену к лучшему — за переход в другую лодку, хотя, впрочем, я полагаю, что эта лодка очень скоро избавится от груза моего тела, ибо душевные муки мои внятно говорят о том, что мне осталось жить считанные мгновенья.

— Бог все делает к лучшему, — заметил Периандр. — Уж если я остался жив, значит нет

таких невзгод, которые могли бы свести человека в могилу.

— Нет такого несчастья, которое могло бы сокрушить и уничтожить надежду, — вмешалась Ауристела. — Подобно как солнечный луч ярче сияет во мраке, так же точно надежда выходит из испытаний еще более твердой, отчаиваться же свойственно существам малодушным: как бы человек ни был измучен, но если он предается отчаянию, то это свидетельствует о его крайней трусости и душевной слабости.

— По крайнему моему разумению, в такие минуты человеку надлежит взять себя в руки и стиснуть зубы, — сказал Периандр. — Ни при каких обстоятельствах не должно терять надежду, ибо тем самым мы гневим бога, — а мы не смеем его гневить, — мы истощаем бесконечное его милосердие.

— То правда, — согласился певец, — я и сам так думаю вопреки и наперекор тому опыту, который я за свою жизнь приобрел в беспрерывных моих огорчениях.

Эта беседа не мешала гребцам грести, и еще засветло путники причалили к острову, на котором также не было людей, но зато были деревья, и даже в большом количестве, и притом — обильные плодами, каковые плоды, несмотря на то, что пора их уже прошла и они переспели, были все еще съедобны.

Все спрыгнули на землю и, втащив на берег лодки, с великим проворством принялись рубить деревья и строить большой шалаш для защиты от холода. Применяв известный и много раз испытанный способ, то есть потерев один кусок дерева о другой, добыли огня. Все взялись за работу дружно, благодаря чему жалкое сооружение было воздвигнуто в наикратчайший срок, и все в нем разместились, и хотя помещение не отличалось большими удобствами, зато здесь было много тепла и света — того ради хижина эта показалась путникам обширнейшим дворцом.

Утоливши голод, все, уж верно, расположились бы ко сну, когда бы тому не воспрепятствовало желание Периандра послушать историю певца, и он в самом деле обратился к певцу с просьбой поведать им свои злоключения, ибо случаями счастливыми их-де назвать нельзя, коль скоро они его довели до такой крайности. Любезный певец, не заставив себя долго упрашивать, начал свой рассказ так:

О чем рассказал влюбленный португалец

— Я постараюсь как можно скорее окончить рассказ мой, и на том окончится и моя жизнь, если только меня не обманул сон, минувшею ночью пронзивший мне сердце.

Я, сеньоры, португалец по рождению, происхожу от благородных родителей, щедро наделен благами Фортуны, не обделен и качествами природными, зовут меня Мануэль де Соза Кутины, мой родной город — Лисабон, по роду занятий я воин.

По соседству с нами, можно сказать — стенка в стенку, жил кавальеро из древнего рода Перейра, у которого была единственная дочь, единственная наследница его огромного состояния, опора и надежда родителей своих, и ее родовитость, богатство и красота прельщали самых завидных женихов королевства португальского. Я же по соседству мог видаться с нею чаще, чем кто-либо другой, и точно: я ею любовался, я ее узнал ближе и полюбил, питая смутную и слабую надежду, что когда-нибудь она станет моей женой, и вот, дабы опередить других и приняв в соображение, что признаниями, обетами и подношениями от нее все равно не добьешься согласия, порешил я, благо по рождению, достоянию и по годам мы с нею вполне подходящая пара, заслать к ней сватом одного моего родственника.

Ответ ее отца был таков: дочь наша Леонора еще мол, не пришла в возраст; следует подождать два года, в течение которых он-де, не известив меня, ничего не предпримет.

То был первый удар по броне моего терпения и по щиту надежды моей, что, однако, не помешало мне у всех на глазах за нею ухаживать — право на это мне давали честные мои намерения, которые, кстати сказать, вскоре стали известны всему городу; она же, укрывшись в крепости благоразумия своего и в бастионах своей скромности, с дозволения родителей и не роняя достоинства принимала мои ухаживания, давая понять, что если она и не отличает меня перед другими, то во всяком случае мною не гнушается.

Случилось, однако ж, что в это самое время король возложил на меня командование одною из воинских частей в Берберии, а это пост столь же высокий, сколь и ответственный.

Наступил день моего отъезда, и если в тот день я не умер, то, значит, разлука никого не убивает, душевная боль никого не умерщвляет. Я имел беседу с отцом Леоноры и вновь взял с него слово касательно двух лет ожидания. Он изъявил мне сочувствие, — то был человек проникательный, — а затем предложил проститься с его женою и дочерью, и Леонора с матерью вышли ко мне, вместе же с нею в зале появились благопристойность, изящество и молчаливость.

Увидев так близко такую красавицу, я окаменел; хотел что-то сказать, но голос мне не повиновался, язык прилип к гортани; я был в силах и в состоянии молчать и ничего более, и этим своим молчанием показать, до чего я взволнован; отец же Леоноры, будучи человеком столь же учтивым, сколь и проникательным, видя мое волнение, обнял меня и сказал:

«Расставание, сеньор Мануэль де Соза, всегда сковывает язык, и, мне думается, ваше молчание говорит в вашу пользу красноречивее любого многословия. Следуйте, ваша милость, к месту вашего назначения и возвращайтесь в срок, я же зарок своего — не выдавать пока дочку замуж — ни под каким видом не нарушу. Леонора — послушная дочь, моя жена не захочет пойти мне наперекор, я же хочу лишь того, о чем мы с вами говорили. Таким образом, у меня есть все основания полагать, что ваша милость дождетсЯ счастливой развязки, каковой развязки чаю также и я».

Слова эти с такой силой запечатлелись в моей памяти и запали мне в душу, что я не забыл

их даже до сего дня и не забуду, пока не прервется мой век. Прелестная Леонора и ее мать не сказали мне ни единого слова, и я, повторяю, также не в силах был проронить ни звука.

Я выехал в Берберию и там в течение двух лет исполнял свои обязанности таким образом, что заслужил одобрение короля, затем возвратился в Лисабон и обнаружил, что слава о благонравии и красоте Леоноры, выйдя за пределы столицы и даже за пределы всего королевства португальского, распространилась по всей Кастилии и другим странам, откуда к ней приезжали посланцы принцев и вельмож просить ее руки; Леонора, однако ж, во всем послушная родителям, ни на кого не обращала внимания.

Наконец, по истечении двухлетнего срока, я опять стал просить отца Леоноры отдать ее за меня. Но боже мой! Зачем я так подробно рассказываю? Ведь у врат жизни моей стучится смерть, и она вряд ли даст мне окончить повесть о моих несчастьях, и если, правда, не даст, то я почти себя не столь уже несчастлив.

Коротко говоря, однажды меня известили, что в будущее воскресенье родители отдадут за меня возлюбленную мою Леонору, при каковом известии я чуть не умер от радости. Я пригласил к себе родственников своих, созвал на пирушку приятелей, купил разных разностей и отослал Леоноре подарки — все это в знак того, что мы жених и невеста.

Настал, наконец, долгожданный день, и я, сопровождаемый цветом лисабонского общества, отправился в женский монастырь, так называемый Монастырь божьей матери, и там мне сообщили, что невеста ждет меня со вчерашнего дня и что по особому ее желанию и с благословения архиепископа Лисабонского венчание будет происходить здесь.

Несчастный кавальеро умолк, как бы для того, чтобы собраться с духом, а потом заговорил снова:

— Монастырь был украшен с истинно царским великолепием. Навстречу мне вышла чуть ли не вся португальская знать и множество знатных лисабонских дам. Стены храма сотрясались от громкого пения и звуков органа. Наконец, дверь, ведущая в галерею, отворилась, и в сопровождении настоятельницы и множества инокинь в храм вошла несравненная Леонора в белой атласной юбке с разрезами и в закрытой кофте, какие носят в Кастилии, причем разрезы были отделаны дорогим скатным жемчугом, а кофта — золотисто-зеленой парчой; ее распущенные белокурые волосы отливом своим затмевали блеск солнечных лучей, ниспадали же они почти до самого пола; в толпе говорили, что пояс ее, ожерелье и кольца стоят целого королевства. Словом, она была так прекрасна, так ослепительна, так грациозна, так богато убрана и так нарядна, что в женских сердцах зашевелилась зависть, меж тем как мужчины невольно залюбовались ею. О себе же могу сказать: в эту минуту я почувствовал, что недостойн Леоноры; будь я владыкою мира, и тогда, казалось мне, моя любовь должна была бы оскорблять ее.

Посреди храма было воздвигнуто нечто вроде сцены, где на просторе и без помех могло состояться наше венчание. Первою взошла на возвышение прелестная Леонора, и тут статность ее и пригожесть означились еще резче. Тем, кто на нее взирал, показалось, что это в час предутренний показалась на небе прекрасная Аврора, или же что это, если верить древнему мифу, в лесу показалась девственная Диана, а наиболее разумные, думается мне, дерзнули сравнить ее с нею же самой, и ни с кем более.

Когда я поднимался на возвышение, у меня было такое чувство, будто я поднимаюсь на небо; взойдя же, я опустился перед ней на колени и едва не поклонился до земли.

Внезапно все голоса слились в один мощный голос, произнесший такие слова:

«Живите счастливо много лет, блаженные и прекрасные жених и невеста! Пусть ваш семейный очаг в непродолжительном времени украсят своим появлением прелестные детки, а в дальнейшем пусть ваша любовь распространится и на внуков! Да не угнездятся в сердцах

ваших злобная ревность и мучительная подозрительность! Да падет зависть пред вами во прах, и пусть в чертоге вашем навеки поселится радость!»

Эти добрые пожелания преисполнили мою душу восторга, особенно, когда я увидел, как радуются все вокруг моему счастью.

Но тут прелестная Леонора взяла меня за руку и, обратясь ко мне, вполголоса заговорила: «Вам хорошо известно, сеньор Мануэль де Соза, что мой отец дал вам слово не отдавать меня замуж в течение двух лет, считая с того дня, когда вы попросили моей руки; по истечении же такового срока я-де стану вашей женой. Если память мне не изменяет, то и я со своей стороны, уступая домогательствам вашим и чувствуя себя обязанною вам за бесконечные знаки внимания, — кстати сказать, я ничем их не заслужила, я могу приписать их одной лишь любезности вашей, — дала вам обещание, что если я выйду замуж за кого-либо из смертных, то только за вас. Как видите, отец мой слово свое сдержал, я же, как вы это сейчас увидите, намерена сдержать свое слово. Мне ведомо, что во всяком обмане, даже в благородном и спасительном, если его вовремя не раскрыть и не обнаружить, есть нечто вероломное, вот почему я намерена сей же час вывести вас из того заблуждения, в которое, как вы, вероятно, найдете, я вас ввела. Я, государь мой, повенчана, и коль скоро супруг мой жив, то я никоим образом не могу венчаться с вами. Ни на кого из смертных я вас не променяла: я предпочла всем жениха небесного, господу нашего Иисуса Христа, истинного богочеловека, он и есть мой жених, я дала ему слово еще раньше, чем вам, от чистого сердца, без всякого обмана, вам же я дала слово неискреннее и неверное. Я признаю, что из женихов земных я никого не могла бы поставить рядом с вами, но раз что я задумала избрать жениха небесного, то кого же еще, как не бога? Если вы почитаете это за вероломство или же за оскорбление, то накажите меня как вам будет угодно, и обесславьте меня как вам заблагорассудится, — нет такой пытки, нет такого посула или же угрозы, которые отдалили бы меня от жениха моего, распятого на кресте».

Тут она умолкла, и в то же мгновение настоятельница и другие монахини начали снимать с нее лишние одежды и драгоценности и принялись срезать копну золотистых ее волос.

Я онемел; дабы не было заметно, что я едва держусь на ногах, я, подавив подступившие к глазам слезы, снова опустился перед Леонорой на колени и, едва не употребив силу, схватил ее руку и поцеловал; Леонора, христианским милосердием движимая, поддержала меня и помогла мне встать, а затем, не сходя с возвышения, возвысила голос так, что все ее услышали:

«*Maria optimam partem etegír*»^[8], — молвила она.

При сих словах я спустился с возвышения и вместе с друзьями возвратился домой, и дома меня неотступно преследовало воспоминание о необычайном этом происшествии, так что я едва не лишился рассудка, а теперь по той же самой причине лишаюсь жизни.

Тут португалец испустил тяжелый вздох, душа у него в тот же миг рассталась с телом, и он упал.

Периандр бросился к португальцу и обнаружил, что тот уже мертв, и это прискорбное и неожиданное происшествие всех изумило и поразило.

Первою заговорила Ауристела, находившаяся под сильнейшим впечатлением от этой смерти:

— Кавальеро не рассказал нам, что же с ним произошло минувшею ночью, и мы так и не узнаем, какие напасти уготовали ему столь печальный конец, да и в плену у варваров с ним, уж верно, происходили случаи столь же горестные, сколь и необычайные.

— На человека редко когда обрушивается одно какое-нибудь несчастье, — добавил Антоньо. — У всякой беды много подружек, они так стаями и ходят и отступаются от человека, не прежде чем сживут его со свету.

Было решено похоронить португальца с наивозможною в сих обстоятельствах торжественностью; саван заменила ему его же собственная одежда, землю — снег, крест — распятие, найденное у него на груди в ладанке (португалец был кавалер Ордена Иисуса Христа); должно заметить, что и без почетного этого знака можно было удостовериться в благородстве происхождения сего португальца, ибо явными знаками родовитости служили величественная его осанка и изысканная манера выражаться.

Немало было пролито слез при его погребении, ибо сострадание сделало свое дело и исторгло их из очей всех присутствовавших.

Тем временем ободняло; на море ничто не предвещало волнения или бури, а потому путешественники спустили на воду лодки и, отчасти печальные, отчасти веселые, со страхом, но и не впадая в отчаяние, продолжали свой путь наудачу.

Все эти моря были усеяны островами, и все или почти все эти острова были необитаемы; если же на каком-либо острове и жили люди, то все это был народ грубый, полудикий, настоящего обхождения не знавший, жестокосердый, свирепый, и, однако, путники мечтали найти у них приют, ибо не могли себе представить, чтобы островитяне оказались столь же бесчувственными, как оставшиеся у них позади снежные горы и суровые, неприступные скалы.

Так плыли они десять дней, нигде не останавливаясь, не высаживаясь и не укрываясь, ибо островки, видневшиеся справа и слева, были, по всей видимости, необитаемы. Когда же они уперлись глазами в высокую скалу, показавшуюся вдали, то напрягли все усилия, чтобы как можно скорее к ней приблизиться, ибо лодки стали уже черпать воду, а съестные припасы быстро иссякали.

В конце концов, не столько благодаря силе своих рук, сколько, как тому и быть надлежит, благодаря помощи свыше, достигли они вожделенного острова и увидели, что по берегу ходят какие-то двое, каковых незнакомцев окликнула Трансила, спросив, что это за остров, кто им правит и католики они или нет. Незнакомцы ответили на понятном ей языке, что остров этот называется Голландия^[9], что принадлежит он католикам, но что народу здесь почти нет, что здесь всего один дом, который служит гостиницей для тех, кто входит в гавань, а гавань-де вот за тем утесом, — незнакомец показал при этом рукой.

— Если же вам требуется исправить какие-либо повреждения, — добавил он, — то не упускайте нас из виду, и мы приведем вас в гавань.

Путники возблагодарили бога и двинулись морем следом за теми, что были их вожатыми на суше, и, обогнув утес, на который им указывал незнакомец, обнаружили бухту, которую можно было назвать гаванью, ибо тут стояло кораблей десять — двенадцать, малых, средних

и великих, и велика же была радость путников, когда они их увидели, ибо путники возымели надежду сменить лодки на корабли и таким образом обеспечить себе в дальнейшем плавание безопасное.

Как скоро они пристали к берегу, навстречу им с кораблей и из гостиницы поспешили люди. Периандр, Антоньо-отец и Антоньо-сын перенесли на руках прекрасную Ауристелу, облаченную в тот самый убор и наряд, в который Арнальд облачил Периандра перед тем, как продать его варварам. Вместе с нею сошли на берег очаровательная Трансила, пригожая Констанса, ее мать Рикла, а за этим строем красавиц последовали все остальные. Сей парад пригожества так изумил, поразил и восхитил всех, кто был в это время на суше и на море, что они пали ниц и поклонились Ауристеле, а затем молча устремили на нее благоговейный взор, заговорить же не решились, дабы не отвлекаться от созерцания.

Прелестная Трансила, уже имевшая случай удостовериться, что здесь ее речь понимают, первую нарушила молчание.

— Искать у вас приюта нас вынудила доселе нам не благоприятствовавшая Фортуна, — сказала она. — По нашей одежде, равно как и по всему нашему миролюбивому виду, вы можете судить, что мы стремимся не к войне, но к миру, ибо ни женщины, ни измученные мужчины в бой не вступают. Окажите же нам, сеньоры, радушный прием как у вас в гостинице, так и на ваших кораблях, ибо те лодки, на коих мы сюда прибыли, уже не дерзают и не хотят вновь довериться непостоянству морских зыбей. Если же здесь все необходимое меняется на золото или серебро, то вы будете сей же час и притом щедро вознаграждены за все, что вы нам дадите, и какую бы высокую цену вы ни назначили, мы вам будем признательны так, как если бы вы все это дали нам даром.

Один из тех, кого можно было принять за моряков, заговорил (о чудо!) на языке испанском:

— Нужно быть недальнего ума людьми, прелестная сеньора, чтобы усомниться в том, что ты говоришь правду, ибо хотя ложь двулика, хотя зло надевает на себя личину истины и добра, однако дивная твоя красота, равно как и красота твоих спутниц, ничего дурного таить в себе не может. Хозяин гостиницы — человек в высшей степени услужливый, моряки ему в том не уступят, выбирайте же, что вам более по душе: сесть на корабли или пойти в гостиницу, — и там и здесь вы найдете прием и обхождение, каких ваше великолепие заслуживает.

Тут Антоньо-отец, увидев, вернее сказать — услышав, что моряк говорит на его родном языке, сказал:

— Коль скоро господь привел нас туда, где в ушах моих вновь зазвучал приятный для слуха язык моей родины, я могу быть почти уверен, что несчастьям моим пришел конец. Пойдемте, сеньоры, в гостиницу и немного отдохнем, а затем будем продолжать наш путь в большей, чем доселе, безопасности.

Но тут марсовый неожиданно крикнул на английском языке:

— Показался корабль! Он идет с попутным ветром, на раздутых парусах, и поворачивает в гавань.

Все всполошились; никто, однако ж, не двинулся с места, все остались на берегу в ожидании корабля, который был уже хорошо виден; когда же корабль приблизился, то все на раздутых его парусах различили красные кресты, а на флагштоке развевался флаг с английским гербом. Подойдя, корабль сначала дал два орудийных выстрела, а потом залп приблизительно из двадцати аркебуз. С острова кораблю замахали белым флагом и приветствовали его радостными кликами; артиллерией же остров сей не располагал.

в коей рассказывается, кто такие были люди, прибывшие на корабле, и откуда они держали путь

Когда, как уже было сказано, с корабля, а равно и с острова, был произведен салют, с корабля в ту же минуту бросили якоря и спустили на воду шлюпку, куда, вслед за четырьмя моряками, бросившими на дно шлюпки коврики и тотчас взявшимися за весла, прыгнул пожилой мужчина на вид лет шестидесяти в доходившей ему до пят одежде из черного бархата, подбитой черным плюшем и перетянутой шелковым поясом, в высокой остроконечной шляпе, тоже, как видно, плюшевой. За ним прыгнул в шлюпку стройный и быстрый в движениях юноша, приблизительно лет двадцати четырех, одетый в черную бархатную морского покроя куртку, с позолоченной шпагой на боку и с кинжалом за поясом. Потом с корабля в шлюпку чуть не вытолкали закованного в цепи мужчину и прикованную к нему тою же цепью и теми же узами женщину; мужчине можно было дать не более сорока лет, женщине — пятьдесят с лишком; глаза мужчины горели отвагой и гневом, у нее же взгляд был грустный и унылый.

Моряки налегли на весла, и в мгновение ока шлюпка была уже у берега, куда моряки и солдаты-аркебузиры, также прибывшие в шлюпке, перенесли на руках старика, юношу и обоих узников.

Трансила, как и все прочие не отрывавшая глаз от шлюпки, обратясь к Ауристеле, сказала: — Умоляю тебя: закрой мне лицо своею вуалью! Если я не ошибаюсь, эти люди, что сидят в шлюпке, мне знакомы, и они меня знают.

Только Ауристела исполнила ее просьбу, как новоприбывшие приблизились к ним, и все, кто находился на суше, их сердечно приветствовали. Старик же направился прямо к Трансиле и сказал:

— Если зрение мое меня не обманывает и судьба надо мною не насмехается, то, значит, она мне радостную уготовала встречу.

Произнеся эти слова, он приподнял вуаль, закрывавшую лицо Трансилы, и без чувств упал в ее объятия, которые она ему отверзла и распростерла, дабы он не грянулся оземь.

Легко вообразить, в какое изумление повергло присутствовавших необычайное и неожиданное это происшествие, однако ж все еще больше изумились, как скоро услышали голос Трансилы.

— Откуда вы, дражайший отец мой? — воскликнула она. — Что вынудило вас, убеленного почтенными сединами, в ваши немолодые годы странствовать в чужедальних краях?

— Что же еще могло его вынудить, — заговорил тут пылкий юноша, — как не стремление поискать счастья, коль скоро в разлуке с тобою он счастья не знал? И он и я, ненаглядная моя госпожа и супруга, — мы оба питали надежду, что путеводная звезда когда-нибудь да приведет нас к тихой пристани, и вот, хвала небесам, пристань эту мы уже обрели! Приведи, сеньора, в чувство отца своего Маврикия и дозвожь мне разделить с ним его радость: пусть он возрадуется как твой родитель, я же — как законный супруг твой.

Маврикий тем временем пришел в сознание, но тут лишилась чувств Трансила. Ауристела поспешила к ней на помощь, Ладислав же (так звали ее супруга) не осмелился к ней подойти, ибо не желал нарушать приличия. Однако обмороки, проистекающие от событий хотя и неожиданных, но радостных, или мгновенно убивают человека или скоро проходят, а потому

и Трансила недолго была без памяти.

В это время заговорил хозяин чего-то вроде гостиницы или заезжего двора:

— Сеньоры! Пойдемте все ко мне — у меня вы с большими удобствами, и не на холоде, а в тепле, сможете поведать друг другу свои приключения.

Все послушались его совета и, войдя в гостиницу, нашли, что здесь разместилась бы целая флотилия.

Узникам помогали влачить их цепи конвойные-аркебузиры. Кое-кто из моряков отправились на корабля и с великою поспешностью, равно как и с великою охотою, привезли оттуда разного угощения. В гостинице зажгли свет, составили столы, а затем путешественники, даром времени не теряя, принялись утолять голод разными видами рыбы; что же касается мяса, то была подана лишь в большом количестве птица, которая разводится в этих краях таким удивительным способом, что именно в силу своей особенности и необычности он заслуживает того, чтобы я на нем остановился.

В морской песок меж подводных камней втыкаются шесты; нижнюю часть шестов во время прибоя заливают вода, и в непродолжительном времени вода становится твердой, как камень, а верхняя часть портится и гниет, и вот из элементов распада рождается наконец крохотный птенчик, и птенчик этот летит на сушу и постепенно превращается в большую птицу, мясо у которой до того вкусное, что оно представляет собою одно из самых лакомых блюд. Особенно много этой птицы в Гибернии^[10] и Ирландии; называется она барнасиас^[11].

Всем так хотелось послушать рассказ новоприбывших, что трапеза показалась им долгой; когда же трапеза кончилась, почтенный Маврикий, как бы прося внимания, ударил ладонью по столу.

Все словно онемели, молчание всем сковало уста, слух же насторожило любопытство, и, удостоверившись в этом, Маврикий начал свой рассказ так:

— Я родился на одном из близлежащих к Гибернии островов; род мой так же славен, как род любого из Маврикиев, — одним упоминанием своего имени я воздаю своему роду наивысшую похвалу. Я христианин-католик, однако ж не из тех, что мечутся туда-сюда в поисках истинной веры. Родители мои обучили меня как военному искусству, так и наукам, если только, впрочем, военному искусству можно выучиться. Я пристрастился к юдициарной астрологии^[12] и в сей отрасли знания немалую стяжал себе известность. Войдя в возраст, я женился на красивой и знатной девушке, уроженке того же города, что и я, и у нас родилась дочь, которую вы сейчас видите перед собой. Я соблюдал обычаи моей родной страны, во всяком случае те, которые не находятся в противоречии со здравым смыслом, и коли уж соблюдал, то не напоказ, а по совести, хотя в иных случаях притворство бывает выгодно. Дочка росла под моим крылышком — материнского крылышка у нее не стало спустя два года после того, как она родилась, я же тогда лишился опоры в старости, и все бремя забот о воспитании дочери пало на меня одного. И вот, дабы снять с себя эту ношу, непосильную для плеч старых и усталых, я, как скоро дочь вошла в возраст, задумал приискать ей такого супруга, который был бы ей опорой и спутником жизни, что я и исполнил, остановив свой выбор на прелестном юноше по имени Ладислав, — вот он сидит рядом со мной, однако ж предварительно я заручился согласием дочери, ибо я полагаю разумным и даже необходимым, чтобы родители выдавали замуж своих дочерей по их доброй воле и хотению: ведь им надобен спутник не на один день, но до конца их дней. А при несоблюдении такого правила возникало, возникает и всегда будет возникать множество недоразумений, которые в большинстве случаев влекут за собой пагубные последствия.

Надобно вам знать, что на моей родине есть один обычай, из всех дурных обычаев наихудший, а именно: когда брачный договор уже заключен и в каком-либо доме, для этой

цели избранном, надлежит быть свадьбе, то в этом доме собираются новобрачные, их братья и сестры, ежели таковые имеются, все близкие родственники как со стороны жениха, так и со стороны невесты, и все члены городского совета: одни в качестве свидетелей, а другие в качестве мучителей, каковыми их можно и даже должно назвать. Новобрачная находится в богато убранном помещении и ждет... не знаю, как бы это деликатнее выразиться, чтобы не оскорбить чувство стыда. Словом, она ждет, когда придут братья мужа, ежели таковые имеются, или же другие близкие его родственники и начнут поочередно срывать цветы его сада и мять свадебный венок, который она мечтала сохранить невредимым для своего супруга: обычай то варварский, проклятый, противоречащий всем законам нравственности и правилам приличия, ибо может ли девушка принести мужу приданое, которое было бы богаче ее девственности? Какая еще чистота может и должна быть дороже его сердцу, нежели приносимая ею в дар чистота ее нетронутости? Нравственность неотделима от стыдливости, стыдливость же от нравственности, и ежели та или другая начинает осыпаться и обваливаться, то все красивое здание рушится, обесценивается и уже ничего, кроме отвращения, не внушает. Я неоднократно пытался убедить своих сограждан в необходимости искоренить чудовищный этот обычай, но когда я, бывало, заводил о нем речь, мне затыкали рот и грозились убить, из чего я вывел заключение о справедливости старинной поговорки: «Привычка — вторая натура»; нарушение привычки для человека все равно что смерть.

Коротко говоря, дочь моя затворилась в тайнике и стала ждать своей гибели. Когда же к ней попытался войти ее деверь, дабы положить начало сей содомской мерзости, в большую залу, где все уже собрались, вбежала с копьём наперевес, — я как сейчас это вижу, — Трансила, прекрасная, как само солнце, храбрая, как львица, и разъяренная, как тигрица.

Все с величайшим вниманием слушали почтенного Маврикия, но когда он дошел в своем повествовании до решительного мига, в Трансилу вселился тот же воинственный дух, какой тогда, в том случае и в тех обстоятельствах, кои живописал ее отец, толкнул ее на смелый шаг; она вскочила и с пылающими щеками, с горящими глазами, приняв позу, которая, по правде говоря, ее не красила, — хотя, впрочем, никакое волнение великой красоте повредить не способно, — прервала речь своего отца и голосом, прерывающимся от гнева, повела речь, которая будет приведена в следующей главе.

в коей Трансила продолжает рассказ, начатый ее отцом

— Я вошла, как сказал мой отец, в большую залу, — молвила Трансила, — и, окинув взглядом собравшихся, громко и гневно воскликнула: «А ну, выходите все на меня! Ваши нечестивые, варварские обычаи ничего общего не имеют с обычаями, которые блюдет всякое благоустроенное государство. Вы люди не религиозные, а развратные, — под видом и под флагом суетных обрядов вы хотите возделывать чужие поля без позволения их законных владельцев. Вот я перед вами, злочестивцы и злоумышленники! Ну, подходите, подходите же! Здравый смысл, находящийся на острие моего копья, защитит меня и расстроит дурные ваши намерения, враждебные нравственности и чистоте душевной». Сказавши это, я ринулась прямо на толпу и, пробив себе дорогу, выскочила на улицу, потом, не сопровождаемая никем, кроме моего негодования, бросилась бежать к морю; в голове моей кружился рой мыслей, однако ж над всеми возобладала одна, и я, уже не рассуждая, прыгнула в лодчонку, которая, без сомнения, была мне послана самим богом, взяла в руки два маленьких весла и, оттолкнувшись от берега, начала изо всех сил грести. Заметив, однако ж, что меня быстро догоняют на нескольких лодках, гораздо лучше оснащенных и приводимых в движение гребцами более сильными, чем я, и что мне от них не уйти, я бросила весла и опять взяла в руки копье: я порешила живою не сдаваться и, прежде чем погибнуть, постараться на ком-либо выместить причиненную мне обиду. И тут вновь надо мною сжалилось небо, ибо ветер усилился и без помощи весел стал подгонять мою лодку, а лодка между тем попала в самый водоворот, и волна подхватила ее, как пушинку, и унесла в открытое море, отняв у моих преследователей всякую надежду меня догнать, — как видно, они убоялись бешеного течения.

— То правда, — заговорил тут супруг Трансилы Ладислав. — Ты унесла с собой мою душу, и я не мог за тобою не следовать. Однако ж в наступившей темноте мы потеряли тебя из виду, а с тем вместе потеряли надежду найти тебя живою; я мог надеяться лишь на то, что ты будешь жить в преданиях молвы, которая сохранит твой подвиг на вечные времена.

— Случилось, однако ж, — продолжала Трансила, — что ночью ветер, дувший с моря, прибил меня к берегу, и на берегу я встретила рыбаков, и те меня обласкали, приютили, даже предлагали меня просватать, если, мол, я незамужняя, и, должно думать, не на таких условиях, от которых я бежала без оглядки. Со всем тем алчность властвует даже среди прибрежных скал и утесов, царит даже в грубых сердцах детей природы; и вот этой ночью закралась она в душу к простым рыбакам, и они рассудили, что коль скоро я их общая добыча и разделить меня на части, чтобы распределить поровну, не представляется возможным, то они продадут меня корсарам, которых они заприметили днем неподалеку от того места, где они ловили рыбу. Разумеется, я могла бы предложить им больше, чем могли им дать за меня корсары, однако ж мне не хотелось чувствовать себя чем бы то ни было обязанной своей жестокой отчизне. И вот на рассвете к берегу подошли пираты, и меня им продали — не знаю, за сколько, предварительно отняв у меня все драгоценности, которые я, как новобрачная, должна была на себя надеть.

Признаюсь, корсары отнеслись ко мне лучше, нежели мои сограждане; они сказали, чтоб я не печалилась, ибо я стану не рабой, но царицей и владычицей всей вселенной, если только сбудется пророчество варваров этого острова, о котором-де столько сейчас везде разговоров. О том, как я достигла острова, как меня встретили варвары, как я выучилась за время нашей с

вами разлуки их языку, об их обрядах, церемониях и обычаях, о нелепости тех пророчеств, коим они поверили, о том, как я встретила с этими сеньорами, о пожаре, охватившем весь остров, и о нашем освобождении я вам расскажу в другой раз, а пока довольно — теперь я хочу, чтобы мой отец рассказал, какими судьбами очутился он здесь, столь неожиданно сделав счастливой судьбу своей дочери.

На этом окончила свой рассказ Трансила, всех приведя в изумление плавностью своей речи и поразив необычайной своей красотой, с которой могла идти в сравнение только красота Ауристелы.

Но тут заговорил отец Трансилы Маврикий:

— Тебе известно, прелестная Трансила, возлюбленная дочь моя, что я изучил и усвоил много разных прелюбопытных и достохвальных наук, в особенности же я увлекался юдициарной астрологией, ибо если только ты в ней преуспеешь, то она будет исполнять такое твоё желание, которое является естественным желанием всякого человека, а именно: знать не только прошедшее и настоящее, но и грядущее. И вот, когда ты скрылась от очей моих, я заметил время, сделал наблюдения над светилами, рассмотрел аспект планет, приметил место и дом; я стремился к тому, чтобы силе моего желания соответствовало мое усердие, ибо никакая наука, если только это действительно наука, сама по себе никогда никого не обманывает, — обманывается тот, кто ту или иную науку с крайним тщанием! не изучил, и особенно это относится к астрологии, ибо вследствие быстроты, с какою небесные круги вращают звезды, они, эти звезды, в разных местах влияют по-разному: в одном так, в другом этак. И вот если юдициарному астрологу удастся что-либо верно угадать, это значит, что он высказал догадку наиболее правдоподобную и основанную на опыте. Таким образом за лучшего астролога в мире должно признать дьявола, хотя он и часто ошибается: он предсказывает будущее не только на основании познаний отвлеченных, но и на основании предположений и догадок, а как он обладает долговременным опытом по части прошедшего и прекрасно осведомлен обо всем, что творится в настоящее время, то с легкостью берется судить и о будущем. Мы же навыка не имеем и оттого высказываем свои суждения вслепую, наугад. Со всем тем я установил, что в разлуке с тобой мне суждено быть два года и что сегодня и именно здесь при встрече с тобой омолодится моя старость, душа моя возблагодарит бога за возвращение моего сокровища и дух мой возрадуется при виде тебя, хотя я знал, что достигну этого ценою душевных тревог, ибо удача в большинстве случаев является как противовес несчастью, а несчастье пользуется правом и дозволением приходить вслед за событиями радостными, дабы мы помнили, что и добро не вечно и зло преходяще.

— Дай бог, — заговорила тут долго молчавшая Ауристела, — чтобы у всех у нас было путешествие благополучное, а его нам сулит радостная эта встреча.

В это время узница, с великим вниманием слушавшая рассказ Трансилы, встала, невзирая на свои цепи, а также на усилия, какие предпринимал, чтобы она не вставала, тот, кто был с нею скован одною цепью, и, возвысив голос, сказала:

из коей явствует, кто такие были отягченные цепями узники

— Если люди обездоленные имеют право говорить перед лицом счастливых, то предоставьте мне на сей раз это право, и краткость речи моей умерит чувство скуки, которую вы, слушая меня, испытаете. Ты, сеньора, — сказала она, обратясь к Трансиле, — так гневно обличала варварский обычай твоих сограждан, что, право, можно подумать, будто ты ратуешь за то, чтобы облегчить труд бедняков и снять ношу с плеч людей слабосильных. Да ведь ничего худого нет в том, чтобы коня, пусть даже самого доброго, выезжал первый, кто на него сядет. Если только нравы и обычаи не бесчестят человека, значит, нравственности они не оскорбляют. Что на первый взгляд представляется греховным, в том как раз греха-то и нет. Право же, самый лучший кормчий тот, кто прежде был простым матросом. Лоцманами из сухопутных школ не выходят. В любой науке, в любом искусстве лучший учитель — опыт, а потому и тебе лучше прийти к мужу опытной, чем несведущей и неотшлифованной.

При этих словах ее товарищ по несчастью поднес ей кулак к лицу и угрожающим тоном заговорил:

— О Розамунда!^[13] Да нет, какая ты роза! Ты не роза, а угроза — угроза нравственности, вот ты кто. Роза — цветок стыдливый, а ты и прежде такую никогда не была, сейчас ты тоже стыдливостью не отличаешься и, как видно, не узнаешь, что такое стыд, во все продолжение твоей жизни, даже если ты проживешь дольше, чем будет длиться самое время. Вот почему меня не удивляет, что ты хулишь добродетель и благонравие, кои должны быть сродны девушкам честным. Знайте, сеньоры, — оглядев присутствовавших, продолжал он, — что эту женщину сковали, потому что она сумасшедшая, однако бесстыдство ее осталось на свободе. Это та самая знаменитая Розамунда, которая была наложницей и любовницей английского короля, и о ее распутстве можно найти подробные рассказы и пространные повествования у всех народов. Она управляла королем, а следственно и всем королевством, издавала законы, отменяла законы, возвышала павших за свои преступления и сокрушала возвысившихся за свои добродетели, исполняла свои прихоти без зазрения совести, как будто нарочно для того, чтобы уронить достоинство короля и всем показать, какие нечистые у нее желания. Проявляла же она такие желания столь часто и столь беззастенчиво, и до того доходило ее бесстыдство, что в конце концов король не выдержал и, порвав алмазные узы и медные цепи, коими она сковала его сердце, удалил ее и унизил до той степени, до которой прежде возвышал. А пока она пребывала на верху колеса Фортуны и держала счастливый случай за вихор, я испытывал чувство крайней досады и все думал о том, как бы предмет любовных дум моего короля и законного владыки выставить на всеобщее посмеище. Я обладаю даром сатирика и насмешника, перо у меня бойкое, язык острый, ради красного словца я не то что родного отца, а и самого себя не пожалею. И язык мой не сковало узилище, не заставило замолчать изгнание, не устрасили угрозы, не исправили кары. В конце концов для нас обоих настал день расплаты: король распорядился, чтобы никто во всем городе, ниже во всем его королевстве и во всех его владениях не давал ей ни даром, ни за деньги никакого иного пропитания, кроме хлеба и воды, чтобы нас обоих доставили на один из многочисленных близлежащих островов, но только непременно на необитаемый, и там нас бросили, а между тем для меня это наказание страшнее смертной казни, ибо та жизнь, которую я принужден вести бок о бок с нею, хуже смерти.

— А уж как мне-то с тобой плохо живется, Клодьо! — сказала тут Розамунда. — Сколько

раз я готова была броситься во глубину морскую, и если я до сих пор этого не сделала, то единственно потому, что не хотела тебя увлечь за собой: ведь если я попаду в ад без тебя, то муки мне будут облегчены. Я признаю, что погрязла в пороках, но ведь я женщина слабая и недалекая, ты же мужчина, и притом рассудительный и опытом искушенный, а прибыль тебе от твоих пороков была только та, что ты получал удовольствие, легкое, как соломинка, которую крутит в воздухе быстролетный вихрь. Ты постоянно задевал человеческую честь, ты свергал с пьедестала людей знаменитых, ты выдавал заветные тайны, ты опорачивал то тот, то другой славный род, ты не щадил самого короля, не щадил своих сограждан, друзей, сродников; под видом прославления ты старался их обесславить. Как бы я хотела, чтобы по воле и хотению короля в наказание за мои преступления меня приговорили к другого рода казни в моем родном краю, а не к смерти от ран, поминутно наносимых мне твоим языком, от которого, пожалуй, не уберечься самому господу богу и всем святым его!

— Как бы то ни было, — возразил Клодьо, — я никогда ни на кого не клеветал, и совесть моя чиста.

— Что до твоей совести, — подхватила Розамунда, — то она должна мучить тебя за ту правду, которую ты говорил: ведь не всякую правду следует выставлять напоказ, на всеобщее обозрение.

— Что верно, то верно, — вступил тут в разговор Маврикий. — Розамунда дело говорит: правду о преступлениях, совершенных втайне, никто не смеет обнародовать, особенно о преступлениях королей и государей, правящих нами, ибо частному лицу негоже чернить короля и сеньора и указывать вассалам на его недостатки, — недостатки его этим все равно не исправишь, а подданные перестанут его уважать. И коль скоро нам всем надлежит исправлять друг друга по-братски, то почему же государь должен составлять исключение? Ведь если все станут говорить о его промахах во всеуслышание, прямо ему в лицо, то, может статься, всенародное необдуманное обличение ожесточит его нрав, и он мало того что не смягчится, а еще и закоснеет в своих пороках. А как обыкновенно порицают не только за проступки настоящие, но и за проступки мнимые, то всякий человек, порицаемый всенародно, вправе быть этим недоволен: вот почему сатирики, клеветники и злопыхатели по справедливости бывают с позором и срамом изгоняемы из своих домов и высылаемы за пределы родной страны. Это остроумнейшие плуты, или же архиплутовские остроумцы, — вот единственная похвала, которую они заслужили. Как говорится: «Предательство, может, кому и нравится, а предатели ненавистны всем». И вот еще что: ежели писака замарают чью-либо честь, то она упорхнет, и пойдут всякие людишки трепать ее по углам, и назад ее уж не воротить, а кто чести своей не восстановит, тому грехи не прощаются.

— Все это мне известно, — возразил Клодьо, — но если мне нельзя ни говорить, ни писать, то пусть лучше отрежут мне язык и отрубят руки, и тогда я грянусь оземь и стану истошно вопить в надежде, что из земли вырастет тростник царя Мидаса^[14].

— Вот что, — предложил Ладислав: — Давайте покончим дело миром и пожением Клодьо и Розамунду! Может статься, как скоро мы получим обоюдное их согласие и сочетаем их священными узами брака, они после перемены, которая произойдет в их судьбе, переменят и свой образ жизни.

— Добро! — вскричала Розамунда. — У меня есть нож, и я отворю им врата в груди моей и выпущу мою душу, а душа у меня запросилась наружу, едва зашла речь об этом ни с чем не сообразном и безобразном браке.

— А я рук на себя не наложу, — объявил Клодьо. — Пусть я сплетник и насмешник, но мне до того приятно говорить о ком-либо дурно, когда у меня это хорошо выходит, что я хочу жить только ради того, чтобы злословить. Вот только я предпочел бы держаться

подальше от государей, — у них руки длинные, и они до чего угодно и до кого угодно дотянутся; я уже познал на собственном опыте, что сильных лучше не трогать. А по-христиански нам надлежит молиться о здравии и долгоденствии государя, если он добрый, или же, если он злой, о том, чтобы он исправился и изменился к лучшему.

— Кто дошел до такого сознания, тот сам уже на пути к исправлению, — заметил Антоньо-отец. — Нет такого великого греха или же застарелого порока, который не смыло бы и не убило раскаяние. Злой язык — это как бы обоюдоострый меч, который пронзает насквозь, или же как молния небесная, которая, не тронув ножны, разрезает и крошит шпагу. И хотя беседам и разговорам придает вкус соль злословия, однако ж в большинстве случаев после такого разговора остается горький и противный привкус. Язык отличается не меньшим проворством, нежели мысль, но если вреден плод, заключенный в утробе мысли, то язык, с помощью которого этот дурной плод выходит наружу, причиняет вред сугубый. Слово — что камень: коли метнет его рука, то уж потом назад не воротишь, и будет он себе лететь, покуда не упадет. Также и тут: вымолвил слово — после спокаешься, да уж поздно: чаще всего вина за сказанное слово с тебя не снимается. И все-таки, повторяю, искреннее раскаяние — это наилучшее средство от душевных недугов.

первой книги этой длинной истории

Тут в гостиницу вошел моряк и объявил во всеуслышание:

— Чей-то большой корабль на всех парусах идет к пристани, и я до сих пор не различил сигнала, по которому можно было бы догадаться, откуда он.

В ту же минуту слух присутствовавших был поражен громовым залпом: палила многочисленная артиллерия корабля, подходившего к гавани, но то был залп холостой, без единого боевого заряда — явный знак мира, а не войны. Так же точно ответил ему корабль Маврикия, причем за орудийным залпом последовал залп ружейный.

Все, кто находился в гостинице, выбежали на берег, и Периандр, едва взглянув на подошедшее судно, сейчас узнал корабль датского принца Арнальда, но нимало тому не возрадовался, напротив: внутри у него словно что-то оборвалось, а сердце сильно забилося. Так же стучало и колотилось сердце Ауристелы: она знала давно, что Арнальд пылает к ней страстью, и теперь она ясно себе представляла, что чувство Арнальда и чувство Периандра вместе не уживутся — неумолимая, яростная стрела ревности пронзит их обоих.

А тем временем Арнальд уже приближался в шлюпке к берегу, и Периандр двинулся ему навстречу, Ауристела же не сделала ни шагу вперед; ей хотелось, чтобы ее пригвоздили к месту и чтобы ноги ее превратились в узловатые корни, в какие превратились ноги дочери Пинея^[15], когда за нею гнался неутомимый бегун Аполлон. Арнальд увидел и узнал Периандра и, не дожидаясь, пока его перенесут, прыгнул с кормы, а затем, очутившись на суше и в объятиях Периандра, которые тот ему распростер, обратился к Периандру с такими словами:

— Будь я настолько удачлив, друг Периандр, что вместе с тобою встретил бы и сестру твою Ауристелу, мне была бы уже не страшна никакая невзгода, большего счастья я и ожидать бы не мог.

— Она здесь, со мной, доблестный сеньор, — молвил Периандр. — Небо, споспешествовавшее твоим честным и благородным намерениям, сохранило тебе ее в целости и невредимости, и она, в свою очередь, заслужила этот благополучный исход чистотою своих побуждений.

Между тем все уже были осведомлены, кто таков прибывший на корабле принц. Ауристела, однако ж, была неподвижна и безгласна, как изваяние; рядом с нею стояла прелестная Трансила и еще две женщины — Рикла и Констанса, коих только по наружному виду можно было причислить к племени варваров.

Арнальд приблизился к Ауристеле и, опустившись на колени, молвил:

— Приветствую тебя, путеводная звезда моя, которая вела за собой благородные мои намерения! Приветствую тебя, звезда неподвижная, указавшая мне тихое пристанище, где меня ожидает венец моих благих желаний!

На все это Ауристела не ответила ни единого слова, лишь из очей ее брызнули слезы и заструились по румяным щекам.

Арнальд смутился: он не мог взять в толк, от горя или же от радости плачет Ауристела. Периандр между тем все примечал, ни одно душевное движение Ауристелы не ускользало от его взора, и наконец он разрешил сомнение Арнальда, поведя с ним такую речь:

— Сеньор! Молчание и слезы сестры моей — это знак изумления и восторга. Изумление вызвано неожиданностью встречи, слезы же хлынули у нее от счастья видеть тебя. Чувство

благодарности ей сродно, как всякой девушке из хорошей семьи, и она сознает, в каком она перед тобой долгу за все твои благодеяния и за твое неизменно бескорыстное к ней отношение.

Тут все отправились в гостиницу, столы опять начали ломиться от яств, и все разыграли духом при виде чаш, наполненных выдержанным вином; надобно заметить, что вино, которое долго странствовало по морям, ни с каким нектаром не сравнится.

Этот второй обед был устроен в честь принца Арнальда. За обедом Периандр рассказал принцу, что случилось на острове варваров, как была освобождена Ауристела, а равно и обо всех других событиях и происшествиях, читателю уже известных, и Арнальд подивился, прочие же вновь восторжествовали и возликовали.

Тут хозяин гостиницы сказал:

— Мне неудобно об этом говорить, но меня тревожат небесные знамения, предвещающие штиль: закат ясный и чистый; вблизи и вдали ни единого облачка; волны с мягким, чуть слышным шорохом набегают на берег; птицы безбоязненно летают над морем — все эти признаки надолго установившейся хорошей погоды говорят о том, что досточтимым моим гостям, коих сама судьба привела ко мне в гостиницу, надлежит покинуть меня.

— Ваша правда, — сказал Маврикий. — Хотя общество такого благородного человека, как вы, нам приятно и дорого, однако долго им наслаждаться нам не позволяет желание как можно скорее возвратиться на родину. По моему разумению, нынче ночью в первую же вахту должно поднять паруса, если только против этого не возражают лоцман и конвоиры.

Арнальд же к сказанному прибавил:

— Потерянного времени не наверстаешь, — особенно это относится ко времени, потерянному мореходами.

Коротко говоря, все находившиеся в гавани сошлись на том, что нынче же ночью они отбудут в Англию.

Арнальд встал из-за стола, взял за руку Периандра, вышел с ним из помещения и наедине, с глазу на глаз, сказал ему:

— Друг Периандр! По всей вероятности, сестра твоя Ауристела не утаит от тебя, что два года она находилась у моего отца-короля, и за все эти два года я, охраняя ее невинность, не проронил ни единого слова, которое могло хоть сколько-нибудь задеть ее нравственность, и ни разу не осведомился о ее происхождении, довольствуясь лишь тем, что она сама почла за нужное сообщить о себе; в воображении же своем я рисовал себе ее не простою смертною, в низком состоянии рожденною, но царицею мира, ибо непорочность ее нрава, степенность и не заурядная, а из ряду вон выходящая рассудительность не позволяли мне думать о ней иначе. Я неоднократно просил ее руки, просил с благословения отца моего, однако предложение мое всякий раз отвергалось: Ауристела говорила мне, что, пока она не побывает в Риме и не исполнит данного ею обета, она собою располагать не может. Она мне так и не сообщила, какого она звания и кто ее родители, я же к ней с этим, повторяю, не приставал, — я полагал, что она сама по себе, независимо от своего происхождения, достойна быть не только королевою Дании, но и самодержицею мира. Все это я говорю для того, чтобы ты, Периандр, как человек рассудительный и здравомыслящий, понял, что не такая уж низкая доля стучится у врат благополучия твоего и твоей сестры: ведь я вновь подтверждаю данное мною слово стать ее супругом и готов исполнить свое обещание, когда и где ей будет угодно — под убогою кровлею этой гостиницы или под кровлею золоченою одного из дворцов римских. Тебе же я даю обещание держаться в пределах скромности и благопристойности, хотя бы я и сгорал в огне страстей и желаний, разжигаемом разнузданной чувственностью и кажущейся близостью счастья, которая терзает душу сильнее, нежели смутная на него надежда.

На сем окончил свою речь Арнальд и приготовился выслушать с величайшим вниманием ответ Периандра; ответ же его был таков:

— Я вполне сознаю, доблестный принц Арнальд, в каком мы с моей сестрой перед тобою долгу за все добро, которое ты для нас уже сделал, и за ту честь, которую ты оказываешь ныне: мне — тем, что желаешь наречься моим братом, ей — тем, что желаешь

наречья ее супругом. Однако, хотя со стороны, вероятно, покажется, безумием, что два убогих странника, изгнанных из родного края, не торопятся принять сие лестное для них предложение, я почитаю за должное уведомить тебя, что при всей нашей к тебе приверженности мы вынуждены предложение твое временно отвергнуть. Мы с сестрой по велению судьбы, а равно и по велению сердца, направляемся в священный город Рим, и, покуда мы там не побываем, мы не имеем права пользоваться каким-либо стечением обстоятельств, и в себе мы не вольны, поступать по своему благоусмотрению нам пока не дано. Только после того как господь сподобит нас ступить на священную землю и поклониться ее святыням, мы обретем свободу распорядиться нашей до тех пор ограниченной свободой, и вот тогда я всецело употребляю ее на то, чтобы угодить тебе. Еще я должен сказать, что если благое твое начинание осуществится, то ты возьмешь себе в жены девушку знатнейшего рода, я же буду тебе не шурином, но родным братом. Хотя ты уже к так облагодетельствовал нас обоих, со всем тем я молю тебя довершить благодеяние и не расспрашивать меня более подробно о нашем происхождении и о нашей жизни, ибо правду я тебе сказать не могу, следственно принужден буду лгать, выдумывать всякие небылицы, морочить тебя рассказами и враками.

— Располагай мною, брат, как тебе вздумается и как тебе взглянется, — молвил Арнальд. — Вообрази, что я воск, а ты печать, и ты волен запечатлеть на мне все, что угодно. Если хочешь, мы нынче же ночью выедем в Англию, оттуда недалеко до Франции, а из Франции БЫ отправитесь в Рим, я же, если только ты ничего не имеешь против, буду сопровождать вас на условиях, какие ты сам мне назначишь.

Периандру это предложение было не по душе, однако он его принял: он надеялся, что с течением времени все как-нибудь уладится.

Итак, уповая каждый по-своему на будущее, возвратились они оба в гостиницу, дабы уговориться об отъезде.

От Ауристелы не укрылось, что Арнальд и Периандр удалились, и она со страхом ждала окончания их разговора. И хотя ей была известна скромность принца Арнальда, равно как и вящая рассудительность Периандра, всякого рода опасения не давали ей покою: ей представлялось, что Арнальд, сила страсти которого была равна его могуществу, перейдет от молений к враждебным действиям, ибо в душе любовников отвергнутых терпение иной раз превращается в бешенство, а учтивость — в грубость. Как же скоро она увидела, что Арнальд и Периандр возвращаются в состоянии благодушном и миролюбивом, у нее сразу отлегло от сердца.

Злоречивый Клодьо узнал, кто таков Арнальд, и теперь он, опустившись на колени, взмолился к нему, чтобы тот велел снять с него цепи и избавил от общества Розамунды. Маврикий сообщил Арнальду, какого звания Клодьо и Розамунда, каковы их преступления и какая применена к ним мера наказания. Движимый состраданием, Арнальд обратился с просьбой к капитану, от которого зависела их судьба, чтобы тот велел расковать их; он же, Арнальд, берет-де их на поруки, а как он — близкий друг короля, то и постарается добиться для них помилования.

Послушав такие речи, злоречивый Клодьо сказал:

— Если бы все властелины творили только добро, то никто не говорил бы про них дурного, а кто поступает дурно, тот может ли надеяться, что о нем станут хорошо отзываться? Ведь если низость человеческая чернит даже дела добрые и полезные, то почему же тогда не порицать дурные? Может ли ожидать доброго урожая тот, кто сеет плевелы злобы? Возьми же меня с собою, принц! Ты увидишь, что я превознесу тебя до небес.

— Нет, нет, не надо меня превозносить за мои врожденные душевные свойства, —

возразил Арнальд. — А кроме того, похвала только тогда хороша, когда хорош тот, кто хвалит, и она же обращается во зло, когда тот, кто хвалит, порочен и дурен. Похвала — награда за добродетель в том случае, если добродетелен тот, кто хвалит, — тогда это и впрямь похвала; если же он порочен, то его похвала — это срам.

Арнальд рассказывает о том, что случилось с Таурисой

Ауристеле крайне любопытно было знать, о чем Арнальд, выйдя из гостиницы, беседовал с Периандром, и она ждала удобного случая, чтобы расспросить Периандра, а еще ей хотелось узнать у Арнальда, что случилось с ее служанкой Таурисой, и, словно угадав ее мысли, Арнальд сказал:

— Несчастья, случившиеся с тобой, прелестная Ауристела, должно полагать, заслонили от тебя те, о которых все же следовало бы помнить. Впрочем, я бы даже хотел, чтобы ты вычеркнула из памяти и меня, ибо одна мысль о том, что ты хотя малое время обо мне помнила, уже наполняет меня восторгом: ведь если мы кого-то забываем, значит когда-то мы о нем помнили. Забвение, которое наступает теперь, опускает завесу над тем, что было нам памятно прежде. Так или иначе, вспоминаешь ты обо мне или же не вспоминаешь, я всем доволен, я покорен велению небес, которые назначили мне в удел принадлежать тебе, и такова же моя добрая воля — быть тебе во всем послушным. Твой брат Периандр поведал мне многое из того, что случилось с тобой после твоего вынужденного отъезда из моего королевства. Некоторые из этих случаев меня удивили, иные поразили, но и те и другие одинаково ужаснули. Еще я замечаю, что несчастья обладают способностью изглаживать из памяти наши нравственные обязательства по отношению к другим людям, даже самые священные: так, например, ты меня не спросила ни о моем отце, ни о своей служанке Таурисе. Отца я оставил в добром здравии и в надежде, что я тебя разыщу и с тобою встречусь; Таурису же я взял с собой: у меня было намерение продать ее варварам, дабы она, как лазутчик, выведала, отдала ли тебя судьбина им в руки. О том, как попал ко мне на корабль твой брат Периандр, он сам тебе, наверное, рассказал, а равно и о нашем с ним уговоре. Я неоднократно пытался пристать к острову варваров, но каждый раз мне мешал неблагоприятный ветер. И в этот раз я шел к острову все с тою же целью и с одним желанием, и небо исполнило это мое желание, щедро меня вознаградив и сняв с меня бремя тяжелых дум и всечасных забот: я снова вижу тебя! Что же касается служанки твоей Таурисы, то она тяжело и опасно заболела, и назад тому дня два я отдал ее на попечение двум моим друзьям, дворянам, которых я встретил в море: они на большом корабле ехали в Ирландию; мой же корабль скорее похож на корсарский, нежели на корабль королевского сына: на нем нет никаких удобств для больных, нет никаких лекарств, — вот почему я уговорился с моими друзьями, что они возьмут ее на свой корабль, доставят в Ирландию и обратятся к своему государю с просьбой, чтобы он позаботился о ее лечении, об уходе за ней и позволил ей побыть в Ирландии до моего приезда. Мы только что условились с твоим братом Периандром отбыть сегодня в ночь, и где бы мы ни высадились: в Англии, в Испании или же во Франции, — у тебя всегда будет полная возможность осуществить благочестивое свое намерение, о котором я слышал от твоего брата, а я пока что возложу мои надежды на рамена моего терпения и обопрусь на посох благоразумия твоего. Я прошу тебя и умоляю, госпожа моя, сказать, совпадает ли и согласуется ли твое желание с нашим; если же наши желания в чем-либо расходятся, то мы своего решения в жизнь не претворим.

— Моя воля — это воля брата моего Периандра, — отвечала Ауристела, — а как он человек рассудительный, то он ни на мгновение не выйдет из твоей воли.

— Ну, а я желаю не повелевать, но подчиняться, — объявил Арнальд, — и тогда никто не сможет меня упрекнуть, что я пользуюсь высоким своим положением, дабы командовать и

верховодить.

Вот о чем беседовал Арнальд с Ауристелой, Ауристела же все передала Периандру.

В ту же ночь Арнальд, Периандр, Маврикий, Ладислав, оба капитана, команда английского корабля, а равно и все, кто выехал с острова варваров, посоветавшись, установили следующий порядок отплытия:

в коей Маврикий благодаря астрологическим своим познаниям угадывает, какое с ними на море случится несчастье

Было решено, что на тот корабль, на коем прибыли Маврикий, Ладислав, оба капитана, а также солдаты, конвоировавшие Розамунду и Клодьо, сядут все, кто вышел из островной подземной тюрьмы, на Арнальдовом же корабле разместятся Рикла, Констанса, Антоньо-отец, Антоньо-сын, Ладислав, Маврикий и Трансила; Клодьо и Розамунду Арнальд также не бросил на произвол судьбы и взял с собой; к нему на корабль сел и Рутилио.

В тот же вечер они запаслись пресной водой, закупили у хозяина гостиницы продовольствие и заранее наметили наиболее удобные стоянки, но тут вдруг Маврикий объявил, что их путешествие окончится благополучно при том условии, если счастливый случай избавит их от случая несчастного, который-де грозит им в самом ближайшем будущем, и хотя случай сей если и произойдет, то произойдет на море, однако ж он не сопряжен с грозой и бурей ни на море, ни на суше, — его, мол, подготовит измена, сплетенная и разожженная сластолюбивыми и грязными помыслами.

Присутствие Арнальда заставляло Периандра все время быть начеку, а тут он и вовсе встревожился: что если этот предатель — Арнальд? Что если он замыслил завладеть прекрасной Ауристелой и для этой именно цели взял ее на свой корабль? Периандру не хотелось этому верить; он гнал от себя нехорошие мысли, вспоминал великодушные Арнальда и убеждал себя, что в сердце у доблестного принца не может быть места для коварных замыслов. Это не помешало ему, однако ж, обратиться к Маврикию с просьбой и мольбой проследить, откуда грозит им беда. Маврикий ответил, что беда им точно грозит, — за это он, мол, ручается, но откуда — это ему неизвестно; он-де знает одно: беда эта не столь уж страшна, ибо все, кто в нее попадет, лишатся не жизни, а только душевного покоя; их мечты, их самые радужные надежды потерпят крах. Тогда Периандр предложил на несколько дней отложить отъезд: может статься, благодаря этой задержке изменится, дескать, к лучшему пагубное влияние небесных светил.

— Нет, — возразил Маврикий, — лучше идти навстречу опасности, тем более что она не смертельна, а вот если мы уклонимся от избранного пути, то это как раз может быть опасно для нашей жизни.

— Ну что ж, — молвил Периандр, — жребий брошен, отчалим в добрый час! Твори, бог, волю свою, мы же тут бессильны.

Арнальд щедрой рукой наградил хозяина гостиницы за его радушие, после чего все заняли подобающие и приличествующие им места на судах, были подняты все паруса, и пристань мгновенно опустела. Корабль Арнальда был украшен легкими вымпелами и яркими разноцветными флажками. Вот уж выбрали якоря, отдали концы, в ту же минуту и тяжелая и легкая артиллерия дала залп, раздались подмывающие звуки труб и других инструментов, а с берега кричали наперебой: «Счастливый путь! Счастливый путь!»

Между тем прекрасная Ауристела в раздумье и как бы в предчувствии близкого горя понурила голову. Периандр смотрел на нее не отрываясь, Арнальд не отводил от нее взгляда, — и для того и для другого она была свет очей, предел мечтаний и начало блаженства.

Прошел день; настала тихая, ясная ночь; легкий ветерок разгонял облачка, нет-нет да и собиравшиеся на небе. Маврикий поднял голову, и вновь привиделись ему очертания

составленной им фигуры, и опять он предупредил спутников о грозящей им всем опасности, но так и не установил, откуда следует ее ожидать.

Беспокойным и тревожным сном заснул он на палубе, а немного спустя в ужасе пробудился и не своим голосом крикнул:

— Измена! Измена! Измена! Пробудись, принц Арнальд! Твои люди нас убивают!

Арнальд лежал на палубе рядом с Периандром, но не спал; услышав крик, он вскочил и обратился к Маврикию с такою речью:

— Что с вами, друг Маврикий? Кто на нас нападает? Кто нас убивает? Тут на корабле у нас врагов нет — тут всё мои вассалы и верные слуги; небо ясное, звездное; море тихое и безбурное; корабль не наскочил на подводный камень, не сел на мель; никаких препятствий на нашем пути не возникло. А коли так, то чего же вы опасаетесь и почто своею тревогой заражаете и нас?

— Не знаю, — отвечал Маврикий. — Вели, государь, водолазам спуститься в льяло — или то сонная греза, но чудится мне, будто мы идем ко дну.

Стоило ему произнести эти слова, как уже несколько моряков опустились на дно корабля и обследовали его на совесть, — то были отменные водолазы, — но не обнаружили ни малейшей пробоины, откуда могла бы просочиться вода, и, поднявшись на палубу, объявили, что корабль цел и невредим и что вода в льяле мутная и вонючая, а это, мол, явный знак того, что свежая вода внутрь корабля не поступает.

— Наверно, так оно и есть, — сказал Маврикий, — но я старик, а старикам вечно лезут в голову всякие страхи и снятся дурные сны. Дай бог, чтобы это было только сном! Я предпочитаю прослыть пугливым стариком, нежели верно угадывающим юдициарным астрологом.

Арнальд же ему на это сказал:

— Успокойтесь, добрый Маврикий! Ваши сны разгоняют сон у наших дам.

— Постараюсь успокоиться, — отвечал Маврикий и снова улегся на палубе.

На корабле воцарилось ничем уже не нарушаемое безмолвие, однако ненадолго: то ли ночная тишь и теплынь вдохновили сидевшего возле грот-мачты Рутилио, то ли звукам его дивного голоса не терпелось вылиться из груди, но только он под аккомпанемент ветерка, едва заметно шевелившего паруса, на своем родном тосканском языке внезапно запел:

Когда десница божья род людской
На гибель обрекла за прегрешенья,
Ковчег просторный, чудное творенье.
Построил мудрый прародитель Ной.

Все затопил потоп своей волной,
Лишь это мощное сооруженье
Не пало, не разрушилось в боренье
С не ведающей жалости судьбой.

Бок о бок сорок дней миролюбиво
Спасались в нем от яростной воды
Овца и лев, орел и голубица.

И нет в таком соседстве странном дива:
Перед лицом грозящей всем беды

Пение Рутилио внимательнее других слушал Антоньо-отец, и он сказал себе:

— Хорошо поет Рутилио, и если только этот сонет он сам сочинил, то, значит, он недурной стихотворец. Хотя, впрочем, может ли быть изрядным стихотворцем человек определенных занятий? Нет, я неправ: в моей родной Испании мне, сколько я помню, приходилось встречать поэтов среди людей всякого рода занятий.

Антоньо рассуждал сам с собою вслух, а как Маврикий, Арнальд и Периандр не спали, то они его рассуждение слышали, и Маврикий сказал:

— Человек любого рода занятий вполне может быть поэтом, — дар поэтический находится не в руках, но в голове. Душа портного может быть не менее поэтична, нежели душа полководца, ибо все души одинаковы, их изначальную сущность всевышний творит и создает из вещества однородного, а это уж потом, когда душа принимает телесную оболочку, возникает различие в темпераменте и в способностях: у одних появляется пристрастие и склонность к наукам, у других — к искусствам, у третьих — к ремеслам, в зависимости от того, кто под какой звездой родился. Но в сущности-то говоря, собственно-то говоря, *poeta nascitur*^[16]. А значит, нет ничего удивительного в том, что Рутилио — поэт, хотя по роду своих занятий он — учитель танцев.

— Да еще такой искусный, что прыгал выше облаков, — подхватил Антоньо.

— То правда, — подтвердил Рутилио, слышавший весь этот разговор, — я подпрыгивал чуть не до неба, когда меня везла на епанче колдунья из моей родной Италии в Норвегию, где, как я вам уже рассказывал, она превратилась в волчицу и где я ее убил.

— То, что северяне будто бы превращаются в волков и в волчиц, — это глубочайшее заблуждение, хотя в него впадают многие, — заметил Маврикий.

— А почему же тогда, — заговорил Арнальд, — почитается верным слух, будто в Англии по полям бродят стаи волков и будто на самом деле это люди, принявшие обличье звериное?

— В Англии такого быть не может, — возразил Маврикий, — в этой теплой и плодороднейшей стране не водятся не только волки, но и все вредные животные, как-то змеи, гады, жабы, пауки и скорпионы: ведь это же общеизвестно и неоспоримо, что всякое ядовитое существо, откуда-нибудь завезенное, очутившись в Англии, гибнет. А если взять с этого острова немного земли и где-нибудь в другой стране насыпать вал вокруг какого-нибудь гада, то гад не посмеет и не сможет вырваться из круга — он в нем заключен, как в тюрьме, он в нем замкнут, и не выйдет он из него, пока не издохнет. А что касается превращения в волков, то это такая болезнь — врачи называют ее *mania lupina*^[17], и болезнь эта такого рода: кто ею заболел, тому кажется, будто он волк, и он начинает выть по-волчьи, присоединяется к другим, страдающим тем же недугом, и они бродят стаями по горам и долам, лают по-собачьи, воют по-волчьи, обдирают кору на деревьях, убивают встречаемых, едят мертвецов. Я недавно слышал, что на острове Сицилия, самом большом острове на Средиземном море, есть люди, которые, чувствуя наступление своей ужасной болезни, говорят окружающим, чтобы они уходили и убегали подальше, или же просят связать их и запереть, а то если их куда-нибудь не запрятать, они начинают царапаться, кусаться и дико, страшно воют. И подтверждается это следующим обстоятельством: о брачующихся там наводят точные справки, что никто из них болезни сей не подвержен; если же по прошествии некоторого времени окажется, что дело обстоит иначе, то брак расторгается. И таково же мнение Плиния^[18]: в книге восьмой, в главе двадцать второй он прямо пишет, что среди жителей Аркадии были такие люди, которые, перейдя озеро, вешали одежду свою на

дуб, нагими шли в глубь страны и, присоединившись к такой же, как и они, породе людей, превратившихся в волков, жили с ними девять лет, а затем снова переправлялись через озеро и снова принимали облик человеческий. Мне думается, однако ж, что это выдумки, а если что-либо подобное с кем-нибудь и было, то разве в воображении, но не на самом деле.

— Чего не знаю, того не знаю, — объявил Рутилио. — Я знаю одно: я убил волчицу, а оказалось, что у моих ног лежит мертвая колдунья.

— Этому можно поверить, — заметил Маврикий, — сила чар волшебников и колдунов заставляет нас принимать одно за другое. Со всем тем можно считать установленным, что нет таких людей, которые могли бы изменить первоначальную свою природу.

— Я очень рад, что знаю теперь, где правда и где ложь, — сказал Арнальд, — а то ведь я тоже, как и многие другие, верил этим небылицам. И, скорее всего, так же неправдоподобен рассказ о превращении английского короля Артура в ворона — рассказ, коему верит рассудительный этот народ, верит до того слепо, что до сих пор остерегается убивать у себя на острове воронов.

— Я так и не знаю, что послужило источником для этой столь же распространенной, сколь и нелепой басни, — сказал Маврикий.

В таких разговорах прошла у них почти вся ночь; когда же занялась заря, то заговорил до сего времени молча слушавший Клодьо:

— За то, чтобы установить, так это или не так, я бы не дал медного гроша. Какое мне дело: существуют на свете люди-волки или же не существуют, и принимают ли короли обличье воронов или же орлов? Впрочем, если уж суждено им превращаться в птиц, так, по мне, лучше бы в голубков, нежели в коршунов.

— Легче, легче, Клодьо! — прикрикнул на него Арнальд. — Не смей дурно говорить о королях! Ты, видно, хочешь наострить свой язык, дабы подрезать уважение к ним.

— Нет, — возразил Клодьо, — наказание засунуло мне в рот кляп, или, вернее сказать, сковало мне язык, чтобы он не болтался; так что уж лучше я буду держать себя на вожжах и молчать, нежели веселиться и болтать. Острые словца, долгие пересуды одних веселят, а других печалят. За молчание не наказывают, на молчание не отвечают. Я хочу прожить положенные мне дни спокойно, под великодушным твоим покровительством, хотя, признаюсь, на меня нет-нет да и найдет дурной стих, язык у меня так и зачесется, и вот-вот сорвутся с него некие истины и пойдут гулять по свету, от чего упаси меня боже!

На это Ауристела ему сказала:

— Тебе, Клодьо, зачтется жертва, которую ты приносишь богу своим молчанием.

Тут вмешалась в разговор Розамунда и, обратясь к Ауристеле, сказала:

— В тот день, когда Клодьо станет молчалив, я стану хорошей: ведь мое распутство, как и его злоязычие, суть наклонности врожденные, хотя, впрочем, мне все-таки легче исправиться, нежели ему, ибо красота с годами блекнет, а когда нет бывшего пригожества, то и нечистые помыслы уже не столь неотвязны, меж тем как над языком человека злоречивого время власти не имеет, более того — записные сплетники в старости еще больше злословят: во-первых, они много видели на своем веку, а во-вторых, иного рода желания у них отмирают, остается только желание болтать языком.

— И то и другое дурно, — заметила Трансила, — и распутники и сплетники — все идут своим путем к гибели.

— Зато путь, которым следуем мы, будет счастлив и благополучен, — подхватил Ладислав: — ветер дует нам в спину, море спокойно.

— И ночь прошла спокойно, — заметила Констанса, — однако ж сон сеньора Маврикия взволновал нас и встревожил — я боялась, как бы мы все не утонули.

— Ваша правда, — молвил Маврикий. — Если б я не знал закона божьего и не вспомнил слов господних, приведенных в книге *Левит* : «Не будьте предсказателями, не верьте снам, ибо не всем дано толковать их», я бы не осмелился толковать мой сон, который так меня расстроил; как мне кажется, этот мой сон объясняется не теми причинами, которые обыкновенно вызывают сны, а надобно вам знать, что сны представляют собой божественные откровения или мечтания бесовские; в иных же случаях сны порождает либо чревоугодие, ибо пары от съеденной пищи восходят к мозгу и мутят рассудок, либо то, чем были в течение целого дня заняты у того или иного человека мысли. Равным образом сон, смутивший меня, проистекает не из наблюдений астрологических, ибо я не высматривал точек эклиптики, не наблюдал светил, не обозначал кругов склонения, не следил за небесными фигурами, и все же я видел ясно, как наяву: мы находимся в большом деревянном дворце, беспрерывно сверкает молния и весь его освещает, и из тех трещин, которые в небосводе образует молния, тучи низвергают уже не море, а целые моря воды. И вот, вообразив, что я тону, я стал кричать и делать такие движения, какие всегда делает утопающий. И я все еще нахожусь под впечатлением этого страшного сна, передо мной все еще мелькают его обрывки, а как мне известно, что самая лучшая астрология — осторожность, из которой исходят все здравые мысли, то именно потому, что я еду на деревянном корабле, я боюсь молнии, туч и ливня. Но особенно меня смущает и тревожит вот что: в наибольшей степени нам должно опасаться не стихий; не они избраны и определены быть нашим бичом, но измена, гнездящаяся, как я уже сказал, в чьих-то низких душонках.

— Я не могу допустить мысли, — заговорил тут Арнальд, — чтобы в сердце мореплавателя к безгреховной любви примешалась распущенность Венеры, или же сластолюбие беспутного ее сына. Если человек помнит о душе своей, то ему не страшны никакие опасности.

Арнальд сказал это нарочно, чтобы Ауристела, Периандр и другие, знавшие о его чувствах, поняли, насколько движения его сердца подчинены его рассудку, а затем продолжал:

— Праведный государь может чувствовать себя в безопасности среди своих вассалов. Страх измены возникает в том случае, если государь живет не по правде.

— Так оно и есть, и так оно и должно быть, — заметил Маврикий. — Скорей бы только проходил этот день! Если день пройдет бестревожно, я всех вас и прежде всего самого себя поздравлю с благополучным исходом.

Солнце уже начало склоняться в объятия Фетиды^[19], море по-прежнему было спокойно, ветер дул благоприятный, нигде не было видно ни одного подозрительного облачка, которое могло бы насторожить моряков; словом, небо, море и ветер, и вместе и порознь, предвещали наиболее благополучнейшее путешествие, как вдруг прозорливый Маврикий громким, но прерывающимся от волнения голосом произнес:

— Мы наверное потонем. Мы потонем наверняка.

в коей рассказывается о том, что предприняли солдаты, и о разлуке Периандра и Ауристелы

Эти его восклицания прервал Арнальд:

— Что с вами, досточтимый Маврикий? Какие воды грозят затопить нас? Какие пучины грозят поглотить нас? Какие валы грозят захлестнуть нас?

Ответом Арнальду послужило внезапное появление перепуганного моряка, который поднялся на палубу и, захлебываясь слезами, невнятно и бессвязно заговорил:

— Корабль во многих местах дал течь. Вода хлынула в него с такой силой, что скоро зальет палубу. Спасайся кто и как может! Ты, государь Арнальд садись в лодку или же в шлюпку и возьми с собой все, чем ты особенно дорожишь, пока оно еще не стало добычею моря.

Корабль в это время остановился — он не мог идти дальше из-за груза наполнявшей его воды. Лоцман приказал убрать паруса, и тут все в смятении и ужасе бросились искать спасения. Наследный принц и Периандр побежали к шлюпке, спустили ее на воду, втолкнули туда Ауристелу, Трансилу, Риклу и Констансу; Розамунда же, видя, что про нее забыли, сама прыгнула в шлюпку, а затем Арнальд предложил спуститься в шлюпку Маврикию.

В это время два солдата отвязывали лодку, которая была привязана к борту судна, и один из них, видя, что другой хочет войти в лодку первым, выхватил из-за пояса кинжал и, вонзив ему в грудь, воскликнул:

— Наше с тобой преступление никакой пользы нам не принесло, так пусть же это послужит тебе наказаньем, а мне на остаток жизни уроком!

С последним словом он, не воспользовавшись спасительным средством, каковым могла явиться для него лодка, в порыве отчаяния кинулся в море и стал кричать, и хотя кричал он громко, однако ж слова его разобрать было трудно:

— Услышь, Арнальд, всю правду из уст изменника — в такую минуту я не могу тебе ее не сказать. Вместе с солдатом, которому я на твоих глазах пронзил грудь кинжалом, я во многих местах пробил и продырявил корабль, а на уме у нас было вот что: мы хотели завладеть Ауристелой и Трансильей, посадить их в шлюпку и увезти; когда же я удостоверился, что нам не удалось осуществить наш замысел, то убил своего товарища и теперь кончаю с собой.

Тут солдат стал погружаться, волны накрыли его, и он обрел на дне моря вечный покой. И хотя Арнальд в не меньшей степени, чем остальные, находился в смятении и, как уже было сказано, искал хоть какого-нибудь средства к спасению от гибели, грозившей всем поголовно, все же он уловил слова впавшего в отчаяние солдата. Он и Периандр бросились к лодке, однако, прежде чем войти в нее, Арнальд велел Антоньо-сыну сесть в шлюпку, а что в шлюпку необходимо взять съестного — это вылетело у него из головы.

Ладислав, Антоньо-отец, Периандр и Клодьо вошли в лодку и принялись догонять шлюпку, которая успела отойти на некоторое расстояние от корабля, а через корабль уже перекачивались волны; еще немного — и на поверхности осталась лишь грот-мачта, как бы указывавшая, что здесь погребен корабль.

До наступления темноты лодка так и не нагнала шлюпку, откуда Ауристела взывала к брату Периандру, — Периандр отвечал ей, многократно повторяя ее имя, столь милое его сердцу. Трансила и Ладислав также перекликались; в воздухе встречались их восклицания:

«Ненаглядный супруг мой!», «Возлюбленная супруга моя!». Однако планы их рухнули, надежды их разбились о невозможность воссоединиться, ибо вокруг становилось все темнее, а ветер дул отовсюду.

Коротко говоря, лодка отделилась от шлюпки, а как она сама по себе была легче шлюпки и не так сильно нагружена, то и отдалась на волю зыбей и ветра.

Шлюпка остановилась — казалось, более от тяжести душевной тех, кто в ней находился, нежели от груза, какой они собой представляли; казалось, эти люди решили не двигаться более. Только когда уже совсем стемнело, они вновь восчувствовали весь ужас происшедшего: они в неведомом море, не укрыты от непогоды, лишены всех удобств, какие может предоставить суша; в их шлюпке нет весел; они не захватили с собою съестных припасов; муки голода еще не заявляют о себе только благодаря мукам душевным.

Маврикий, исполнявший обязанности и капитана и простого матроса, не обладал тем, что могло бы привести шлюпку в движение, и не знал, как управлять ею; более того: слушая рыдания, вопли и вздохи спутников, он все сильнее опасался, что они же сами и потопят ее. Он смотрел на небо, и хотя ночь была не звездная, все же там и сям звездочки мерцали во мраке, предвещая наступление тихой погоды, однако ж он не мог по ним угадать, где именно находится шлюпка.

Кручина не дала им заснуть — всю ночь они бодрствовали. Утро же вопреки пословице оказалось не мудренее вечера, а еще грустнее, ибо при свете утра для всех стало очевидно, что, куда ни оглянись, всюду море, и вблизи и вдаль, и сколько они ни всматривались в даль, не приметит ли взор лодку, которая спасла бы их души, или же какое-либо другое судно, которое могло бы прийти им в этой крайности на выручку и на помощь, но так ничего и не обнаружили, кроме острова с левой стороны, и это их обрадовало и в то же время опечалило: обрадовались они тому, что неподалеку от них была земля, опечалились же тому, что только ветер мог бы случайно пригнать их к берегу.

Маврикий верил в спасение больше, чем кто-либо еще из его спутников: как уже было сказано, по той фигуре, которую он, будучи юдициарным астрологом, составил, выходило, что происшествие это само по себе гибелью им не грозит, что оно только сопряжено с губительными лишениями.

В конце концов покровительствовавшие им небеса изменили направление ветра, и шлюпку стало медленно прибывать к острову, пристали же они к обширной отмели, совершенно безлюдной и сплошь покрытой толстым слоем снега.

Плачевны и грозны происшествия на море, и те, с кем они случаются, бывают рады сменить их на горшие бедствия, лишь бы только терпеть их на суше, — так и нашим путникам снег на пустынной отмели показался мягким песком, а безлюдие — многолюдством.

Всех перенес на берег Антоньо-сын: он оказался Атлантом не только для Ауристелы и Трансилы, но и для Розамунды и Маврикия. Путники прежде всего общими усилиями втащили шлюпку на берег, ибо после бога больше всего надеялись на нее, а затем расположились у подошвы скалы, высившейся неподалеку от отмели.

Антоньо, приняв в рассуждение, что голод не преминет дать о себе знать и что от голода с таким же успехом можно умереть, как и от чего-либо другого, взял свой лук, который он всегда носил через плечо, и сказал, что хочет побродить по острову: нет ли, мол, на нем людей, которые могли бы пособить их горю, или же какой-либо дичи.

Намерение его было всеми одобрено, и он быстрым шагом двинулся в глубь острова, ступая не по земле, а по смерзшемуся снегу, до того твердому, что ему казалось, будто он идет по камням. Следом за ним, но так, чтобы он не видел, увязалась распутная Розамунда, а

как все подумали, что она идет по своей надобности, то никто ее не окликнул. Антоньо случайно оглянулся, когда они оба были уже далеко, и, увидев Розамунду, сказал:

— Я хочу помочь нашей общей нужде и для этой цели меньше всего нуждаюсь в твоём обществе. Возвращайся-ка лучше обратно, Розамунда: ведь у тебя оружия нет, на охоту тебе выйти не с чем, я же не могу приноравливаться к твоему шагу.

— О неискuschenный юноша! — воскликнула развратная женщина. — До чего же ты непроницателен и нелюбезен!

Тут она приблизилась к нему и продолжала:

— Перед тобою, новоявленный охотник, своею красотой затмевающий Аполлона, новоявленная Дафна, но она не бежит от тебя, а следует за тобой. Не гляди, что моя красота увяла, ибо неумолимо скоротечное время, помысли лучше о том, что я та самая Розамунда, перед которой склонялись короли и ради кого жертвовали своею свободой самые гордые из мужчин. Я тебя обожаю, благородный юноша! Здесь, среди этих льдов и снегов, любовный пламень испепеляет мне сердце. Предадимся же утехам любви! Я вся твоя! И если только мы доберемся до Англии, где сонм смертельных опасностей подстерегает меня на каждом шагу, я увлеку тебя туда, где ты наберешь полные руки сокровищ, которые я собрала и хранила не для кого-нибудь, а для тебя, в чем я теперь нимало не сомневаюсь. Я тайком проведу тебя туда, где ты получишь больше золота, чем было у Мидаса, и больше богатств, чем их скопил Крез.

На сем она прекратила свою речь, но не перестала цепляться за Антоньо, который то и дело отводил ее руки, и во время этой схватки целомудрия с распущенностью Антоньо заговорил:

— Отстань от меня, гарпия^[20]! Не расхищай и не оскверняй чистых столов Финея! Не искушай, коварная египтянка^[21], и не пытайся загрязнить душевную чистоту и непорочность того, кто никогда твоим рабом не будет! Прикуси язык, змея окаянная, не произноси нечестивых слов и не выдавай нечестивых своих умыслов. Подумай лучше о том, что мы на волосок от смерти: во-первых, нам угрожает голод, во-вторых, неизвестно, выберемся ли мы еще отсюда, а если даже выход из положения и будет найден, то я воспользуюсь им не с тою целью, на которую ты мне указываешь. Отойди же от меня и за мной не ходи, а не то я накажу тебя за твою дерзость и всем расскажу о безумной твоей выходке! Если же ты вернешься обратно, то я не оглашу твоих намерений и обойду молчанием твое бесстыдство. Оставь меня в покое, а то я тебя убью!

Слова эти навели на похотливую Розамунду такой страх, что ей было уже не до вздохов, не до просьб и не до слез, а предусмотрительный и дальновидный Антоньо от нее ушел.

Розамунда отправилась восвояси, а Антоньо пошел вперед, но ничего утешительного не обнаружил: снегу было везде много, передвигаться трудно, кругом ни одной живой души. Приняв же в соображение, что если он будет идти все дальше и дальше, то непременно заблудится, порешил он вернуться.

Потрясенные неудачей Антоньо, все воздели руки к небу, а затем уставили глаза в землю. Немного погодя путники объявили Маврикию, что хотят снова выйти в море, ибо в силу того, что остров сей дик и безлюден, они-де чувствуют себя не в силах долее здесь оставаться.

О достойном упоминания происшествии на снежном острове

Некоторое время спустя вдали показался большой корабль, вселивший в сердца путников надежду на спасение. Паруса на нем убрали, из чего можно было заключить, что корабль собирается стать на якорь, а затем с необычайным проворством спустили на воду шлюпку, и на этой шлюпке какие-то люди начали приближаться к отмели, с коей в это время злосчастные путники уже сходили в свою шлюпку. Ауристела предложила немного подождать и узнать, что это за люди.

Шлюпка врезалась носом в холодный снег, а затем из нее выпрыгнули двое статных молодых людей крепкого телосложения, отличавшихся очаровательной наружностью и изяществом движений, и подхватили на руки прелестную девушку, бесчувственную и бездыханную: казалось, она не в состоянии будет ступить на берег.

Молодые люди крикнули нашим путникам, уже сидевшим в шлюпке, чтобы они высадились на берег и были свидетелями, в каковых-де они нуждаются. Маврикий ответил, что у них нет весел и направить лодку к берегу они не могут, разве те дадут им свои. Тогда моряки с помощью своих весел пригнали их шлюпку к берегу, и наши путники вновь ступили на снег. Вслед за тем два юных силача заградились деревянными щитами и с обнаженными шпагами в руках снова сошли на берег.

Первым движением Ауристелы, охваченной страхом, волнением и предчувствием новой беды, было броситься к прелестной девушке, потерявшей сознание, а за ней кинулись было и все остальные.

Молодые люди, однако ж, остановили их.

— Пойдите, сеньоры! — сказали они. — Выслушайте нас со вниманием!

— Мы с ним уговорились, — продолжал один из них, — драться за счастье обладания этой занемогшей девицей. Смерть одного из нас должна решить дело в пользу другого, а иного средства прекратить любовную нашу распрю нет; впрочем, если бы девушка добровольно избрала кого-либо из нас двоих в супруги, то мы вложили бы наши шпаги в ножны, и утихли бы разгоревшиеся наши страсти. Вас же мы просим только о том, чтобы вы не предпринимали никаких попыток помешать нашей схватке, каковую мы доведем до конца, не боясь, что кто-нибудь станет нас разнимать, а нуждаемся мы в вас только как в свидетелях. Может статься, пустынные эти места продлят жизнь девушки, — а от ее жизни зависит и моя и его жизнь, — но сейчас мы спешим закончить поединок, и у нас нет времени расспрашивать вас, кто вы такие, как очутились вы в диких этих местах, да еще без весел, по каковой причине вы, видно, не можете покинуть пустынный сей остров, где нет не только людей, но и животных.

Маврикий им на это сказал, что их желание они исполнят свято. При этих словах молодые люди, не дожидаясь, пока девушка придет в себя и объявит свою волю, взяли за шпаги: пусть, мол, их спор решит поединок, а не сердечная склонность их дамы.

Итак, они бросились друг на друга, не соблюдая правил касательно выпадов, парадов, отходов, перебежек, и после первых же ударов один из них пал с пронзенным сердцем, а у другого была рассечена голова, — этому небо продлило жизнь ровно настолько, что он успел подползти к девушке, наклониться к ее лицу и прошептать:

— Я победил, владычица! Ты моя! И пусть блаженство мое продлится недолго, все же мысль о том, что я хотя бы одно-единственное мгновение мог считать тебя своею, делает

меня счастливейшим человеком на свете. Прими же, о владычица, мою душу, облаченную в последние мои вздохи, дай ей место в своей груди и не спрашивай на то дозволения у своего целомудрия, — имя супруга позволяет все.

Кровь из его раны текла на лицо девушки, но она в бесчувственном своем состоянии этого не замечала и так ничего ему и не ответила.

Два моряка, сидевшие на веслах, прыгнули на берег и бросились к умершему от раны в грудь и к раненному в голову, а тот в это время прильнул устами к устам своей супруги, за которую он так дорого заплатил, и душа в сей миг от него отлетела, и он откинулся навзничь. Ауристела за всем этим наблюдала издали и не могла различить и рассмотреть черты лица впавшей в беспамятство девушки; наконец она, дабы посмотреть на нее поближе и отереть с ее лица кровь, которою омочил ее перед смертью влюбленный юноша, приблизилась к ней, и тут оказалось, что это ее горничная девушка Тауриса, состоявшая при ней в ту пору, когда она жила у наследного принца Арнальда, который, как известно, сообщил ей, что поручил Таурису двум молодым людям, а те, мол, увезли ее в Ирландию.

Ауристела была потрясена, ошеломлена; она была печальнее самой печали, однако ж чувство это в ней стократ усилилось, как скоро она увидела, что прелестная Тауриса скончалась.

— Увы! — воскликнула она. — Небо являет все новые и новые грозные знамения моего злополучия, и если горькая моя доля означится еще и в том, что я скоро умру, то я назову ее долей счастливою: когда цепь несчастий длится и тянется недолго, когда они влекут за собою скорую смерть, то такую жизнь нельзя не признать счастливой. Для чего небо отрезает мне все пути, ведущие к душевному покою? Для чего на стезе моего избавления я, что ни шаг, встречаю преграды непреодолимые? Впрочем, сетования тут напрасны и жалобы бесполезны, а потому давайте проведем то время, которое я должна была бы потратить на жалобы, в молитвах за упокой души усопших, а затем похороним их, о живых же я по крайней мере сокрушаться не стану.

И тут она обратилась с просьбой к Маврикию, чтобы он, в свою очередь, попросил моряков съездить на корабль за лопатами.

Маврикий исполнил ее просьбу и сам тоже отправился на корабль, дабы уговорить лоцмана или же капитана снять их с острова и увезти, куда им заблагорассудится.

Тем временем Ауристела и Трансила принялись обрядить покойницу; христианская добродетель и благочестие не позволили им, однако ж, раздеть ее.

Наконец, обо всем сговорившись на корабле, возвратился с лопатами Маврикий. Таурису похоронили; когда же дошел черед до дуэлистов, моряки объявили, что они, как правоверные католики, не могут допустить, чтобы дуэлистов хоронили по христианскому обряду. Но тут Розамунда, не поднимавшая глаз с той самой минуты, когда она поведала Антонио-сыну нечистые свои желания, — так ее пригнетало бремя грехов, — неожиданно подняла голову и сказала:

— Если вы почитаете себя за людей милосердных и если в ваших сердцах обретается купно с человеколюбием чувство справедливости, то проявите благородные эти чувства по отношению ко мне. Я с той самой поры, как вошла в разум, утратила его; у меня с малолетства дурные наклонности; я была на диво хороша собой, пользовалась чрезмерной свободой, ни в чем не нуждалась, — все это способствовало тому, что в моей душе поселились пороки и мало-помалу как бы срослись с ней. Вы уже не раз от меня слышали, что я вертела королями, что кого я только ни люблю, того и приворожу, однако ж время, губитель и похититель женской красоты, до того неожиданно меня ее лишило, что я не успела оглянуться, как уже подурнела. Со всем тем пороки укореняются в нестареющей душе

человеческой, и они никак не хотят меня покинуть, я же им сопротивления не оказываю и плыву по течению моих прихотей, как, например, сегодня: не устояв перед соблазном хотя бы только поглядеть на этого юношу-варвара, я не выдержала и открылась ему, он же мне взаимностью не ответил; я горю огнем, а он холоден, как лед. Я надеялась, что найду уважение и любовь, а вместо этого встретила ненависть и презрение — такие удары сносить нелегко и невесело. Я вижу: смерть подходит ко мне совсем близко, протягивает руку, чтобы вырвать меня из жизни. И вот я взываю к вашему доброму сердцу, — оно не может не откликнуться на зов несчастной женщины, которая только на доброту вашу и уповает, — и молю вас: положите меня в эту могилу и забросайте мой пламень льдом! И не бойтесь, что грешное мое тело будет лежать рядом с телом этой невинной девушки, — оно его не загрязнит, останки добрых людей вечно пребудут чистыми, где бы они ни покоились.

Затем она обратилась к Антоньо-сыну:

— А ты, гордый юноша, ты, что еще не переступил, а только лишь приближаешься к заветной черте и пределу, за которыми царит сладострастие! Не проси у бога долгих лет жизни, ибо с течением времени красота вянет. А коль скоро я оскорбила твой, если так можно выразиться, новорожденный слух необдуманно и нецеломудренными словами, то прости меня: тех, кто в смертный свой час молит о прощении, должно хотя бы из жалости если не прощать, так по крайней мере выслушивать.

И тут она, испустив тяжелый вздох, лишилась чувств.

— Не понимаю, — молвил тут Маврикий, — что нужно той, кого зовут Любовью, в этих горах, в пустынных этих местах, среди скал, среди снега и льда, вдали от Пафоса, Книда, Кипра и Елисейских полей^[22], от тех краев, которых не посещает голод и где не знают никаких лишений. Спокойное сердце, умиротворенный дух — вот обиталище отрадной любви, но никак не слезы и не тревожнения.

Ауристела, Трансила, Констанса и Рикла, потрясенные всем происшедшим у них на глазах, молча выражали свое изумление, а затем, пролив немало слез, похоронили Таурису. Как же скоро Розамунда очнулась от глубокого обморока, ее подхватили на руки и перенесли в корабельную шлюпку, на корабле же их всех приняли с честью и хорошо угостили, и они утолили наконец мучивший их голод; одна лишь Розамунда продолжала стучаться во врата смерти.

Поставили паруса, кое-кто оплакал гибель двух капитанов, затем был избран новый капитан, коему все обязаны были подчиняться, и корабль отошел, не взяв никакого определенного курса, потому что корабль тот принадлежал корсарам, корсары же были не из Ирландии, как первоначально было сказано Арнальду, а с одного острова, восставшего против Англии.

Маврикий не испытывал ни малейшего удовольствия от подобного общества; ему казалось, что люди такого буйного нрава и несправедливой жизни не преминут что-нибудь выкинуть. Маврикий был человек пожилой, в житейских делах искушенный, и у него от беспокойства сердце было не на месте: он боялся, как бы несказанная красота Ауристелы, стройность и миловидность его дочери Трансилы, юность Констансы и необычность ее одеяния не пробудили у корсаров нечистых желаний. Пастухом Анфрисом, Аргусом был для них Антоньо-сын: его глаза, подобные двум неусыпным стражам, из глубины своих глазниц следили за прелестными кроткими овечками, коих оберегали его бдительность и усердие.

Розамунда не вынесла презрения, которое ей оказывал Антоньо-сын; она таяла на глазах, и однажды ночью ее нашли в каюте погруженною в сон вечный.

Хотя спутники горько оплакали ее кончину, однако ж вынуждены были признать, что смерть над нею сжалилась и смиростивилась. Место вечного упокоения нашла она себе в безбрежном море, но и всех его вод не хватило для того, чтобы потушить огонь, разожженный у нее в груди красавцем Антоньо; Антоньо же и все прочие неустанно молили корсаров высадить их в Ирландии или же в Гибернии, если корсарам почему-либо нежелательно приставать к берегам Англии или же Шотландии; корсары, однако ж, объявили, что пока они не захватят знатной и богатой добычи, они нигде останавливаться не будут, разве только им понадобится пополнить запас пресной воды или же продовольствия. Рикла могла бы им предложить за доставку в Англию слитки золота, но она боялась, что они не возьмут их в уплату, а просто-напросто отнимут.

Капитан отвел им отдельное помещение и устроил их таким образом, что они могли не опасаться дерзости моряков.

Около трех месяцев пробыли они в плавании, подходя то к одному, то к другому острову, то выходя в открытое море. Таков обычай корсаров: они занимаются грабежом в то время, когда ветра нет и спокойное море препятствует судоходству.

Новый капитан навещал своих пассажиров и занимал их разумными речами и забавными, хотя и вполне благопристойными рассказами; Маврикий следовал его примеру.

Ауристела, Трансила, Рикла и Констанса мысленно были со своими близкими, которых

они потеряли, и обыкновенно пропускали мимо ушей то, что им говорили капитан и Маврикий, но однажды они все же выслушали со вниманием рассказанную капитаном историю, которая будет приведена в следующей главе.

Глава двадцать вторая,

в коей капитан рассказывает о пышных празднествах, которые обыкновенно устраивались в королевстве короля Поликарпа

— Небо назначило мне в удел родиться на одном из близлежащих к Гибернии островов. Остров сей так велик, что именуется королевством, и королевство то не наследуется, не переходит от отца к сыну — жители его избирают короля свободным волеизъявлением, заботясь лишь о том, чтобы это был самый добродетельный, самый хороший человек во всем королевстве, не прибегая ни к просьбам, ни к переговорам, пренебрегая посулами и дарами: с общего согласия вновь избранный король принимает скипетр неограниченной власти, и властвует он до самой своей смерти или же до тех пор, пока не провинится. Благодаря этому простые смертные стараются быть гражданами добродетельными, дабы стать королями, короли же стремятся развивать в себе добрые свои качества, дабы не перестать быть королями. Так у честолюбия подрезаются крылья, алчность попирается, а лицемерие хотя и ухитряется некоторое время преуспевать, однако ж по прошествии некоторого времени личина с него спадает, и оно лишается приобретенного достоинства. Благодаря этому грады и веси наслаждаются у нас тишиною; справедливость торжествует; милосердие ликует; прошения бедняков рассматриваются без задержки, прошениям же богачей никакого предпочтения не оказывается; жезл правосудия не склоняется ни под тяжестью подношений, ни под тяжестью родственных уз; все дела делаются без обмана и в строгих рамках закона. Словом сказать, это такое королевство, где каждый может быть спокоен за свою собственность, где никто не опасается никаких на нее посягательств со стороны алчных людей.

Помянутый обычай, по моему разумению — священный и справедливый, вложил державный скипетр в руки Поликарпа, мужа именитого, прославившегося как на военном, так и на ученом поприще, и вот у этого мужа к тому времени, когда его избрали королем, были уже две дочери необычайной красоты, из коих старшую зовут Поликарпа, младшую же — Синфороса. Воспитывались они без матери, однако ж мать, скончавшись, лишила их единственно своего общества, — с помощью своих добродетелей и врожденного благонравия они сумели сами себя воспитать, преподав этим прекрасный пример всему королевству. Благодаря своим достоинствам они пользовались всеобщей любовью и уважением наравне с отцом.

Короли наши обыкновенно придерживаются того мнения, что на почве меланхолии у вассалов могут возникнуть нехорошие мысли, а потому они заботятся о том, чтобы народ был весел, и забавляют его празднествами, а иной раз и в будни устраивают представления; но особенно пышно короли наши празднуют дни, сопряженные с какими-либо событиями в жизни королевства, отмечая их возрождением игр, которые у язычников было принято называть олимпийскими, и уж тут они чего-чего только ни делают: назначают награды бегунам, оказывают почести фехтовальщикам, венчают лаврами стрелков и превозносят до небес всех, кому удалось повергнуть ниц своих соперников.

Зрелище это обыкновенно устраивается недалеко от моря, среди широкой отмели, которую предохраняет от солнца шатер переплетенных веток — от него на отмель густая падает тень. Посреди отмели воздвигается нарядно убранное возвышение, откуда король и все члены королевской фамилии следят за мирными состязаниями.

И вот настал один из таких дней, и Поликарп задумал всех поразить пышностью и

великолепием, отпраздновать его так, как ни один из подобных дней дотоле не праздновался. И когда он вместе с наиболее чтимыми в королевстве людьми поднялся на возвышение; когда заиграла военная и невоенная музыка, подав сигнал к началу соревнования; когда четыре бегуна, четверо легких и быстрых в движениях юношей, выставили левую ногу на шаг вперед, а правую подняли, и когда для того, чтобы пуститься бежать во весь мах, им оставалось только перемахнуть через веревку, служившую им чертою и знаком, — перемахнув же, они должны были духом домчаться до означенной границы, указывавшей на то, что здесь конец их пробегу, — в эту самую минуту на море показалась лодка, коей борта блестели, должно думать, оттого, что ее недавно чистили, и помогали ей резать волну двенадцать гребцов: шесть на носу, шесть на корме, по наружному виду — молодец к молодцу, все, как на подбор, плечистые, грудь колесом, с мускулистыми руками, и все до одного в белых одеждах, за исключением рулевого, который, как положено моряку, был в красном.

Лодка стремительно врезалась носом в берег; причалить же ее и выпрыгнуть из нее на сушу всем, кто в ней находился, — это было для них делом одного мгновения.

Поликарп приказал не начинать бега, пока не будет установлено, что это за люди и что им надобно, — он решил, что они прибыли на празднества, дабы показать в играх свое молодечество.

Первым приблизился к королю рулевой, совсем еще юнец, коего щеки, гладкие и растительности лишенные, были, что называется, кровь с молоком, а локоны — что золотые кольца; словом, каждая черта его лица, взятая в отдельности, была так совершенна, и так дивно хороши были все его черты в совокупности, и такое они составляли прекрасное целое, что очаровательная наружность юноши пленила не только взоры, но и сердца всех, кто на него взирал; покорил он в тот миг и меня. Обратился же он к королю с такими словами:

«Государь! Я и мои товарищи, прослышав о ваших играх, прибыли, дабы принять в них участие и тебя потешить; прибыли же мы не издалека, — мы прибыли с корабля, который мы оставили возле ближнего острова Сцинты, а как ветер был для нас неблагоприятен, то мы прибегли к помощи лодок, весел и собственных рук. Все мы благородного происхождения, все мы жаждем заслужить почести, тебе же, как всякому королю, надлежит оказывать честь иноземцам, а потому мы повергаем к твоим стопам просьбу: дозволь нам показать нашу силу и наше искусство, и пусть это послужит тебе развлечением, нам же — к вящей славе и выгоде».

«Юноша, судьбою взысканный! — молвил король. — Ты в таких изысканных и учтивых выражениях заявляешь о своем желании, что нехорошо было бы с моей стороны тебе отказать. Почти же своим участием мои празднества как тебе заблагорассудится, мне же предоставь вознаградить тебя: ведь если судить по крепости твоего телосложения, то вряд ли еще кто-нибудь, кроме тебя, может рассчитывать на высшие награды».

Прелестный юноша в знак почтительности и благодарности опустил на одно колено и наклонил голову, а затем в два прыжка очутился подле веревки, удерживавшей четырех легконогих бегунов. Двенадцать его товарищей стали в сторонку, чтобы быть зрителями соревнования в беге.

Послышались звуки трубы, и вслед за тем все пятеро перепрыгнули через веревку и понеслись, но не успели они пробежать и двадцати шагов, как уже шагов на шесть, если не больше, обогнал местных бегунов новоприбывший, а на тридцатом шаге у него было уже преимущество более чем в пятнадцать шагов. Под конец же он их обогнал больше чем на половину всего расстояния, как если б то были неподвижные статуи, и привел в изумление всех присутствовавших, особливо Синфоросу, следившую за юношей все время — и когда он

бежал, и когда он стоял на месте, ибо красота и ловкость юноши привлекали к себе не только взоры, но и души тех, кто на него смотрел. Мои взоры были в то время прикованы к Поликарпе — сладостному предмету моих мечтаний, однако между прочим я наблюдал и за Синфоросой. Когда же участники игр удостоверились, как легко досталась чужестранцу награда за быстроту бега, сердцами их завладела зависть.

Потом началось состязание в искусстве фехтования. Получивший награду за бег вышел один против шести и своею, вороненой стали, рапирой кому угодил в губу, кому в нос, кому в глаз, кому в лоб, а у него, как говорится, ни один волос с головы не упал.

Народ зашумел, и при всеобщем одобрении ему была присуждена высшая награда.

Вслед за тем еще шесть искусников стали готовиться к борьбе, и в борьбе юный чужеземец снова в грязь лицом не ударил. Обнажив широкие свои плечи, высокую, могучую грудь и мускулы сильных рук, он с невероятною быстротою и ловкостью всех шестерых, как они ни сопротивлялись и ни упорствовали, положил на обе лопатки.

После этого он схватил тяжелый молот, который был воткнут в землю (он знал заранее, что четвертое состязание будет состоять в метании молота), прикинул его вес на руке, а затем сделал знак толпе расступиться, чтобы можно было беспрепятственно метнуть молот. Взяв молот, юноша, не отводя руку назад, с такой силой метнул его, что берег моря оказался для него слишком близкой границей: пролетев над берегом, молот упал далеко в море.

Сверхъестественная сила чужестранца привела соперников его в совершенное уныние, и они, отказавшись метать молот, дали ему арбалет и стрелы и указали на высокое, без единого сучка, дерево, к вершине коего было прикреплено копьецо, а к копьецу был привязан за нитку голубь, стрелять в которого тем, кто желал в этом состязании принять участие, полагалось по разу.

Один из таковых, хваставший своею меткостью, вышел вперед, прицелился — ну, думаю, сейчас он попадет в голубя! Пустил стрелу, но стрела вонзилась в самый кончик копья, после чего испуганный голубь вспорхнул; тогда второй стрелок, не менее кичливый, до того метко пустил стрелу, что нитка, за которую был привязан голубь, порвалась, и голубь, почувствовав, что он уже не на привязи, почуяв свободу, положил без промедления ею воспользоваться и затрепыхал крылышками. Но в это самое время пустил стрелу тот, кто уже привык высшие получать награды, и тут прямо можно было подумать, что он отдал стреле приказание, а она, будучи существом разумным, ему повиновалась, ибо, с резким и долгим свистом разрезав воздух, она настигла голубя и, пронзив ему сердце, пресекла и полет его, и самую его жизнь.

Тут снова раздались восторженные клики, и все наперерыв стали восхищаться чужестранцем, который и в беге, и в фехтовании, и в борьбе, и в метании молота, и в стрельбе из лука, а равно и во многих других состязаниях, о коих я не упомянул, показал полнейшее свое превосходство и высшие заслужил награды, так что товарищам его не было уже никакого смысла принимать участие в соревнованиях.

Игры закончились в сумерки; как же скоро король Поликарп и другие судьи встали с мест, дабы вручить победителю награды, победитель опустился перед королем на колени и сказал:

«Наш корабль остался без надзора, а ведь уже темнеет; между тем высокие награды, которые я ожидаю получить, да еще из твоих рук, не подобает принимать второпях, а потому я прошу тебя, великий государь, отложить их вручение до другого раза, и тогда я снова на досуге и на свободе тебе послужу».

Король обнял юношу и спросил, как его зовут; тот ответил, что зовут его Периандром.

В это время прелестная Синфороса сняла со своей точеной головки венок и, возложив

его на голову юного красавца, с видом скромным и в то же время обворожительным обратилась к нему:

— Когда на долю отца моего выпадет счастье снова тебя увидеть, то ты увидишь, что не ты сослужишь ему службу, а тебе будут здесь служить.

О том, как себя вела ревнивая Ауристела, узнав, что победителем в состязании вышел ее брат Периандр

О всемогущая сила ревности! О недуг, так прочно укореняющийся в душе, что одна лишь смерть способна вырвать ее с корнем! О прекрасная Ауристела! Превозмоги себя, не дай завладеть твоим воображением бешеной этой страсти! Но кто же властен удержать легкокрылые и неуловимые мысли, которые благодаря своей бесплотности проходят сквозь стены, пронзают человеку грудь и заглядывают в тайники души?

Говорю я это к тому, что когда Ауристела услышала имя брата своего Периандра, а еще раньше — о похвалах, которые расточала ему Синфороса, равно как и о том предпочтении, какое та ему оказала, возложив на его голову венок, то душевная боль Ауристелы вылилась в подозрения, а ее терпение прорвалось в столах; наконец она, испустив глубокий вздох и обняв Трансилу, молвила:

— Любезная подруга моя! Моли бога о том, чтобы супруг твой Ладислав нашелся, брат же мой Периандр навеки скрылся от наших очей. Доблестный капитан столь живо нам его изобразил, что он так и стоит у меня перед глазами — заслуживший особые почести, как победитель на играх, увенчанный лаврами за свою доблесть, польщенный вниманием, какое ему оказала королевская дочка, и позабывший о своей сестре, терпящей бедствия на чужбине. Ну и пусть он добивается лавров и трофеев в чужих краях, а сестру свою, которая по его же просьбе и ради него смертельной подвергается опасности, бросит одну среди скал и утесов, среди гор водяных, воздвигаемых бурным морем!

Капитан корабля с великим вниманием слушал ее речи, хотя смысла их не улавливал; он обратился было к ней с вопросом, но так и не dokonчил его, ибо в ту же секунду и в тот же наикратчайший миг внезапно поднялся резкий ветер и, заглушив его голос и не дав ему досказать, заставил его вскочить и отдать приказ морякам одни паруса убрать, других парусов убавить, третьи же закрепить.

Всей команде засвистали аврал, а подхваченное ветром судно, зачерпнув носом воду, понеслось по безбрежному и необозримому морю.

Маврикий, чтобы не мешать морякам, удалился со своими спутниками к себе в каюту. В каюте Трансила обратилась к Ауристеле с вопросом: неужто, мол, ее привело в такое смущение имя Периандра? А между тем она-де не может взять в толк, может ли огорчить сестру весть об успехах брата и о расточавшихся ему похвалах?

— Милая подруга! — воскликнула Ауристела. — Я дала обет хранить в строжайшей тайне, чего ради пустилась я в странствия, и я не нарушу его до тех пор, пока странствия мои не кончатся, хотя бы прежде странствий окончились дни моей жизни. Когда ты узнаешь, кто я, — а когда-нибудь ты это, бог даст, узнаешь, — ты поймешь, отчего я так взволновалась, ибо тебе тогда станет ясна причина волнения; тебе станут известны благочестивые мои замыслы, которые многажды расстраивались, но от которых я все же не отказалась; станут известны мои злоключения, коих я не искала; станет известно, по каким запутанным блуждала я лабиринтам, из коих всякий раз неожиданно открывался выход; ты удостоверишься, сколь сильны родственные узы, связывающие сестру и брата, особливо если к этим узам присоединятся еще более сильные, а у меня с Периандром дело обстоит именно так; наконец, ты удостоверишься, до какой степени свойственно влюбленным ревновать, а что у меня еще больше оснований, ревновать моего брата. В самом деле, милая подружка:

разве капитан не превознес красоту Синфоросы и разве Синфороса, украшая цветами чело Периандра, не залюбовалась им? Разумеется, что да. Разве мой брат не отважен и не прекрасен? Ведь ты его видела. Так что же удивительного, если мысль о Синфоросе вытеснила из его сердца мысль о сестре?

— Прими в соображение, сеньора, — молвила Трансила, — что все, о чем нам рассказал капитан, произошло до того, как Периандр попал на остров Варварой. Ведь вы же с ним после этого виделись, общались, и ты имела возможность увериться, что, кроме тебя, он никого не любит и что у него только одна забота — как бы угодить тебе. А потом, я все же себе не представляю, как это сестра может ревновать к кому-нибудь брата.

— Послушай, голубка Трансила, — сказал Маврикий, — веления любви столь же многообразны, сколь и несправедливы, законы ее столь же многочисленны, сколь и непостоянны, так будь же скромна: не пытайся чужие выведывать мысли, не старайся узнать больше того, что человек сам о себе скажет. Любознательность должно в себе развивать и обострять, но только ни в коем случае не по отношению к чужим делам, которые нас не касаются.

Слова Маврикия заставили Ауристелу призвать на помощь всю свою осторожность и попридержать язык, ибо из-за невоздержанного языка Трансилы она чуть было не выдала свою тайну.

Ветер, между тем улегся, так что моряки не успели натерпеться страху, а пассажиры переполошиться. Капитан зашел проведать пассажиров, а заодно докончить рассказ свой, — должно заметить, что волнение, охватившее Ауристелу при одном имени Периандра, сильно возбудило его любопытство. Ауристеле также хотелось возобновить прерванную беседу и узнать у капитана, простерлось ли расположение Синфоросы к Периандру далее возложения венка, — того ради она осторожно и в деликатной форме, дабы не выдать тайной своей мысли, задала ему этот вопрос. Капитан же ей ответил, что Синфороса не успела еще как-либо выказать Периандру свою любезность, — так-де он, капитан, предпочитает обозначать благоволение дам; впрочем, несмотря на все его уважение к достоинствам Синфоросы, его неотступно преследовала мысль о том, что мыслями Синфоросы завладел Периандр, ибо после отъезда Периандра стоило кому-нибудь завести разговор о Периандровых совершенствах, как Синфороса начинала их восхвалять и превозносить до небес, и подозрения капитана еще усилились, когда она велела ему разыскать Периандра и привезти к ее отцу.

— Да полно! — воскликнула Ауристела. — Точно ли девушки знатного рода королевские дочери, вознесенные на вершину житейского благополучия, способны до такой степени унизиться, чтобы обнаружить сердечную свою склонность к предмету, рожденному в низкой доле? И если правда, что знатность и величие с любовью не в ладах, — более того, с нею не уживаются, то отсюда следует, что прекрасной Синфоросе, незамужней дочери короля, не пристало пленяться с первого взгляда неизвестным юношей, в чьей родovitости она должна была усомниться, видя, что он сидит за рулем и с ним едут в лодке двенадцать полуголых товарищей, — ведь гребцы всегда бывают обнажены до пояса.

— Ты не права, любезная Ауристела, — возразил Маврикий. — Ни в одной области природа не творит столько великих чудес, сколько в области любви. И столь многочисленны и таковы суть эти чудеса, что о них не говорят; как бы ни были они беспримерны, их не замечают. Любовь объединяет царский скипетр с посохом пастушеским, величие со смирением, она делает невозможное возможным, уравнивает самые различные звания и в могуществе своем соперничает даже со смертью. И тебе и мне хорошо известны пригожесть, статность и отвага твоего брата Периандра, и эти его особенности составляют

вместе редкостно прекрасное целое, а свойство красоты как раз в том и состоит, что она очаровывает души и покоряет сердца, и чем красота ярче и чем виднее она означает, тем больше ее любят и чтут. Вот почему меня нимало не удивляет, что Синфороса при всей своей знатности полюбила твоего брата: она полюбила не самого Периандра — она полюбила в нем красоту, удаль, ловкость, проворство, она полюбила предмет, в коем все эти качества сочетаются и воплощаются.

— Разве Периандр — брат этой девушки? — спросил капитан.

— Брат, — отвечала Трансила, — и в разлуке с ним она изнывает от горя, а мы все любим ее и, зная ее брата, страдаем за нее и крушимся.

И тут капитану рассказали о том, как погиб Арнальдов корабль, и как шлюпка и лодка потеряли одна другую из виду, — рассказали со всеми подробностями, необходимыми для того, чтобы ему стала ясна суть дела, и довели свой рассказ до самого последнего мгновенья, а этим мгновеньем автор как раз и заканчивает первую часть длинной своей истории и переходит ко второй, в коей пойдет речь о событиях, которые хотя и соответствуют истине, однако ж способны поразить самое живое и самое пылкое воображение.

в коей рассказывается о том, как перевернулся корабль вместе со всеми, кто на нем находился

Должно полагать, автора этой истории больше занимают дела сердечные, нежели сама история, коль скоро он почти всю первую главу, вводящую читателей в часть вторую, задумал посвятить определению, что есть ревность, для чего предлог подала ему ревность, пробужденная в душе Ауристелы рассказом капитана корабля. Однако ж, дабы не впасть в многословие и приняв в соображение, что предмет сей был уже много раз выясняем и обсуждаем, почел он приличным прямо перейти к сути дела, а дело было так: ветер внезапно изменил направление, небо затянулось тучами, настала темная, черная ночь, озаряемая вспышками молнии, слепившими глаза всем, кто находился на корабле, за вспышками молнии следовали удары грома, пугавшие даже моряков, и поднялась буря, которая до того неожиданно начала трепать корабль, что проворство и искусство моряков не сумели опередить ее: растерянность овладела ими в то самое время, когда на корабль налетел ураган. Впрочем, это не помешало каждому из них занять свое место и делать все, что могло если не предотвратить гибель, то хотя бы на некоторое время продлить их жизнь, и вот иные смельчаки уже вверяют свою жизнь доскам и борются за нее из последних сил, иные в надежде на спасение цепляются за бревно, сорванное вихрем, обхватывают его, да еще почитают за великое счастье грубые эти объятия.

Маврикий обнял дочь свою Трансилу, Антоньо — мать и сестру, Риклу и Констансу, одна лишь несчастная Ауристела осталась без опоры, если не считать той, которую ей в любую минуту готова была предложить ее скорбь, а именно — объятия смерти, и она с радостью кинулась бы в эти объятия, когда бы тому не препятствовала христианская католическая вера, в коей Ауристела была непоколебимо тверда. Того ради прижалась она к своим спутникам, и все они, образовав нечто вроде узла, вернее сказать — клубка, спустились почти в самый низ корабля: здесь не так были слышны громовые раскаты, не так слепила то и дело вспыхивавшая молния, не так явственно доносился сюда слитный гул, стоявший на корабле; в этом подобии преисподней они не различали, что минутами им было до неба — рукой подать, что корабль то взлетал до облаков, то едва не врезался грот-мачтой в песок морского дна. Они с закрытыми глазами ждали смерти; вернее сказать, они, не видя ее, испытывали страх перед ней, ибо смерть всегда ужасна, в каком бы одеянии ни являлась она очам, но нет ничего грознее смерти, которая застигает беззащитного в полном расцвете его сил.

А буря не унималась, и перед ней оказались бессильны и опытность матросов, и рвение капитана, и надежда на спасение, до времени поддерживавшая всех. Уже не раздавалась команда: «Сделать то, сделать другое»; слышны были только воссылавшиеся к небу мольбы и обеты. И такой ужас и такое отчаяние овладели всеми, что Трансила не вспоминала более о Ладиславе, Ауристела о Периандре, ибо действие всемогущего страха смерти между прочим заключается в том, что у человека все житейское выпадает из памяти, и коль скоро даже ревность в такие минуты не дает себя чувствовать, значит для страха смерти нет ничего невозможного.

Не было у них ни песочных часов, которые показывали бы время, ни компаса для определения стран света; не было среди них такого искушенного опытом моряка, который хорошо знал бы местность, — был сплошной ужас, сплошной вопль, сплошной стон, сплошная мольба о помощи.

Изнемог капитан, пали духом матросы, иссякли человеческие силы, от изнеможения в конце концов произошло безмолвие, и оно поглотило почти все роптавшие голоса.

А дерзкие волны осмелели до того, что гуляли по палубе, взлетали до самых верхушек мачт, а мачты как бы в отместку бороздили песок морского дна.

С наступлением дня, — если только можно назвать днем день безрассветный, — корабль остановился; он сделался неподвижен, он не кренился ни на один борт, а это, не считая крушения, представляет для судна самую большую опасность. Победенный свирепым ураганом, корабль, словно кто-то нарочно так его перевернул, грот-мачтой погрузился в пучину вод, а килем как бы нацелился в небо, являя собою склеп для всех в нем находившихся.

Простите, благочестивые замыслы Ауристелы! Простите, бесповоротные ее решения! Замрите, святые и благородные ее порывы! Не ждите для себя иных мавзолеев, иных обелисков и пирамид, — гробницу послужат вам плохо просмоленные корабельные доски. И ты, Трансила, живой пример добродетели, ты, которую держит в своих объятиях твой почтенный и благоразумный родитель! Оставь надежду повенчаться когда-либо с Ладиславом! Надейся возлечь на иное, прекраснейшее брачное ложе! И ты, Рикла, о тихой мечтавшая пристани! Крепче прижми к себе своих деток — Антоньо и Констансу и предстань с ними пред тем, кто ныне отнимает у тебя жизнь земную для того, чтобы вместо нее даровать жизнь вечную.

Приведенные слова невольно вырвались у автора этой великой и печальной истории в то самое мгновение, когда умственному его взору представилась неминуемая гибель всех, кто находился внутри перевернувшегося корабля, однако ж вместе со словами вышеприведенными у него родились и другие, но скажет он их уже не в этой, а в следующей главе.

Глава вторая

Об одном необычайном происшествии

Как видно, корабль, перевернувшись, перевернул, а вернее сказать — помутил, рассудок автора этой истории, и точно: он раз пять переделывал начало второй главы, он словно сам не понимал, что же он хочет ею сказать. Истолковал же он главную ее мысль в конце концов так: счастье и несчастье на свете неразлучны, иной раз их никакими силами не разъединишь; радость и горе так вместе и ходят, а потому равно безрассуден и тот, кто в беде предается отчаянию, и тот, кто беспечен во дни веселья, непреложным чему доказательством служит следующее необычайное происшествие: как уже было сказано, корабль погрузился в воду, люди, утратив всякую надежду на спасение, нашли себе могилу не в земле, а внутри корабля, однако ж благие небеса, испокон веков выручающие нас из беды, распорядились так, что волна, уже присмирившая и утихшая, прибила корабль к отмели, которая в хорошую, тихую погоду представляла собою надежную гавань, а неподалеку находилась настоящая гавань, где могло стоять сонмище кораблей, и в водах гавани отражался, как в зеркале, многолюдный город, раскинувший на высокой горе величественные свои здания.

Жители города, завидев громаду корабля, вообразили, что это кит или же какая-нибудь рыба, пострадавшая от бури.

Уйма народу собралась на нее поглядеть, и, удостоверившись, что то корабль, а не рыба, горожане уведомили о сем градоправителя короля Поликарпа, король же со многочисленною свитою и в сопровождении двух прекрасных дочерей своих, Поликарпы и Синфоросы, также спустился на берег и велел при помощи кабестанов, воротов и лодок, коими он приказал окружить судно, направить и ввести корабль в гавань.

Те, что взобрались на днище, услышали внутри стук и даже чьи-то голоса, о чем не преминули доложить королю.

Один старый дворянин, стоявший рядом с королем, сказал:

— Помнится, государь, в Средиземном море у берегов Генуи я видел испанскую галеру — при повороте она дала крен и опрокинулась вот вроде этого судна: мачты — в песке, киль смотрит в небо. А когда ее стали поворачивать и поднимать, слышался такой же точно шум. Тогда в днище корабля проделали дыру, в которую можно было подглядеть, что делается внутри. И едва лишь внутрь галеры проник свет, как оттуда вышли капитан и его товарищи. Я видел все своими глазами, описание же этого случая вы найдете во многих испанских книгах. Может, и сейчас еще живы те люди, что вторично родились на свет из утробы галеры. И если с этим кораблем произойдет то же самое, это будет не чудо, но тайна: чудеса принадлежат к области сверхъестественного, тайны же напоминают чудеса, но чудесами все же не являются — просто-напросто это редкие случаи.

— Ну так чего же мы ждем? — воскликнул король. — Сей же час пробейте днище, и тайна откроется нам. Но если чрево корабля изрыгнет живых людей, я все-таки почту это за чудо.

По приказу короля начали с великою поспешностью проделывать в днище корабля дыру, и все с великим нетерпением следили за тем, как произойдут роды.

Еще немного — и в днище корабля огромная зияла дыра, а в дыру были видны мертвые, мертвые и живые, походившие на мертвых. Кто-то сунул туда руку и вытащил девушку; сердце у нее билось — значит, она была еще жива. Остальные последовали примеру этого человека, и каждый кого-нибудь да извлек. Иные, думая, что вытаскивают живых,

вытаскивали мертвых: ведь не все рыбаки одинаково удачливы.

Когда же полуживые очутились на свежем воздухе и в глаза им ударил солнечный свет, они стали дышать полной грудью. Им брызнули в лицо водой — они протерли глаза, потянулись и, точно спросонья, огляделись по сторонам. И тут Ауристела очутилась в объятиях Арнальда, Трансила — в объятиях Клодьо, Рикла и Кон-станса — в объятиях Рутилио, а уж Антоньо-отцу и Антоньо-сыну никого не пришлось заключить в объятия, и в таком же точно положении оказался Маврикий.

Арнальд был еще более изумлен и озадачен, нежели воскресшие из мертвых, и еще сильней помертвел, чем они.

Ауристела взглянула на него, но не узнала, и первыми ее словами были (надобно заметить, что она первая нарушила молчание):

— Скажи мне, брат: прекрасная Синфороса тоже здесь?

«Боже мой! Это еще что такое? — подумал Арнальд. — С чего это она вдруг заговорила о Синфоросе? Ей сейчас должно благодарить бога за оказанную милость, а об остальном позабыть на время».

Со всем тем он ответил ей, что Синфороса точно находится здесь, и спросил, откуда она ее знает. Арнальд не присутствовал при беседе Ауристелы с капитаном корабля, рассказавшим ей о триумфе Периандра, и теперь не мог взять в толк, почему Ауристела первым делом спросила про Синфоросу, а если бы причина была ему ясна, он, уж верно, сказал бы, что ревность так всесильна и до того хитроумна, что входит и вливается в тело человека даже вместе с лезвием косы, которою взмахивает над ним смерть, и проникает в душу влюбленного даже перед самой его кончиной.

Когда, некоторое время спустя, воскресшие, как их можно было с полным правом назвать, оправились от испуга, а живые, которые их вытаскивали, — от изумления, и когда к ним всем вслед за способностью мыслить вернулся дар речи, они стали наперерыв друг друга расспрашивать, каким образом одни очутились еще раньше на этом острове и каким образом других доставил сюда корабль.

Тем временем Поликарп, видя, что в дыру, проделанную в днище судна, вливается, вытесняя воздух, вода, приказал подтащить корабль к пристани и вытащить на берег, что и было исполнено с великим проворством. Оставшиеся в живых ступили на твердую землю, и король Поликарп, равно как и его дочери, а также именитые граждане сего королевства встретили их с радостью и восторгом. Однако ж все они, и главным образом Синфороса, особенно восторгались несравненною красотою Ауристелы. Впрочем, восхищались они и прелестью Трансилы, а также необычностью и изяществом одежды, юностью и приятностью Констансы, коей в миловидности и стройности не уступала Рикла. А как до города было близко, то все, не воспользовавшись чьими бы то ни было услугами, направились туда пешком.

Между тем Периандр успел сказать несколько слов сестре своей Ауристеле, Ладислав — Трансиле, Антоньо — жене своей и дочке, те также рассказали им о своих приключениях — все, кроме Ауристелы, — Ауристела долго молча впивалась глазами в Синфоросу, наконец все же заговорила.

— Скажи мне, брат, — спросила она Периандра, — вон та очаровательная девушка — уж не Синфороса ли это, дочь короля Поликарпа?

— Так, это она, олицетворенная красота и учтивость, — отвечал Периандр.

— Такая красавица не может быть неучтивой, — заметила Ауристела.

— Если б даже она и не была так хороша собой, все равно мой долг по отношению к ней вынудил бы меня, милая сестра моя, смотреть на нее как на красавицу.

— Уж если речь зашла о долге и если ты только из чувства долга восхищаешься женской красотой, то в таком случае меня ты должен признать за первую красавицу в мире — столь многим ты обязан мне.

— Небесное не подобает сравнивать с земным, — заметил Периандр, — самые велеречивые похвалы не должны, однако ж, переступать определенные границы. Если кто-нибудь скажет про женщину, что она прекрасней, чем ангел господень, то это пышная фраза и ничего более, а чувство долга тут ни при чем. Лишь к тебе, ненаглядная сестра моя, это правило не относится, — самая громкая хвала красоте твоей не может быть неискренней.

— Если только я не подурнею от горестей и треволнений, то, пожалуй, придется мне поверить в искренность твоего славословия. Однако ж я пребываю в надежде, что когда-нибудь по воле благого провидения злополучие мое сменится благополучием, бури душевные — тишиною, а пока что я молю тебя, брат, ради всего святого: пусть чувство долга по отношению ко мне возьмет в тебе верх и возобладает над восхищением чьей бы то ни было красотой; да не прельстит тебя еще чье-либо пригожество, ибо только моя красота способна совершить тебе удовлетворение, способна захватить тебя всего, без остатка. Помни, что только гармоническое сочетание телесной и душевной моей красоты утолит твою жажду прекрасного.

Слова Ауристелы смутили Периандра: впервые ощутил он в ней ревнивицу; они были знакомы давно, но до сего дня не было еще такого случая, когда бы присущая рассудительной Ауристеле сдержанность ей изменила; речь ее всегда выражала мысли невинные и безгрешные; ни разу еще не сорвалось у нее с языка такое слово, которое не могла бы сказать сестра брату, и притом! — где угодно: и наедине и при всех.

Арнальд между тем завидовал Периандру, Ладислав наслаждался обществом супруги своей Трансилы, Маврикий — обществом дочери и зятя, Антоньо-отец — обществом жены и детей, Рутилио радовался тому, что все они опять вместе, злоречивый же Клодьо тому, что теперь он при всяком удобном случае будет рассказывать всем и каждому об этом огромном и чрезвычайном событии.

В городе радушный Поликарп принял гостей своих по-царски: он всем велел располагаться у него во дворце; Арнальду же король оказал особые почести: королю было известно, что это датский наследный принц и что заставляет его странствовать по белу свету любовь к Ауристеле, а как скоро он на красавицу Ауристелу взглянул, то мгновенно нашел в сердце своем оправдание для Арнальда.

Поликарп с Синфоросой поместили Ауристелу в одном из своих покоев, и Синфороса, не сводя с Ауристелы глаз, мысленно благодарила бога за то, что это не возлюбленная, а сестра Периандра. Синфороса полюбила Ауристелу и за несказанную ее красоту и просто как родную сестру Периандра, и ни на шаг от нее не отходила; она следила за каждым движением Ауристелы, ловила каждое ее слово; все в ней казалось Синфоросе очаровательным, все в ней нравилось Синфоросе — даже звук ее голоса.

Ауристела почти так же зорко и почти с таким же восхищением следила за Синфоросой, но только испытывали они при этом чувства совершенно разные: Ауристелой руководила ревность, Синфоросой — простодушная благожелательность.

Так, отдыхая от минувших тревог, провели путешественники в городе несколько дней. Арнальд намерен был либо возвратиться в Данию, либо сопровождать Ауристелу и Периандра куда они пожелают; он не уставал повторять, что их воля для него священна.

Клодьо от нечего делать с любопытством наблюдал за душевными движениями Арнальда; он видел, что все сильнее давит ему выю ярем любви; и вот однажды, оставшись с ним наедине, он обратился к нему с такими словами:

— Я всю свою жизнь открыто порицал пороки государей, я относился к ним без должного уважения и не заботился о последствиях, которые могут иметь мои обличения. Сейчас же я намерен, не предуведомляя, о чем пойдет речь, сказать тебе одну вещь по секрету, тебя же я прошу выслушать меня терпеливо, ибо то, что говорится в форме совета, в самом своем намерении находит оправдание, хотя бы это намерение и не пришлось по нраву.

Арнальд был озадачен: он не мог постичь, что означает это предисловие; наконец, снедаемый желанием это узнать, положил он все же выслушать Клодьо и о своем желании ему объявил, а Клодьо, получив дозволение, продолжал:

— Ты, государь, любишь Ауристелу... Да что я говорю: любишь? Не любишь, а обожаешь! И, сколько мне известно, ты знаешь о звании ее и состоянии не более того, что она сама соизволила тебе сказать, а она ровно ничего о себе не сообщила. Она находилась у тебя два с лишним года, в течение которых ты, должно полагать, делал все для того, чтобы смягчить ее суровость, умилоستивить ее жестокость и покорить ее сердце, к сердцу же ее ты шел самым благородным и самым верным путем — путем предложения своей руки и сердца, однако она и сейчас так же непреклонна к твоим мольбам, как и в тот день, когда ты заговорил с нею об этом впервые, — право, можно подумать, что ты чересчур терпелив, а она недостаточно сметлива. Нет, тут что-то не так: если женщина отказывается от короны, отвергает руку наследного принца, вполне достойного ее любви, значит тут какая-то важная тайна. А еще мне представляется загадочным вот что: по свету скитается девушка, всячески скрывающая свое происхождение; сопровождает же эту девушку юноша, — говорят, будто бы ее брат, а на самом деле, может быть, и не брат; кочует она из страны в страну, с острова на остров, и не останавливают ее ни стихии небесные, ни грозы на суше, еще более страшные, нежели бури на море. Из тех даров, коими небо осыпало смертных, особенно высоко надлежит ценить те, что создают человеку доброе имя; блага житейские ставятся ниже. Люди здравомыслящие, даже когда они исполняют какую-нибудь свою прихоть, прислушиваются к голосу рассудка, а не повинуются слепо велению самой этой прихоти.

Клодьо намеревался продолжить свое глубокомысленное философическое рассуждение, но в это время вошел Периандр, и Клодьо, наперекор собственному желанию, а равно и желанию Арнальда, которому хотелось дослушать его речь, волей-неволей пришлось умолкнуть. Вслед за Периандром вошли Маврикий, Ладислав и Трансила, а после всех, опираясь на плечо Синфоросы, вошла занемогшая Ауристела, а занемогла она столь тяжело, что решено было немедленно уложить ее в постель, и этот ее недуг не на шутку встревожил и взволновал Периандра и Арнальда, так что если бы они предусмотрительно чувства свои не утаили, то и к ним, как и к Ауристеле, не преминули бы позвать врачей.

Как скоро Поликарп узнал, что Ауристела занемогла, то велел позвать к ней лекарей: пусть, мол, они по биению пульса определяют недуг. Лекари нашли, что то недуг душевный, а не телесный. Но еще раньше врачей распознал ее болезнь Периандр, отчасти разгадал ее Арнальд, лучше же всех понял, в чем дело, Клодьо.

Врачи не велели оставлять ее одну — напротив того: они предписали увеселять и развлекать ее музыкой, буде на то воспоследует ее соизволение, или же придумать для нее еще какую-нибудь забаву.

Все заботы о больной взяла на себя Синфороса и сама предложила себя в сиделки, каковое предложение особого удовольствия Ауристеле не доставило: ей не хотелось всечасно видеть перед собой ту, в ком она видела причину своего недуга, от которого она не чаяла исцелиться и о котором порешила ни с кем не говорить: стыдливость наложила ей на уста печать, желанию с кем-либо поделиться противостояла ее гордость.

Коротко говоря, все ушли из ее покоя, оставив ее на попечение Синфоросы и Поликарпы, но и Поликарпу Синфороса под благовидным предлогом удалила, и как скоро осталась с Ауристелой вдвоем, то приблизила свои уста к ее устам и, до боли сжимая ей руки и прерывисто дыша, казалось, хотела вдохнуть свою душу в тело Ауристелы, чем вновь привела Ауристелу в смущение, и она обратилась к Синфоросе с такою речью:

— Что с тобою, принцесса? Судя по всему, ты чувствуешь себя еще хуже, чем я, и на душе у тебя еще тяжелее, нежели у меня. Не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Телом я слаба, однако ж воля у меня тверда по-прежнему.

— Милая моя подруга! — воскликнула Синфороса. — Благодарю тебя от всей души, в свою очередь предлагаю тебе свои услуги — с тою же искренностью, с какою обратилась ко мне ты, и прошу тебя верить, что это не светская учтивость и не пустые слова. Сестра моя! (Позволь мне так называть тебя!) Пока я жива, я буду любить, обожать, боготворить... сказать тебе, кого?.. Но нет! Стыд и чувство собственного достоинства заграждают мне уста. Что же, значит, мне суждено умереть, так никому и не открывшись? Или же я исцелюсь чудом? Или же и у безмолвия есть свой язык? Может статься, очи застенчивые и стыдливые обладают свойством и способностью выражать рой заветных дум любящего существа?

Синфороса сопровождала свою речь столь обильными слезами и столь тяжкими вздохами, что Ауристела, отерев ей глаза и обняв ее, обратилась к ней с увещанием:

— Да не замрут в тебе, страждущая дева, слова, что рвутся из твоей души! Да оставят тебя на короткое время робость и стыд! Дозволь мне быть твоею наперсницею: стоит поведать другому свою кручину — и она или вовсе развеется, или утихнет. Страждешь ты от любви, — так, по крайней мере, я подозреваю: ведь мне же известно, что ты из плоти, а не из мрамора, как, впрочем, глядя на тебя, можно подумать; и еще мне известно, что хотя наши души неустанно к чему-то стремятся, однако они пребывают верны тому человеку, любить которого нас не то чтобы принуждают, но склоняют светила небесные. Ну, так скажи мне, принцесса, кого же ты любишь, кого обожаешь, кого боготворишь? Если это не какое-нибудь с твоей стороны сумасбродство и ты не влюбилась в быка и не пылаешь любовью к платану, если ты, как ты выражаешься, *обожаешь* мужчину, то это меня не удивляет и не ужасает: ведь я тоже женщина, у меня тоже есть желания, и если я о них не говорю даже в жару, то лишь из врожденной стыдливости, но как бы ни были они преступны и несбыточны, а все же в конце концов они вырвутся Наружу: пусть уже в завещании, но я открою истинную причину моей смерти.

Синфороса не отводила от нее взгляда; она впивала каждое ее слово, как если б то было прорицание оракула.

— Ах, Ауристела! — воскликнула Синфороса. — Я верю, что небо, тронутое моею скорбью и опечаленное моею печалью, неисповедимыми и таинственными путями привело тебя на наш остров. Из темного корабельного чрева вывело оно тебя на свет, дабы осветить душевный мой мрак и дабы утишить бурю чувств моих. Итак, не желая долее томить ни тебя, ни себя, я начну с того, что на наш остров однажды прибыл твой брат Периандр.

И тут Синфороса связно ей рассказала, как появился на острове Периандр, какие он одержал победы, каких одолел соперников, какие заслужил награды, словом, обо всем, что читателям уже известно, а затем призналась, что Периандра она нашла очаровательным, что она с первого взгляда почувствовала к нему что-то вроде сердечного влечения, что это еще нельзя было назвать любовью, а всего лишь благоволением, но что потом, в уединении и на досуге, прелестный его облик так и стоял у нее перед глазами. Любовь рисовала Периандра мысленному взору Синфоросы не простым смертным, но неким принцем, — во всяком случае, таким человеком, который достоин быть принцем.

— Этот его образ запечатлелся у меня в душе незаметно для меня самой, так что я этому и не сопротивлялась, а теперь уж — вновь тебе признаюсь — я люблю его, обожаю, боготворю.

Синфороса, уж верно, рассказала бы о себе что-нибудь еще, но тут вошла Поликарпа, желавшая развлечь Ауристелу пением под звуки арфы. Синфороса умолкла, Ауристела была удручена, однако ж, как ни была поглощена своими мыслями Синфороса и как ни крушилась Ауристела, обе они приклонили слух к пению бесподобной певицы Поликарпы, а та начала петь на своем родном языке сонет, который впоследствии перевел Антоньо-отец:

Коль от цепей любви освободить
Не могут даже разочарованья,
Честнее не скрывать свои страданья,
Чем дни в немой печали проводить.

Ах, Цинтия! Не тщись отгородить
Себя от нас глухой стеной молчанья:
Ее разрушат те воспоминанья,
Чью жгучесть ты не властна охладить.

Пусть и душа и голос твой стенают,
И пусть — на то тебе и дан язык —
Твоя тоска в слова себя оправит.

Тогда по крайней мере все узнают,
Насколько твой сердечный пыл велик:
Ведь на твоих устах он след оставит.

Синфороса прекрасно поняла смысл этого сонета, сочиненного Поликарпой, угадывавшей все ее сердечные движения, и хотя первоначально Синфороса намеревалась скрыть их во мраке молчания, но тут она порешила, воспользовавшись советом сестры, поведать Ауристеле все свои думы, открыть ей всю свою душу.

С той поры Синфороса не раз оставалась с Ауристелой вдвоем, делая, однако ж, вид, что это она из человеколюбия, а не потому, чтобы ей самой была в том необходимость. Наконец однажды она не выдержала и, возобновив прерванный разговор, сказала:

— Выслушай меня еще раз, Ауристела, и да не наскучат тебе мои речи! Слова клокочут у меня в душе и грозят излететь из уст. Если я их не выскажу, они разорвут мне грудь. И как ни дорого мне мое доброе имя, я перед лицом такой угрозы не могу не сказать тебе, что я умираю от любви к твоему брату, в совершенствах которого я уверилась воочию, и эти его совершенства с той поры составляют предмет любовных моих дум, а кто его отец и мать, откуда он родом, богат он или беден, как высоко вознесла его Фортуна, — до этого мне дела нет, мне довольно тех щедрот, кои на него излила природа. За это одно я люблю его, за это одно я его обожаю, за это одно я его боготворю. И сейчас я обращаюсь к тебе одной и взываю к твоему благородству: не говори худого слова о безрассудных моих мечтаниях и сделай для меня, если можешь, доброе дело. Моя мать, умирая, оставила мне без ведома отца сокровища неисчислимыя; я — королевская дочь: хотя мой отец — король избранный, а все же король; в каких я годах — ты видишь, краса моя от тебя не укрыта: может, я и не так уж казиста, а все же собой недурна. Так сосватай же меня, Ауристела, своему брату, а я буду тебе за сестру, я разделю с тобою мои сокровища, я сыщу для тебя такого жениха, которого после смерти, а может статься, еще и при жизни моего отца изберут королем; во всяком случае, на мои сокровища можно приобрести любое королевство.

Синфороса говорила Ауристеле ласковые слова и, держа ее за руки, обливала их слезами. Из очей Ауристелы также струились слезы; она живо представляла себе, какой лютой тоской бывает стеснена любящая душа, и хотя она видела в Синфоросе своего врага, а все же невольно проникалась к ней состраданием, ибо натура великодушная прибегает к мести лишь в самом крайнем случае, да и то сказать: Синфороса ведь ничем ей не досадила, за что ей нужно было бы мстить; если Синфороса и была виновата, то только перед самою собой; мечтала она о том же, о чем мечтала и Ауристела; помешалась она на том же, на чем помешалась и Ауристела. Нет, Ауристела ни в чем не могла обвинить Синфоросу, не уличая в том же себя самое. Ей только хотелось увериться, не удостоила ли Синфороса Периандра каким-либо знаком внимания, хотя бы ничтожным; не мог ли он уловить ее чувство к нему в слове, оброненном ненароком, в случайно брошенном на него взгляде. Синфороса же ей на это ответила, что ни разу не осмелилась поднять на Периандра глаза и взглянуть на него в упор, — если же когда и смотрела на него, то с приличествующей ее званию скромностью, — и что скромности ее взоров соответствовала скромность ее речей.

— Охотно верю, — заметила Ауристела, — но неужели он сам ничем не обнаруживал своего чувства? Разумеется, что он еще обнаружит его: ведь не каменный же он, твоя красота не может не смягчить, не может не тронуть его сердце. Вот почему я предлагаю: прежде чем я в это дело вмешаюсь, поговори с ним сама, вызови его на разговор каким-либо благопристойным знаком внимания — такие неожиданные знаки пробуждают и воспаляют самые холодные, самые нелюбвеобильные сердца. И вот если он на твой зов откликнется, то мне уж потом легче будет исполнить твою просьбу так, чтобы ты была вполне удовлетворена. Лиха беда начало, а в сердечных делах, милая моя подружка, она особенно лиха. Только не пойми меня превратно: я не хочу, чтобы ты себя роняла, чтобы ты действовала очертя голову; как бы ни были сами по себе невинны знаки внимания, коими девушка дарит своего возлюбленного, выглядят они все же иначе. Нельзя из прихоти рисковать честью. Однако ж, если приняться за дело с умом, то можно добиться многого. Любовь — великая мастерица по части исполнения желаний: самым пылким влюбленным подает она повод и предоставляет удобный случай объясниться, не роняя своего

достоинства.

в коей продолжается повесть о сердечных обстоятельствах Синфоросы

Со вниманием слушала влюбленная Синфороса умные речи Ауристелы, а затем, не отвечая на них, ибо она желала возвратиться к первоначальному предмету их разговора, сказала:

— Ты только подумай, госпожа моя и подруга, до чего довела меня моя любовь, порожденная доблестью, выказанною твоим братом: ведь я послала за ним! капитана, состоявшего на службе у моего отца, чтобы он не добром, так силой привез его ко мне; отправился же капитан на том самом корабле, на котором ты прибыла сюда, но только капитана нашли мертвым.

— Да, все это так, — заметила Ауристела. — Капитан многое успел мне рассказать, и я уже составила себе, — правда, смутное, — представление о том, что у тебя на душе, и вот теперь я прошу тебя: успокой ты, сколько можешь, свою душу, а потом или ты сама откроешься моему брату, или же я приду тебе на помощь, когда ты меня уведомишь, как прошло у вас объяснение, а поговорить с ним и у тебя и у меня случай представится.

Синфороса еще раз поблагодарила Ауристелу, Ауристела же снова ее пожалела.

Пока они между собою беседовали, у Арнальда с Клодьо также шла беседа; надобно знать, что Клодьо спал и видел, как бы замутить, а то и вовсе рассеять любовные мечтания Арнальда; и вот, видя, что Арнальд один, — хотя, впрочем, вряд ли можно сказать про человека, осаждаемого роем любовных дум, что он один, — Клодьо обратился к нему с такими словами:

— Я уже говорил тебе, государь, что на изменчивый нрав женщины никак нельзя полагаться, а ведь Ауристела — женщина, хоть с виду и кажется ангелом, а Периандр — мужчина, хотя и доводится ей братом. Это не значит, что ты должен заподозрить ее в чем либо нехорошем, — тебе надлежит лишь благоразумную выказать осторожность, и если, бог даст, ты не сойдешь со стези разума, то не забывай, кто ты таков, не забывай, что у отца твоего, кроме тебя, никого нет на свете; подумай о том, что ты нужен своим вассалам, что ты рискуешь утратить корону, а что королевство без короля — это все равно что корабль без кормчего. Помысли о том, что королю надлежит брать себе в жены девушку не за красоту, а за благородство, не за богатство, а за непорочность нрава: ведь она должна подарить государству доброго наследника. Любовь народа к наследному принцу убывает и оскудевает в том случае, если народ видит, что род матери наследника недостаточно славен. Напрасно некоторые думают, что король в силу своего величия способен возвысить до себя королеву, если она недостаточно родовита. От жеребца и кобылы ценной, знаменитой породы скорей можно ожидать отменного приплода, нежели от заведомо непородистых или породы неизвестной. У простолюдинов принято отдаваться на волю страстей, у знати же это не принято. А потому, государь, возвращаясь на родину или же будь осторожен и в обман не давайся, а мне прости мою дерзость: пусть я слышу злословным сплетником, но я не злоумышленник. Я пользуюсь твоим покровительством, жизнь моя заграждена щитом твоей доблести, под твоим покровом мне нечего бояться непогоды, влияние светил небесных как будто бы изменилось, и мой нрав, доселе порочный, также изменяется к лучшему.

— Благодарю тебя, Клодьо, за добрый совет, — молвил Арнальд, — но мне бог не велит и не позволяет его послушаться. Ауристела девушка достойная, Периандр ее брат, и коль скоро она так сказала, я уже ничему другому верить не стану. Что бы она ни сказала — для

меня это правда истинная. Я люблю ее не рассуждая: неисследимой глубине ее красоты соответствует такая же бездонная глубина моего к ней чувства; кроме нее, я никого любить не в силах; я жил, живу и буду жить только ради нее. По сему обстоятельству, Клодьо, не давай мне больше советов — ты бросаешь слова на ветер; я на деле тебе докажу, что советы твои напрасны.

Пожав плечами, Клодьо с поникшей головой удалился и дал себе зарок не предлагать более своих услуг в качестве советчика, ибо советчиком можно быть при трех необходимых условиях: во-первых, советчик должен иметь влияние; во-вторых, он должен быть осмотрителен, а в-третьих, он должен давать советы не прежде чем их у него попросят.

Итак, сердца смятенных любовников и весь Поликарпов дворец были полны волнений, дум и мечтаний. Ауристела изнывала от ревности, Синфороса — от любви, Периандр был растерян, Арнальд проявлял упорство, Маврикию не терпелось как можно скорее возвратиться на родину, что, однако ж, было не по душе Трансиле, которая, напротив, не собиралась возвращаться в страну, где до такой степени повреждены были нравы. Ее супруг Ладислав не осмеливался и не хотел ей перечить. Антоньо-отец не чаял, как дождаться того дня, когда он со всем семейством окажется в Испании, Рутилио же мечтал о своей родной Италии. Все чего-то желали, однако ничьи желания не исполнялись. Такова уж природа человеческая: господь наделил нас всем, нам же по собственной нашей вине всегда чего-то недостает и будет не доставать до тех пор, пока мы не перестанем желать.

И вот наконец Ауристеле и Периандру представился случай остаться вдвоем, — впрочем, случай этот был отчасти подстроен Синфоросой, которая только и думала о том, когда же зайдет у них речь о ней, когда же решится ее участь, когда же будет вынесен ей приговор, когда же она узнает, жить ей или умереть.

Ауристела начала свой разговор с Периандром так:

— Наше паломничество, брат и господин мой, сопряжено со множеством испытаний, тревог и опасностей. Каждый день, каждый миг угрожает мне смертью. Вот почему я бы хотела как-нибудь обезопасить нашу жизнь, найти где-нибудь надежное убежище, и как раз самым надежным убежищем представляется мне то, где мы сейчас обретаемся: здесь тебя ожидает, во-первых, несметное богатство (причем, это не пустые обещания: оно взаправду тебя ожидает), а во-вторых, знатная невеста, дивной красоты девушка, и не она должна тебя помогать, а ты должен помогать ей, должен просить и добиваться ее руки.

Меж тем как Ауристела произносила эти слова, Периандр глядел на нее пристально, не мигая; он мучительно напрягал мысль, силясь понять, к чему Ауристела клонит, однако ж догадался не прежде чем Ауристела объявила напрямик:

— Я хочу сказать тебе, брат (этим именем я буду называть тебя при любых обстоятельствах), что Синфороса тебя обожает и хочет быть твоею женой; она утверждает, что она баснословно богата, я же к этому прибавлю, что красива она не баснословно, ибо красота се такова, что в преувеличениях и гиперболах не нуждается. Сколько я могла заметить, нрав у нее тихий, ум живой, все поступки ее разумны и благопристойны. Я тебе цену знаю, но в настоящем твоём положении это для тебя неплохой выход: ведь мы с тобой находимся вдали от родины; тебя преследует твой брат, меня — жестокий рок; наше путешествие в Рим становится час от часу затруднительнее и все затягивается; я еще не изменила окончательного своего намерения, но я колеблюсь: я боюсь умереть нечаянною смертью, среди всяких ужасов и опасностей, — вот почему мне лучше уйти в монастырь, а тебе — жениться на хорошей девушке.

Кончив этими словами свою речь, Ауристела сейчас же дала волю слезам, и слезы ее смыли и уничтожили все, что было ею сказано. Целомудренным движением высвободила она

руки из-под одеяла и, раскинув их по бокам кровати, отвернулась от Периандра, а у Периандра, как скоро он услышал эти ее слова и увидел эти ее движения чувства, помутился в очах свет, в горле застрял ком, язык прилип к гортани, и в тот же миг он опустился на колени и уронил голову на грудь. Ауристела же внезапно обернулась и, увидев, что Периандр в забытии, протянула руку и отерла с его лица слезы, а сам Периандр не чувствовал, как они катились по его щекам.

О чем вели между собой беседу король Поликарп и дочь его Синфороса

Мы часто наблюдаем такое в жизни, да только не понимаем, отчего оно происходит: у одного ноют зубы, когда при нем разрезают ткань; другой вздрагивает при виде мыши; я сам видел, как один человек содрогался, когда при нем резали редьку; на моих глазах один человек встал с почетного места при виде маслин, которые ему клали на тарелку. Если же мы спросим себя о причине указанных явлений, то принуждены будем сознаться, что она нам неизвестна. Те, кому кажется, что они близки к истине, утверждают, что все дело в небесных светилах, которые-де, питая некоторую антипатию к телосложению того или иного человека, склоняют его и толкают на определенные поступки, внушают ему страх и ужас, когда он встречается с вышеперечисленными и им подобными самыми обычными явлениями.

Существует такое определение: человек — животное смеющееся, — ведь кроме человека никакое другое животное не смеется. А я от себя прибавлю, что человек есть животное плачущее, животное, которое обладает способностью плакать, но как тот, кто много смеется, доказывает этим, что он человек неумный, так же точно и частые слезы есть признак скудоумия. Мужу здравому приличествует плакать по трем причинам: во-первых, когда он испытывает потребность оплакать свой грех; во-вторых, когда он жаждет вымолить себе за него прощение, и в-третьих, когда его терзают муки ревности, во всех же остальных случаях жизни слезы не к лицу мужчине рассудительному. И вот если бы мы с вами присутствовали при том, как Периандр, лишаясь чувств, плакал не от сознания своей греховности и не слезами раскаяния, а от ревности, мы не осудили бы его и вытерли бы ему глаза, как это сделала Ауристела, которая, кстати сказать, в сущности, нарочно довела его до такого состояния.

Наконец Периандр пришел в себя и, услышав шаги, обернулся и увидел Риклу и Констансу, пришедших проведать Ауристелу, а увидев их, обрадовался: ему не хотелось оставаться сейчас наедине с Ауристелой, ибо он не находил слов для ответа владычице своих мечтаний, и потому рассудил он за благо удалиться, хорошенько обдумать свой ответ и поразмыслить над советами, которые дала ему Ауристела.

Синфороса между тем томилась желанием узнать, какой приговор был ей вынесен на первом судебном заседании по делу о ее любви, и, уж верно, она раньше Риклы и Констансы вошла бы к Ауристеле, однако тому помешал приказ ее отца-короля — сей же час, нимало не медля, явиться пред его очи.

Послушная Синфороса направилась к нему и застала его одного, в совершенном уединении. Поликарп усадил ее рядом с собой и, немного помолчав, заговорил вполголоса, видимо опасаясь, что его могут услышать:

— Дочь моя! Хотя юные твои годы еще не ведают, что есть любовь, а мои преклонные годы ей уже не подвластны, со всем тем природа иной раз отклоняется от своего пути, и тогда молодые девушки сгорают и сохнут от любви, маститые же старцы от нее чахнут.

Услышав это, Синфороса вообразила, что отец, по всей вероятности, узнал о ее чувстве к Периандру, однако ж, чтобы дать ему высказаться, она не стала прерывать его и упорно хранила молчание, хотя, пока он ей изливался, сердце готово было выпрыгнуть у нее из груди.

Так вот что поведал ей отец:

— После того как не стало твоей, Синфороса, матери, я укрылся под сенью твоих забот, я

постоянно прибегал к твоей помощи, руководствовался твоими советами и, сколько тебе известно, соблюдал строго и неукоснительно законы вдовства — соблюдал не только из боязни бросить тень на свое доброе имя, но и потому, что мне так велит исповедуемая мною католическая вера. Однако ж с той поры, когда к нам на остров прибыли гости, часы моего разума испортились, размеренный ход моей жизни нарушился, и в конце концов с вершины скромного моего величия я низринулся в глубочайшую бездну смутных желаний, и сейчас я чувствую, что если утаить их, то они меня изведут; если же высказать, то это погубит мою честь. Но только — молчание, дочка! Чтобы дальше это никуда не пошло, друг мой! Никуда дальше! Если же ты хочешь слушать дальше, то да будет тебе известно, что я без памяти влюбился в Ауристелу; жар пламенной ее красоты прожигает старые мои кости; от звезд ее очей загораются и мои уже тускнеющие очи; ее живость ободрила мою дряхлость. Я бы хотел, буде это окажется возможным, дать тебе и сестре твоей такую мачеху, душевные качества которой послужили бы мне оправданием в том, что я женился вторично. Если ты изъявишь свое согласие, то мне уже будет все равно, что обо мне скажут другие, даже если признают меня за сумасброда и свергнут с престола. Только бы мне воцариться в сердце Ауристелы, и тогда я не сравню свою участь с уделом самого могущественного на свете монарха. Так вот о чем я намереваюсь просить тебя, дочка: поговори о моем намерении с Ауристелой и добейся от нее столь важного для меня положительного ответа; мне же сдается, что она тебе его даст без особой внутренней борьбы, если только она при ее уме сообразит, что мой королевский сан служит возмещением и противовесом моей старости, что мое богатство стоит ее молодости. Приятно быть королевой; приятно повелевать; почести доставляют удовольствие; счастье можно найти и в неравном браке. В благодарность за положительный ответ, который мне принесет твое посольство, я постараюсь, в свою очередь, улучшить твой жребий. Ты девушка рассудительная, и ты поймешь, что лучше я ничего для тебя сделать не могу. Прими в соображение, что мужчине знатного рода требуется, во-первых, хорошая жена, во-вторых, домашний уют, в-третьих, добрый конь, а в-четвертых, доброкачественное оружие. Что же касается женщины, то она особенно нуждается в домашнем уюте и в хорошем муже, ибо не жена поднимает до себя мужа, но муж жену. Женильба на девушке захудалого рода не унижает ни короля, ни гранда, ибо, женись, он возводит свою супругу в такое же точно достоинство. Кто бы ни была Ауристела, но, выйдя за меня, она становится королевою, брат же ее Периандр — моим шурином, и вот за него-то я и собираюсь тебя отдать; а как скоро я удостою его звания королевского шурина, то тебе будет оказываться двойная честь: не только как моей дочери, но и как его супруге.

— А почему ты знаешь, отец, — заговорила Синфороса, — может статься, Периандр женат? А если даже и не женат, то захочет ли он еще на мне жениться?

— В том, что он не женат, — отвечал король, — меня убеждают его скитанья по дальним странам: доброму семьянину это не пристало. А что он захочет на тебе жениться — в этой мысли меня утверждает и за это мне служит порукой его недюжинный ум: Периандр, уж верно, сообразит, что он приобретает, женись на тебе. И вот еще что: если красота его сестры возводит ее на королевский престол, то нет ничего удивительного, что, плененный твоею красотой, он станет твоим супругом.

От сих последних слов короля и от его заманчивого посула в сердце Синфоросы зашевелилась надежда и заговорили желания, да и не хотелось ей идти наперекор желанию отца; того ради обещала она быть его свахой и заранее согласилась принять благодарность за еще не заключенную сделку. Она лишь сказала отцу, чтобы он хорошенько подумал, прежде чем отдавать ее за Периандра: хотя выказанные Периандром способности и свидетельствуют, мол, о его доблести, однако ж никогда не следует бросаться очертя голову — надобно

выждать несколько дней и поближе с ним познакомиться. А между тем Синфороса за то, чтобы сию же минуту стать женой Периандра, готова была пожертвовать всеми благами мира, согласилась бы укоротить свою жизнь, но у девушек добропорядочных и знатных на сердце одно, а на языке другое.

Вот о чем говорили между собой Поликарп и его дочь, а тем временем в другом покое шла беседа и разговор между Рутилио и Клодьо.

Клодьо, как это явствует из всего, что было нами сказано о его жизни и нраве, в лукавстве своем был до чрезвычайности хитроумен и умел придать своему злословию привлекательное обличье; и то сказать: глупцы и простаки ни сплетничать, ни злословить не умеют. И хотя, как уже было однажды замечено, нехорошо — уметь хорошо говорить о людях дурно, однако ж злоязычного умника обыкновенно одобряют, ибо злословие остроумное, подобно соли, подбавляемой в кушанья, придает беседе остроту и вкус; во всяком случае, злоречивого остроумца хоть и осуждают и порицают за вредоносность, однако ж за остроумие всё ему спускают да еще и похваляют его. Так вот, наш сплетник, которого за злой язык выслали из его родной страны вместе с развратною и порочною Розамундой, ибо английский король пришел к заключению, что злоязычие Клодьо должно понести такую же точно кару, как и распутство Розамунды, — этот самый сплетник, оставшись один на один с итальянцем Рутилио, сказал:

— Знаешь, Рутилио: безрассуден, в высшей степени безрассуден тот, кто сначала откроет кому-нибудь свою тайну, а потом убедительно просит никому ничего не говорить, иначе он, дескать, погибнет. Я бы такому человеку сказал: «Послушай, ты, разгласитель своих же собственных умыслов и разоблачитель своих же собственных тайн! Если ты поверяешь другому свою тайну, хотя сам говоришь, что от этого можешь погибнуть, то с какой же стати тот, другой, который, разглашая чужую тайну, ничем решительно не рискует, — с какой стати он запрет ее и замкнет на ключ молчания? Если ты хочешь быть совершенно уверен в том, что никто про тебя ничего не знает, то никому ничего и не говори. Все это, Рутилио, я отлично понимаю, однако ж, со всем тем, вертится у меня кое-что на языке и требует, чтобы я непременно это высказал, чтобы я это обнародовал, пока оно не загниет у меня внутри или же не разорвет мне грудную клетку. Послушай, Рутилио: что нужно этому Арнальду? Для чего он, как тень, следует за Ауристелой, оставив королевство на попечение престарелого и, быть может, немощного отца, терпя здесь бедствие, там крушение, то вздыхая, то плача, то горько жалуясь на свой удел, который он сам же себе и избрал? А что ты скажешь о юной Ауристеле и ее юном брате, странствующих по свету, скрывающих свое происхождение, дабы все недоумевали, знатного они рода или же не знатного: ведь на чужбине человека никто не знает, и он смело может выбрать себе каких угодно родителей. При известном умении и хитроумии можно так себя поставить, что родоначальниками твоими люди признают солнце и луну. Стремление к лучшему — качество похвальное, я этого не отрицаю: стремись, но не во вред ближнему. Честь и хвала суть награды за добродетель непритворную и неподдельную, но не за лицемерную и показную. Так кто же он, этот борец, стрелец, бегун и попрыгун? Кто он, этот Ганимед^[23], этот красавчик, которого одни продают, другие покупают? Кто он, Аргус этой плаксы Ауристелы, на которую он нам и взглянуть-то не дает? Ведь мы так и не знаем и так и не смогли дознаться, кто же эта чета — не чета всем прочим по части пригожества — и откуда и куда она путь держит? Но особенно меня занимает вот что: клянусь тебе, Рутилио, всеми небесами, коих будто бы одиннадцать^[24], я никак не могу поверить, что они брат и сестра. А если даже это и так, все же для меня остается загадкой: чего ради эти братец и сестрица вкупе и влюбе скитаются по морям, по разным странам, по пустыням, по полям, по заезжим дворам и гостиницам? Все их расходы покрываются

слитками золота, которые извлекают из своих котомок, кошелей и сумок дикарки Рикла и Констанса. Бриллиантовый крест и жемчужные серьги, которые принадлежат Ауристеле, стоят очень дорого, однако же она и не помышляет о том, чтобы продать их или обменять, да ведь и то сказать: не вечно же будут принимать эту чету у себя короли, не вечно будут ей благодетельствовать наследные принцы. Ну, а что ты скажешь, Рутилио, о самомнении Трансилы и об астрологических познаниях ее папаши? Она воображает, что смелей ее нет никого на свете, а он мнит себя лучшим в мире юди-циарным астрологом. Я уверен, что супруг Трансилы Ладислав за то, чтобы оказаться сейчас у себя на родине, у себя дома, и отдохнуть, согласился бы соблюсти любой обычай, подчинился любому установлению, принятому в его родной стране, лишь бы не жить из милости в стране чужой. А этот наш испанец-варвар? Он до того спесив, что, глядя на него, можно подумать, будто вся человеческая доблесть воплощена в нем одном. Дайте только ему вернуться на родину: бьюсь об заклад, что он сей же час начнет собирать вокруг себя народ, показывать всем свою жену и детей, облаченных в звериные шкуры, рисовать на холсте остров варваров и показывать палочкой то место, где он провел пятнадцать лет, показывать под земную тюрьму, рассказывать о бесплодных и нелепых мечтаниях варваров и о пожаре, внезапно охватившем остров, — ни дать, ни взять те, что бегут из турецкого плена: они снимают с ног кандалы, перекидывают их через плечо и в таком виде ходят по христианским странам, жалобными голосами повествуют о своих мытарствах и униженно просят милостыню. И тем они и живут, ибо хотя их рассказы могут показаться и неправдоподобными, но ведь мало ли чего с человеком не случается, особливо с изгнанником: каких бы ужасов он о себе ни нарасказал — кому-кому, а ему всегда поверят.

— Что ты этим хочешь сказать, Клодьо? — спросил Рутилио.

— А вот что, — отвечал тот. — Ты здесь вряд ли найдешь себе применение: туземцы не танцуют, у них одно развлечение, а именно то, которое предлагает им Бахус, — он обносит их чашами с вином, в коем искрятся веселье и сладострастие. Что же касается меня, то хотя я обязан своим спасением благодати промысла и доброте Арнальда, однако ж я не благодарю за это ни промысл, ни Арнальда, более того: я бы даже не отказался построить наше с тобой счастье на его несчастье. Между бедняками дружба может длиться долго: равенство положения связует сердца. А вот между богачами и бедняками длительной дружбы быть не может по причине неравенства между богатством и бедностью.

— Да ты, я вижу, философ, Клодьо! — заметил Рутилио. — Однако ж я не возьму в толк, каким образом можем мы умиловить нашу судьбу, коли она преследует нас от самой колыбели. Я не такой ученый человек, как ты, а все же смекаю: те, что рождены в низкой доле, сами по себе, если им господь не поможет, редко когда возвышаются, а хоть и возвысятся, да добродетелью не украсятся, так все на них пальцами станут показывать. А чем же ты-то украсишься, коли самая большая твоя добродетель — чернить самое добродетель? И кто возвысит меня, коли я сам способен, принатужившись, подняться на высоту прыжка, но никак не выше? Я мастер выделявать выкрутасы, а ты мастер точить лясы. Меня в моем отечестве приговорили к повешению, а тебя изгнали из отчего края за злословие. Так на что же мы с тобой можем рассчитывать?

Слова Рутилио заставили Клодьо призадуматься, и, оставив его в состоянии задумчивости, автор великой этой истории на том заканчивает настоящую главу.

Каждому было с кем поделиться своими мыслями: Поликарпу — со своей дочерью, Клодьо — с итальянцем Рутилио; один лишь недоверчивый Периандр делился ими с самим собой, а между тем речи Ауристелы породили в нем столько дум, что он не знал, кто бы мог ему облегчить душевную его тяжесть.

— Господи! Да что же это такое! — говорил он сам с собой. — Ауристела, как видно, лишилась рассудка. Она моя сваха! Как могла она позабыть наш уговор? Что мне за дело до Синфоросы? Какие царства и какие сокровища принудят меня оставить сестру мою Сихизмунду? Я бы тогда перестал быть Персилесом.

Произнеся это имя, он закусил губу, оглянулся по сторонам и, только когда уверился, что никто его не подслушивает, продолжал:

— Вне всякого сомнения, Ауристела меня ревнует, а ведь поселить в любящем сердце ревность способны и воздух, и солнце, и даже земля! О моя владычица! Помысли о том, что ты делаешь! Не умаляй своих достоинств и своего пригожества, меня же не лишай права гордиться твердостью моих намерений, коих твердость и благородство сковали мне драгоценный венец верного любовника. Да, Синфороса прекрасна, богата и родовита, однако ж в сравнении с тобой она безобразна, бедна и худородна. Прими в рассуждение, госпожа моя, что любовь зарождается и вспыхивает в сердцах наших либо по влечению, либо по предопределению судьбы. Если по предопределению судьбы, то такая любовь неизменна, а если по влечению, то она либо растет, либо убывает в зависимости от того, идут на убыль или же, напротив, развиваются в нашем предмете те качества, которые нас в нем прельщают и привлекают. Все это истинная правда; о себе же я могу сказать, что моя любовь безгранична и неизъяснима. Я люблю тебя чуть не с пелен — значит, таково было предопределение судьбы. Чем старше я становился и чем больше входил в разум, тем лучше узнавал тебя, в тебе же все резче означались черты, за которые не любить тебя невозможно. Я видел эти черты, я любовался ими, я все ближе с ними знакомился, я запечатлел их в душе своей, и наконец твоя и моя душа образовали столь неразрывное и нерасторжимое целое, что даже смерти лишь ценой невероятных усилий удастся разобщить нас. Так оставь же в покое, радость моя, всяких там Синфорос, не указывай мне на других — как, мол, они хороши собой — и не соблазняй меня империями и монархиями, пусть по-прежнему звучит в ушах моих отрадное для моего слуха слово «брат», которое я всегда от тебя слышу. Все, что я сейчас говорю наедине с самим собою, я хотел бы повторить тебе в тех же самых выражениях, как они сложились в моей душе, но это невозможно, ибо от пламени очей твоих, в особенности от пламени гневного, мгновенно померкнет взор мой и онемеют уста мои. Лучше я напишу тебе письмо: слова будут все те же, но письмо ты сможешь читать и перечитывать и сможешь всякий раз убеждаться в совершенной моей искренности и в непререкаемой моей преданности, в чистоте и нелицемерности моего чувства. Итак, я решаюсь писать к тебе.

Мысль о письме несколько успокоила Периандра: он полагал, что перо мудрее уст и что оно лучше выразит все, что у него на душе.

Итак, оставим Периандра за писанием письма и послушаем, о чем говорят между собой Синфороса и Ауристела; надобно заметить, что Синфороса, сгорая от нетерпения узнать ответ Периандра, постаралась увидаться с нею наедине с тем, чтобы, между прочим, уведомить ее о намерениях своего отца, в согласии же Ауристелы она ни минуты не сомневалась: она держалась того взгляда, что богатство и власть редко кого не соблазняют, а уж про женщин и говорить, мол, не приходится, оттого что женщины в большинстве своем

от природы алчны, честолюбивы и тщеславны.

Увидев Синфоросу, Ауристела не очень обрадовалась ее приходу: ей нечего было сказать Синфоросе — ведь она больше с Периандром не виделась. Однако ж Синфороса, прежде чем заговорить о своем деле, заговорила о деле своего отца: она надеялась, что этою вестью она осчастливит и купит Ауристелу, осуществление же ее мечтаний всецело зависело, по ее мнению, от Ауристелы. Того ради она повела с ней такую речь:

— Господь тебя возлюбил, прекрасная Ауристела, я в том уверена. Сколько я могу судить, он хочет излить на тебя щедроты неисчислимые. Король, мой отец, тебя обожает и велел сказать тебе, что намерен взять тебя в жены. Если же ты изъявишь согласие, а я ему твое согласие передам, то он обещает на радостях выдать меня замуж за Периандра. Итак, Ауристела, ты — королева, Периандр — мой, тебя окружает довольство, и пусть седины отца моего не дадут удовлетворения твоему чувству, зато ты будешь испытывать удовлетворение от одного сознания своей власти, от одной мысли, что вассалы твои послушно исполняют любую твою прихоть. Я уже тебе много наговорила, подруга моя и госпожа, тебе же предстоит много для меня сделать, ибо от людей, великого душевного благородства исполненных, ничего, кроме великой благодарности, ожидать не должно. Отныне пусть на нас с тобой все смотрят как на любящих свойственников, как на искренних приятельниц, и так оно и будет, если только твое благоразумие тебе не изменит. Ну, так скажи мне, что ответил тебе твой брат на твои слова обо мне. Признаюсь, я уверена в ответе благоприятном, ибо безрассуден был бы тот, кто не отнесся бы к твоему совету, как к совету оракула.

На это ей Ауристела ответила так:

— Брат мой Периандр, будучи знатным кавальеро, наделен чувством признательности; благодаря же своим странствиям он сделался человеком весьма дальновидным, ибо когда человек много видит и многому научается, то это развивает его ум. Испытания, ниспосланные мне и моему брату, научили нас ценить покой. Ты, сколько я себе представляю, сулишь нам именно тот покой, в котором мы ощущаем потребность, однако Периандр до сих пор ответа мне не дал, так что я ничего утешительного, равно как и ничего неутешительного, сообщить тебе не могу. Прелестная Синфороса! Дозволь времени немного повременить, а нам предоставь возможность постигнуть всю благодетельность твоих обещаний, дабы, когда они будут претворены в жизнь, мы смогли лучше их оценить. Есть такие поступки, которые совершаются только однажды, и если ты в этот раз допустишь оплошность, то уж во второй раз не поправишь, ибо этот второй раз для них не наступает. К такого рода предприятиям относится брак. Вот почему, прежде чем на подобный шаг решиться, необходимо все хорошенько обдумать. Впрочем, мне кажется, ты можешь считать, что мы все уже обдумали; мечты твои, вернее всего, сбудутся, я же, видимо, последую твоим советам и обещаниями твоими прельщусь. Позови же, сестрица, ко мне Периандра — я хочу поскорей расспросить его, а затем поведать тебе радостную весть, заодно же мне нужно с ним посоветоваться о моем деле: ведь он мой старший брат, которого я обязана слушаться и почитать.

Синфороса поцеловала Ауристелу и пошла за Периандром, а тот в это время, уединясь и запершись в своем покое, взялся за перо, и уже много раз пускал он насмарку и переиначивал написанное, все что-то вычеркивал, что-то вставлял, пока наконец не получилось у него, сколько мне известно, такого рода послание:

«Я не решаюсь довериться не только устам моим, но даже и перу, ибо способен ли написать что-либо подходящее к случаю тот, кто ежеминутно призывает к себе смерть? Нынче уразумел я, что даже умные люди не во всех случаях жизни могут дать добрый совет, а

лишь в таких, которые с ними самими бывали. Прости меня, но совету твоему я последовать не могу; у меня создается впечатление, что или ты совсем меня не знаешь, или же ты переродилась сама. Опомнись, госпожа моя, и из-за досужих вымыслов, ревностью внушенных, не нарушай и не преступай границ ума своего, редкостного в ясности своей и светлости. Оглянись на себя и не забудь кинуть взор также и на меня, и тогда ты удостоверишься, что ты исполнена такого душевного величия, какое только можно себе представить; во мне же ты узришь такую любовь и такую душевную твердость, какие только можно себе вообразить. И когда ты утвердишься в разумном этом мнении, то уже не убоишься, что чьи-то красы разожгут во мне огонь страсти, и не вообразишь, что с твоею несравненною душевною чистотою и несравненною прелестью могут соперничать чьи-то иные. Продолжим же наше путешествие, исполним наш обет, и да улетучатся твоя ни на чем не основанная ревность и ложные подозрения! Я же со своей стороны приложу все усилия и все старания, дабы ускорить наш отъезд, и когда мы отсюда выберемся, в тот же миг я выберусь из ада моих мучений и райского исполнюсь блаженства, уверясь, что ты уже не ревнуешь».

Шесть раз переделывал свое письмо Периандр и наконец, в седьмой раз переписав начисто, сложил его в таком виде и отправился с ним к Ауристеле, которая уже за ним посылала.

делящаяся на две части

Часть первая

Рутилио и Клодьо, решившись изменить к лучшему жалкий свой жребий, для каковой цели один из них рассчитывал пустить в ход свое хитроумие, а другой — свою беззастенчивость, вообразили, что они имеют все основания притязать один — на руку Поликарпы, а другой — на руку Ауристелы. Рутилио пленили голос и очаровательная приятность Поликарпы, Клодьо — бесподобная красота Ауристелы. И вот стали они искать удобного случая изъяснить свои чувства, но так, чтобы это сошло для них обоих благополучно. Если человек, в низкой и смиренной доле рожденный, испытывает, иной раз даже — невольный, страх, осмелившись заговорить с женщиною благородною о таких вещах, о которых ему не должно сметь с нею заговаривать, то это с его стороны похвально. Случается, однако ж, что развязность в обхождении, свойственная какой-нибудь не весьма добродетельной, хотя и родовитой сеньоре, дает повод человеку, в низкой и смиренной доле рожденному, обратить на нее особое внимание и изъясниться ей в любви. Женщине благородной приличествуют степенность, сдержанность и неприступность, что, однако ж, отнюдь не означает, что ей пристали надменность, неприветливость и грубость. Чем родовитее женщина, тем она долженствует быть степеннее и скромнее. У наших же двух любезников желания пробуждены были не развязностью и бесцеремонностью тех, о ком они возмечтали, — нет, желания зародились у них сами собой.

В конце концов Рутилио и Клодьо написали Поликарпе и Ауристеле письма следующего содержания:

РУТИЛИО — ПОЛИКАРПЕ

«Синьора! Я — чужестранец, и что бы я ни говорил тебе о благородстве моего происхождения, ты вряд ли мне поверишь, коль скоро я не могу представить свидетелей, хотя подтверждает мою родовитость уже одно то, что я осмеливаюсь изъясниться тебе в пламенной любви. Требуй от меня каких угодно доказательств: твое дело требовать, а мое — доказывать на деле. Я хочу, чтобы ты была моею женой, — из этого ты можешь заключить, что я человек знатного происхождения и что я претендент достойный, ибо стремиться к чему-либо высокому сродни натурам возвышенным. Ответь мне на мое письмо хотя бы взглядом, и по тому, мягок или же суров будет твой взор, я пойму, что мне суждено — жить или умереть».

Рутилио запечатал письмо и порешил вручить его Поликарпе, руководствуясь, как видно, пословицей: «Поведай один раз, а запомнится навеки». Однако ж, прежде чем передать письмо, он показал его Клодьо, а тот, в свою очередь, показал ему письмо, которое он написал Ауристеле и которое было им составлено в следующих выражениях:

КЛОДЬО — АУРИСТЕЛЕ

«Одних оплетает любовная сеть вервием красоты, других — вервием прелести и

изящества, третьих — вервием качеств душевных, которые они в своей избраннице усмотрели. Я же вложил выю свою в этот ярем, я впрягся в этот хомут, я сковал себе руки и набил себе на ноги колодки совсем по другим причинам. Я полюбил тебя из жалости, а ведь только каменное сердце может не проникнуться жалостью к такой красавице, как ты: тебя продавали, тебя покупали, ты до последней доходила крайности, временами ты бывала на волосок от смерти. Безрассудная и безжалостная сталь грозила твоему горлу, огонь уже охватывал твои покровы, ты замерзала от холода, ты слабела от голода, розы твоих ланит увядали, и в конце концов вода поглотила тебя, а затем извергла. Я удивляюсь, как еще у тебя достает сил терпеть ниспосылаемые тебе испытания: ведь этот странствующий король, который всюду тебя сопровождает только ради того, чтобы обладать тобой, бессилен тебе помочь, равно как и брат твой, если только он, впрочем, действительно твой брат, не в силах облегчить твою участь. Не верь, сеньора, тому, что тебе сулят в далеком будущем, ищи опоры в настоящем, избери тот путь, на который тебе указывает само небо. Я молод, я приживусь где угодно, хоть на краю земли, я во что бы то ни стало увезу тебя отсюда, я избавлю тебя от назойливости Арнальда, я выведу тебя из этого Египта в землю обетованную: то ли в Испанию, то ли во Францию, то ли в Италию, но уввы! не в Англию, не в любезный моему сердцу, не в любимый мой отчий край — туда мне путь заказан. Коротко говоря, я предлагаю тебе руку и сердце и беру тебя в жены».

Ознакомившись с письмом Клодьо, Рутилио сказал:

— Как видно, мы с тобой сошли с ума: мы сами себя уговариваем, что можем без крыльев подняться к небу, крылья же, коими нас наделило самомнение наше, — это муравьиные крылья. Послушай, Клодьо, давай-ка лучше разорвем наши письма: ведь нас толкнула взяться за перо не сила страсти, а некая праздная и бесполезная затея. Любовь возникает и растет лишь под сенью надежды, а где нет надежды, там о любви не может быть и речи, — так для чего же нам предпринимать попытку, зная заведомо, что она обречена на провал? Подобная декларация — это для нас петля и нож еще и потому, что как скоро откроются сердечные наши дела, то нас с тобой примут не просто за людей неблагодарных, но за отпетых негодяев. Неужто ты не понимаешь, что бывший учитель танцев, которому посчастливилось сменить свой род занятий на ремесло ювелира, королевской дочери не пара, а что высланный клеветник не пара девушке, отвергающей и презирующей королей? Давай-ка лучше держать язык за зубами и впредь закаемся делать глупости. Я, по крайности, предпочитаю, чтобы мое послание угодило в огонь, чтобы его выхватил из моих рук ветер, только чтобы оно не попало в руки Поликарпе.

— Делай со своим письмом что хочешь, — сказал Клодьо, — ну, а я, если и не отдам свое письмо Ауристеле, то во всяком случае сохраню его на память об остроте моего ума. И все же я боюсь, что никогда потом не прощу себе этого малодушия: ведь попытка не пытка.

Вот о чем говорили между собой два любовника; впрочем, любовники они были мнимые, а вот нахалы и глупцы самые настоящие.

Периандр и Ауристела остались наконец одни. Периандр зашел к ней с тем, чтобы передать ей письмо, но, едва увидев ее, позабыл все свои заранее обдуманые речи и оправдания и сказал ей так:

— Сеньора! Посмотри на меня: я Периандр, я тот, кто был когда-то Персилесом, но по твоему желанию стал Периандром. Узел, коим завязаны наши судьбы, никто, кроме смерти, развязать не властен. А когда так, то зачем же ты даешь мне советы, разноречащие с этою истиною? Заклинаю тебя небесами и тобою самой, — а ведь ты еще прекраснее небес, — не говори мне о Синфоросе и не воображай, будто из-за ее прелести и богатства я могу забыть

сокровища совершенств твоих и несравненную твою красоту, как телесную, так равно и душевную. Моя душа жива, доколе жива твоя, и я вновь вверю тебе свою душу без каких-либо новых обещаний, помимо тех, которые я дал тебе в тот час, когда увидел тебя впервые, ибо к взятому мною на себя обязательству — всегда служить тебе — прибавить нечего, — в одном этом пункте отразилось мое посильное преклонение перед твоими совершенствами. Ты только скорей выздоравливай, госпожа моя, а уж я все сделаю, чтобы вывезти тебя отсюда, и постараюсь как можно лучше обставить наше путешествие, ибо хотя Рим — это небо на земле, но все же оно на земле, а не на небе, и совсем без помех и волнений добраться до него мудрено — во всяком случае промедления в пути неминуемы. Итак, держись за ствол беспримерного своего мужества, укройся под сенью его ветвей и помни, что не родился еще на свет такой человек, который был бы в силах его сломить.

В то время как Периандр произносил эти слова, Ауристела смотрела на него нежным взором, проливая слезы ревности и страсти; однако ж в конце концов любовные речи Периандра оказали на нее свое действие, она прониклась неотразимыми его доводами и ответила ему кратко:

— Я тебе верю всецело, возлюбленный мой, и, преисполненная доверия, молю тебя: как можно скорее уедем отсюда! Может статься, где-нибудь в другом месте я излечусь от ревнивого недуга, уложившего меня в постель.

— Будь я причиной твоей болезни, сеньора, — молвил Периандр, — я безропотно выслушал бы твои сетования, и мои извинения утешили бы тебя в твоей горести. Но коль скоро я ничем тебя не обидел, то и не за что мне просить у тебя прощения. Всем, что есть для тебя святого, заклинаю тебя: возвесели сердца твоих близких, возвесели сей же час! Ведь если у тебя нет причин убиваться, то зачем же ты нас терзаешь? Я же исполню твое повеление, и мы выедем отсюда при малейшей возможности.

— Сейчас ты узнаешь, как это для тебя важно, Периандр, — сказала Ауристела. — Да будет тебе известно, что меня соблазняли посулами и улещали дарами: мне обещано не более, не менее, как это королевство. Король Поликарп хочет на мне жениться и известил меня о том через дочь свою Синфоросу, она же в надежде на мое содействие, которое я могла бы ей оказать как мачеха, собирается выйти за тебя замуж. Подумай сам, можем ли мы с тобой на это пойти, пойми всю опасность нашего положения, прислушайся к голосу разума своего, сыщи средство, как отворотить беду, и прости меня за то, что я, мучимая ложными подозрениями, обидела тебя, но ведь подобного рода ошибки любовь прощает легко.

— О ней так и говорят, — подхватил Периандр: — без ревности любви не бывает, и если ревность возникает по незначительным, пустячным поводам, то любовь от этого только усиливается; такая ревность для страсти — что шпоры для коня: ведь если любовь слишком уж уверена в себе, то она мало-помалу ослабевает — по крайней мере, во внешних своих проявлениях она бывает уже не столь горяча. И сейчас я взываю к твоему светлому уму и прошу тебя: отныне смотри на меня — не могу сказать: более ясным взором, оттого что ни у кого нет таких ясных глаз, как у тебя, — смотри на меня взором более открытым и менее придиричивым, не превращай моего промаха, горчичному зерну подобного, в целую гору — по пословице: ревности утес до неба возрос. С королем же и с Синфоросой держись, как подскажет тебе здравый смысл: коль скоро ты преследуешь цель благую, то в конце концов Синфороса ничего не потеряет, если ты отведешь ей глаза. Ну, оставайся с богом, а то как бы долгая наша беседа кое-кого не ввела во грех.

На этом Периандр простился с Ауристелой и, выйдя из ее покоя, столкнулся с Клодьо и Рутилио. Рутилио только что разорвал свое письмо Поликарпе, Клодьо же складывал свое, собираясь положить его себе за пазуху. Рутилио раскаивался в безумной своей затее; Клодьо

был в восторге от своего хитроумия и гордился своею смелостью. Но настанет такое время и пробьет такой час, когда Клодьо готов будет отдать полжизни, — если только жизнь можно было бы делить на части, — лишь бы это его письмо никогда не было написано.

Часть вторая

Любовные мечтания не давали покоя королю Поликарпу; ему не терпелось узнать о решении Ауристелы, а что она ответит ему взаимностью, в этом он был до такой степени уверен и убежден, что наедине с самим собою уже представлял, как отпразднует он свою свадьбу, устраивал в своем воображении торжества, придумывал наряды для себя и для невесты и в надежде на скорое бракосочетание мысленно награждал подданных. Строя воздушные эти замки, он не принимал, однако же, в расчет своего возраста; здравый смысл не указывал ему на разницу между семнадцатью и семьюдесятью годами; да будь ему даже шестьдесят, все равно разница была бы громадная. Так вожделения искушают и соблазняют человеческую волю; так мнимые увлечения сбивают с толку великие умы; так воображение нежной рукою увлекает и ведет за собою тех, кто в делах сердечных не способен к сопротивлению.

Иные чувства испытывала Синфороса; она опасалась за свое будущее, да оно и понятно: кто сильно любит, тот сильно боится; все, от чего у другого человека вырастают за спиной крылья, то есть душевное благородство, знатное происхождение, привлекательная наружность, — все это человеку любящему подрезает крылья, ибо влюбившемуся без памяти вечно представляется, будто любить его не за что. Любовь и страх неразлучны. Куда ни оглянись — везде они и всегда вместе. Иные уверяют, что любовь высокомерна: нет, она смиренна, приветлива, кротка; она даже готова поступиться своими преимуществами, лишь бы ничем не досадить любимому человеку; более того: всякий влюбленный так высоко ценит предмет своего увлечения и так дорожит им, что страшится подать малейший повод к тому, чтобы у него отняли его сокровище.

Обо всем этом размышляла прелестная Синфороса, более осмотрительная, нежели ее отец; в ее душе боролись страх и надежда; наконец она не выдержала и пошла к Ауристеле, дабы разведать о том, на что она надеялась и чего в то же время страшилась.

Синфороса застала Ауристелу одну, а этого ей как раз и нужно было; она жаждала знать, что же ее постигло — удача или неудача, а потому, едва переступив порог покоя Ауристелы, она молча вперила в нее испытующий взор, — она надеялась в выражении лица Ауристелы уловить, что оно ей сулит: жизнь или смерть. Ауристела поняла ее состояние и с полуулыбкой, то есть притворяясь веселой, молвила:

— Входи же, входи, принцесса! Страх не должен заносить секиру над деревом твоей надежды. Хотя и твое и мое счастье еще не так близко, все же оно придет: ведь на пути к осуществлению благих желаний всегда возникают препятствия, однако ж в чаянии будущих благ никогда не следует отчаиваться. Брат мой сказал, что душевные твои качества и красота твоя таковы, что он просто не в силах тебя не любить и почитает за наивысшее благо и за особую милость твое желание выйти за него замуж; однако, прежде чем ваш счастливый союз будет-де заключен, нужно рассеять надежды принца Арнальда стать моим супругом, а он, уж верно, на мне женится, если только тому не помешает ваш брак с Периандром. Надобно тебе знать, сестрица, что я не могу жить без Периандра, подобно как тело не может

жить без души. Я должна находиться там же, где и он. Он — дух, меня вдохновляющий, он — душа, меня оживляющая. А когда так и раз что он женится на тебе и останется с тобою в твоей родной стране, то как могу я жить в разлуке с ним на родине Арнальда? У нас с братом было решено, что, дабы отвратить эту беду, мы сначала направимся в его королевство, а затем испросим дозволения съездить в Рим и исполнить обет, ради которого мы с братом и покинули нашу отчизну, а мой опыт убеждает меня в том, что принц свято мое желание исполнит. Когда же мы выйдем из-под его опеки, то нам ничего не будет стоить направить путь к вашему острову, и тут мы, обманув его ожидания, увидим, как сбываются наши: я выйду замуж за твоего отца, а мой брат женится на тебе.

Синфороса же ей на это сказала:

— Я не нахожу слов, сестрица, чтобы выразить мою признательность за те слова, коими ты сейчас меня порадовала, а раз что я не знаю, как тебя благодарить, то пусть лучше моя благодарность останется у меня в душе. То же, что я собираюсь тебе сказать, ты прими не как наставление, а только как совет. В настоящее время ты находишься у нас в стране, во власти моего отца, он сумеет и не преминет защитить тебя от кого бы то ни было, и рисковать он не станет: он никуда тебя не отпустит. Арнальду же не удастся увезти тебя и твоего брата силой, — волей-неволей придется ему пойти моему отцу на уступки, раз что он находится в его королевстве и у него во дворце. Поклянись же мне, сестрица, что ты правда хочешь быть женою моего отца и моею владычицею; поклянись мне, что твой брат ничего не имеет против стать господином моим и супругом, я же тебе ручаюсь, что какие бы преграды и препоны ни воздвигал на нашем пути Арнальд, все они будут сметены.

На это ей Ауристела ответила так:

— Мужа благоразумные судят о будущем по прошлому и настоящему. Если твой отец явно или же тайно станет удерживать нас у себя силой, то этим он прогневает и озлобит Арнальда, а ведь Арнальд — могущественный властитель, еще более могущественный, чем твой отец; между тем властелины обманутые и разочарованные обыкновенно пылают мщением, и, таким образом, родство с нами принесет вам не радость, а горе: война возгорится у самых ваших домов. Ты, пожалуй, возразишь мне, что эта опасность грозит вам в любом случае: останемся мы здесь или же возвратимся позднее, что провидение в сгустившихся несчастьях всегда оставляет просвет, и в этом просвете блещет луч спасения. И все же я склоняюсь к мысли, что нам нужно отправиться в путь вместе с Арнальдом; ты же употреби все свое хитроумие и всю свою находчивость, дабы исхлопотать дозволение на наш отъезд, — тем самым ты исхлопочешь и ускоришь наше возвращение, и здесь у вас, в стране менее обширной, зато более мирной, нежели страна Арнальда, я стану наслаждаться мудростью отца твоего, ты же — пригожеством и мягкосердечием моего брата, и при этом наши души пребудут неразлучны и нераздельны.

Выслушав Ауристелу, Синфороса, обезумев от счастья, кинулась к ней на шею и прелестными своими устами коснулась уст ее и очей.

Но тут дверь в покой Ауристелы отворилась, и вошли Антоньо-отец, Антоньо-сын, Рикла и Констанса, а за ними Маврикий, Ладислав и Трансила — всем им хотелось повидать Ауристелу, побеседовать с нею и узнать, как она себя чувствует; должно заметить, что из-за ее болезни они сами потеряли здоровье.

Синфороса простилась с Ауристелой в более веселом расположении духа и еще более обманутой, чем до своего прихода к ней. И то сказать: что бы ни сулило влюбленным их увлечение, в воображении своем они идут еще дальше.

Почтенный Маврикий, задав Ауристеле ряд вопросов, какие обыкновенно задают больному посетители, и, получив от нее столь же обычные в таких случаях ответы, сказал:

— Если даже беднякам, как бы тяжело ни жилось им на родине, горько изгнание, горька разлука с родимым краем, хотя бы они питались там впроголодь, то каково же должно быть на чужбине тем, кто оставил в родном краю все земные блага, какими только может оделить человека Фортуна? Говорю я это к тому, сеньора, что годы мои идут быстрым шагом и подводят меня к последней мете, — вот почему меня так тянет на родину: я хочу, чтобы мне закрыли глаза и простились со мною друзья и родные. Мы все, сколько нас здесь ни есть, мечтаем о возвращении на родину как о высшей милости и высшем благе; все мы здесь чужие, все мы здесь иноземцы, и все мы, сколько я могу судить, оставили на родине то, чего никогда не обречем на чужбине. Так вот, не соблаговолили ли бы вы, сеньора, исхлопотать дозволение на наш отъезд, или же не благословили ли бы вы нас на подобного рода хлопоты? Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы мы вас бросили, — благоразумие ваше, дивная ваша красота, равно как и необычайная тонкость вашего ума, являют собою магнит для наших сердец.

— Во всяком случае, для моего сердца, для сердца моей супруги и моих детей, — вмешался Антоньо-отец. — Мы лучше лишимся жизни, нежели общества сеньоры Ауристелы, если только она не погнушается обществом нашим.

— Благодарю вас, сеньоры, за вашу любовь ко мне, — молвила Ауристела. — К сожалению, я не имею возможности отплатить вам за нее как должно, однако желание ваше исполнят по моей просьбе принц Арнальд и брат мой Периандр, заболевание же мое вас не задержит: оно и было-то к лучшему. А до тех пор, пока не настанет счастливый день и час нашего отъезда, вы не давайте унынию овладеть вашими сердцами и не помышляйте о бедствиях грядущих: раз уж небо от стольких бед нас избавило, то оно, вне всякого сомнения, благополучно доставит каждого из нас к берегам возжеленного отечества. Если напасти не способны истощить телесные наши силы, то тем менее способны они истощить наше терпение.

Слова Ауристелы всех удивили: в них сказались верующее ее сердце и восхитительный ум.

Но тут в покой Ауристелы вошел ликующий король Поликарп: дочь его Синфороса уже успела подать ему надежду на исполнение его отчасти благих, отчасти нечистых желаний; надобно заметить, что у стариков порывы страсти обыкновенно драпируются плащом лицемерия и прикрываются им, ибо лицемеры явные вредят прежде всего самим себе, под флагом же супружества старики скрывают порочные свои поползновения.

Вместе с королем сюда вошли Арнальд и Периандр. Выразив Ауристеле свою радость по поводу того, что ей стало лучше, король сообщил, что он отдал распоряжение нынче вечером — в ознаменование той милости, какую всем им явило небо, исцелив Ауристелу, — зажечь в городе потешные огни, и еще он распорядился, чтобы всю неделю в городе шло веселье и торжества не прекращались.

Периандр на правах брата Ауристелы, Арнальд на правах возлюбленного, искавшего ее руки, поблагодарили короля.

Поликарп в глубине души злорадствовал, видя, как ловко обманул он Арнальда; Арнальд же, окрыленный улучшением в состоянии здоровья Ауристелы и не подозревавший о замыслах Поликарпа, стал спешно готовиться к отплытию, ибо он полагал, что чем дольше задержатся они в пути, тем дальше отодвинется исполнение его желаний.

Маврикий, также мечтавший скорее возвратиться на родину, прибегнул к любимой своей науке, и она ему открыла, что их отъезд с величайшими сопряжен трудностями. Он поставил о том в известность Арнальда и Периандра, а те уже были осведомлены о намерениях Синфоросы и Поликарпа и весьма всем этим озабочены: они хорошо знали, что когда

любовная страсть властвует над властелином, то его уже ничто не остановит, никаких святынь для него уже не существует, и обещаний своих он не исполняет, обязанностей не соблюдает. Следственно, у них не было оснований верить тем немногим обещаниям или, лучше сказать, ни одному из тех обещаний, которые им в свое время дал Поликарп. В конце концов все трое уговорились на том, что Маврикий выберет одно из многочисленных судов, стоявших в гавани, и на этом судне они тайно отплывут в Англию; для погрузки же они всегда, мол, найдут благовидный предлог, а до тех пор никто из них не должен показывать виду, что ему что-нибудь известно об умыслах Поликарпа.

Обо всем этом они уведомили Ауристелу; Ауристела же одобрила их план и с того дня стала особенно заботливо следить за своим здоровьем, а равно и за здоровьем своих спутников.

Клодьо вручает письмо Ауристеле; Антоньо-сын нечаянно убивает Клодьо

Как утверждает история, нахальство, вернее сказать — бесстыдство, Клодьо дошло до того, что он дерзнул вручить Ауристеле наглое письмо под тем предлогом, что это, мол, внимания достойные и высокой оценки заслуживающие духовные стихи.

Ауристела развернула письмо, и так сильно было в ней любопытство, что досада не могла заставить ее прекратить чтение. Ауристела прочла письмо до конца, сложила его и, подняв на Клодьо очи, в эту минуту не излучавшие света любви, коим они обыкновенно светились, но метавшие молнии гнева, заговорила:

— Отойди от меня, низкий, бессовестный человек! Если этот наглый твой вздор вызван каким-либо моим промахом, бросившим тень на мое доброе имя и честь, то я прежде всего накажу самое себя, но и твоя дерзость не останется безнаказанной, если только моя снисходительность и жалость к тебе не окажутся выше твоего безрассудства.

Клодьо был подавлен; в это мгновение он, как уже было сказано, отдал бы полжизни за то, чтобы наглого этого поступка не существовало. На него напал неборимый страх; он сам себя уверил, что жить ему осталось только до той минуты, когда Арнальду или Периандру станет известна совершенная им подлость. Понутив голову, Клодьо молча повернулся и пошел прочь от Ауристелы, а в душу к Ауристеле закралось между тем отнюдь не напрасное, но, напротив, вполне основательное опасение, что Клодьо от отчаяния решится на предательство, если только кто-нибудь осведомит его о замыслах Поликарпа, и она почла за должное уведомить о сем происшествии Периандра и Арнальда.

В это самое время Антоньо-сын сидел один у себя в комнате, как вдруг дверь отворилась, и к нему вошла женщина, коей на вид можно было дать лет сорок, однако ж прельстительная ее наружность скрывала, должно думать, все пятьдесят; покрой ее платья обличал в ней испанку, и хотя Антоньо знал лишь, как одеваются на острове варваров, где он родился и вырос, со всем тем по одежде ее он сейчас догадался, что это не местная уроженка.

При виде ее Антоньо из учтивости встал — пребывание на острове нимало не отразилось на его благовоспитанности — и предложил ей сесть, дама же (если только женщину в этом возрасте можно назвать дамой), не сводя глаз с Антоньо, заговорила:

— Мое появление, юноша, явилось для тебя, верно, полнейшей неожиданностью, ты не привык, чтобы тебя навещали женщины: я слышала, что ты возрос на острове варваров, и даже не среди самих варваров, но среди утесов и скал, и если красота твоя и стройность от этого нимало не пострадали, то душа твоя, верно уж, загрубела, и я боюсь, что моя душевная мягкость мне ни к чему не послужит. Не отодвигайся от меня, не волнуйся, успокойся! Я не Чудовище, и я не собираюсь внушать тебе или же советовать что-либо противное человеческой природе. Заметь: я говорю с тобой по-испански — на языке, коим ты владеешь, а ведь общность языка обыкновенно сближает людей незнакомых. Зовут меня Сенотьей, я родилась и выросла в Испании, в королевстве Гранадском, в городе Альгаме^[25]; слава же обо мне идет по всем испанским городам, а также по многим городам иноземным — мне мои способности не дают прозябать в неизвестности, меня прославляют мои деяния. Назад тому несколько лет я покинула родные края, спасаясь от бдительности сторожевых псов, охраняющих в Гранадском королевстве стадо католическое. Я вероисповедания мусульманского, занимаюсь я искусством Зороастровым^[26] и в нем не имею себе равных.

Погляди на солнце. Видишь, какое оно яркое? А хочешь, я в доказательство своего всемогущества сделаю так, что лучи его померкнут и оно скроется в тучи? Попроси меня, и по одному моему знаку дневной свет сменится ночью тьмой. А хочешь, сейчас задрожит земля, разбухнет ветер, забурлит море, сдвинутся с места горы, завоют хищные звери? Ты можешь сейчас увидеть любое из тех грозных знамений, по коим мы создаем себе представление об изначальном хаосе. Попроси меня — ты не пожалеешь и восчувствуешь ко мне уважение. Да будет тебе известно также, что в городе Альгаме во все времена жила какая-нибудь женщина по имени Сенотья: вместе с этим именем мы наследуем волшебный наш дар, и этот дар превращает нас не в колдуний, как нас иногда называют, но в ворожей и чародеек — эти названия больше нам пристали. Колдуньи никому никакой пользы не приносят; бездельницы эти колдуют над разными безделицами, вроде надкусанных бобов, иголок с обломанным кончиком, булавок с обломанной головкой, волос, срезанных во время полнолуния или же когда луна на ущербе, пользуются магическими знаками, коих смысла они сами не разумеют, а если чего иной раз и достигают, то отнюдь не благодаря всему этому дрязгу, а единственно потому, что господь ради высших целей попускает иной раз дьяволу их обморочить. Мы же, чародейки и волшебницы, — мы люди более высокого разбора. Мы имеем дело со звездами, мы созерцаем движение небесной сферы, мы знаем свойства трав, растений, камней, слов, и, сочетая активное начало с пассивным, мы, что называется, творим чудеса. Мы делаем такие необыкновенные дела, что люди диву даются, и вот источник нашей доброй или же худой славы: добрая слава идет о нас, если мы употребляем наше искусство на добрые дела; дурная — если мы употребляем его во зло. Природа толкает смертных чаще на дурные поступки, нежели на добрые, — вот почему нам трудно держать в узде людские страсти, а дайте им вырваться на свободу — уж они наделают бед! Да и какая сила способна удержать мстительную руку разгневанного и оскорбленного? Какая сила способна удержать отвергнутого любовника, когда он пытается заставить полюбить его? Принудить человека что-либо перерешить, сломить его упорство, пойти наперекор его воле — нет, тут наши чары бессильны, тут наши снадобья ничего поделать не могут.

Антоньо слушал испанку Сенотью, смотрел на нее, и было ему весьма любопытно знать, какую цель преследует пространная сия речь. А Сенотья между тем продолжала:

— Надобно тебе еще знать, благоразумный варвар, что гонение, воздвигнутое на меня испанскими инквизиторами, оторвало меня от родины: ведь когда тебя изгоняют, то это нельзя назвать отъездом, а скорее отрывом. Я долго скиталась, то и дело невольно пригибая голову, оттого что надо мною вплотную нависали опасности неисчислимы; мне все казалось, будто меня хватают за подол собаки, — я до сих пор боюсь собак, — и наконец я попала на этот остров. В скором времени я представилась королю, предшественнику Поликарпа. Я удивила народ разными дивами, начала торговать своим искусством, и теперь у меня благодаря этому более тридцати тысяч золотых. Я копила денежки и вела добродетельный образ жизни, не ища никаких наслаждений, и так бы все шло по-прежнему, когда бы счастливая, а может стать, злосчастная моя звезда не привела тебя сюда, и теперь судьба моя в твоих руках. Если я кажусь тебе уродливой, я сделаю так, что ты признаешь меня за красавицу; если тебе мало тридцати тысяч золотых, которые я тебе подарю, то раздвинь границы своего желания, расширь вместилища и хранилища своей алчности и скажи мне прямо сейчас, сколько бы ты хотел иметь денег. Для тебя я со дна моря достану жемчуг, таящийся в раковинах, поймаю птиц небесных и отдам тебе; по моему велению все деревья, растущие на земле, одарят тебя своими плодами; по моему велению недра земные выбросят на поверхность все свои драгоценности; силою чар моих ты станешь непобедимым, незлобивым во дни мира, грозным на поле брани; словом сказать, я улучшу твой жребий

настолько, что тебе все будут завидовать, ты же никому. Взамен я не прошу тебя, чтобы ты на мне женился, я прошу лишь, чтобы ты сделал меня своею рабой, а рабу свою ты не обязан любить как жену, мне же довольно будет одного сознания, что я твоя. Постарайся же, великодушный юноша, проявить в сем случае рассудительность; проявить же ты ее можешь, доказав мне на деле свою признательность. А еще ты докажешь свою рассудительность тем, что, прежде чем пойти мне навстречу, пожелаешь удостовериться в силе моих чар. В знак же того, что ты именно так и поступишь, обрадуй меня сейчас: подай мне какой-нибудь добрый знак, позволь мне коснуться благородной твоей руки!

С этими словами Сенотья встала и попыталась обнять юношу. Тогда Антоньо, придя в такое смятение, как если б он был самой уединенной девицей на свете, а враги осадили крепость ее целомудрия и ей должно защищать эту крепость, вскочил и, схватив лук, который он всегда носил с собой или держал где-нибудь поблизости, вложил стрелу и, находясь на расстоянии двадцати шагов от Сенотьи, нацелился в нее.

Угрожающая поза, которую принял Антоньо, ничего доброго для влюбленной женщины не предвещала, и потому она, дабы стрела в нее не попала, подалась всем телом в сторону, стрела же пролетела мимо самого ее горла (тут варварство Антоньо сказалось не только в одежде). Стреле все же суждено было найти свою жертву: в эту самую минуту дверь отворилась и в комнату вошел злоречивый Клодьо, и вот он-то и послужил стреле целью, стрела же, пронзив ему губу и язык, обрекла его на вечное молчание, каковую кару он заслужил многими своими грехами.

Уверившись в том, что стрела сия была смертоносна, и убоявшись другой стрелы, Сенотья положила не прибегать к силе волшебных своих чар, — в смятении и страхе, она, шатаясь и спотыкаясь, вышла из комнаты, дав себе слово отомстить жестокому и бездушному юноше.

Антоньо не был удовлетворен своим выстрелом; хотя его стрела и попала в цель, но как вина Клодьо была ему не известна, вина же Сенотьи была ему ясна, то и не мог он не упрекнуть себя в недостаточной меткости.

Он бросился к Клодьо, дабы удостовериться, не подает ли тот каких-либо признаков жизни, и мгновенно удостоверился, что все признаки уничтожила смерть. Только тут уразумел Антоньо, что он наделал, и сам назвал свой поступок варварским.

В это время к нему вошел отец и увидел кровь и труп Клодьо; стрела же навела его на мысль, что Клодьо пал от руки его сына. Он спросил об этом юношу — тот повинился. Тогда он осведомился о причине — сын ему рассказал все как было. Отец ужаснулся и в негодовании воскликнул:

— Послушай, варвар: если ты пытаешься отнять жизнь у тех, кто любит тебя и обожает, то как же поступишь ты с теми, кто тебя ненавидит? Если уж ты такой непорочный и высоконравственный, так защищай непорочность свою и нравственность терпением. Подобного рода посягательства оружием не отражаются; надобно не дожидаться столкновений, но бежать от них. Сейчас видно, что ты понятия не имеешь о том, как поступил один еврейский юноша: он оставил свою одежду в руках развратной женщины, его соблазнявшей. Оставь, невежда, невыделанную звериную шкуру, что на тебе, и лук, с помощью коего ты рассчитываешь одолеть самое храбрость, и не ополчайся супротив ласковости, которую тебе выказывает влюбленная женщина, а ведь когда женщина влюблена, то она сметает все преграды на стезе своей страсти. Если ты в дальнейшем нрав свой не обуздаешь, то все до конца твоих дней будут почитать тебя за варвара. Обличай, но не карай тех, кто посягает на твою невинность, — обличениями ты бога не прогневишь. Будь готов принять не один бой, ибо молодость твоя, а равно и привлекательная наружность многочисленными грозят тебе сражениями. Ты не думай, что всегда будут гоняться за тобой, — за кем-нибудь станешь гоняться и ты, но, может статься, цели желаний своих не достигнешь, тебя же застигнет смерть.

Антоньо слушал отца, потупившись, мучимый угрызениями совести. Ответил же он отцу так:

— Позабудь о моем проступке, отец, пожалей меня! Я постараюсь исправиться, я не прослышу варваром за жестокость и не прослышу развратником за уступчивость. А Клодьо пусть похоронят со всеми возможными почестями.

Между тем весть об убийстве Клодьо облетела дворец, однако ж это было для всех убийство загадочное, оттого что влюбленная Сенотья утаила истинную его причину, — она только сказала, что юноша-варвар неизвестно за что убил Клодьо.

Дошла эта весть и до Ауристелы, которая все еще держала в руках письмо Клодьо, — она собиралась показать его Периандру или же Арнальду, чтобы они наказали Клодьо за его дерзость, однако ж, узнав, что его покарало само небо, она разорвала письмо: она полагала, что нехорошо предавать огласке проступки умерших, — мысль разумная и глубоко христианская. Что же касается Поликарпа, то хотя его это происшествие взволновало и он почитал себя оскорбленным, ибо никому не позволялось в его дворце самому за себя вступаться, он не стал самолично расследовать это дело, а поручил расследование принцу Арнальду, Арнальд же по просьбе Ауристелы и Трансилы простил Антоньо и, не учиняя дознания, велел похоронить Клодьо; он поверил Антоньо на слово, что тот нечаянно убил Клодьо; умысел же Сенотьи Антоньо утаил, дабы его не сочли за самого настоящего варвара.

Слухи об убийстве затихли; Клодьо похоронили; про Ауристелу можно было бы сказать, что она отомщена, если б только в благородном ее сердце и правда гнездились мстительное чувство, как гнездились оно в сердце Сенотьи, которая, как говорится, ломала себе голову, думая, как бы отомстить бесчувственному стрелку, а стрелок между тем два дня спустя после описанного события захворал и слег в постель, и в столь тяжелом находился он состоянии, что врачи, не сумевшие распознать недуг, не ручались за его жизнь.

Рикла, мать Антоньо, выплакала все очи, у отца изболелось сердце, закручинились Ауристела и Маврикий, и в столь же мрачном расположении духа пребывали Ладислав и Трансила. Тогда Поликарп призвал советчицу свою Сенотью и обратился к ней с просьбой исцелить Антоньо: лекари-де, мол, не распознали болезнь и не могут сыскать от нее средство. Сенотья обнадежила Поликарпа и убедила его, что больной от этой болезни не умрет, но что она длительного требует лечения. Поликарп совершенно в том уверился, как если б то был голос оракула.

Все эти события не очень огорчали Синфоросу: ведь из-за них откладывался отъезд Периандра, а ей стоило увидеть его — и на сердце у нее становилось теплее; ей и хотелось, чтобы он поскорее уехал: чем скорее-де, мол, уедет, тем скорее возвратится, и в то же время не хотелось: все глядела бы на него да глядела.

В один прекрасный день случилось Поликарпу, обеим его дочерям, Арнальду, Периандру, Ауристеле, Маврикию, Ладиславу, Трансиле и Рутилио, который хоть и разорвал письмо к Поликарпе, а все же, мучимый раскаянием, ходил унылый и задумчивый, как всякий преступник, коему представляется, что все знают о его преступлении и все на него смотрят, — случилось, говорю я, поименованным лицам собраться в покое болящего Антоньо, коего они пришли навестить по просьбе Ауристелы, глубоко уважавшей и горячо любившей как самого больного, так и его родителей: она не могла забыть того благодеяния, которое юноша-варвар оказал ей и ее спутникам, выведя их из огня и приведя в пещеру к отцу. Общее несчастье обыкновенно сближает и роднит людей, Ауристеле же столько пришлось испытать за то время, что она провела в обществе Риклы, Констансы, Антоньо-отца и Антоньо-сына! И все же не одну только признательность питала она к ним — она любила их по влечению сердца и по предопределению судьбы.

Итак, когда они все собрались у постели больного, Синфороса стала убедительно просить Периандра рассказать им что-нибудь из своей жизни; в особенности ей любопытно было знать, откуда он прибыл к ним на остров в тот раз, когда он вышел победителем во всех играх и соревнованиях, устроенных в память того дня, когда ее отец был избран королем. Периандр же ей на это ответил, что он охотно расскажет им историю своей жизни, но только не с самого начала, ибо этого он никому не поведаст и не откроет до тех пор, пока он и сестра его Ауристела не побывают в Риме. Тут все уверили его, что он волен рассказывать, как ему будет угодно: что бы, дескать, он им ни рассказал, — всем сумеет он угодить своим слушателям. Однако больше всех слушателей был рад Арнальд: он надеялся, что Периандр как-нибудь проговорится, и ему, Арнальду, станет наконец ясно, кто таков сам Периандр, а Периандр, заручившись всеобщим согласием, начал так:

Периандр рассказывает о своем путешествии

— Коль скоро вы, сеньоры, порешили выслушать мою историю, то я со своей стороны изъявляю желание, чтобы предисловие и введение к ней было таково: вообразите себе мою сестру, меня и престарелую ее кормилицу на корабле, коего владелец представляет собою самого настоящего корсара, но только в обличье купца. Мы «стрижем» берега острова, то есть: мы идем так близко от берега, что все виды его растительности для нас явственно различимы.

Сестре моей, уставшей от многодневного путешествия, захотелось немного отдохнуть на берегу. Она обратилась с просьбой к капитану, а как просьба ее всегда была для него равносильна приказанию, то капитан и на сей раз изъявил согласие удовлетворить ее просьбу и на маленькой лодке в сопровождении только одного моряка отправил на берег меня, сестру мою и Клелию (так звали ее кормилицу).

Причалив, мы увидели, что через узкое устье несет свою дань морю маленькая речушка. По берегам речки отбрасывали длинную тень купы зеленых густолиственных деревьев, коим служили прозрачным зеркалом светлые воды реки.

Очарованные прелестным этим видом, мы попросили моряка ввести лодку в реку. Моряк исполнил наше желание и направил лодку вверх по течению. Когда же корабль скрылся из наших глаз, моряк остановил лодку, сложил весла и сказал:

«Придется вам, сеньоры, начать путешествовать по-иному. Отныне ваш корабль — вот эта самая лодочка; на корабль же, что ожидает вас в море, вам возвращаться не к чему, если только эта сеньора не желает утратить честь, а вы, называющий себя ее братом, — лишиться жизни».

Далее он сказал, что капитан намеревался обесчестить мою сестру, а меня — умертвить, что нам необходимо позаботиться о нашем спасении, а он, мол, будет нас сопровождать и последует за нами куда угодно, что бы с нами ни случилось.

О том, как встревожила нас эта весть, пусть судит тот, кто привык получать вместо ожидаемых добрых вестей дурные.

Я поблагодарил моряка за предостережение и пообещал наградить его, как скоро наши обстоятельства переменятся к лучшему.

«А ведь у меня есть драгоценности моей госпожи», — сказала тут Клелия.

Мы все четверо посоветовались и согласились с моряком, который предложил продвигаться в лодке вперед, — может статься, мы где-нибудь отыщем-де убежище на случай погони.

«Впрочем, погони быть не должно, — заметил моряк. — Островитяне почитают за корсаров всех, кто подходит близко к их берегам. Стоит им завидеть один корабль или несколько, они тотчас же хватаются за оружие, и, если не считать внезапных ночных нападений, корсары неизменно терпят урон».

Мне совет моряка показался разумным. Чтобы облегчить его труд, одним веслом стал грести я. Мы двинулись вверх по течению и когда прошли уже около двух миль, до нашего слуха донеслись звуки многочисленных и разнообразных музыкальных инструментов, а немного погодя взору нашему представился целый лес движущихся деревьев, сновавших от берега к берегу. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что то были не деревья, но украшенные ветвями лодки; на инструментах же играли те, что на лодках катались.

Едва завидев нас, они к нам устремились и окружили нашу лодку со всех сторон. Сестра моя встала; чудные ее волосы, перевязанные на лбу желтой то ли лентой, то ли бархаткой, которую ей дала кормилица, рассыпались по плечам, и во всем ее облике было сейчас нечто почти неземное, и столь неожиданно облик ее возник пред очами островитян, что, как это стало известно впоследствии, они и приняли ее за некое видение, а наш моряк, понимавший, о чем они между собой говорили, передал нам их слова:

«Что это? Может статься, это какое-нибудь божество явилось к нам, дабы принести поздравления рыбаку Ка-рино и несравненной Сельвьяне с наисчастливейшим браком?»

Тут они бросили нам конец веревки, а немного спустя высадили нас неподалеку от того места, где произошла наша встреча.

Как скоро мы сошли на берег, нас тотчас окружила толпа рыбаков, о каковом роде занятий свидетельствовала их одежда, а затем они, один за другим, полные восторженного благоговения, стали целовать Ауристеле край ее платья, она же еще не успела опомниться после того, что нам сообщил моряк, и все же она была сейчас так прекрасна, что у меня язык не поворачивается осудить рыбаков, усмотревших в ней нечто божественное.

Недалеко от берега мы увидели возвышение, воздвигнутое на толстых пнях можжевельного дерева, увитое зеленью и впитавшее в себя запах цветов, ковром устилавших землю вокруг. При виде нас поднялись со своих сидений на помосте две девушки и двое статных юношей. Одна девушка была необычайно красива, другая необычайно уродлива; один юноша был статен и пригож, а другой был хорош, да не так. Все четверо пали пред Ауристелой на колени, и красавец-юноша молвил:

«Кто бы ты ни была, но земным существом ты быть не можешь! Мой брат и я, мы от всего сердца благодарим тебя за ту милость, которую ты нам оказала, почтив своим присутствием нашу свадьбу, хоть и бедную, да зато богатую радостью. Добро пожаловать, сеньора! И если вместо хрустального дворца, который являло очам твоим безбрежное море, ты увидишь сейчас наши хижины, коих стены сложены из ракушек и коим кровлей служит навес из ивовых прутьев, — а у иных наоборот: стены из ивовых прутьев, а кровли — из ракушек, — зато ты найдешь у нас золотые желания и жемчужные стремления тебе угодить. Определения эти могут показаться неудачными, однако ж я употребляю их потому, что не знаю ничего дороже золота и ничего прекраснее жемчуга».

Ауристела наклонилась к нему, чтобы помочь ему встать, и в эту минуту величавость ее движений, учтивость ее и красота еще раз подтвердили, что рыбаки составили о ней верное мнение.

Рыбак менее приятной наружности пошел сказать другим рыбакам, чтобы они повеличали чужестранку и чтобы в честь ее прибытия играла музыка. Две рыбачки, дурнушка и красавица, почтительно и смиренно поцеловали Ауристеле руки, она же с видом любезным и дружелюбным их обняла.

Моряк, обрадованный приемом, который здесь оказали Ауристеле, сообщил рыбакам, что в море ее ожидает корсарский корабль, что он опасается, как бы корсары не явились сюда за ней, а что эта девушка — высокая особа, королевская дочь: моряк придумал это о моей сестре для того, чтобы еще больше привлечь к ней сердца на случай, если понадобится защитить ее.

Не успел моряк договорить, как увеселительная музыка смолкла, и ее сменила военная — на этом и на том берегу трубы заиграли: «К оружию! К оружию!»

Между тем смерклось. Мы укрылись в хижине брачующихся. Караулы были расставлены вплоть до самого устья реки. Рыбаки поставили верши, закинули неводы и наживили удочки — все это имело целью угостить и попотчевать гостей; двое же рыбаков порешили не

ночевать под одною кровлею со своими невестами и уступить хижины им, Ауристеле и Клелии, и то был знак особого почета женщинам-чужестранкам, а еще они вызвались охранять их и сторожить совместно со своими друзьями, со мною и с моряком. И хотя с неба светил месяц, а на земле по случаю нового торжества горели костры, молодые люди настояли на том, чтобы женщины ужинали в хижине, а мы, мужчины, на воздухе.

Желание их было исполнено, и до того обильным угостили нас ужином, что казалось, будто море и суша тщатся затмить друг друга: земля — изобилием мяса, море — изобилием рыбы.

После ужина Карино, знаками дав мне понять, что у него тяжело на душе, взял меня под руку и повел на берег, а на берегу, плача и стеная, заговорил:

«Твое появление в такое время и при таких обстоятельствах не случайно: своим появлением ты невольно отдалил мою свадьбу, и теперь я проникаюсь уверенностью, что ты подашь мне добрый совет и горю моему поможешь. Зови меня сумасбродом, почитай меня за слепца, за человека, лишённого вкуса, и все же да будет тебе известно, что мне выпало на долю взять себе в жены одну из тех рыбачек, которых ты только что видел, но не дурнушку, а красавицу, по имени Сельвьяна. Не знаю, однако, как ты на это взглянешь, не знаю, извинишь ли ты мою вину и простишь ли мой грех, но только я всей душой люблю дурнушку Леонсю и ничего не могу с собой поделать. Со всем тем я намерен поведать тебе одну истину, насчет которой я нимало не заблуждаюсь, а именно: духовные мои очи видят в Леонсье такие достоинства, что она представляется мне первою красавицею в мире. Этого мало: я подозреваю, что Солерсьо, — это имя второго брачующегося, — пылает любовью к Сельвьяне: так у нас четверых переплелись чувства, а произошло это потому, что мы решились послушаться родителей наших, а также других родственников, сговорившихся между собою нас поженить. Я никак не могу взять в толк, почему бремя, которое человек обречен нести всю жизнь, возлагается ему на рамена не по его собственному желанию, а по чьей-то чужой воле. Нынче нам предстояло изъявить свое согласие и одобрить закабаление наших чувств, но все это внезапно отодвинулось, и отодвинулось не происками кого-либо из нас, но произволением Божиим — так по крайней мере я склонен думать, — оттого что неожиданно приехали вы, и теперь у нас есть время поправить дело. Того ради я и прошу у тебя совета: ты здесь человек новый, ничью сторону не держишь, и ты сумеешь дать мне мудрый совет. А я уж так было и порешил: коли не найду я, чем помочь горю, то покину родные берега и не вернусь сюда до самой смерти, и пусть отец с матерью гnevаются, сродники сердятся, а приятели досадуют».

Я слушал рыбака со вниманием, и вдруг в голову мне пришло спасительное средство, а из уст моих изошли такие слова:

«Друг мой! Тебе не к чему покидать родные места; во всяком случае, не покидай их до тех пор, пока я не поговорю с сестрой моей Ауристелой, — это та изумительная красавица, с которой ты сегодня познакомился. Она необычайно умна, — можно подумать, что она наделена не только божественною красотой, но и божественным разумом».

Затем мы оба возвратились в хижину, и тут я рассказал моей сестре все, что рыбак мне поведал; Ауристела подумала светлой своей головой и наконец нашла, что им присоветовать — так, чтобы не ударить в грязь лицом и чтобы все устроилось к общему благополучию, а именно: отозвав в сторону Леонсю и Сельвьяну, она повела с ними такую речь:

«С сегодняшнего вечера, подружки мои, вы со мной еще больше сдружитесь, — вот увидите. Надобно вам знать, что небо создало меня не только миловидною, но и проницательною и прозорливою: так, например, глядя человеку в глаза, я читаю у него в душе и угадываю его мысли. Сейчас вы убедитесь в этом на собственном опыте: ты, Леонсья, без

памяти влюблена в Карино, а ты, Сельвьяна, — в Солерсьо. Девичий стыд мешает вам в этом признаться, но говорить за вас буду я, и по моему совету, который несомненно будет принят в соображение, заветные ваши мечты претворятся в жизнь. Молчите же и предоставьте действовать мне. Если только разум мне не изменит, то все уладится».

Девушки молча принялись осыпать поцелуями ее руки, а потом, прижавшись к ней, подтвердили, что все догадки ее справедливы и что, в частности, верно ею угадано переплетение их влечений.

Прошла ночь, настало утро, и пробуждение нам готовилось на редкость приятное: рыбацьи лодки были украшены свежесорванными зелеными ветками, опять заиграла музыка, что-то новое и веселое, слышались радостные крики, усилившие всеобщее ликование, и тут к возвышению направились брачующиеся. На Сельвьяне и Леонсье были подвенечные платья. Моя сестра оделась и нарядилась с большим вкусом; на ее прекрасном лбу сверкал бриллиантовый крест, в ушах — жемчужные серьги, — эти необычайно дорогие вещи никто до сих пор не мог надлежащим образом оценить, и вы этому поверите, как скоро она вам покажет. Издали можно было подумать, что это священное изображение, воздвигнутое над бренною землею жизнью.

Ауристела вела за руки Сельвьяну и Леонсью; когда же она взошла на помост, на коем воздвигнуто было брачное ложе, то окликнула и подозвала Карино и Солерсьо.

Карино, трепещущий и смущенный (ведь ему был не известен исход моих переговоров с Ауристелой), приблизился к ней. Священник уже готов был соединить руки брачующихся и по католическому обряду повенчать их, но тут моя сестра сделала знак, что хочет что-то сказать, после чего все вокруг разом онемело и стихло — слышно было только легкое дуновение ветерка.

Видя, что по одному ее знаку все превратились в слух, Ауристела громким и звонким голосом произнесла:

«То воля небес».

Тут она взяла руку Сельвьяны и вложила ее в руку Солерсьо, а руку Леонсьи в руку Карино.

«Повторяю, сеньоры: таково предуказание неба, — продолжала моя сестра. — Это не случайная прихоть, но неодолимое влечение счастливых этих брачующихся, а что они точно счастливы — об этом свидетельствуют веселые их лица и то, что уста их шепчут: „Да!“

При этих словах все четверо обнялись, а народ между тем приветствовал эту перемену и вновь пришел в восхищение от неземной красоты моей сестры, от сверхъестественного ее ума и от того, как легко, единым мановением, поменяла она местами брачующихся.

Началось торжество, и тогда выдвинулись вперед четыре двенадцативесельных (по шесть весел на каждом борту) баркаса, свежеекрашенных в разные цвета, тешивших взор своею пестротой. На снастях красовалось множество, также разноцветных, флажков. На каждом баркасе сидело двенадцать гребцов в одежде из тонкого только что побеленного полотна — в одежде точно такого же покроя я прибыл впервые на ваш остров.

Мне сказали, что скоро над пятым баркасом, находившимся на расстоянии трех лошадиных заездов от этих четырех, будет натянут шатер; шатер этот, огромный, красивый, из зеленой шитой золотом тафты, был виден издали; края его касались воды и даже полоскались в ней.

За говором народа и звуками музыки невозможно было расслышать команду капитана, раздававшуюся с такого же раскрашенного баркаса.

Убранные ветвями баркасы раздвинулись, чтобы дать дорогу четверем соревнующимся баркасам и чтобы их хорошо было видно жадной до зрелища несметной толпе, усыпавшей

помост и берега реки. Гребцы, сгорая от нетерпения, точно породистые ирландские сеттеры, которых хозяин все не спускает со своры, хотя зверь уже показался, в ожидании сигнала к началу соревнования взялись за весла, и на их голых руках видны были плотные сухожилия, вздутые вены и развитые мускулы.

Наконец долгожданный сигнал был подан, и в тот же миг все четыре баркаса рванулись и понеслись с такою быстротой, что казалось, будто они не по воде летят, а по воздуху.

Один из них, коему служил эмблемой Купидон с повязкой на глазах, обогнал остальные на расстояние, равное по длине почти трем баркасам, и это его преимущество дало основания зрителям полагать, что он придет первым и получит чаемую награду.

Баркас, следовавший за ним, вначале шел уверенно, гребцы на нем подобрались стойкие и упорные, но даже и они, видя, что первый баркас не сдает, готовы были сложить весла, однако ж события далеко не всегда происходят и развиваются так, как можно было предполагать вначале. Существует правило, согласно которому зрители состязаний и соревнований не должны ободрять соревнующихся ни знаками, ни возгласами, ни как-либо еще, ибо все это так или иначе помогает участникам состязаний, однако ж, видя, что баркас с отличительным знаком в виде Купидона так на много обогнал остальные, зрители, невзирая ни на какие правила, полагая, что победа ему уже обеспечена, дружно воскликнули: «Купидон» побеждает! «Любовь» непобедима!» И в это мгновение нам издали показалось, будто гребцы «Любви», напрягши слух, чуть-чуть уменьшили скорость.

Следовавший за баркасом Любви второй баркас, коего отличительным знаком являлся Прибыток, изображенный в виде роскошно одетого приземистого крепыша, воспользовался этим обстоятельством: гребцы изо всех сил налегли на весла, и скоро «Прибыток» уже поравнялся с «Любовью» и оттеснил ее к берегу, при этом весла правого борта у нее сломались, на «Прибытке» же гребцы предусмотрительно подобрали свои весла, и, обманув ожидания тех, кто начал славить победу «Любви», «Прибыток» вырвался вперед; впрочем, теперь они уже кричали: «Прибыток» побеждает! «Прибыток» побеждает!»

Отличительным знаком третьего баркаса являлась Быстрота, изображенная в виде нагой женщины со множеством крыльев; в руках она держала трубу, что делало ее похожей скорее на олицетворение славы, нежели на олицетворение быстроты.

Успех «Прибытка» воодушевил «Быстроту», и ее гребцы, принатужившись, догнали «Прибыток», но тут сплеховал рулевой: из-за его оплошности «Быстрота» столкнулась с двумя первыми баркасами, и все ее гребцы были обречены на бездействие. А гребцы на баркасе, шедшем сзади и избравшем своим отличительным знаком «Удачу», как раз когда они выбились из сил и уже готовы были выйти из игры, заметив, что первые три баркаса столкнулись, подались в сторону, чтобы самим не попасть в эту кашу, а затем, как говорится, нажали и, благополучно проскользнув мимо столкнувшихся лодок, обогнали их.

Теперь с берегов слышались иные возгласы, и возгласы эти воодушевляли гребцов «Удачи»; упоенные своим успехом, гребцы уже не сомневались, что если отставшие в несколько взмахов не покроют разделяющее их расстояние, то им вперед уже не вырваться и награды им не видать, и награду в самом деле получили гребцы четвертого баркаса — не столько потому, что они уж так быстро шли, сколько потому, что им повезло.

Словом сказать, «Удача» и впрямь оказалась удачливой, я же окажусь рассказчиком незадачливым, если буду сейчас продолжать повесть о многочисленных моих и необычайных приключениях. Итак, я прошу вас, сеньоры: остановимся здесь, а вечером я вам доскажу до конца, хотя, впрочем, невзгоды мои бесконечны.

Только успел Периандр это вымолвить, как вдруг с больным Антоньо случился глубокий обморок, а его отец, видимо догадавшись, что тому причиной, вышел из комнаты и

направился, как то выяснится впоследствии, к Сенотье, с которой у него произойдет разговор, приводимый в следующей главе.

Думается мне, что когда бы у Арнальда и Поликарпа терпение не питалось наслаждением любоваться Ауристелой, а у Синфоросы — наслаждением любоваться Периандром, то пространная его повесть в конце концов истощила бы их терпение; да и Маврикию и Ладиславу повесть его также показалась длинноватой и слегка растянутой: по их мнению, рассказывая о своих несчастьях, он не должен был рассказывать о чужих радостях.

В целом, однако ж, повесть слушателям понравилась: во всяком случае, она произвела на слушателей приятное впечатление картинностью изображения и приятностью слога, и они пожелали непременно дослушать до конца.

Антоньо-отец нашел Сенотью не более, не менее, как в королевской палате, и, увидев ее, он, как прямой испанец, мгновенно загорелся гневом; вне себя от ярости, он схватил ее за левую руку и, занеся над нею кинжал, воскликнул:

— Верни мне, колдунья, моего сына живым и здоровым, верни сей же час, а не то тебе не сдобровать! Верни, каким бы магическим кругом из иголок без ушек и булавок без головок ты его ни обвела, куда бы ты, злодейка, здоровье его ни запрятала: за дверную притолоку или же еще в какое-либо укромное место, тебе одной известно.

Сенотья, видя, что разгневанный испанец, занес над нею кинжал, оцепенела от страха и дрожащим голосом дала обещание вернуть его сыну жизнь и здоровье; в эту минуту она готова была дать обещание исцелить весь свет — так она была напугана. Вот что она сказала Ан-тоньо-отцу:

— Отпусти мою руку, испанец, и вложи в ножны свое оружие! Прими в рассуждение, что оружие гнева, примененное твоим сыном, обратилось против него. Тебе должно быть известно, что мы, женщины, мстительны от природы, но презрение и пренебрежение сильнее, чем что-либо иное, возбуждают в нас мстительное чувство, — так не удивляйся же, что жестокость твоего сына ожесточила мое сердце, внуши ему, что с теми, кого он пленил, надлежит быть человечным; не должно унижать тех, кто взывает к его милосердию. А теперь иди с миром: завтра твой сын встанет здоровым и невредимым.

— А иначе, — подхватил Антоньо, — я сумею тебя разыскать и найду в себе силы умертвить тебя.

С этими словами он удалился; на Сенотью же напал такой страх, что она, позабыв причиненную ей обиду, сняла с притолоки орудия своего колдовства, которые она приготовила, дабы иссушить сурового юношу, вскружившего ей голову своею стройностью и пригожеством.

Стоило Сенотье снять с притолоки бесовскую свою снасть — и юноша Антоньо тотчас выздоровел: на щеках его заиграл румянец, в глазах зажегся веселый огонек, во всем теле он ощутил прилив сил, каковому обстоятельству все обрадовались, отец же его, оставшись с ним наедине, обратился к нему с такими словами:

— Сын мой! Вот о чем пойдет у нас с тобой сейчас речь: я хочу вразумить тебя, дабы ты уразумел, что цель бесед, какие я с тобою веду, одна — внушить тебе, чтобы ты остерегался в чем-либо прогневать господа. Ты мог в том увериться на протяжении тех пятнадцати или же шестнадцати лет, что я преподаю тебе закон, коему меня учили мои родители, — закон истинной католической веры, которою спаслись и спасутся все, пред кем отверзались или же отверзнутся врата царства небесного. Закон божий воспрещает нам мстить обидевшим нас, — нам надлежит лишь призывать их к покаянию. Наказывать — это дело судьи, наше дело — обличать грешников на условиях, о которых я скажу тебе позднее. Если тебя станут

подбивать причинить кому-либо обиду, то есть на дело, богу не угодное, то не бери в руки лук, не мечи стрел и не произноси бранных слов. Не слушайся дурных советов, отойди от зла — и тогда ты выйдешь победителем, обретишь свободу и с твердостью встретишь новое испытание. Сенотья тебя околдовала с помощью орудий колдовства, коих действие рассчитано на известный срок: если бы не господь бог да не моя расторопность, то не прошло бы и десяти дней, как ты отправился бы на тот свет. А теперь пойдем послушаем Периандра — он обещал вечером досказать свою историю, — все друзья твои будут рады тебя видеть.

Антоньо обещал отцу с божьей помощью претворять в жизнь его наставления, невзирая ни на какие соблазны, невзирая ни на какие силки, которые кто-либо расставит его добродетели.

Между тем Сенотья, обозленная, посрамленная и огорченная равнодушием и презрением сына, а равно и бесстрашием и негодованием отца, порешила чужими руками отомстить за свою обиду, но так, чтобы бесчувственный варвар по-прежнему здесь пребывал. С такими мыслями и с такою непреклонною решимостью явилась она к королю Поликарпу и сказала:

— Тебе ведомо, государь, что с тех пор, как я живу у тебя во дворце и состою у тебя на службе, я стараюсь служить тебе со всеусердием. Ты мог не раз удостовериться в моей преданности, и тебе ведомо также, что все твои тайны я храню свято. Ты человек мудрый, и тебе ведомо, что в делах личных, особливо сердечных, даже самые, казалось бы, рассудительные люди склонны ошибаться, — так вот, твое намерение отпустить с миром Арнальда и всю компанию — это из ряду вон выходящее безумие. Нет, правда, скажи мне: разве тебе легче будет покорить Ауристелу на расстоянии? Ты воображаешь, что она сдержит свое слово и вернется, что она выйдет замуж за старика? Ты же не станешь отрицать, что ты старик: самого-то себя ведь не обманешь. Притом около нее всегда Периандр, — а может, он ей совсем даже и не брат, — и юный принц Арнальд, который спит и видит на ней жениться. Не упускай же случая, государь, иначе он повернется к тебе не вихром, а лысиной. Между тем тебе сейчас представляется случай задержать их и наказать наглость и дерзость в лице этого изверга варвара, который прибыл вместе с ними и в стенах дворца твоего убил некоего Клодьо, и вот если ты его накажешь, то стяжаешь славу правителя пусть не мягкосердечного, да зато справедливого.

С величайшим вниманием слушал Поликарп зловедную Сенотью, каждое слово которой впивалось гвоздем в его сердце. И ему уже не терпелось привести ее замысел в исполнение; мысленным оком он уже видел Ауристелу в объятиях Периандра — в объятиях не брата, но возлюбленного; ему уже мерещилась у нее на голове датская корона; ему уже чудилось, что Арнальд смеется над любовными его мечтаниями.

В конце концов бес остервенелой ревности настолько овладел душою короля, что король готов был кричать от боли и вымещать ее на людях ни в чем не повинных. Однако же Сенотья, удостоверившись, что доведенный до бешенства король являет собою послушное орудие в ее руках, постаралась пока что успокоить его: пусть, мол, Периандр вечером доскажет свою историю, а она тем временем обдумает дальнейший план действий.

Поликарп поблагодарил ее за участие, и тогда эта влюбленная и жестокая женщина стала раскидывать умом, как лучше всего исполнить их общее, ее и короля, желание.

Между тем смерклось; все, так же как и вчера, собрались на беседу, и Периандр, дабы восстановить в памяти слушателей последовательность событий и дабы связать оборванную нить повествования, напомнил, что в прошлый раз он остановился на гребном состязании.

Периандр продолжает рассказывать занятную свою историю, а затем переходит к рассказу о похищении Ауристелы

С наибольшим удовольствием слушала Периандра прелестная Синфороса; каждое его слово приковывало ее к себе как бы цепями, исходившими из уст Геркулеса^[27], — так складно и так красиво говорил Периандр, повествуя о своих приключениях.

Повторив для связи, как мы уже упоминали, то, на чем он остановился вчера, Периандр продолжал:

— «Удача» обогнала и «Любовь», и «Прибыток», и «Быстроту»: ведь уж если нет удачи, то и быстрота немногого стоит, и прибыль не поможет, и любовь бессильна.

Убогий праздник рыбаков превзошел в своем веселье римские триумфы, ибо простота и скромность часто содержат в себе радость более совершенную. Однако ж судьбы людей по большей части висят на тончайших нитях, которые ничего не стоит оборвать и запутать, — так вот и нити моих рыбаков порвались и перекрутились, а с тем вместе умножили и мои несчастья; в самом деле, нужно же было нам уговориться провести следующую ночь на островке, образовавшемся на середине реки и манившем нас обилием зелени и безмятежною тишиной! Новобрачные из скромности не пользовались правами молодоженов; они думали только о том, как бы порадовать ту, кто такую огромную радость доставила им, благодаря чему они заключили меж собой долгожданный и счастливый союз. И для того решено было возобновить на этом острове торжества с тем, чтобы они продолжались три дня подряд.

Теплый воздух (дело происходило летом), приятность местоположения, свет месяца, тихий плеск ручейков, обилие плодов, аромат цветов — все это, и вместе и порознь, соблазняло нас пробывать здесь до окончания празднеств.

Как же скоро мы расположились на острове, неожиданно из перелеска выскочило с полсотни разбойников, снаряженных как попало: видно было, что им только бы пограбить — и давай бог ноги. Люди же беспечные, внезапному нападению подвергшиеся, бывают обыкновенно побеждены прежде всего своею собственною беспечностью: они не успевают даже изготавиться к обороне — до того их ошеломляет располх; так же точно и мы: вместо того, чтобы дать отпор разбойникам, мы молча на них уставились, а те, как голодные волки, набросились на стадо бесхитростных овечек и хоть и не в зубах, а на руках утащили сестру мою Ауристелу, кормилицу ее Клелию, Сельвьяну и Леонсю; можно было подумать, что они именно их вознамерились похитить, — ведь были же тут и другие девушки, коих природа изрядною оделила красотою.

Меня этот непредвиденный случай не столько поразил, сколько возмутил: я бросился за разбойниками в погоню, старался не выпустить их из виду, кричал им вдогонку оскорбительные слова (как будто такие люди способны оскорбляться!), надеясь хотя бы разозлить их и раздражить, но разбойники не обращали на меня никакого внимания: то ли они брани моей не слыхали, то ли просто не пожелали мне отплатить, но только в конце концов они скрылись. Тогда мужья похищенных Сельвьяны и Леонсьи, кое-кто из наиболее уважаемых рыбаков и я стали, что называется, держать совет касательно того, как нам поправить дело и отобрать наши сокровища.

Один из рыбаков сказал:

«Вернее всего, в море стоит разбойничий корабль — в таком месте, откуда легче всего добраться до берега. Они, поди, проведали, что мы тут собрались повеселиться. Я готов

биться об заклад, что это так, а стало быть, у нас нет иного средства, как подъехать к ним на лодках и предложить богатый выкуп, да не скупиться; и то сказать: мужу за жену и голову сложить не жалко».

«Я сей же час еду к разбойникам, — вызвался я, — моя сестра, мое драгоценное сокровище, стоит для меня целого света».

Моему примеру последовали Карино и Солерсьо; оба они не стыдились своих слез, я же скрывал душевную свою муку.

Когда мы принимали это решение, было уже довольно темно, и все же Карино, Солерсьо, шесть гребцов и я сели в лодку. Но как скоро мы вышли в открытое море, стемнело окончательно, и впотьмах мы не могли различить судно. Тогда мы положили дожидаться утра, чтобы при свете зари попытаться высмотреть корабль, и вот случилось так, что на рассвете мы увидели не один, а целых два корабля: один отваливал, другой приставал к берегу. Я сейчас узнал отходивший корабль, с которого мы сбежали на остров: на вымпелах его и парусах виднелся красный крест, меж тем как на вымпелах и парусах корабля, подходившего к берегу, также виден был крест, но только зеленый; впрочем, оба корабля были корсарские.

Будучи уверен, что схватили наши сокровища моряки с корабля отчалившего, я прикрепил к копью белое полотнище и, приблизившись с этим белым флагом к борту судна, попытался с соблюдением необходимой осторожности вступить в переговоры о выкупе.

На борту показался капитан. Только было я возвысил голос, чтобы заговорить с ним, как вдруг голос мой упал, пресекся и потонул в адском грохоте: то был артиллерийский залп с другого, подходившего корабля, означавший, что тот корабль вызывает этот на бой. В ту же минуту корабль, к коему мы приблизились, ответил не менее мощным залпом, и началась артиллерийская дуэль: можно было подумать, что это встреча двух исконных и ярых врагов.

Мы поспешили выйти из-под обстрела и стали издали наблюдать за ходом сражения. Перестрелка длилась почти целый час, после чего два корабля с невиданною яростью сцепились вплотную. Моряки с подошедшего корабля, более удачливые, вернее сказать — более храбрые, взяли другой корабль на абордаж и в мгновение ока перебили находившихся на палубе — всех до одного человека. Покончив же с врагами, они стали хватать что поценней, и хотя на взгляд корсара особых ценностей тут не было, однако же для меня то были из сокровищ сокровища, ибо они первым делом схватили мою сестру, Сельвьяну, Леонсью и Клелию и тем обогатили свой корабль: они живо смекнули, что за такую красавицу, как Ауристела, они возьмут неслыханно огромный выкуп.

Я вознамерился подойти к победившему кораблю и начать переговоры с капитаном, однако ж последнее время счастье мое всецело зависело от направления ветра, так и тут: неожиданно подул ветер береговой, и корабль удалился. Так я лишен был возможности подойти к нему и предложить капитану непомерный выкуп, и нам оставалось лишь повернуть вспять без всякой надежды когда-либо вновь обрести утраченное. Между тем корсарский корабль шел по ветру, а потому мы не в состоянии были определить его курс; равным образом мы не имели понятия об его опознательных знаках, по коим можно было бы догадаться, кто они такие, эти победители; знай мы хотя бы, из какого они края, у нас была бы отдаленная надежда когда-нибудь свидеться с теми, кого они у нас отняли.

Коротко говоря, корабль скрылся в морской дали, а мы, убитые горем, выбившиеся из сил, вошли в устье речки, где нас ожидали на лодках все рыбаки.

Не знаю, сказать ли вам, сеньоры, одну вещь, а между тем я чувствую, что умолчать об этом нельзя: вселился в меня тогда некий дух, и хотя он и не преобразил меня, однако ж я ощутил в себе силы сверхчеловеческие. И вот вскочил я на корму и, крикнув рыбакам, чтобы они подошли поближе и со вниманием меня выслушали, обратился к ним с такою речью:

«Беду ни праздностью, ни ленью не поправишь. В душах трусливых нет места для счастья. Мы сами создаем свою судьбу. Нет такого человека, который был бы не способен улучшить свое положение. Трус, хоть и родится богатым, обречен бедствовать, подобно нищенствующему скупцу. Все это, друзья мои, я говорю для того, чтобы подвигнуть и побудить вас улучшить ваш жребий: оставьте убогие ваши мрежи и утлые челны, ищите сокровищ, которые достигаются благородным трудом, — я называю благородным такой труд, который задается целями великими. Ежели землекоп в поте лица своего роет землю, а заработка ему едва хватает на кусок хлеба, славы же ему от того никакой, то почто не сменит он заступа на копье? Подумать только: ни зной, ни непогода ему не страшны, и добывает он не только пропитание, но и славу, возвышающую его над всеми людьми! Война — мачеха для трусов и родная мать для удалцов, награды же, на войне получаемые, это, если можно так выразиться, сверхнаграды. Итак, друзья мои, храбрые юноши, будем смотреть в оба за кораблем, увозящим сокровища, принадлежащие вашим родным, а для того сядем вон на тот корабль, что стоит недалеко от берега, — я уверен, что нам послало его само небо. Будем идти следом за тем кораблем! Превратимся в пиратов, но только не ради наживы, а дабы отбить незаконно присвоенное достояние. Морская служба всем нам знакома. Съестные припасы, а равно и все прочее, потребное для плавания, мы найдем на этом корабле: ведь победители увезли с собой только женщин, а больше ничего не тронули. Причиненная нам обида велика необычайно, однако стократ необычайнее представляющийся нам случай за нее отплатить. Следуйте же за мной! Я вас о том прошу, Карино и Солерсьо вас о том умоляют, а я знаю наверное, что в этом смелом походе они меня не оставят».

Не успел я договорить, как по всем лодкам пробежал шепот — рыбаки посовещались, а затем слышался громкий голос:

«Доблестный гость наш! Садись на корабль, будь нашим капитаном и нашим вождем, а мы все — за тобой!»

Скорое это и единодушное решение я счел за добрый знак, а чтобы заминка с исполнением благого моего намерения не дала рыбакам повода передумать, я поспешил отчалить, и тогда вслед за моей лодкой двинулось еще около сорока.

Я порешил с крайним тщанием учинить разведку: взойдя на корабль, я все как есть осмотрел, дабы установить, что здесь есть и чего недостает, и обнаружил, что все необходимое для плавания налицо. Рыбакам я сказал, чтобы никто из них не сходил на берег, — я опасался, как бы женские или детские слезы не принудили кого-либо из сподвижников моих отменить смелое свое решение.

Рыбаки повиновались; все они мысленно простились со своими родителями, женами и детьми. Случай маловероятный, но уж вы поверьте мне хотя бы из вежливости: никто из рыбаков не съездил на берег даже для того, чтобы взять про запас что-нибудь из одежды, — пустились в путь кто в чем был. Распределять между собою обязанности не стали: все поочередно должны были нести службу простых матросов и лоцманов, я же единогласно избран был капитаном. Затем, благословясь, принялся я за исполнение своих обязанностей, и первое, о чем я распорядился, это убрать трупы, оставшиеся после боя, и смыть кровь. Еще я распорядился собрать все оружие, как холодное, так равно и огнестрельное, а затем по своему выбору его роздал; Далее я высчитал, на сколько приблизительно дней нам должно хватить продовольствия.

Покончив с этими делами, я помолился богу о том, чтобы он не оставлял нас в пути и помог нам в осуществлении благого нашего начинания, а тотчас после молитвы подал команду поставить паруса, которые были все еще прикреплены к реям, и направить корабль по ветру, который, как я уже говорил, дул с берега, а затем мы бодро и смело, смело и

уверенно пошли тем же курсом, каким, по нашим предположениям, шел корабль с похищенными девушками.

На этом, почтенные слушатели, я мог бы и остановиться, ибо кем только я вашему воображению ни являлся: и рыбаком и сватом, но пока милая сестра моя находилась при мне, я почитал себя за богача, после же того, как разбойники у меня ее похитили, я остался нищ, и, нищего, меня нимало не медля произвели в капитаны корабля, устремившегося за ними в погоню: воистину превратностям судьбы моей нет ни конца, ни предела.

— Довольно, довольно, друг Периандр! — воскликнул тут Арнальд. — Ты, как видно, способен без устали повествовать нам о своих злоключениях, нам же слушать о них больше невмочь — столь они многочисленны.

Периандр же ему на это сказал:

— Я, сеньор Арнальд, складочное место, куда сваливаются все напасти, всякому горю там место найдется, все сыплется на меня, хотя, впрочем, раз что цепь несчастных этих случаев в конце концов привела меня к сестре моей Ауристеле, то я уже почитаю их за случаи счастливые: коли беда не смертельна, то это еще не беда.

Тут вмешалась Трансила:

— Я этих ваших околичностей, Периандр, не разумею, однако не взыщите: уж мы-то строго с вас взыщем, если вы не исполните страстного нашего желания знать все случившиеся с вами происшествия: на мой взгляд, они могли бы дать пищу многим злым языкам, а равно и многим отравленным перьям. Мне странно было слышать о том, что вы — капитан морских разбойников, — согласитесь, что доблестные ваши рыбаки заслужили это название. И мне страх как хотелось бы знать, каков был первый совершенный вами подвиг и каково было первое ваше приключение.

— Завтра вечером, сеньора, я закончу рассказ свой, хотя до конца мне еще далеко, — отвечал Периандр.

Все уговорились на том, что завтра вечером они снова соберутся послушать Периандра, а пока что Периандр на этом прервал свою повесть.

Периандр рассказывает о необыкновенном событии, которое произошло с ним в море

К зачарованному Антоньо возвратилось здоровье, к Сенотье же вернулись нечистые помыслы, а с ними страх разлуки: надобно заметить, что безнадежно влюбленные, пока их предмет находится поблизости, все еще обманчивую питают надежду, — вот почему Сенотья старалась всеми способами, какие только изобретал изворотливый ее ум, задержать гостей на острове. И для того она опять начала внушать Поликарпу, что преступление убийцы-варвара нельзя оставлять безнаказанным: пусть даже, мол, король поступит с ним и не по всей строгости закона, а все-таки нужно взять его под стражу и как следует припугнуть, а уж потом пусть его помилует суд, как это уже бывало и в случаях более трудных.

Поликарп, однако ж, не послушался Сенотьи: он сказал, что поступить так с Антоньо значит оскорбить принца Арнальда, под чьим покровительством находится Антоньо, и огорчить возлюбленную его Ауристелу, которая любит Антоньо как родного брата; тем более, — добавил король, — что преступление это случайное, непреднамеренное, что это чистое несчастье, а что злого умысла у Антоньо не было; к тому же, дескать, убитого никому и не жаль — все, знавшие его, говорят в один голос, что это ему поделом, ибо большего клеветника, чем он, еще не видывал свет.

— Как же так, государь? — возразила Сенотья. — Ведь еще вчера у нас с тобой было условлено, что ты велишь взять Антоньо под стражу и через то удержишь Ауристелу, а нынче ты уже раздумал? Все уедут, она не вернется и ты станешь оплакивать свою нерешительность и недальновидность, но тогда уже слезами горю не поможешь, и воображение твое тогда уже не удержит тебя от ложного шага, который ты теперь намереваешься сделать единственно для того, чтобы прослыть милосердным. Ошибки, совершаемые влюбленным ради исполнения своей мечты, — это не ошибки, ибо это не его мечта и не он сам допускает эти ошибки, — им руководит любовь. Ты — король, а несправедливости и жестокости, совершаемые королем, именуются обыкновенно всего-навсего строгостями. Взяв юношу под стражу, ты поступишь по справедливости; выпустив же его, ты выразишь свое милосердие: и в том и в другом случае ты докажешь, что название доброго короля дано тебе по заслугам.

Вот какие мысли внушала Поликарпу Сенотья; король же, оставшись один, долго размышлял, но так и не надумал, каким образом удержать Ауристелу, не обидев Арнальда, коего храбрости и могущества он имел все основания опасаться. Он все еще напрягал мысль, — а тем временем раздумывала и Синфороса, но только она, не отличаясь проницательностью и жестокостью Сенотьи, желала, чтобы Периандр поскорее уехал, ибо искренне верила в его возвращение, — когда наконец пришло время Периандру возобновить его рассказ, а продолжил он его следующим образом:

— Корабль мой по прихоти ветра летел как на крыльях, и никто из нас прихоти этой не противился: мы всецело положились на волю судьбы, как вдруг у нас на глазах с мачты упал матрос; однако ж, прежде чем достигнуть палубы, он повис на веревке, которая была обмотана вокруг его шеи. Я подскочил к нему и перерезал веревку, а иначе тут бы ему и смерть.

Он свалился на палубу замертво и еще около двух часов пробыл без сознания. Когда же он в конце концов опаматовался и я спросил его, отчего он впал в такое отчаяние, матрос мне ответил:

«У меня двое детей. Старшему четыре года, младшему три, а жене моей двадцать три

года. Семья моя находится в обстоятельствах крайне стесненных, ибо я единственный ее кормилец. И вот сейчас залез я на мачту, посмотрел в ту сторону, где должен быть мой дом, и померещилось мне, будто детки мои, стоя на коленях и подняв ручонки, молят за меня бога и называют меня всякими ласковыми именами. А еще мне привиделась жена моя: она обливалась слезами и повторяла, что бессердечнее меня нет никого на свете. Картина эта с необычайною ясностью представилась моему воображению; у меня было полное впечатление, что то не грезы, а явь; от мысли же, что корабль уносит меня от них все дальше и дальше, уносит в даль неведомую, а что я, в сущности, не обязан, вернее — почти не обязан был пускаться в плавание, у меня помутился рассудок, отчаяние вложило мне в руки веревку, и, чтобы разом прервать все мучения, я обмотал ее вокруг шеи».

Все, кто слушал матроса, прониклись к нему жалостью и принялись утешать его: мы его уверяли, что скоро вернемся, богатые и счастливые. Боясь, как бы он вновь не задумал чего-нибудь худого, мы приставили к нему двух человек, — их заботам мы его и поручили. А чтобы его пример не заразил других рыбаков, я обратился к ним с речью и сказал:

«Самоубийство — худший вид трусости: если человек кончает с собой, это значит, что ему изменила твердость духа, помогающая нам терпеть наши горести, а между тем что может быть горше смерти? Но раз это так, то зачем же укорачивать себе жизнь? У живого человека все еще может поправиться и измениться к лучшему, у самоубийцы же страдания не только не стихают и не кончаются, но, напротив того, возобновляются и усиливаются. Говорю я это к тому, друзья, чтобы вас не омрачил случай с вашим впавшим в отчаяние товарищем. Мы только еще пустились в плавание, а мне уже внутренний голос говорит, что грядущее сулит нам и обещает множество счастливых случаев».

Тут все рыбаки предоставили одному из них право ответить за всех, и он сказал так:

«Доблестный капитан! Сколько бы мы заранее ни обдумывали какое-либо начинание, в нем всегда потом встретятся трудности непредвиденные. Ежели человек совершает славный подвиг, то своею победою он частично обязан своей предусмотрительности, частично — удаче, а нас уже на первых порах постигла удача; заключается она в том, что мы избрали тебя своим капитаном, и она служит нам верным залогом благополучного исхода, который ты нам предсказываешь. Пусть остаются одни наши жены, пусть остаются одни наши дети, пусть плачут престарелые наши родители, пусть они терпят лишения: если господь и водяных червей питает, то о людях он тем паче позаботится. Вели же, сеньор, поднять паруса, поставить вахтенных на марсы — может статься, впереди они завидят такое, что даст нам возможность доказать, что люди смелые, а не самонадеянные, вызвались служить под твоим началом».

Поблагодарив рыбаков за доверие, я скомандовал поднять паруса. Весь тот день мы шли без всяких приключений, а на рассвете следующего дня марсовый с грот-мачты громко крикнул: «Корабль! Корабль!» Мы спросили, каким курсом он идет и какой он величины. Марсовый ответил, что корабль такой же, как наш, и идет впереди нас.

«Внимание, друзья мои! — вскричал я. — Возьмите в руки оружие и, если это корсары, покажите им свою доблесть — ту самую доблесть, которая принудила вас оставить ваши сети».

Я скомандовал взять паруса на гитовы, и меньше чем через два часа мы различили, а затем и догнали корабль, сцепились с ним вплотную, и, не встречая сопротивления, туда прыгнуло человек сорок моих моряков, однако им не пришлось обогреть свои мечи вражьей кровью, оттого что на корабле оказалось всего лишь несколько матросов и слуг. Мои рыбаки обегали весь корабль и, наконец, в одном из помещений обнаружили красивого мужчину и прехорошенькую женщину, коих шеи были просунуты на расстоянии почти двух локтей одна

от другой в железный ошейник, а в соседнем помещении — лежащего на богато убранном ложе маститого старца, столь величественного, что все невольно прониклись к нему уважением. Старец не в силах был встать с постели; он только чуть-чуть приподнялся, поднял голову и сказал:

«Сеньоры! Вложите в ножны ваши мечи! На этом корабле никто на вас не нападет. Если же необходимость заставляет вас и понуждает искать счастья за счет счастья чужого, то здесь вас точно ожидает счастье — и не потому, чтобы на этом корабле вы обнаружили ценности и сокровища, коими вы бы обогатились, но потому что на корабле нахожусь я, король данеев Леопольд».

Услыхав, что передо мной король, я загорелся желанием узнать, в силу каких обстоятельств он очутился здесь совершенно один, безо всякой охраны.

Я приблизился к нему и спросил, правда ли это; хотя, мол, о том свидетельствует величественная его осанка, однако ж отсутствие пышности, какая должна была бы его окружать, возбуждает сомнения.

«Утихомирь своих матросов, сеньор, и выслушай меня, — молвил старец, — я же тебе в немногих словах о больших расскажу событиях».

Мои товарищи умолкли и вместе со мной приготовились выслушать старца, старец же начал свой рассказ так:

«Волею провидения я король Даней^[28]; королевство это я унаследовал от моего отца, который, в свою очередь, унаследовал его от моего деда, и никто из предков моих не захватывал власть силой и не прибегал для того к подкупу. В юные мои годы я женился на ровне, однако жена моя рано умерла, не оставив мне наследника. Время шло, и в течение многих лет неуклонно соблюдал я границы добродетельного вдовства, но в конце концов по моей вине, ибо за чужие грехи никто отвечать не должен, я впал в искушение и согрешил: я влюбился в придворную даму моей жены, и ей предстояло связать себя со мной брачными узами и стать королевою, вместо того чтобы предстать перед вами связанною и скованною. Как бы то ни было, она не сочла за грех предпочесть моим сединам кудри моего слуги и слюбилась с ним, он же намеревался лишить меня не только чести, но и жизни и во исполнение коварнейших своих замыслов расставил мне такие хитроумные ловушки и западни, что если б меня вовремя не предупредили, голова моя слетела бы с плеч долой, а затем была бы насажена на кол, и ее оведал бы ветер, они же возложили бы на свою голову корону королевства данейского. Коротко говоря, мне своевременно донесли об их заговоре; тогда же кто-то уведомил и злоумышленников о том, что мне все известно. Дабы избежать возмездия и скрыться от ярого моего гнева, они ночью сели на утлое суденышко, уже стоявшее под парусами. Когда же я, прознав о том, на крыльях негодования прилетел на берег и обнаружил, что они уже около суток тому назад улетели на крыльях ветра, то, не помня себя от ярости, охваченный жаждой мести, без дальних размышлений сел на этот корабль и помчался за ними в погоню, но не на правах и с пышною овитою государя, а на правах оскорбленного частного лица.

Я обнаружил их на десятый день, на острове, именуемом Огненным островом, захватил врасплох и, сковав, повез обратно в Данею, дабы суд скорый и правый определил им меру наказания. Все это сущая правда; преступники налицо и поневоле ее свидетельствуют; я король данейский, и я обещаю вам сто тысяч золотых, но только с собой у меня денег нет; я даю слово уплатить их вам потом или послать, куда прикажете. Если же вам моего слова недостаточно, то для пущей верности переведите меня на ваш корабль, а на моем корабле — впрочем, он теперь уже не мой, а ваш, — пошлите за деньгами кого-либо из моих слуг в Данею, и он вам их доставит куда угодно. Вот все, что я хотел сказать».

Мои товарищи, переглянувшись, предоставили слово мне, хотя в этом не было никакой необходимости, ибо я по праву капитана не только мог, но и должен был ответить за всех. Но чтобы никто не мог упрекнуть меня в том, что я злоупотребляю властью, которою рыбаки облекли меня добровольно, рассудил я за благо обменяться мнениями с Карино, Солерсьо и еще кое с кем. И вот что ответил я королю:

«Государь! Мы с оружием в руках ворвались на твой корабль не в корыстных и не в честолюбивых целях — мы разыскиваем разбойников, мы хотим наказать похитителей и разгромить пиратов, ты же с подобного рода людьми ничего общего не имеешь, а потому оружие наше жизни твоей не угрожает; более того: если ты в нем нуждаешься, то мы рады тебе послужить и послужим всенепременно. Мы изъявляем тебе благодарность за тот щедрый выкуп, который ты нам предложил, однако мы освобождаем тебя от данного тобою слова, ибо ты не пленник, значит ты не обязан платить за себя выкуп. Следуй с богом своим путем, мы же вот о чем тебя просим: на радостях, что из встречи с нами ничего худого для тебя не произошло, прости обидчиков своих: величие короля иногда резче означается в милосердии, нежели в строгости».

Леопольд хотел было поклониться мне до земли, но этому помешала моя учтивость купно с его недугом.

Я попросил его дать нам, если можно, немного пороху, а кроме того, поделиться с нами продовольствием, о чем он в ту же минуту и распорядился.

Еще я ему посоветовал отпустить своих недругов, если только он их не в силах простить, на мой корабль, а я, мол, переправлю их туда, откуда они не смогут причинить ему ни малейшего зла.

Король сказал, что так и сделает, ибо присутствие обидчика способно вновь распалить гнев в сердце обиженного.

Я подал команду без промедления возвратиться на наш корабль, взяв с собой порох и продовольствие, коими наделил нас король. Только хотели мы перевести к нам мужчину и женщину, уже отпущенных на волю и свободных от тяжелого ошейника, как вдруг налетел сильный ветер и разъединил оба судна, и воссоединиться нам уже не пришлось.

С борта моего судна я, возвысив голос, простился с королем, а короля его слуги вынесли на палубу, и он простился с нами, я же сейчас прощусь на время с моею повестью, ибо, прежде чем приступить к рассказу о следующем нашем деянии, я вынужден отдохнуть.

Всем слушателям понравилось, как Периандр рассказывает о необыкновенных своих странствиях, — всем, кроме Маврикия; Маврикий же сказал на ухо своей дочери Трансиле:

— Я полагаю, Трансила, что Периандр мог бы в более коротких словах и не прибегая к таким длинным оборотам речи рассказать нам о поворотах в его судьбе. Ни к чему было так подробно описывать гребное соревнование да еще и сватать рыбаков, ибо те эпизоды, которые служат для украшения истории, не должны быть столь же велики, как сама история. Просто-напросто Периандр захотел нам показать, до чего он даровит и до чего изысканно умеет он выражаться.

— Очень может быть, — согласилась Трансила. — Но только, по-моему, как бы он ни говорил — подробно или сжато — все у него выходит складно, все возбуждает любопытство.

Однако ж ни у кого не вызывал он такого любопытства, как у Синфоросы, что, впрочем, кажется, было уже нами замечено, каждое слово Периандра с такой силой запечатлевалось в ее памяти, словно оно вылилось не из его, а из ее души.

Бессвязные мысли Поликарпа отвлекали его от повести Периандра; ему хотелось, чтобы Периандру больше не о чем было рассказывать, оттого что ему, Поликарпу, многое еще оставалось сделать; между тем надежда на близкое счастье волнует сильнее, нежели надежда смутная и отдаленная. Зато Синфоросе так хотелось дослушать конец Периандровой истории, что она настояла на том, чтобы все еще раз собрались на другой день, и на другой день Периандр возобновил прерванный рассказ в следующих выражениях:

— Взгляните, сеньоры, мысленным оком на моих моряков, на моих приятелей и воителей, стяжавших себе славу, но не злато, а теперь обратите мысленный взор на меня: я подозревал, что бескорыстие мое не пришлось рыбакам по сердцу, и хотя я не захватил в плен Леопольда, исполняя не только свою волю, но и волю всей команды, однако ж нрав не у всех людей одинаков, а потому я вполне мог опасаться, что не все мною довольны, ибо сто тысяч золотых (сумма выкупа, которую обещал уплатить за себя Леопольд) на полу, дескать, не валяются; того ради я держал к ним такую речь:

«Друзья мои! Пусть никто из вас не огорчается, что мы упустили случай получить большие деньги, предложенные нам королем. Да будет вам известно, что унция доброй славы весит больше, нежели фунт жемчуга: это вполне понимает тот, кто уже вкусил блаженство от сознания, что о нем идет молва добрая. Славен тот бедняк, коего обогащает добродетель, и наоборот: богач, погрязший в пороках, может быть и бывает обесславлен. Бескорыстие — одна из самых похвальных добродетелей, порождающих славу добрую. Все это истинная правда, ибо нет такого щедрого человека, о котором отзывались бы дурно, как нет такого скупца, о котором отзывались бы с похвалой».

Видя, что рыбаки слушают меня с удовольствием, о чем свидетельствовали веселые их лица, я собирался говорить долго, как вдруг слова замерли у меня на устах: невдалеке я различил корабль, лавировавший впереди нас.

Я скомандовал бить тревогу, корабль наш на всех парусах пустился за ним в погоню, не в долгом времени мы очутились от него на расстоянии пушечного выстрела, и тогда мы дали холостой залп, дабы он убавил парусов; нас послушались и нимало не медля убрали паруса.

Когда же мы приблизились к кораблю, предо мной открылось одно из самых страшных зрелищ, какое только можно себе вообразить: я увидел более сорока человек, повешенных на реях. Ужас объял меня. Как же скоро наш корабль подошел к тому вплотную и мои моряки, не встречая сопротивления, прыгнули туда, то обнаружили, что вся палуба залита кровью и

завалена телами: у одних были отсечены головы, у других отрублены руки; кто истекал кровью, кто издавал предсмертные хрипы; иные тихо стонали, иные кричали на крик.

Эта резня и побоище учинены были, должно полагать, во время трапезы: в крови плавали разные кушанья, тут же валялись разбитые стаканы, на палубе стоял смешанный запах вина и крови.

Перешагивая через убитых, нечаянно наступая на раненых, мои рыбаки продвигались дальше и наконец обнаружили на баке двенадцать прекраснейших жен-шин, выстроившихся в ряд; впереди стояла еще одна женщина, по-видимому, их командирша, в кирасе, отполированной и начищенной до зеркального блеска, — хоть смотришь в нее; еще на этой женщине было ожерелье, набедренника же и наручней она не носила, зато на голове у нее был шишак, представлявший собою свернувшуюся клубком змею, украшенную множеством самоцветных камней; в руках женщина держала дротик, утыканный сверху донизу золотыми гвоздиками, с длинным острым блестящим стальным наконечником; и такой у этой женщины был боевой и воинственный вид, что мои моряки сдержали свой гнев и в изумлении на нее уставились.

Я перешел со своего корабля на этот, чтобы получше ее рассмотреть, как раз в ту минуту, когда она обратилась к моим морякам с такими словами:

«По всей вероятности, этот малочисленный женский отряд вызывает у вас, моряки, не столько чувство страха, сколько чувство изумления; нас же, после того как мы отомстили обидчикам нашим, уже ничто не испугает. Если вы жаждете крови, то нападайте на нас и пролейте нашу кровь — вы можете отнять у нас жизнь, но не честь, а за спасение чести и умереть не жаль. Зовут меня Сульпицией; я племянница битуанского короля^[29] Кратила; дядя мой выдал меня замуж за достойного Лампидия, принадлежавшего к роду славному и наделенного всеми дарами природы и Фортуны. Мы с моим супругом ехали повидаться с моим дядей, королем Кратилом, и смели думать, что мы в безопасности, коль скоро нас сопровождают нами благодетельствованные вассалы и слуги. Однако женская красота и вино, от коих помрачаются умы светлейшие, заставили их позабыть о долге — чувство долга уступило в их душе место вожделению. Ночью они упились до того, что многих из них свалил сон; те же, кто устоял на ногах, дерзнули поднять руку на моего мужа и убили его — с этого они начали приводить в исполнение злодейский свой умысел. Каждому человеку, однако ж, свойственно защищать свою жизнь; того ради и мы, порешив, что если уж умирать, так умирать отмщая, приняли оборонительное положение и, воспользовавшись тем, что злоумышленники были пьяны и в действиях своих осторожности не соблюдали, вырвали у некоторых из них оружие и с помощью слуг, не предававшихся Бахусу, ударили на них, о чем свидетельствуют груды тел на палубе, а затем, дабы в полной мере утолить наше чувство мести, мы увешали мачты и реи теми самыми плодами, которые вы на них сейчас видите. Мы повесили всего сорок человек, но будь их даже сорок тысяч, их ожидала бы такая же участь, ибо они почти, а вернее, совсем не сопротивлялись, нас же гнев побуждал на эту жестокость, если только наш поступок можно назвать жестокостью. Я везу с собою много сокровищ, и я вам их подарю; впрочем, вы властны у меня их просто-напросто отобрать, но я могу только сказать, что я с радостью вам их отдам. Возьмите же их, сеньоры, чести же нашей у нас не отнимайте: она вас не обогатит, а лишь обесславит».

Речи Сульпиции до того пришлись мне по нраву, что будь я даже самый заправский корсар, и то бы, кажется, смягчился.

Тут один из рыбаков заметил:

«Убей меня бог, если доблестный наш капитан снова не выкажет свое великодушие, как в случае с королем Леопольдом, В самом деле, сеньор Периандр: отпустите с миром

Сульпицию, мы же удовольствуемся радостным сознанием, что побороли в себе низменные побуждения».

«Да будет так, — сказал я, — раз что вы, друзья, этого хотите. Прошу вас помнить, что такие поступки небо без щедрой награды не оставляет, как не оставляет оно безнаказанными поступки дурные. Приказываю вам освободить эти деревья от столь нечистых плодов и надраить палубу; что же касается этих сеньор, то не только освободите их, но и изъявите готовность быть к их услугам».

Рыбаки начали приводить мой приказ в исполнение, а Сульпиция, пораженная как громом, поклонилась мне до земли; у нее был такой вид, словно она не отдавала себе отчета, что вокруг нее происходит, и не могла вымолвить в ответ ни единого слова, — она лишь попросила одну из своих придворных дам пойти сказать, чтобы сюда принесли сундуки с деньгами и с драгоценностями.

Придворная дама исполнила ее желание, и в тот же миг, точно по волшебству, точно свалившись с неба, явились моему взору сундуки, полные денег и драгоценностей. Сульпиция открыла сундуки, и глазам рыбаков представились содержавшиеся в сундуках сокровища, коих блеск, может быть, да не может быть, а наверное, некоторых из них ослепил и заставил раскаться в своем бескорыстии, ибо одно дело — отказаться от того, на что ты мог лишь надеяться, и совсем другое дело — отказаться от того, чем ты обладаешь и что ты держишь в руках.

Сульпиция достала дивное золотое ожерелье, сверкавшее вставленными в него драгоценными камнями.

«Возьми себе на память, доблестный капитан, эту дивную вещь, — сказала она, — ее дарит тебе от души несчастная вдовица, которая еще вчера пребывала на вершине благополучия, ибо находилась под крылышком у своего супруга, а ныне отдана на милость твоих моряков, — раздай же им мои сокровища, ибо не зря говорится пословица: казна и скалу сокрушает».

«Дары столь высокой особы должно принимать как особую милость», — отвечал я и, взяв ожерелье, приблизился к моим морякам.

«Друзья мои и сподвижники! — обратился я к ним. — Эта драгоценная вещь теперь моя. Я волен располагать ею как своей собственной, но раз что этому ожерелью цены нет, то кому-нибудь одному владеть ею негоже.

Пусть кто-нибудь из вас возьмет ее и хранит, а найдя покупателя, продаст и деньги разделит между всеми, а что великодушная Сульпиция предлагает вам, того вы не трогайте, и за благородный этот поступок вы стяжаете себе вечную славу на небесах».

Тогда один из рыбаков сказал:

«Отважный капитан! Ты мог бы нам этого и не говорить: ты же знаешь, что мы твои единомышленники. Верни ожерелье Сульпиции: та слава, которую ты нам пророчишь, дороже любых ожерелий и всех земных благ».

Ответ рыбаков меня бесконечно обрадовал, Сульпиция же была потрясена их бескорыстием. Она обратилась ко мне с просьбой дать ей двенадцать воинов и моряков из числа сподвижников моих, чтобы они охраняли ее в пути и чтобы они отвели ее корабль в Битуа-нию.

Я исполнил ее просьбу, те же двенадцать, которых я для нее отобрал, были счастливы одним сознанием, что они делают доброе дело.

Сульпиция снабдила нас дорогими винами и изрядным количеством консервов, в коих мы как раз ощущали недостаток.

Ветер дул благоприятный для путешествия Сульпиции, равно как и для нашего

путешествия, не имевшего определенной цели.

Мы простились с нею; она попросила меня, Карино и Солерсьо назвать себя, каждому из нас троих протянула для поцелуя руку, а затем полными слез глазами обвела других рыбаков, и то были слезы радости и слезы скорби: скорби, оттого что ее супруг убит, радости, оттого что те, кого она приняла вначале за разбойников, отпустили ее с миром, и тут мы с нею расстались и разлучились.

Я забыл вам сказать, что я возвратил Сульпиции ожерелье, и она в конце концов уступила моей настойчивости и взяла его обратно, однако ж сперва это показалось ей даже слегка обидным: она подумала, что ожерелье мне не понравилось и оттого, мол, я его возвращаю.

Посоветовавшись с рыбаками, какой нам взять курс, мы порешили отдаться на волю ветра, оттого что все корабли, находившиеся тогда в море, могли идти только в одном направлении, или же, если ветер для них был неблагоприятен, они ложились в дрейф до тех пор, пока ветер не становился благоприятным.

Между тем настала ночь, ясная и тихая, и я, подозвав рыбака, который у нас на корабле исполнял обязанности и штурмана и лоцмана, расположился вместе с ним на баке и внимательным взором окинул небесный свод.

— Бьюсь об заклад, — шепнул тут Маврикий дочери своей Трансиле, — что Периандр примется сейчас описывать всю небесную сферу, как будто течение светил имеет прямое отношение к его рассказу! По правде говоря, я не чаю, как дожждаться той минуты, когда он кончит, ибо в чаянии и ожидании скорого отъезда я не желаю долее здесь задерживаться единственно ради того, чтобы узнать, какие звезды суть звезды неподвижные, а какие суть блуждающие, тем более, что все это я знаю лучше его.

А пока Маврикий и Трансила перешептывались, Периандр собрался с духом и возобновил свой рассказ.

— Моими товарищами стали мало-помалу овладевать сон и безмолвие, я же принялся расспрашивать лоцмана о многих необходимых вещах, к науке мореплавания относящихся, как вдруг на корабль обрушился не дождь, а настоящий ливень: казалось, будто ветер взметнул ввысь все морские волны и с вышины низвергнул их на нас.

Охваченные тревогою, моряки вскочили и оглянулись по сторонам — небо, однако ж, было ясное, бури не предвещавшее, и это поразило нас и устало.

Лоцман же мне сказал:

«Верно, это вот что за дождь: то огромные рыбы, так называемые *кораблекрушительницы*, выливают воду из отверстий, которые у них под глазами. Ежели я прав, то наше дело плохо. Нужно выпалить из всех пушек и напугать их».

Но тут на моих глазах поднялась и просунулась на корабль какая-то страшная змея, схватила одного из моряков, забрала его всего в пасть и, не разжевывая, проглотила.

«То кораблекрушительницы, — подтвердил лоцман. — Стрелять в них можно боевыми зарядами, а можно и холостыми. Бить их бесполезно — я вам уже говорил: их отгонит грохот».

Моряки растерялись, съежились, не смели встать во весь рост из боязни, как бы эти страшилища на них не бросились. Храбрецы все же нашлись: одни палили из пушек, другие кричали истошными голосами, третьи сильной струей из насоса отражали водяной смерч, низвергавшийся на корабль. Словно от мощной вражеской армады, мы на всех парусах уходили от этой опасности — самой грозной из тех, что до сих пор возникали пред нами.

На исходе следующего дня мы увидели остров, никому из нас не знакомый, и порешили к нему пристать и всем заночевать на корабле с тем, чтобы утром пополнить запас пресной воды.

Мы убрали паруса и, бросив якоря, расположились на отдых и ко сну; сон же, тихий и мягкий, скоро овладел усталыми нашими членами.

Пробудившись, мы все сошли на приветный берег, коего дивный песок составляли, казалось, бисеринки и крупички золота.

Мы проникли в глубь острова, и тут глазам нашим явился травянистый луг, не просто зеленый, а изумрудно-зеленый, в зелени коего текли не просто прозрачные воды, но потоки расплавленного алмаза: вися по всему лугу, они напоминали хрустальных змеек.

Затем мы приблизились к купам деревьев различных пород, и деревья те были до того красивы, что при одном взгляде на них мы возрадовались духом и возвеселились душой. С ветвей иных деревьев свешивались не то гроздьи рубинов, похожих на вишни, не то гроздьи вишен, похожих на рубины; иные были усыпаны яблоками, коих одна половинка напоминала розу, а другая — драгоценный топаз; шаг шагнешь — смотришь: вон на том дереве висят пахнущие амброю груши цвета закатного неба. Словом сказать, все известные нам плоды здесь уже в ту пору созрели, не считаясь со временем года, ибо здесь была вечная весна, вечное лето, вечное бабье лето, но только без его обычной грусти, вечная осень, но только отрадная и благодатная.

То, что мы видели пред собою, ласкало все наши пять чувств: глаз радовался разлитой кругом прелести и красоте; слух пленялся журчаньем родников и ключей, увеселялся безыскусственным пеньем множества птичек, без усталости порхавших с дерева на дерево, с ветки на ветку, но не отлетавших прочь: казалось, что они здесь в плену, что на волю им не упорхнуть и что они к ней и не стремятся; обонянье наше услаждалось благоуханьем трав и

цветов; вкус восхищали плоды; наконец, осязание наше тешилось прикосновением к нежнейшим этим плодам: мы словно держали в руках жемчужины Юга, алмазы Индии, золото Червонии.

— Жаль, что Клодьо убили, — сказал Ладислав тестю своему Маврикию. — Он бы показал Периандру, как нужно описывать природу.

— Полно! — сказала мужу своему Трансила. — Что ты там ни говори, Периандр изрядный рассказчик.

А между тем, как уже было нами замечено, если Периандр видел, что слушатели начинают переговариваться, то непременно делал передышку, ибо длинная повесть, даже если она сама по себе и хороша, вместо того чтобы доставлять удовольствие слушателям, надоедает им.

— Все, что я вам сейчас рассказал, — это еще не диво, — после перерыва продолжал Периандр, — а вот то, что мне еще осталось досказать, трудно обнять умом, трудно этому поверить, как бы ни были расположены к рассказчику слушатели. Напрягите же, сеньоры, ваше воображение и представьте себе, что вы слышите, как то явственно слышали мы, что из расселины скалы исходят нежащие слух звуки музыки, которым мы как зачарованные внимали. Вслед за тем из расселины выехала повозка; не сумею вам сказать, из чего она была сделана, видом же своим она напоминала потерпевший крушение, потрепанный бурей корабль. Влекли повозку двенадцать громадных обезьяноподобных сладострастных животных. В повозке находилась прекрасная дама в богатом разноцветном уборе, в венке из амариллисов и печальных олеандров. Опиралась она на черный посох, к коему было прикреплено нечто вроде дощечки или же щита, на котором было написано: *Чувственность*. За ней показались прелестные девушки с музыкальными инструментами в руках; они извлекали из них то веселые, то печальные, но одинаково сладкие звуки.

Мы с моими товарищами оцепенели; мы превратились в безгласные изваяния.

Ко мне приблизилась сама Чувственность и голосом сердитым и вместе ласковым заговорила:

«За то, что ты меня не жалуешь, благородный юноша, ты простишься если не с жизнью, то во всяком случае с земною радостью».

И, сказавши это, она проследовала дальше, а девушки-музыкантши отбили у меня, если можно так выразиться, человек семь или восемь моряков, увели их с собой и следом за своею госпожой скрылись в расселине.

Я было хотел обменяться впечатлениями с моими спутниками, но этому помешало коснувшееся нашего слуха пение, однако ж голоса то были не такие, как у только что мимо нас прошедших: то были голоса более тихие и нежные, — это пели прелестные девушки, а что то были именно девушки — о том можно было судить по их манере держаться, а главное — по их предводительнице, ибо впереди шествовала сестра моя Ауристела, и когда бы я не был так взволнован в тот миг, я бы не удержался от похвалы ее неземной красоте. Чего бы я тогда не дал за такую счастливую встречу! Я бы и жизни своей не пожалел, если б только лишиться жизни не значило бы вновь утратить столь неожиданно обретенное счастье.

Одна из двух девушек, шедших справа и слева от моей сестры, обратилась ко мне с такими словами:

«Ты видишь пред собой скромность и стыдливость, двух подружек и товарок Непорочности, которая ныне пожелала принять обличье твоей любимой сестры Ауристелы, и мы не оставим ее до тех пор, пока не окончится благополучно многотрудное ее паломничество в Вечный город — Рим».

Тут я, столь приятною вестью обрадованный, столь дивным зрелищем очарованный,

величием и сказочною необычностью всего этого странного и невиданного приключения восхищенный, возвысил было голос, дабы выразить словами то блаженство, которое я ощущал в душе, и воскликнуть: «О единственные утешительницы души моей! О драгоценные сокровища, которые я обрел на свое счастье! Мир и радость да пребудут с вами во всякое время!» — но в это самое мгновение под влиянием охватившего меня сильного чувства я пробудился, чудное видение исчезло, и я снова очутился на корабле, спутники же мои все до одного оказались налицо.

— Так то был сон, сеньор Периандр? — спросила Констанса.

— Сон, — отвечал Периандр, — счастье мне видится только во сне.

— А я уж хотела спросить сеньору Ауристелу, где же она все это время была, — заметила Констанса.

— Мой брат так правдоподобно рассказал свой сон, что я невольно подумала: а может, это и правда? — молвила Ауристела.

— Такова сила воображения, — пояснил Маврикий. — Врезаясь в него с силою необычайною, впечатления удерживаются и остаются в памяти, и вымысел мы склонны принимать за истину.

Арнальд не произнес ни слова; он все время молча наблюдал за выражением лица Периандра и за теми движениями, коими он сопровождал свою речь, однако ж ничто не подтверждало и ничто не рассеивало сомнений, которые заронил ему в душу покойный Клодьо: для него продолжало оставаться загадкой, точно ли Периандр и Ауристела брат и сестра.

Обратился же он к Периандру с такими словами:

— Рассказывай дальше, Периандр, но только не описывай нам своих сновидений: страждущему человеку постоянно снятся долгие и бессвязные сны. К тому же несравненная Синфороса ждет не дождется, когда же ты наконец объявишь, откуда ты прибыл впервые на этот остров в тот день, что ознаменовался для тебя победой в состязаниях, которые устраиваются в годовщину избрания ее отца королем.

— Мне снился сон столь отрадный, — снова заговорил Периандр, — что я позабыл одно правило, а именно: всякая повесть долженствует быть сжатой и не растянутой, отступления же в ней ни к чему не служат.

Поликарп, и взорами и мыслями прикованный к Ауристеле, хранил молчание и почти, или, вернее, совсем, не слушал Периандра, а Периандр, поняв, что длинная его повесть некоторых слушателей утомила, дал себе слово сократить ее и в дальнейшем избегать многословия. Так вот что рассказал он дальше:

Периандр продолжает рассказывать свою историю

— Итак, я пробудился и, посоветовавшись с товарищами, какой нам курс взять, принял решение идти по воле ветра: ведь мы гнались за корсарами, а корсары никогда не ходят против ветра, значит, рассудили мы, так у нас больше вероятия их обнаружить. Простодушие же мое дошло до того, что я спросил Карино и Солерсьо, не видали ли и они во сне своих жен и сестру мою Ауристелу. Мой вопрос насмешил их, и они пристали ко мне и потребовали, чтобы я рассказал им свой сон.

В течение двух месяцев, что мы пробыли в море, ничего существенного с нами не произошло, не считая того, что мы очистили море более чем от шестидесяти корсарских кораблей, а как суда эти были именно корсарские, то мы все ими награбленное нагрузили на наш корабль и таким образом набили его уймой всевозможных пожитков, чему товарищи мои были весьма рады, и при этом они не считали, что превратились из моряков в пиратов: ведь они воровали только у воров и грабили только награбленное.

Но вот как-то ночью на нас налетел сильный ветер, да так неожиданно, что мы не успели убрать паруса, даже не успели убавить их, и ветер надул их и потом все время нас подгонял, так что мы принуждены были месяц с лишним идти одним и тем же курсом; лоцман же мой, приняв в расчет высоту полюса в том месте, где на нас налетел ветер, и подсчитав, сколько миль проходим мы в час и сколько дней мы идем, пришел к заключению, что прошли мы всего около четырехсот миль. Затем лоцман, еще раз измерив высоту полюса, обнаружил, что мы находимся под Полярной Звездой, близ Норвегии, и голосом громким и крайне унылым возгласил:

«Горе нам! Если только ветер не даст нам возможности повернуть и пойти другим путем, то на этом пути прервется наш жизненный путь: ведь мы находимся в ледовитом, то есть в замерзающем, море, и нас здесь может затереть льдами».

При этих словах мы почувствовали, что корабль бортами и килем ударяется о подвижные скалы: это означало, что море уже начинает замерзать, и ледяные горы, выраставшие из воды, затрудняли ход корабля. Мы поспешили убрать паруса, чтобы корабль не наскочил на льдину и не получил пробоину, а затем на протяжении суток лед сковывал море и наконец сковал, да так прочно, что мы оказались сдавленными и зажатыми льдом, и наш корабль напоминал теперь драгоценный камень, вделанный в кольцо. В то же время мы почувствовали, что все наши члены коченеют, сердца преисполняются отчаяния, а в душе шевелится страх при одной мысли о грозящей нам близкой опасности. Мы отдавали себе ясный отчет, что нам осталось жить на свете ровно столько дней, на сколько нам достанет продовольствия, — вот почему мы навели в распределении продовольствия строжайший порядок и стали выдавать его так скупно, в таком ничтожном количестве, что очень скоро нас всех начал мучить голод.

Сколько ни оглядывались мы по сторонам, ничего утешительного взору нашему не открылось, за исключением, впрочем, какой-то черной громады, которая находилась примерно в шести — восьми милях от нас. Однако ж мы скоро догадались, что это корабль, товарищ наш по несчастью, попавший в ледовый плен.

Надвинувшаяся на нас опасность показалась мне хуже и грознее тех бесчисленных смертельных опасностей, какие надо мной до сих пор нависали, ибо неодолимый страх и длительный ужас терзают душу сильнее, нежели кончина внезапная: в скорой смерти находят

успокоение все страхи и ужасы, которые она же с собою и несет, хотя они неумолимы, как сама смерть. И вот та смерть, которая грозила нам, — медленная голодная смерть, — толкнула нас если и не на отчаянный, то во всяком случае на безрассудный шаг, а именно: приняв в соображение, что когда съестные припасы подойдут к концу, то мы умрем мучительнейшею из всех смертей, какие только может представить себе человеческое воображение, мы рассудили за благо сойти с нашего корабля и двинуться по льду к другому: а вдруг мы сумеем — не добром, так силою — чем-нибудь там поживиться?

Замысел свой мы не замедлили привести в исполнение, и немного спустя воды ледовитого моря почувствовали, как по ним, словно посуху, шагает небольшой отряд смельчаков, впереди коего, скользя, падая и вновь поднимаясь, шел я; когда же мы приблизились к кораблю, то оказалось, что он такой же величины, как наш. На палубу высыпали моряки; они пытливо вглядывались в нас, стараясь угадать цель нашего прихода; наконец один из них крикнул:

«Что вам здесь надобно, отчаянный вы народ? Зачем вы сюда пришли? Вы хотите ускорить нашу гибель или же умереть вместе с нами? Возвращайтесь на свой корабль. Если же у вас кончилось продовольствие, грызите такелаж, пихайте себе в рот просмоленные щепки, а на нас не надейтесь: прежде должно позаботиться о себе, а потом уже о других. Говорят, что сквозь лед нельзя будет пробиться еще два месяца; пропитания же нам хватит на две недели — посудите, разумно ли делить его с вами».

Я же ему на это ответил так:

«В минуты тяжких испытаний разум человеческий идет напролом. Ничего заветного для него уже не существует, никаких запретов для него нет. Пустите нас к себе на корабль по доброй воле — мы присоединим к вашим запасам свои и станем делить их по-братски, а не то нужда заставит нас взяться за оружие и применить силу».

Я ему так ответил, полагая, что он нарочно преуменьшил количество оставшегося у них продовольствия, на корабле же, приняв в рассуждение численное свое превосходство, а равно и выгодность своей позиции, не испугались наших угроз и не вняли нашим мольбам; этого мало: команда взялась за оружие и приняла оборонительное положение. Тогда мои сподвижники с решимостью отчаяния, превратившей сих удалцов в сверхудальцов, почувствовавших прилив отваги и мужества, ринулись к кораблю и, ворвавшись на палубу, без всяких потерь, если не считать полученных кое-кем легких ранений, овладели судном. Тут кто-то из моих моряков предложил перебить всех наших недругов поголовно: так, мол, у нас будет больше боевых припасов и меньше голодных ртов. Я же против этого восстал, и, как видно, небо меня одобрило, ибо оно оказало мне помощь в моем противоборстве, ко об этом я расскажу потом, а пока да будет вам известно, что корабль этот принадлежал корсарам, тем самым корсарам, которые похитили мою сестру и двух повенчанных рыбаков.

Удостоверившись в том, я громко воскликнул: «Разбойники! Вы из нашего тела вынули душу, вы отняли у нас жизнь. Что вы сделали с моею сестрою Ауристелой, с Сельвьяной и Леонсией, в ком полагали все свое счастье добрые мои друзья Карино и Солерсьо?»

На это мне один из корсаров ответил так:

«Рыбачек, про которых ты толкуешь, наш ныне покойный капитан продал датскому принцу Арнальду».

— То правда, — подтвердил Арнальд. — Я купил у пиратов Ауристелу, ее кормилицу Клелию и еще двух прелестных девушек по цене, не соответствовавшей великим их достоинствам.

— Господи боже! — воскликнул тут Рутилио. — Каким извилистым, каким кружным путем движется необыкновенная твоя история, Периандр!

— Не томи ты нас, столь же правдивый, сколь и приятный рассказчик, говори скорее, что же дальше? — взмолилась Синфороса. — Ведь мы так за тебя волнуемся!

— Ну что ж, постараюсь быть кратким, — отвечал Периандр, — если только большие события можно изложить в немногих словах.

Затянувшаяся история Периандра была страх как не по душе Поликарпу: он хоть и в одно ухо впускал, в другое выпускал то, что говорил Периандр, а все же рассказ Периандра мешал ему сосредоточиться и обдумать, как бы устроить так, чтобы Ауристела осталась здесь, на острове, и в то же время не повредить себе во мнении народа, который знал своего короля за человека великодушного и справедливого. Поликарп мысленно взвешивал степень знатности своих гостей: его явно затмевал принц датский Арнальд, которого никто не избирал в принцы, но который являлся таковым по праву престолонаследия; в том, как держал себя Периандр, в его осанке, в изяществе его манер угадывался человек не простой; наружность Ауристелы также указывала на благородство ее происхождения. Поликарпу хотелось достигнуть венца своих мечтаний легко и просто, не прибегая ни к каким уловкам и хитростям, отгородившись от всяких толков и пересудов завесою брачного союза, ибо хотя почтенный его возраст мешал ему вступить в брак, а все же вступление в брак могло служить ему некоторым оправданием: ведь в любом возрасте лучше жениться, нежели страстью томиться. Его мучили и подстрекали те самые вожделения, какие подстрекали и терзали злокозненную Сенотью, и между ними двумя был такой уговор, что Поликарп осуществит свое намерение, прежде чем все еще раз соберутся послушать Периандра, осуществит же он его следующим образом: на третью ночь в городе начнут бить фальшивую тревогу; дворец будет подожжен с трех, а то и со всех четырех сторон; его обитателям поневоле придется искать укрытия; неизбежно подымутся суматоха и переполох, и вот во время этой кутерьмы люди, заранее подученные, похитят юношу Антоньо и прекрасную Ауристелу; дочери же своей Поликарпе король наказал, чтобы она из добрых чувств вовремя предупредила Арнальда и Периандра о грозящей опасности, ни слова, впрочем, не говоря им о готовящемся похищении — ей вменялось в обязанность лишь указать им путь к спасению, а именно: пусть, мол, они бегут к морю, а на море их будет ждать трехмачтовое судно.

Наконец настала роковая ночь, ровно в три часа забили тревогу, и тревога эта взбудоражила и переполошила весь город. Вспыхнул пожар, к коему присоединился пожар, бушевавший в груди у короля. К Арнальду и Периандру прибежала нимало не взволнованная — напротив, совершенно спокойная Поликарпа, дабы исполнить волю своего влюбленного и коварного отца, коего все мысли были направлены к тому, чтобы оставить здесь Ауристелу и юношу Антоньо, но так, чтобы не оставить порочащих его улик. Выслушав Поликарпу, Арнальд и Периандр нимало не медля позвали Ауристелу, Маврикия, Трансилу, Ладислава, Антоньо-отца, Антоньо-сына, Риклу, Констансу и Рутилио, а затем, поблагодарив Поликарпу за предуведомление и пустив мужчин вперед, они всей гурьбой вышли из дворца, и открылся им свободный путь к морю и к беспрепятственной погрузке на трехмачтовое судно, коего лоцман и матросы были предуведомлены и подкуплены Поликарпом, от которого они получили наказ: едва лишь некие люди — по виду беглецы — взойдут на их корабль, они, не теряя ни минуты, выходят в открытое море и не останавливаются до самой Англии или же до какого-либо другого еще более отдаленного пункта.

Среди нестройного говора, среди криков: «Пожар! Пожар!», среди вспышек огня, который словно знал, что ему дана воля свирепствовать самым владельцем дворца, крадучись бродил Поликарп и высматривал, удалось ли похищение Ауристелы, меж тем как на похищение Антоньо возлагала все свои надежды колдунья Сенотья. Когда же король удостоверился, что все до одного человека благополучно погрузились на корабль, о чем ему доложили и о чем ему все время твердил внутренний голос, то поспешил отдать приказ,

чтобы со всех бастионов и со всех кораблей, стоявших на рейде, артиллерия была по отошедшему судну, на котором находились беглецы, и тут к шуму пожара примешался грохот пальбы, а горожан, недоумевавших, кто это на них напал и что же это такое творится, объял ужас.

В это время влюбленная Синфороса, не подозревавшая о злоумышлении своего отца, понадеявшись на то, что ее спасут ноги, и черпая бодрость духа в неведении, неуверенною и робкою стопою поднялась на высокую дворцовую башню: ей казалось, что здесь огонь не достанет ее, тогда как самый дворец пожирало пламя. На той же самой башне очутилась и Поликарпа; она рассказала ей о бегстве гостей с такими подробностями, как будто это все происходило у нее на глазах, и от таковых вестей Синфоросе сделалось дурно, а Поликарпа пожалела, что все это ей сообщила.

Между тем на небе разгорелась радостная заря, возбуждая в людях надежду при ее свете открыть причину, а может статься, совокупность причин ужасного бедствия, в душе же у Поликарпа ночь лютейшей тоски стала еще темнее. Сенотья кусала себе локти и проклинала неверное свое искусство и предсказания окаянных своих наставников. Синфороса все не приходила в себя, а сестра плакала над ней и всеми силами старалась привести ее в чувство. Наконец Синфороса опомнилась; устремив взгляд на взморье и разглядев бегущий по волнам корабль, уносивший от нее часть ее души, и притом лучшую часть, она, подобно обманутой Дидоне, оплакивавшей беглеца Энея^[30], воссылая вздохи к небу, роняя слезы на землю, стенаниями оглашая воздух, заговорила:

— О прекрасный гость! Ты на мое несчастье приплыл к этим берегам, хотя ты и не обманул меня, ибо я не имела счастья услышать из твоих уст любовные речи, коими ты улещал бы меня! Убери паруса или хотя бы убавь их, чтобы я подольше могла провожать глазами корабль твой: мне приятно смотреть на него, оттого что на нем находишься ты. Знай, повелитель мой: ты бежишь от той, кто мысленно следует за тобою, ты удаляешься от той, кто стремится к тебе, ты пренебрегаешь тою, кто тебя обожает. Я, королевская дочь, почла бы за счастье быть твоею рабою. Если моя краса тебя не прельщает, тебя вознаградит пыл моей страсти. Пусть тебя не пугает, что весь город в огне: воротись — и тогда пламя пожара превратится в потешные огни на торжестве в честь твоего возвращения. Мои сокровища, торопкий беглец, хранятся в таком месте, где огонь их не достанет, сколько бы он к ним ни подбирался, ибо силы небесные хранят их для тебя.

Тут она обратилась к сестре своей.

— Тебе не кажется, сестра, что он убавил парусов? — спросила она. — Тебе не кажется, что корабль замедлил ход? Боже мой! Если бы Периандр одумался! Боже мой! Если б канат моей воли удержал его корабль!

— Не обольщайся, сестра! — молвила Поликарпа. — Желания и обольщения часто бывают связаны меж собой неразрывно. Корабль уходит вдаль, и канату воли твоей, как ты выражаешься, его не удержать, — напротив того: дуновение непрестанных твоих вздыханий его подгоняет.

Тут к ним присоединился их отец король Поликарп и, так же как и его дочь, с высокой башни стал следить глазами за кораблем, уносившим даже не часть его души, но всю его душу, незримо от него отлетавшую.

Его пособники, которые подожгли дворец, теперь усердно тушили пожар. Горожане узнали о причине ночной тревоги, о злостных намерениях короля Поликарпа, о происках и о подстрекательстве колдуньи Сенотьи и в тот же день свергли короля с престола, а Сенотью вздернули на рее. С Поликарпой же и Синфоросой они обошлись сообразно их высокому достоинству, и в награду за их добродетели судьба послала им долю счастливую, хотя все же

Синфороса не достигла предела своих желаний, ибо судьба Периандра готовила ему долю наисчастливейшую.

Моряки, видя, что всем удалось спастись, горячо благодарили бога за благополучный исход событий. От них наши путешественники узнали об истинных намерениях коварного Поликарпа; впрочем, они не нашли их столь уж коварными — они усмотрели им оправдание в том, что их породила любовь, а это могло бы послужить оправданием и для более тяжких преступлений; ведь когда душою овладевает любовная страсть, то никакие убеждения и никакие доводы на нее уже не действуют.

Светало, и хотя ветер дул сильный, море было спокойно. Конечною своею целью путешественники избрали Англию, а там уже каждый волен был собою распорядиться по своему благоусмотрению. Корабль так легко скользил по волнам, что ни у кого не возникало никаких опасений, никто не испытывал страха перед грядущей напастью.

Три дня кряду длилось спокойствие на море, три дня дул попутный ветер, к исходу же четвертого дня ветер разбушевался, море расходилось, и моряки решили, что надвигается страшная буря, ибо коловратность жизни нашей и непостоянство водной стихии — это как бы символ того, что ничего прочного и устойчивого в мире не существует. Однако ж по счастливой случайности, как раз когда моряки пребывали в замешательстве, невдалеке показался остров, и моряки сейчас его узнали и объявили, что это так называемый Отшельничий остров, при виде коего они мгновенно воспряли духом: им было известно, что там есть целых две бухты, где не то, что один, а хоть и двадцать кораблей укроются от всех на свете ветров; коротко говоря, то были надежнейшие, по их мнению, гавани. Еще моряки сообщили, что в одной из пещер живет отшельником некий знатный француз по имени Ренат, а в другой пещере живет отшельницею французская сеньора по имени Эусебия и что их история принадлежит к числу необычайнейших.

Желание узнать эту историю и укрыться на случай возможной бури побудило путешественников пристать к острову. Моряки так ловко направили корабль, что он вошел прямо в бухту и благополучно стал на якорь. Ар-нальд же, узнав, что на всем острове нет ни одной живой души за исключением помянутых отшельника и отшельницы, вознамерился дать Ауристеле и Трансиле отдохнуть от морского путешествия и с согласия Маврикия, Ладислава, Рутилио и Периандра приказал спустить на воду шлюпку, дабы все могли провести ночь спокойно, на твердой земле, не испытывая качки. Но хотя он и отдал такое приказание, Антоньо-отец объявил, что ему, его сыну, Ладиславу и Рутилио лучше остаться на корабле: на неопытных моряков полагаться-де рискованно. Остались же на корабле Антоньо-отец, Антоньо-сын и, разумеется, все моряки, ибо для моряка нет более твердой почвы, чем просмоленные доски корабельной палубы, а запах рыбы и смолы для них слаще запаха роз и амарантов. Те, что приплыли к берегу, укрылись от ветра у подошвы скалы; от холода же их спасал жаркий костер, который они в одну минуту сложили из хвороста. А как они к подобного рода неудобствам приобыкли, то и эту ночь провели без горя, и помог им скоротать ее Периандр: Трансила обратилась к нему с просьбою досказать его историю; он было стал отнекиваться, но к Трансиле присоединились Арнальд, Ладислав и Маврикий; окончательно же сломила его упорство Ауристела, да и место и время показались ему подходящими, и он продолжал свой рассказ в таких выражениях:

— Справедливо молвят люди, что нет ничего приятнее, нежели в тишине повествовать о буре, нежели в мирное время повествовать об ужасах прошлой войны, нежели, находясь в добром здравии, повествовать о перенесенной болезни; так вот и я в отдохновительные эти часы с приятностью повествую о былых моих горестях; правда, я не могу сказать, что у меня никаких огорчений больше нет, и все же я осмеливаюсь утверждать, что в сравнении с сонмом испытанных мною великих огорчений ныне я услаждаюсь спокойствием; да ведь это уж так устроен мир: начнет человеку везти — и уж тут одна удача словно подзывает к себе другую, и они к нему идут и идут без конца, и так же точно напасти. Ну, а на мою долю выпало столько мытарств, что, по моему разумению, они уже перешли пределы злополучия, и теперь пора им идти на убыль: ведь если за вершиной бедствий не стоит смерть, представляющая собою верх всяческого злополучия, значит жди перемен, но то уже будет переход не от плохого к плохому, но от плохого к хорошему и от хорошего к лучшему. И то блаженство, которое я сейчас испытываю оттого, что сестра моя, истинная и настоящая причина всех горестей и радостей моих, со мной, — это блаженство служит мне залогом и ручательством, что впоследствии я достигну венца моих мечтаний.

Так вот, с радостным этим сознанием я возвращаюсь к моему рассказу: на захваченном нами корабле я узнал у побежденных, что они продали мою сестру, двух только что повенчанных рыбацек и кормилицу Клелию тому самому принцу Арнальду, который теперь находится среди нас.

В то время как мои сподвижники были заняты обследованием и подсчетом съестных припасов, остававшихся на затертом льдами корабле, нежданно-негаданно со стороны суши появилось несколько тысяч вооруженных людей. При виде сего полчища мы сами словно заledenели, точно раскинувшееся вокруг нас море. Мы тотчас взяли за оружие — не столько для того, чтобы обороняться, сколько для того, чтобы показать, что мы воинов сих не боимся. Шли они, сами себя ударяя правой ногой по левой пятке; от этого толчка они долго катились на одной ноге по льду, затем опять сами себе наподдавали ногой и опять значительное расстояние катились по льду; таким образом они весьма скоро приблизились к нам и окружили нас, и тогда один из них — как я узнал потом, их предводитель — с белой повязкой на рукаве в знак того, что они явились сюда с мирными целями, подошел на такое расстояние, откуда нам было хорошо его слышно, и внятно произнес на языке польском:

«Король Битуании и сих морей властелин Кратил имеет обыкновение посылать вооруженные дозоры и спасать затертые льдами корабли, во всяком случае спасать людей и товары, товары же он в уплату за оказанное благодеяние забирает себе. Буде вы пожелаете принять» его условия и оружие не обнажите, то король дарует вам жизнь и свободу и в плен вас не возьмет. Даю вам время обдумать. Если же вам эти условия не подходят, то вы испытаете на себе силу победоносного нашего оружия».

Немногословная эта речь и решительный ее тон пришлись мне по нраву. Я попросил этого человека предоставить мне возможность посоветоваться с моими людьми, и рыбаки уполномочили меня объявить ему, что верх злополучия — это смерть, что нет горшего бедствия, чем проститься с жизнью, что за жизнь должно бороться всеми возможными средствами, за исключением средств постыдных, и коль скоро в предложенных нам условиях ничего зазорного нет, — а между тем защитить себя мы вряд ли сумеем, погибнем же наверняка, — то наилучший исход для нас — сдаться и покориться судьбе, которая ныне преследует нас, может стать, лишь для того, чтобы впоследствии нам улыбнуться.

Все это я передал военачальнику почти в тех же самых выражениях, и вслед за тем его солдаты с видом скорее воинственным, нежели миролюбивым, ворвались на корабль, весь его мигом обчистили и все до последнего орудия и до последней снасти сложили в воловьши шкуры, заранее расстеленные ими на льду, а шкуры крепко-накрепко перевязали веревками, за которые они могли тащить эти узлы, будучи уверены, что ни одна вещь не вывалится. Разграбили они и наш корабль, а затем, положив на шкуры и нас, с радостными криками потащили нас и поволокли по направлению к берегу, а от корабля до берега было примерно миль двадцать. Полагаю, что со стороны это должно было показаться зрелищем прелюбопытным: по водам, точно посуху, движется тьма народу, а между тем сверхъестественного тут ничего не было.

Коротко говоря, в ту же ночь мы достигли берега, и на берегу мы пробыли до самого утра, утром же мы увидели, что весь берег усыпан народом, явившимся посмотреть на замерзших и заочевенных пленников. Прибыл сюда на красавце коне и король Кратил, коего мы сейчас отличили по знакам королевского достоинства. Вместе с ним сюда явилась, также верхом на коне, женщина отменной красоты, вооруженная холодным оружием, сверкавшим даже сквозь черный покров.

Внимание мое невольно остановили на себе как привлекательные черты женщины, так и сановитость короля Кратила. Приглядевшись же, я узнал в этой женщине прелестную Сульпицию, которой благодаря любезности моих товарищей недавно была возвращена свобода.

Король изъявил желание поближе посмотреть на сдавшихся в плен, — тогда военачальник подвел меня к нему за руку и сказал:

«В лице этого юноши, доблестный король Кратил, тебе наидрагоценнейшая досталась добыча, какая когда-либо в обличье существа человеческого являлась твоим глазам».

«Праведное небо! — прыгнув с коня, воскликнула тут прелестная Сульпиция. — Или я лишилась зрения, или это освободитель мой Периандр».

И, сказавши это, она в тот же миг обвила мне шею руками, каковое необычное проявление нежности принудило Кратила также слезть с коня и выказать такую же точно радость по случаю моего прибытия.

До сих пор у моих рыбаков надежда на благополучный исход была слаба, однако, видя, с каким восторгом меня здесь встречают, они приободрились: в очах у них засветилась радость, из уст же излетела хвала вседержителю за нечаянное благодеяние, каковое они, впрочем, признали не за обычное благодеяние, но за особую и явную милость.

Сульпиция сказала Кратилу:

«Этот юноша — олицетворение наивысшей учтивости и воплощение бескорыстия, и хотя мне привелось удостовериться в том на опыте, я хочу, чтобы ты со свойственной тебе пронизательностью по одной его привлекательной наружности (тут, разумеется, сказались ее чувство благодарности ко мне и ее пристрастие) понял, что я ничуть не преувеличиваю. Это тот, кто даровал мне свободу после того, как был умерщвлен мой супруг; это тот, кто хотя и оценил мои сокровища по достоинству, однако же их отверг; это тот, кто, приняв было мои дары, возвратил мне их с лихвою, то есть с готовностью осыпать меня дарами еще более щедрыми; наконец, это тот, кто, отобрав из числа своих моряков двенадцать добровольцев, вернее сказать — внушив им, что такова их добрая воля, придал их мне для охраны, а иначе я бы тут сейчас с тобой не стояла».

Я чувствовал, что сгораю со стыда, слушая эти, может статься, неискренние или, во всяком случае, чрезмерные похвалы; в конце концов я не выдержал и, опустившись перед Кратилом на колени, стал ловить его руки, и он мне их протянул, но только не для поцелуя, а

единственно для того, чтобы поднять меня с земли.

Тем временем двенадцать рыбаков, охранявших в дороге Сульпицию, разыскивали своих товарищей и в приливе радости и счастья бросились их обнимать, а затем все они принялись рассказывать друг другу о своих удачах и незадачах; при этом новоприбывшие сгущали краски при описании того, как они мерзли, а двенадцать рыбаков, прибывшие сюда ранее, похвалялись теми подарками, которые они здесь получили. «Мне Сульпиция подарила золотую цепь», — говорил один. «А мне вот эту вещицу — она стоит двух таких цепей», — говорил другой. «А мне — вон сколько денег!» — хвастался третий. «А мне вот это кольцо с бриллиантами — оно одно стоит дороже всего, что надарили вам», — твердил четвертый.

Эти разговоры поглотил сильный шум, который поднялся в народе, оттого что двое сильных королевских слуг никак не могли справиться с могучим необъезженным конем. То был конь необычайно красивой масти: вороной в белых крапинах. Он был не оседлан, оттого что не желал ходить даже под седлом королевским; однако ж и без седла он должного почтения королю не оказывал, и никакие препятствия его не останавливали, что крайне огорчало короля: король готов был пожаловать целый город тому, кто ухитрится бы смирить норов скакуна. Все это мне в коротких словах сообщил сам король, и я мгновенно принял решение, а какое именно — это я вам сейчас скажу.

При последних словах Периандра слышались чьи-то шаги: кто-то спускался по склону горы, у подошвы которой укрывались путники. Арнальд вскочил и, положив руку на эфес шпаги, изготовился встретить опасность лицом к лицу. Периандр смолк. Женщины — со страхом, мужчины, особенно Периандр, — бестрепетно ждали, что будет. Наконец, при бледном сиянии луны, прятавшейся в тучках, путники с трудом различили две какие-то странные фигуры, и вдруг одна из этих фигур отчетливо произнесла:

— Кто бы вы ни были, сеньоры, пусть не пугает вас неожиданное наше появление, ибо у нас только одна цель — быть вам полезными. Вы вольны сменить избранное вами место для отдыха, пустынное и безлюдное, на более удобное и перейти к нам, на вершину горы: у нас светло, тепло, и нам есть чем вас попотчевать — пусть мы вам предложим блюда не тонкие и не дорогие, но зато питательные и вкусные.

Тут вступил в разговор Периандр:

— Вы, уж верно, Ренат и Эусебия, любовники истинные и целомудренные, и это о вас трубят молва, восславляя вашу добродетель?

— Если вы хотите быть точным, то добавьте: *несчастные* любовники, — снова заговорила одна из фигур. — Как бы то ни было, вы угадали, и коли вы не побрезгаете нашим убожеством, то мы с открытой душой окажем вам гостеприимство.

В воздухе заметно свежело, и по сему обстоятельству Арнальд предложил воспользоваться радушием отшельников.

Путники поднялись и, двинувшись следом за Ренатом и Эусебией, обнаружили на вершине горы две хижины, отнюдь не увеселявшие взор богатством отделки, — то были жилища бедняков.

Путники вошли в помещение более просторное, и при свете двух лампад глаз их скоро различил находившиеся в них предметы, как-то — престол с тремя священными изображениями: то были распятый жизнедавец, царица небесная, всех скорбящих радость, с выражением глубокой скорби стоявшая у крестного древа, весь мир просветившего, и, наконец, любимый ученик Христа, во сне увидевший столько, сколько никогда не увидит небесному своду всеми очами звезд своих.

Все опустились на колени и с должным благоговением помолились, а затем Ренат провел путников в смежное помещение, куда из молельни вела дверка.

На мелочах не стоит долго задерживаться и останавливаться, а потому мы не станем подробно описывать убогую утварь и скромное угощение, которое, впрочем, скрашивалось любезностью отшельников, и во время этой трапезы гости успели обратить внимание на то, как бедно были одеты хозяева, успели заметить, что они уже на склоне лет, но что Эусебия еще хранит следы былой несказанной красоты.

Ауристела, Трансила и Констанса остались на ночь в этом помещении и улеглись на охапки сухого шпажника и разных других трав, не столько мягких, сколько душистых. Мужчинам в разных углах хижины было спать столь же холодно, сколь и жестко, и столь же жестко, сколь и холодно.

Время, однако, шло как обычно, ночь минула и зачался ясный и тихий день. Море было такое приветливое, таксе ласковое, что, казалось, оно призывало воспользоваться его спокойствием и скорее сесть на корабль, и, без сомнения, так бы оно и было, когда бы лоцман не предупредил путников, что погода обманчива: совершенная тишина часто предвещает бурю.

Лоцман упорно стоял на своем, и в конце концов все с ним согласились, приняв в соображение, что в мореходном деле простой матрос разбирается лучше, нежели самый крупный ученый.

Женщины покинули травянистое свое ложе, мужчины — твердые камни, и, все вышли поглядеть с горы на приютный островок; он был не более двенадцати миль в окружности, но зато утопал в зелени плодовых деревьев, дышал свежестью множества родников, радовал взор густою травой, благоухал цветами — словом, он в одно и то же время, и притом в равной мере, насыщал все пять человеческих чувств.

Немного погодя досточтимые отшельник и отшельница позвали гостей и устелили пол хижины шпажником зеленым, и шпажником сухим, и самодельный этот ковер был, пожалуй, красивее тех, что составляют убранство дворцов королевских. На том же самом ковре хозяева разложили плоды, как свежие, так и сухие, и куски хлеба, скорее напоминавшие сухари, а украшали сей стол сосуды, искусно сделанные из древесной коры и наполненные холодною и прозрачною влагою. Убранство сего стола, плоды, чистая, светлая вода, не терявшая своей прозрачности в коричневых сосудах, купно с чувством голода побуждали, а вернее сказать — принуждали путников сесть поскорее за стол. Так все и поступили; по окончании же сей усладительной, хотя и скорой трапезы Арнальд обратился к Ренату с просьбой рассказать им о себе и объяснить, для чего он избрал столь скромный удел, со множеством лишений сопряженный, и Ренат, как человек благородный, коему учтивость сродна, не заставив себя долго упрашивать, тут же начал рассказывать правдивую свою Историю в следующих выражениях:

Ренат рассказывает о том, что заставило его удалиться на Отшельничий остров

— Когда человек рассказывает о минувших испытаниях в пору своего благоденствия, то ему обыкновенно доставляет больше радости о них рассказывать, нежели в свое время эти самые горести причиняли ему страданий. О себе, однако ж, я этого сказать не могу, оттого что я рассказываю о своих напастях не в пору затишья, но еще в разгар бури.

Я родился во Франции; происхожу я от родителей благородных, богатых и добропорядочных; я получил обычное для дворянина воспитание; в помыслах моих я никогда не забывал о том, какое место занимаю я в обществе, и все же я дерзнул устремить мои помыслы к сеньоре Эусебии, придворной даме французской королевы; впрочем, я только взглядом пытался выразить ей свою нежность, она же то ли не замечала моих взоров, то ли не угадывала их значения — во всяком случае, она ни единым взглядом и ни единым словом не дала мне понять, что проникла в тайну моей души. И хотя немилость и пренебрежение обыкновенно убивают любовь в зародыше, ибо лишают ее такой необходимой опоры, как надежда, которая ее воодушевляет, со мной происходило нечто противоположное: молчание Эусебии окрыляло мою надежду, а надежда побуждала меня достигнуть той высоты, на которой я оказался бы достойным моей возлюбленной. Однако ж то ли зависть, то ли чрезмерное любопытство подстрекнули французского дворянина Либсомира, столь же состоятельного, сколь и родовитого, разгадать мои помыслы, но, превратно истолковав их, он, вместо того чтобы посочувствовать, позавидовал мне, а между тем для человека любящего нет ничего тяжелее, чем любить ту, кто тебя отвергает, или же любить ту, кто тобою пренебрегает: с этою горестью не сравнятся ни разлука, ни ревность. Коротко говоря, я ничем Либсомиру не досадил, он же явился к королю и сказал, будто я нахожусь с Эусебией в преступной связи и тем самым оскорбляю его королевское величество и унижаю свою дворянскую честь, и он-де готов подтвердить это на поединке; от письменного же донесения он, мол, воздерживается, равно как предпочитает не прибегать к свидетельским показаниям других лиц, дабы не бросить тень на доброе имя Эусебии, хотя сам тут же облил ее грязью, обвинив в распутстве и злонравии.

Получив таковые сведения, король пришел в волнение и, позвав меня, передал мне все, что ему наговорил Либсомир. Я постарался обелить себя, вступился за честь Эусебии и, подбирая наиболее мягкие выражения, изобличил недоброхота моего во лжи. Кто из нас прав — это должен был показать поединок. Не желая нарушать установление католической церкви, воспрещающее дуэли, король не позволил нам, однако, сражаться в его королевстве. Мы получили разрешение на дуэль от одного из вольных германских городов.^[31]

Настал день поединка. Мы прибыли на место дуэли, как было условлено, при шпагах и со щитами, без каких-либо тайных заграждений. Совершив приличествующие случаю церемонии и поделив между нами солнечный свет, секунданты и судьи удалились.

Я вступил в бой уверенно и бодро: меня поддерживало сознание моей непререкаемой правоты, сознание моей полнейшей невиновности. Я видел, что и противник мой храбрится; совесть у него, может статься, и шевелилась, однако по его высокомерному и надменному виду это никак нельзя было заметить. Но — о всемогущие небеса! О неисповедимые пути господни! Я не щадил своих сил; я уповал на бога, я верил, что меня оградит чистота несбывшихся моих желаний; страх не имел надо мною ни малейшей власти; рука моя не дрожала, все движения мои были точно рассчитаны, и все же я, сам не знаю каким образом,

очутился на земле, а недруг мой приставил острие своей шпаги к моим глазам, угрожая мне скорой и неминуемой смертью.

«О мой победитель, не столько храбрый, сколько удачливый! — воскликнул я. — Вонзай же в меня острие своей шпаги, и пусть душа моя скорее отлетит от моего тела, коль скоро она не сумела его защитить! Не жди, что я стану просить пощады, — я не могу сознаться в преступлении, которого я не совершал. Я повинен в других грехах, и они заслуживают даже более суровой казни, но я не намерен возводить на себя напраслину: лучше умереть, чести своей не запятнав, нежели остаться жить обесчещенным».

«Коли ты не просишь пощады, Ренат, — молвил мой противник, — острие моей шпаги вопьется в твой мозг, и ты кровью своей распишешься и подпишешься, что я прав, а ты виновен».

В это время прибыли судьи и, решив, что я убит, признали моего противника победителем. Друзья унесли его с места дуэли на руках, меня же оставили одного, во власти горя и смятения, — оставили не столько израненного, сколько измученного, и уж если шпага недруга моего не лишила меня жизни, то от боли в ранах я не мог умереть и подавно.

Слуги мои меня подобрали. Я возвратился в свое отечество. Ни по дороге, ни у себя на родине не осмеливался я поднять глаза к небу: у меня было такое чувство, словно веки мне давит гнет бесчестья и срама. В каждом слове моих друзей я подозревал оскорбление. На ясном небе мне мерещились темные тучи. Если где-нибудь на улице собирались горожане, мне уже казалось, что они толкуют о моем позоре. Словом сказать, меня так неотступно преследовали мрачные думы и смутные подозрения, что, дабы избавиться от них, или по крайней мере облегчить их бремя, или же наконец покончить все счеты с жизнью, я положил оставить мою отчизну и, отказавшись от наследства в пользу моего меньшого брата, вместе с несколькими слугами сел на корабль, имея намерение переселиться в северные страны и там найти такой уголок, где бы меня не достигло бесславье бесславного моего поражения и где бы самое имя мое было погребено в совершенной безвестности. Случайно обнаружил я этот остров; места сии пришлись мне по нраву; с помощью слуг моих я построил себе эту хижину и в ней затворился. Со слугами я расстался и наказал им навещать меня ежегодно, дабы в случае моей смерти было кому похоронить мои кости. Их любовь ко мне, те обещания и те подарки, которые они от меня получили, — все это вдохновило их на исполнение моей просьбы — да, именно просьбы, приказом это не назовешь. Слуги отбыли и оставили меня в одиночестве, в отрадном обществе деревьев, трав и кустов, прозрачных ручейков, бурных и холодных потоков, и я снова проникся жалостью к самому себе, но уже потому, что не был побежден гораздо раньше, — тогда бы я уже давным-давно отдыхал в этом райском уголке от душевных моих тягот. О одиночество! Ты — веселье скорбящих. О тишина! Ты — глас, приятный для слуха! Ты вливаешься в него, не сопровождаемая ни лестью, ни ласкательством. Ах, сеньоры! Я никогда не устану славословить священное одиночество и животворную тишину!

Однако же мне пора обратиться к моему рассказу и сообщить вам, что год спустя слуги мои возвратились и привезли сюда возлюбленную мою Эусебию, вот эту самую отшельницу: они уведомили ее о моей доле, и она, тронутая моею любовью и сожалея о моем позоре, приняла решение разделить со мною не вину мою, но мое наказание, и того ради села вместе с ними на корабль, лишившись отчизны своей и родителей, лишившись утех своих и довольства, а самое главное — лишившись доброго имени, ибо своим бегством она как бы подтверждала, что мы оба провинились, и давала обильную пищу для злословия, отдав свою честь на поругание легковерной черни. Я встретил ее так, как она и ожидала, а безлюдье и ее красота, долженствовавшие разжечь в наших сердцах давно уже вспыхнувший взаимный

пламень, — слава богу и слава ее целомудрию, — произвели обратное действие. Мы протянули друг другу руку в знак того, что отныне мы законные супруги, погребли огонь страстей под снегом, погребли его в согласном и высоком строе наших душ и так, словно два подвижных изваяния, прожили мы здесь около десяти лет, и не было такого года, когда бы слуги мои меня не проводали и не снабдили меня всем, чего в пустынных этих местах нам недостает. Иногда они привозят с собою монаха, и тот нас исповедует. В нашей молельне есть все необходимое для богослужения. Спим мы врозь, пищу принимаем совместно, ведем беседы о небесном, ото всего земного отрешаемся и, уповая на милость божью, ожидаем отхода в жизнь вечную.

На этом кончил свое повествование Ренат и этим же дал повод слушателям подивиться его судьбе, но не потому, чтоб для них было внове, что небо, не услышав мольбы человека, послало ему испытание; слушатели отлично знали, что так называемые несчастья посылаются людям с двумя целями: дурным людям в наказание, добрым же для их исправления, а как Рената они относили к числу добрых людей, то и сказали ему несколько слов в утешение, равным образом и Эусебии, Эусебия же, выразив им благодарность, сказала, что она довольна своим положением, и в этом своем ответе выказала ясный ум.

— О жизнь уединенная! — воскликнул тут Рутилио, слушавший, затаив дыхание, повесть Рената. — О жизнь уединенная, жизнь душеполезная, свободная и безопасная! Любовь к тебе господь вливает в души людей, им отмеченных. Как тебя не возжелать, как о тебе не мечтать, как тебя не предпочесть и как, наконец, на твою стезю не стать!

— Твоя правда, друг мой Рутилио, — молвил Маврикий. — Все это, однако ж, относится к людям незаурядным. Нас не должно повергать в изумление, что простой пастух проводит дни свои в тишине полей, как нет ничего удивительного в том, что бедняк, голодавший в городе, удаляется в пустынную местность, где он в состоянии себя прокормить. При известном образе жизни человека питают и лень и безделье. Сошлюсь на себя: то, что я переложил бремя моих тягот хоть и на добрые, а все же на чужие плечи, — это было с моей стороны проявлением изрядной беспечности. Если бы я в хижине пустытника увидел Ганнибала^[32] Карфагенского, как довелось мне видеть удалившегося в монастырь Карла Пятого^[33], — вот тогда бы я был изумлен и поражен. Но когда пребывает в одиночестве простолудин, когда удаляется бедняк, то это меня не поражает и не изумляет. Ренат же в счет не идет: его привела в эту глушь не бедность, но та сила, которую вызвало к жизни его глубокомыслие. И что для других явилось бы лишением, то для него — изобилие; наилучшее общество для него — безлюдие; с мыслью о том, что больше терять ему уже нечего, Ренату гораздо спокойней живется.

Тут заговорил Периандр:

— На мою долю выпало столько испытаний и злключений, что, будь я постарше, я почел бы себя счастливым, если б мог жить в уединении и если б имя мое было погребено в гробнице забвенья. Однако ж до времени мечты мои мешают мне на это решиться. Да и как тут менять образ жизни, когда меня стрелой несет Кратилов конь, на описании которого я в прошлый раз остановился?

Все обрадовались, усмотрев в этих словах желание Периандра возвратиться к своему рассказу, который столько раз уже прерывался и все еще не был досказан; и точно, Периандр продолжил его следующим образом:

Периандр рассказывает о своем приключении со знатным конем, который был так дорог Кратилу

— Кратилу не терпелось как можно скорее укротить своего коня — так этот конь полюбился ему своими статями, непокорностью и красотой; мне же не терпелось поскорее сослужить королю службу: я полагал, что само небо предоставило мне возможность угодить тому, в чьих руках была теперь моя судьба, и до известной степени подтвердить то лестное, что наговорила ему обо мне обворожительная Сульпиция. Того ради я не задумываясь приблизился к коню и без помощи стремян, каковых, кстати сказать, и не было, вскочил на него, конь, закусив удила, помчался и вынес меня на самый край скалы, нависавшей над морем, — тогда я еще раз вонзил ему пятки в бока, и конь, к великому своему неудовольствию и к великой моей радости, вместе со мной полетел вниз, прямо в море, и во время этого полета я успел подумать, что коль скоро море замерзло, то я и костей не соберу; казалось, нас обоих ожидает верная гибель — и меня и коня. Погибнуть нам, однако ж, было не суждено: видно, бог хранит меня для каких-то своих, одному ему ведомых целей; словом, передние и задние ноги могучего коня выдержали удар, меня же сильно тряхнуло, я опрокинулся и отлетел на довольно далекое расстояние — тем только я и отделался. Все, кто находился на берегу, были убеждены и уверены, что я разбился, и когда я стал на ноги, то почли это за чудо, а мое удалство все же признали безумием.

То обстоятельство, что конь после такого головокружительного прыжка остался цел и невредим, показалось Маврикию весьма сомнительным; он предпочел бы, чтобы конь в лучшем случае сломал себе три, а то и все четыре ноги, — тогда чудовищный этот прыжок выглядел бы, по его мнению, правдоподобнее, а иначе это, мол, со стороны Периандра — злоупотребление любезностью слушателей. Однако ж все остальные верили Периандру безусловно и не поддерживали Маврикия: лгуну не верят, даже когда он говорит правду, и это его беда, а человеку правдивому верят, даже когда он лжет, — это его счастье. Коротко говоря, сомнения, возникшие у Маврикия, не поколебали доверия слушателей к рассказу Периандра, и он продолжал:

— Итак, я вышел на берег вместе с конем, снова взобрался на него и тою же побегкой погнал его к обрыву, чтобы он еще раз прыгнул оттуда, однако ж на сей раз мне это не удалось: домчав меня до кручи, конь порвал уздечку и стал как вкопанный: он словно врос в землю, никакими силами нельзя было сдвинуть его с места. От страха он весь покрылся потом и мгновенно превратился из льва в ягненка, из дикого зверя в смиренного коня; мальчишки решились даже огладить его, а королевские конюхи, оброта, начали безбоязненно его объезжать, и конь выказал ретивость и дотоле за ним не замечавшуюся покорность, что привело в восторг Кратила и обрадовало Сульпицию, ибо она удостоверилась, что я ее не подвел и в грязь лицом не ударил.

Три месяца лед на море не таял, и за это время еще не успели построить корабль, который Кратил рассчитывал весной спустить на воду, дабы очистить море от корсаров, а заодно пожить на их счет. Я же в течение зимы оказал королю немало услуг на охоте; я показал себя охотником ловким, опытным и на редкость выносливым; надобно заметить, что охота больше, чем какое-либо другое занятие, напоминает войну, ибо и на охоте люди бывают изнурены, терпят голод и жажду, а иной раз и гибнут.

Прелестная Сульпиция была ко мне, а равно и к людям моим, необычайно добра, Кратил

же был с нами в той же мере любезен. Сульпиция озолотила двенадцать рыбаков, которые охраняли ее в пути, но и те, которых вместе со мною затерло льдами, были щедро вознаграждены ею.

Наконец корабль был достроен. Король велел как можно богаче украсить его и как можно лучше снабдить всем необходимым, а затем назначил меня капитаном и объявил, что он вверяет его мне и что я волен распоряжаться им как мне заблагорассудится. Облобызав ему руки за столь великую милость, я попросил у него дозволения отправиться на поиски сестры моей Ауристелы, о которой я имел сведения, что она находится у короля датского. Кратил предоставил мне полную свободу действий, примолвив, что ради такой благородной цели он ничего не пожалеет, и тут в нем сказался настоящий король, ибо сан королевский обязывает делать людям добро, обязывает к приятности обхождения и, если так можно выразиться, к благовоспитанности. Благовоспитанность эта была в высшей степени свойственна Сульпиции, и притом в сочетании со щедростью, и благодаря ее щедрости я и мои люди, все до одного человека, отбывали разбогатевшими и убогоговоренными.

Мы взяли курс на Данию — там я надеялся свидеться с моею сестрою, но вместо ожидаемой встречи меня там ожидала весть о том, что ее и других девушек, гулявших вместе с нею на берегу моря, похитили корсары. Это было для меня началом новых испытаний и новых скорбей, и не только для меня, но и для Карино и Солерсьо, утвердившихся в мысли, что их супруги разделили плачевную участь моей сестры и попали к корсарам.

— И они угадали, — вставил Арнальд.

А Периандр продолжал:

— Мы бороздили моря, кружили вокруг островов и всех расспрашивали о моей сестре, ибо, не в обиду будь сказано всем красавицам, какие только есть на земле, меня все время утешала мысль: Ауристела-де так прекрасна, что мрак неизвестности не в силах объять свет, излучаемый ее ликом, а тонкий ее ум послужит ей тою нитью, которая выведет ее из любого лабиринта. Мы брали в плен корсаров, освобождали их пленников, возвращали владельцам их достояние, отбирали в свою пользу имущество, незаконно присвоенное, так что на корабле нашем чего-чего только не было, и наконец мои люди заскучали по своим сетям, по своим родным домам и по своим детям; Карино же и Солерсьо так прямо и объявили: раз что, мол, они так и не нашли своих жен в чужих странах, то нет ли их в стране родной? Однако ж, прежде чем расстаться, мы прибыли на остров, если не ошибаюсь, Сцинта, и там-то мы и узнали о празднествах в королевстве Поликарпа, и всем нам припала охота на них побывать. Ветер не дал нашему кораблю подойти к острову Поликарпа, и мы, как вам известно, в одежде гребцов приблизились к нему в длинной лодке. Там мне были присуждены награды, там я победил во всех состязаниях, и тогда же Синфоросу охватило страстное желание узнать, кто же я таков, что явствует из тех стараний, которые она для сего приложила.

Затем мы возвратились на корабль, и тут мои сподвижники порешили меня оставить; я же их попросил в награду за понесенные вместе с ними труды оставить мне лодку. Лодку они мне оставили, да они, скажи я хоть одно слово, оставили бы мне и корабль, а не то что лодку; меня же они оставляли одного потому, что только у меня одного не пропало желание продолжать поиски, а между тем опыт подсказывал им, что предел моих желаний вряд ли достигим, ибо все наши усилия не увенчались успехом.

Как бы то ни было, я обнял моих друзей и вместе с шестью рыбаками, которых я соблазнил теми дарами, что я им вручил, а также теми, что я посулил им, и которые согласились меня сопровождать, направил путь к острову варваров, от жителей коего я уже был наслышан об их нравах и о ложном пророчестве, введшем их в заблуждение, но на этом я

не останавливаюсь: все это вам уже известно.

У берегов этого острова меня постигло несчастье: меня взяли в плен и поместили к заживо погребенным. На другой день меня вытащили из подземной тюрьмы с тем, однако ж, чтобы умертвить; на море разыгралась буря; наш плот растрепало; на нескольких бревнах меня унесло в открытое море, меж тем как на шее у меня все еще висела цепь, а руки были закованы в кандалы; затем я попал в добрые руки присутствующего среди нас принца Арнальда, вначале не подозревавшего, что я брат Ауристелы, и по его приказанию снова отправился на остров варваров в качестве лазутчика, с целью установить, нет ли там моей сестры, и там я ее и увидел; она была в мужском одеянии, и ей грозила казнь. Я узнал ее и восскорбел ее скорбью; однако ж казнь была предотвращена мною, ибо я объявил, что это женщина, а еще раньше меня казнь предотвратила сопровождавшая Ауристелу кормилица Клелия; а как они обе туда попали, об этом Ауристела, буде пожелает, расскажет вам сама. О том, что произошло с нами на острове, вы уже осведомлены; следственно, после всего того, что я вам поведал, после того, что еще поведаст вам моя сестра, любопытство к нашим приключениям, которое мне удалось возбудить в вас, притом что мне удалось также вас убедить в достоверности подавляющего их большинства, будет — смею надеяться — совершенно удовлетворено.

Глава двадцать первая

Я не берусь утверждать положительно, точно ли Маврикий и некоторые другие слушатели обрадовались, что Периандр досказал наконец свою историю, но, вообще говоря, чаще всего длинные истории, как бы ни были они значительны по своему содержанию, в конце концов приедаются. По-видимому, этою именно мыслью руководствовалась Ауристела, отказавшись в подтверждение правдивости Периандрова рассказа начать повесть о своих приключениях: несмотря на то, что с тех пор, как корсары похитили ее у Арнальда и до того дня, когда Периандр встретился с нею на острове варваров, приключений этих было у нее совсем не так много, она порешила отложить свой рассказ до более подходящего времени, а впрочем, если бы даже она и согласилась, ей все равно пришлось бы прервать повествование — ей помешал бы корабль, который в это самое мгновение показался вдали: летел он на всех парусах и немного спустя уже вошел в бухту, Ренат же узнал его тотчас.

— На этом корабле, сеньоры, мои слуги и мои друзья имеют обыкновение ко мне приезжать, — пояснил он.

Тем временем моряки, подбадривая себя дружно произносимыми возгласами, спустили на воду шлюпку, и вскоре после этого на сушу ступили люди, которых вышел встречать Ренат со всей остальной компанией. В шлюпке прибыло человек около двадцати; среди них выделялся привлекательною своею наружностью их, судя по всему, начальник, и вот этот самый человек, едва увидев Рената, бросился к нему с распростертыми объятиями.

— Обними меня, брат мой, на радостях! — воскликнул он. — Я привез тебе такие добрые вести, каких только можно желать.

Ренат сейчас узнал своего брата Синибальда и, обняв его, молвил:

— Встреча с тобою, брат мой, для меня приятнее любой вести. Хотя в слезной моей доле меня уже никакая радость не обрадует, однако ж радость видеть тебя превозмогает все — она составляет исключение из общего правила моего злополучия.

Тут Синибальд обратился к Эусебии и сказал:

— Протяните же на радостях и вы мне свои руки, сеньора: ведь я и вам привез добрые вести, и мне не к чему отсрочивать их оглашение, раз что вышел срок вашему испытанию. Да будет вам обоим известно, что недруг ваш приказал долго жить; при этом он шесть суток до своей кончины совсем не мог говорить, и только за шесть часов до того, как он отдал богу душу, небо вернуло ему дар речи, и за этот промежуток он успел принести искреннее раскаяние и повиниться в том, что он вас обнес поклепом. Он признался, что им руководила зависть, он сознался в своем лукавстве; словом, он привел неопровержимые доказательства своей вины перед вами. То, что его злонамеренность восторжествовала над вашим простосердечием, он объяснил неисповедимостью путей господних, и он не удовольствовался сим откровенным признанием — он пожелал, чтобы восстановленная им истина сделалась всеобщим достоянием; когда же обо всем этом узнал король, то, также во всеобщее сведение, объявил, что честь ваша снова вне подозрений; тебя, брат мой, он признал победителем, а про Эусебию сказал, что она чиста и непорочна, и повелел отыскать вас и привести к нему, дабы он по-царски вознаградил вас за все те лишения, какие вам довелось претерпеть. А сейчас я предоставляю вашему благоусмотрению судить о том, сколь отрадны доставленные мною вести.

— Вести эти вот каковы, — подхватил Арнальд: — даже если б вы узнали, что вам суждено долголетие, то и это не могло бы вас больше обрадовать; если б вы узнали, что на вас нежданно-негаданно свалилось огромное богатство, то эта весть была бы для вас куда

менее приятной, нежели только что вами полученные, ибо никакие блага в мире не сравнятся с честью, некогда поруганной, а ныне ярче прежнего воссиявшей. Наслаждайтесь же этим счастьем как можно дольше, сеньор Ренат, и пусть вместе с вами наслаждается им несравненная Эусебия: вы — ее ограда, она же для вас — плющ, вы — ее плющ, а она — вяз, она — зеркало, в которое смотрится сердечная ваша склонность, она — олицетворение доброты и преданности.

Вслед за Арнальдом все поздравили Рената и Эусебию, но только в иных выражениях, а затем принялись расспрашивать Синибальда, что нового в Европе и в других частях света, ибо, путешествуя по морям, они имели смутное представление о том, что там творится. Синибальд ответил, что сейчас везде только и разговору, что о поражении, которое данейский король Леопольд вкупе со своими союзниками нанес престарелому королю датскому. Еще Синибальд передал слух, будто датский король вконец извелся от тоски по сыну, наследнику датского престола, а об этом принце идет молва, будто он, словно бабочка, устремился на огонь чудных очей своей пленницы, о которой неизвестно даже, какого она роду-племени. Еще рассказал Синибальд о войне в Трансильвании, о военных действиях врагов рода человеческого — турок.^[34] Сообщил он также о блаженном успении Карла V, короля испанского и императора римского, сей грозы врагов церкви, сего устрашения магометан. Рассказал Синибальд и о событиях менее важных; при этом иные его вести порадовали, иные изумили слушателей, но и те и другие доставили им удовлетворение — доставили всем, кроме Арнальда; Арнальд же, как скоро услышал, что его отец терпит утеснения, подпер щеку рукою, уставил глаза в землю и долгое время пребывал в задумчивости, затем поднял голову и, возведя глаза к небу, заговорил громким голосом:

— О любовь! О честь! О нежность отеческая! Сколь сильно вы тесните мне грудь! Прости мне, любовь! Я с тобой расстаюсь, но я от тебя не отрекаюсь! Подожди меня, честь! Любовь не властна удержать меня — и я иду за тобою! Утешься, отец: я возвращаюсь! Ждите меня, мои верноподданные! Да будет вам известно, что любовь ничего общего не имеет с малодушием, и я, обороняя вас, не выкажу малодушия именно потому, что я самый пламенный и самый нежный из всех влюбленных на свете. Ради несравненной Ауристелы намерен я отстоять то, что по праву принадлежит мне, — то, что мне не дано заслужить как любовнику, я хочу заслужить как король: ведь почти никому из любовников бедных не удастся достигнуть предела своих желаний, разве только судьба изольет на кого-нибудь из них все свои дары. В качестве короля я намерен просить ее руки; в качестве короля я хочу ей служить; как влюбленный, я буду обожать ее, и если все же она найдет, что я недостойн ее, я не стану укорять ее в том, что она меня не оценила, и со своею участью примирюсь.

Все, кто при сем присутствовал, подивились речам Арнальда; больше же всех был удивлен Синибальд, ибо Маврикий пояснил ему, что это и есть наследный принц Дании, а затем, указав на Ауристелу, примолвил, что это и есть его пленница, к которой он якобы равнодушен. Синибальд нарочно задержал взгляд на Ауристеле и вынужден был признать, что то, что издали могло казаться безрассудством со стороны Арнальда, на самом деле было весьма разумным, ибо красота Ауристелы, как нами не раз уже было замечено, пленяла сердца всех, кто на нее взирал, и оправдывала все ошибки, ради нее совершенные.

Одним словом, тут же было решено, что Ренат и Эусебия возвратятся во Францию и на своем корабле довезут Арнальда до его королевства, причем Арнальд изъявил желание взять с собою Маврикия, его дочь Трансилу и его зятя Ладислава, а на том корабле, на котором беглецы покинули остров Поликарпа, Периандр, Антоньо-отец и Антоньо-сын, Ауристела, Рикла и очаровательная Констанса отправятся в Испанию.

Присутствовавший при этом уговоре Рутилио ждал, что на какой-нибудь корабль

определят и его, но, не дождавшись решения своей участи, пал в ноги Ренату и взмолился, чтобы он позволил ему остаться на этом острове и передал ему во владение свое имущество: ведь нужно же, мол, кому-то зажигать маячный огонь для сбившихся с курса мореплавателей, а он, дескать, намерен достойно окончить свою жизнь, до сих пор дурно им прожитую. Все поддержали эту его просьбу — просьбу истинного христианина, и добрый Ренат, будучи человеком щедрым, как и подобает христианину, все свое достояние отдал Рутилио, выразив надежду, что все это Рутилио пригодится, ибо здесь имеются орудия земледельческие, равно как и все необходимое для того, чтобы жить по-человечески. Арнальд со своей стороны пообещал, если только в его королевстве все будет благополучно, посылать сюда ежегодно корабль с продовольствием.

Рутилио всем готов был облобызать стопы, однако все по очереди заключили его в свои объятия, многие же были до слез тронуты благим начинанием новоявленного отшельника: ведь если мы сами не в состоянии изменить нашу жизнь к лучшему, то нам всегда приятно бывает видеть, как кто-то другой решается изменить к лучшему свою жизнь, разве уж мы до того закоснеем в грехах своих, что возжелаем стать бездной, влекущей к себе бездны другие.

Два дня ушло на сборы и устройство, в час же расставания произошел всеобщий обмен учтивостями, особенно между Арнальдом, с одной стороны, и Периандром и Ауристелой, с другой. И хотя в речах Арнальда дышала любовная страсть, однако ж все его речи отличались скромностью и учтивостью и нимало не уязвили Периандра. Трансила заплакала. Не совсем сухи были глаза у Маврикия, равно как и у Ладислава. Рикла тяжело вздыхала, Констанса была растрогана, ее отец и брат также расчувствовались. Рутилио, уже в отшельническом одеянии Рената, подходил то к тому, то к другому, со всеми прощался, плакал и рыдал.

Между тем спокойствие на море, а равно и ветер, обоим судам благоприятствовавший, призывали путников поторопиться, и в конце концов путешественники погрузились на корабли и поставили все паруса, Рутилио же с кровли хижины без конца желал им счастливого пути. И на этом автор необыкновенной этой истории заканчивает вторую ее книгу.

Душа человеческая вечно в движении, и прекращает она это движение и успокаивается, только возвратившись в свою сердцевину, сердцевина же эта есть не что иное, как бог, ради слияния с которым душа человеческая и рождается, а потому нет ничего удивительного, что меняется и течение наших мыслей: одна мысль появляется, другая исчезает, третья остается, четвертая забывается, и ту из них должно признать наилучшей, которая всех ближе к состоянию покоя, если только она не вобрала в себя ошибочного умозаключения.

Все это говорится в оправдание той легкости, с какою Арнальд в мгновение ока переменял давнее свое решение служить Ауристеле. Впрочем, это не так: он не отменил его, а лишь отложил, ибо в нем заговорил мощный голос чести, руководящий всеми человеческими поступками, и о намерении защищать свою честь Арнальд объявил Периандру на Отшельничьем острове, оставшись с ним вдвоем в ночь накануне их отъезда.

Во время этой беседы Арнальд умолял Периандра (когда речь идет о чем-либо крайне важном, то человек в таких случаях не просит, а именно умоляет) беречь сестру свою Ауристу и еще раз подтвердил, что Ауристе будет ждаться корона датского королевства; к этому Арнальд прибавил, что если, мол, ему не судьба отвоевать свое королевство и он сложит голову в правом бою, то Ауристе будет считаться вдовою наследного принца и сумеет выбрать себе достойного супруга, хотя он, Арнальд, прекрасно знает и много раз говорил, что она сама по себе, без мужнего титула, достойна занять престол величайшего в мире государства, не говоря уже о престоле датском. В ответ на это Периандр поблагодарил Арналда за его добрые чувства к Ауристеле и дал слово беречь ее, тем более, что это, мол, прямой его долг и прямая обязанность.

Об этом разговоре Периандр ничего не сказал Ауристеле, ибо влюбленному должно восхвалять любимую от своего имени, а не так, словно речь идет о ком-то постороннем. Влюбленному не подобает говорить любимой приятные вещи, заимствуя их у другого; влюбленный сам должен научиться говорить их даме своего сердца. Если он сам не умеет петь, пусть не приводит к ней певцов; если он недостаточно обходителен, пусть не берет себе в помощники Ганимеда. Словом, я держусь того мнения, что человеку не должно восполнять собственные изъяны за счет достоинств, коими в избытке наделены другие. Впрочем, к Периандру это никакого отношения не имеет, ибо природа его своими дарами не обидела, да и по части благ Фортуны он мало кому уступал.

Итак, оба корабля шли хотя и в разных направлениях, но с попутным ветром, что в истории мореплавания представляется случаем из ряду вон выходящим. Шли они, разрезая не прозрачный, но голубой хрусталь; море курчавилось барашками, оттого что ветер обходил с ним бережно и касался лишь его поверхности, а корабль нежно целовал его в уста и так легко скользил по волнам, что казалось, будто он едва их касается.

Так, спокойно и безмятежно, шел корабль Периандра целых семнадцать дней, не прибавляя, не убавляя и не убирая парусов, и это блаженство, омрачавшееся лишь страхом, как бы вдруг не грянула буря, казалось мореходам ни с чем не сравнимым блаженством. Дней же через семнадцать марсовый на рассвете завидел землю.

— Что вы мне дадите, сеньоры, за радостную весть? — вскричал он. — Земля, земля! А вернее сказать: небо, небо! Ведь мы подходим к славному Лисабону.

Сия весть исторгла из всех очей слезы умиления и радости, особливо из очей Риклы, Антоньо-отца, Констансы и Антоньо-сына, — они считали, что уже пришли в землю обетованную, о которой они так мечтали. Антоньо-отец обнял Риклу и сказал:

— Скоро ты будешь, милая моя дикарка, молиться богу с вящим усердием, хотя в сущности так же, как я тебя учил. Скоро ты увидишь дивные храмы, где ему поклоняются, ты увидишь католическое богослужение и постигнешь, что такое истинно христианская благотворительность. Здесь, в этом городе, ты увидишь множество больниц — то враги недугов, они борются с недугами и побеждают их; если же кто-нибудь в стенах больницы прощается с жизнью, то силою неустанных молитв напутственных для него приобретает жизнь вечная. Здесь любовь и скромность всюду ходят рука об руку. Учтивость здесь не выносит присутствия надменности, мужество не уживается с трусостью. Все жители этого города приветливы, учтивы, великодушны и хоть и влюбчивы, а разума никогда не теряют. Это самый большой и самый торговый город во всей Европе. Сюда стекаются сокровища Востока и уже отсюда расходятся по всему миру. Гавань поражает взор не столько скоплением кораблей, — сосчитать их все-таки возможно, — сколько движущимся лесом мачт корабельных. Женщины здесь до того красивы, что на них не удивишься и не налюбишься. Отвага мужчин, как здесь любят выражаться, приводит в оцепенение. Словом, это земля, приносящая небу благоговейную и обильную дань.

— Умолкни, Антоньо, — прервал его Периандр, — остальное надобно приберечь для наших глаз. В похвальном слове не должно выговаривать все до конца — что-то нужно оставлять и для взора, тогда мы с помощью нашего зрения снова подивимся, и так наш восторг, постепенно возрастая, в конце концов достигнет крайних пределов.

Ауристела была весьма рада, что приближается тот миг, когда она наконец почувствует под ногами твердую почву, когда уже не нужно будет скитаться из гавани в гавань, с острова на остров, испытывая на себе переменчивый нрав моря и неустойчивую волю ветра; особенно же возликовала Ауристела, узнав, что до Рима она, буде пожелает, может добраться не морем, а сухопутьем.

В полдень путники прибыли в Санжоан; судно было подвергнуто таможенному досмотру, и тут комендант крепости, равно как и те, что вместе с ним прибыли на корабль, подивились красоте Ауристелы, привлекательности Периандра, дикарскому одеянию обоих Антоньо, миловидности Риклы и пленительной прелести Констансы. Они узнали, что это чужестранцы-паломники, направляющиеся в Рим. Периандр не пожалел денег на расплату с моряками — тут пригодилось золото, которое вывезла с острова варваров Рикла и которое потом в королевстве Поликарпа было обменено на обыкновенные деньги. Моряки порешили купить на эти деньги в Лисабоне разного товару. Обязанности лисабонского градоправителя были тогда возложены по случаю отсутствия короля на архиепископа Брагского, и комендант Санжоана послал к нему нарочного с извещением о прибытии чужеземцев и о том, что среди них находится писаная красавица по имени Ауристела; не забыл он упомянуть и о пригожестве Констансы, которое не только не скрадывалось, но напротив того — оттенялось дикарским ее одеянием; расхвалил он и привлекательную наружность Периандра, а равно и скромное поведение всех путешественников; можно подумать, — присовокуплял комендант, — что то не варвары, а столичные жители.

Корабль пристал к городскому берегу, высадка же произошла в Белеме^[35], оттого что набожная Ауристела, привлеченная славой, какая идет об этой святой обители, пожелала прежде всего побывать в ней и там, на свободе и без помех, не соблюдая тех ложных обрядов, какие приняты у нее на родине, поклониться богу истинному. На берегу собралось видимо-невидимо народу: всем хотелось посмотреть, как будут высаживаться в Белеме чужестранцы — ведь всякая новинка неизменно привлекает к себе все сердца и все взоры. Вот уже вышли из Белема необычайно живописные и дотоле здесь невиданные чужеземцы: шла Рикла, не первая красавица, но зато по-дикарски пышно одетая; шла прелестная Констанса,

закутанная в звериные шкуры; шел Антоньо-отец в волчьей шкуре, оставлявшей голыми руки и ноги; шел так же точно одетый Антоньо-сын, с луком в руке и с колчаном, полным стрел, за спиной; шел Периандр в морского покроя зеленой бархатной куртке и таких же штанах, в высокой остроконечной шапке, из-под которой выбивались золотые кольца его кудрей; шла Ауристела, обращая на себя всеобщее внимание чисто северною роскошью своего наряда, редкостною стройностью своего стана и бесподобною красотою своего лица. Словом, все они вместе и каждый из них в отдельности поражали и изумляли всех, кто на них смотрел, но все же наибольшее восхищение вызывали несравненная Ауристела и красавец Периандр.

В окружении знати и простолюдов пришли они пешком в Лисабон. В Лисабоне их представили градоправителю — тот окинул их любопытным взглядом, а потом долго расспрашивал, кто они таковы и откуда и куда путь держат. Отвечал ему Периандр, который в предвидении того, что ему не раз придется отвечать на подобного рода вопросы, заранее заготовил ответы. Когда Периандр хотел или почитал за нужное, он рассказывал о себе подробно, всякий раз, впрочем, утаивая свое происхождение; таким образом, говоря о целой большой поре своей жизни, он отделялся двумя-тремя словами.

Вице-король предложил им остановиться в одном из лучших во всем Лисабоне домов, принадлежавшем, как выяснилось, блестящему португальскому кавальеро, и туда уже набилось много народа, жаждавшего поглядеть на Ауристелу, слава о которой бежала быстрее, нежели о всех остальных, и по сему случаю Периандр предложил всем сменить дикарские наряды на одеяние паломников; и точно: необычность одеяния являлась главной причиной следования за ними по пятам целой толпы, так что это было уже не следование, а преследование; к тому же для путешествия в Рим одежда паломника была как раз наиболее подходящей. Его спутники с ним согласились, и два дня спустя все уже были одеты как чужестранные странники.

Но вот однажды не успел Периандр выйти из дому, как некий португалец назвал его по имени и, опустившись на колени, припал к его ногам.

— Как это вам посчастливилось осчастливить своим Прибытием эту страну? — воскликнул он. — Не удивляйтесь, что я наименовал вас по имени. Я один из тех двадцати, что обрели свободу на объятom пламенем острове варваров, том самом, где вы были ее лишены. Я присутствовал при кончине португальского кавальеро Мануэля де Соза Кутины. Я простился с вами и с вашими спутниками в той гостинице, куда прибыли Маврикий и Ладислав в поисках Трансилы, дочери Маврикия и супруги Ладислава. Мне судьба помогла возвратиться на родину. Я сообщил родственникам Мануэля, что он умер от любви. Мне поверили, и если б я даже не был очевидцем, мне бы все равно поверили, потому что умирать от любви — это у португальцев, можно сказать, в обычаях. Брат Мануэля, унаследовавший его достояние, устроил ему торжественное отпевание и в фамильном склепе на мраморной плите, как если бы Мануэль был под нею погребен, начертал эпитафию, и вот мне бы хотелось, чтобы вы прямо сейчас пошли туда и прочли ее: я думаю, вам понравится как самая ее мысль, так и изящество слога. Все слова этого человека убеждали Периандра в том, что он говорит правду, однако ж он его не узнавал. Со всем тем путешественники направились к храму и, проникнув в склеп, увидели плиту, на которой была написана по-португальски эпитафия, которую Антоньо-отец примерно так перевел на язык кастильский:

«Здесь пребывает вечно живою память об умершем Мануэле де Соза Кутины, португальском кавальеро, который, не будь он португальцем, был бы жив и ныне; он пал не от руки кастильца — его сразила всемогущая рука любви. Прохожий! Потщись узнать, как прожил он свою жизнь, и позавидуй его кончине».

Периандр признал, что португалец был прав, когда хвалил эпитафию, в составлении каковых португальцы вообще не имеют себе равных. Ауристела спросила португальца, какое впечатление произвела смерть Мануэля на монахиню, которую любил умерший; португалец же ей сообщил, что, узнав об этом, монахиня спустя несколько дней перешла в иной, лучший мир, то ли потому, что уж очень она себя изнуряла, то ли потому, что так сильно на нее подействовало неожиданное это известие.

Оттуда путники отправились к знаменитому живописцу, которому Периандр заказал изобразить на большом полотне важнейшие события, с ним происшедшие. С одной стороны живописец изобразил охваченный пламенем остров варваров и тут же рядом — темничный остров, а поодаль плот, или, вернее, бревна, с которых Арнальд подобрал Периандра на свой корабль. С другой стороны был изображен снежный остров, где погиб влюбленный португалец; затем солдаты, пробивающие Арнальдов корабль; тут же рядом был воспроизведен тот случай, когда лодка и шлюпка потеряли одна другую из виду; чуть подалее — поединок двух молодых людей, влюбленных в Таурису, и ее смерть; здесь — перевернувшийся кверху килем корабль, чуть было не послуживший гробницей для Ауристелы и спутников ее; там — приютный остров, где Периандру привиделись во сне отряд добродетелей и отряд пороков; тут же рядом рыбы-кораблекрушительницы и их улов — два моряка, коих они погребли в своем чреве; не было позабыто художником и то мгновенье, когда корабль затерло льдами, а также нападение на корсарский корабль, бой с корсарами и пленение Периандра и его людей войском Кратила; воспроизвел художник на полотне и стремительный бег могучего коня, а затем его ужас, превративший этого льва в ягненка, — такие, как он, приручаются именно страхом; набросал художник на небольшом пространстве Поликарповы празднества и фигуру Периандра, который сам себя венчает победным лавром. Одним словом, в жизни Периандра не было сколько-нибудь примечательного события, которое не было бы запечатлено на этом полотне, в частности был изображен Лисабон и сходящие с корабля путники — во всем своеобразии их одеяний. На этом же самом полотне можно было видеть пожар на Поликарповом острове, Клодьо, пронзенного стрелою Антоньо, Сенотью, висящую на рее; изображен был и Отшельничий остров, а на нем Рутилио, готовящийся вступить на путь святой жизни.

Это полотно, в главнейших чертах воссоздававшее всю историю наших путешественников, избавляло их от необходимости рассказывать ее во всех подробностях, так что впоследствии, когда к ним уж очень приставали, Антоньо-сын рассказывал обо всем с ними происшедшем по этим картинкам. Но в чем славный живописец превзошел себя, так это в портрете Ауристелы, в котором он, по общему суждению, обнаружил умение создавать прекрасные образы, хотя в то же время это было с его стороны кощунством, ибо красота Ауристелы была такого рода, что кисти человеческой не подобало к ней прикасаться, если только ею не водила рука художника боговдохновенного.

Десять дней пробыли путники в Лисабоне, и все эти дни они посещали храмы и направляли души свои на стезю спасения; по прошествии же этих десяти дней они, испросив у вице-короля дозволение отбыть и получив на руки составленные по всей форме пропускные свидетельства, удостоверявшие, кто они такие и куда направляются, простились со своим хозяином, португальским кавальеро, а также с братом Мануэля Альберто, который одарил их всех дорогими подарками и ласковыми словами, и двинулись по дороге в Испанию. Отбыли же они ночью, ибо хотя перемена в их одежде и умерила всеобщее любопытство, а все же они опасались, как бы днем им не помешали зеваки.

Паломники странствуют по Испании; с ними случаются новые необычайные происшествия

Нежный возраст Ауристелы, еще более нежный возраст Констансы, а равно и средний возраст Риклы, казалось бы, должны были требовать карет, требовать пышности и роскоши для того длительного путешествия, в которое они пускались, однако ж богобоязненность Ауристелы, давшей обет идти в Рим пешком, как скоро они очутятся на суше, подействовала на богобоязненные натуры спутников ее, и тут все они, и мужчины и женщины, выказав совершенное единодушие, порешили идти пешком, хотя бы по дороге им пришлось побираться. По сему обстоятельству Рикла припрятала свое золото, а Периандр рассудил за благо не трогать брильянтового крестика Ауристелы, равно как и жемчужных ее серег, коим цены не было. Единственно, что путники приобрели, это ручную тележку, и уложили на нее все тяжелые вещи, которые им было не под силу нести. Мужчины запаслись особого рода посохами, которые могли служить и для опоры и для защиты, ибо они представляли собою ножны для острых шпаг. С такими-то по-христиански скромными пожитками вышли они из Лисабона, после чего Лисабон тотчас подурнел, ибо лишился их красоты, и тотчас обеднел, ибо лишился стольких ясных умов, что подтверждали сами лисабонцы, высыпавшие на улицы и ни о чем другом между собой не толковавшие, как об из ряду вон выходящей рассудительности и пригожестве чужестранцев-паломников.

А путники между тем, заранее условившись, что в день они будут проходить две-три мили, достигли Бадахоса, коего коррехидору заблаговременно дали знать из Лисабона, что путь новоприбывших богомольцев лежит через его город; как же скоро путники вошли в Бадахос, то им случилось остановиться в том самом доме, где уже остановилась труппа знаменитых актеров, которые в тот вечер собирались устроить спектакль в доме коррехидора, с тем чтобы он потом разрешил им представление публичное. Лицезрение Ауристелы и Констансы вызвало у актеров те же чувства, какие вызывало оно у всех, кто видел их впервые, а именно восторг и изумление. Всех более, однако ж, восхищался их красотой некий сочинитель, нарочно вместе с актерами прибывший в Бадахос как для того, чтобы поправить и исправить старые комедии, так и для того, чтобы сочинить для них новые, каковое занятие требует немалой выдумки и немалой усидчивости, а вместе с тем оно неблагодарно и невыгодно. Преимущество поэзии заключается, однако ж, в том, что она как ключевая вода: будучи сама по себе чиста и прозрачна, она не брезгает и нечистым; она — как солнце, коего лучи проходят сквозь всякую скверность, но так, что никакая грязь к ним не пристаёт; это такое искусство, которое ценится по действительной своей стоимости; это молния, вырывающаяся из своего заточения, но не для того, чтобы опалять, а чтобы озарять; это музыкальный инструмент, нежащий и увеселяющий наши чувства, — инструмент, который не только улаживает нас, но и возвышает наш дух и приносит пользу. Так вот, этот самый сочинитель, коего нужда заставила сменить Парнасские холмы на гостиницы, а воду из Кастальского ключа или же из источника Аганиппы^[36] — на воду из придорожных канав и из колодцев на постоянных дворах, всех более залюбовался красотой Ауристелы, поразившего его воображение, и, даже не спросив, знает ли она испанский язык, он решил, что из нее может выйти изрядная актриса. Его очаровала ее наружность, на него произвела сильное впечатление ее грациозность, и мысленно он тут же нарядил ее в мужское платье, затем снял с нее это платье и вырядил нимфой, а потом, нimalo не медля, облачил ее в одежды королевы;

словом, не было такого смешного или же величественного одеяния, которое он бы на нее мысленно ни надел, и во всех нарядах она рисовалась ему величавой, жизнерадостной, рассудительной, остроумной и к тому же в высшей степени благонравной, а между тем в жизни прекрасные комедиантки весьма редко сочетают в себе столь разнородные душевные качества.

Господи ты боже мой! С какою легкостью воспламеняется фантазия поэта и устремляется на борьбу со множеством преград неодолимых! На каких непрочных основаниях воздвигает она здание несбыточных своих мечтаний! Она принимает чаемое за свершившееся, все представляется ей легко выполнимым, доступным; одним словом, охота у нее смертная, а участь горькая, что и доказал новомодный поэт, случайно увидевший полотно с изображением бедствий Периандровых. Он сам после этого очутился в положении поистине бедственным: он загорелся страстным желанием составить из этих приключений пьесу, но колебался, в каком роде ее сочинить; он не представлял себе, что это, собственно, будет — комедия, трагедия или же трагикомедия, а все дело в том, что ему было известно начало, середины же и конца он знать не мог, ибо жизнь Периандра и Ауристелы продолжалась; между тем выбор рода, в каком надлежало писать о них пьесу, всецело зависел от того, как они жизнь свою кончат. Больше всего затруднял сочинителя образ слуги, доброго советчика и шутника: как бы это поместить его среди мореплавателей и заставить скитаться по бесчисленным островам, то горящим, то завьюженным? Со всем тем поэт не терял надежды сочинить пьесу и вопреки всем правилам поэзии и наперекор искусству драматическому вывести в ней именно такого слугу. А пока он замысел свой со всех сторон обдумывал, ему довелось побеседовать с Ауристелой, и он поделился с нею своими планами и стал упрашивать ее пойти в актрисы. Он сказал, что стоит ей раза два выйти на сцену — и она будет купаться в золоте: дело, мол, состоит в том, что для сильных мира сего, как для алхимиков, что ни добудь — все годится: золото так золото, медь так медь, однако по большей части они увлекаются феями с театральных подмостков, богинями и полубогинями, актрисами на роли королев и на роли смазливых судомоек. Еще он сказал, что если ее пребывание в Бадахосе совпадет с каким-либо королевским праздником, то пусть она тогда разрядится в пух и в прах, потому что все или почти все знатные кавальеры явятся к ней на поклон. Расписал он ей, как приятно переезжать с места на место и всюду таскать за собою влюбленных в нее переодетых кавальеров, верных ее слуг, но особенно он распространялся и разглагольствовал о том, что это-де наивысшее отличие и великая честь — быть в труппе на первых ролях. В заключение он ей сказал, что ни на чем так не подтверждается верность старинной испанской пословицы «Честь с выгодой дружно живут», как на примере прекрасных комедианток. Ауристела же ему на это заметила, что она ни слова не поняла из того, что он говорил, — ему же, дескать, должно быть хорошо известно, что она кастильского языка не знает, а если б даже этот язык и был ей понятен, все равно она ответила бы ему отказом в силу того, что намерения у нее иные и что ее влечет к иного рода занятиям, быть может, и не столь приятным, но уж во всяком случае более для нее подходящим. Поэт был огорчен решительным отказом Ауристелы; он готов был сквозь землю провалиться от своей неловкости и тут же остановил колесо самонадеянности своей и сумасбродства.

Вечером надлежало быть представлению в доме коррехидора, который, узнав, что в городе остановились очаровательные богомольцы, послал им в знак особого расположения приглашение посмотреть комедию, присовокупив, что об их достоинствах его, мол, уже уведомили из Лисабона. Периандр, посоветовавшись с Ауристелой и Антоньо-отцом, которого все слушались как старшего, принял приглашение коррехидора.

Когда Ауристела, Рикла, Констанса, Периандр и оба Антоньо появились у коррехидора, их встретила его супруга, окруженная бадахосскими знатными дамами, которые пришли в удивление, изумление и волнение от одного вида паломников, поразившего их прежде всего своею необычностью, паломники же, снискав себе вящее благоволение хозяев своею скромностью и привлекательностью, оказались самыми почетными гостями среди тех, кого сюда привлекло представление пьесы о Кефале и Прокриде, в коей было показано, как ее истерзала несносная ревность, как ему изменил рассудок и как он, метнув в нее дротик, лишил ее жизни, а себя навеки лишил покоя. Стих в этой пьесе выше всяких похвал, да это и не удивительно: говорят, что эту пьесу написал Хуан де Эррера де Гамбоа^[37], которого завистники прозвали *Скудоумным*, и он достигает в ней вершин поэзии.

По окончании представления дамы разобрали до тонкости красоты Ауристелы и в конце концов сошлись на том, что ей подобает именоваться *Безукоризненным совершенством*, мужчины изъявили свое восхищение обворожительностью Периандра, после чего всеобщая хвала коснулась прелести Констансы и своеобразной наружности брата ее, Антоньо.

В Бадахосе путники пробыли три дня, в течение коих коррехидор отменное выказал радушие, супруга же его вела себя, как настоящая королева: она осыпала Ауристелу и других богомольцев дарами и подношениями, и те, изъявив ей свою благодарность и признательность, дали ей обещание, что они дадут ей знать о себе, где бы они ни находились.

Из Бадахоса путники отправились помолиться Гуадалупской божьей матери; по прошествии же трех дней пути, за каковой срок они прошли около пяти миль, ночь застигла их в глухом лесу, где преобладали дубы. Этот промежуток времени, эту пору между двумя равноденствиями провидение поддерживало в состоянии равновесия: люди не изнывали от жары, но и не страдали от холода, так что в случае надобности с таким же успехом можно было ночевать под открытым небом, как и под кровом. По этой причине, а равно и потому, что поблизости жилья не случилось, Ауристела предложила расположиться в пастушьем загоне. Все с нею согласились, однако ж стемнело так быстро, что, пройдя шагов двести по лесу, они вынуждены были приостановиться, дабы, взглядевшись в темноту, постараться различить огонек, который послужил бы им путеводною звездою и не дал бы сбиться с пути.

Внезапно тишину темной ночи нарушил конский топот — все замедлили шаг, а юноша Антоньо прибегнул к помощи неразлучного своего друга, то есть схватился за лук.

Тем временем с ними поравнялся всадник, которого лицо нельзя было разглядеть во мраке, и окликнул их:

— Добрые люди! Вы здешние?

— О нет! Мы издалека, — отвечал Периандр. — Мы чужеземцы-паломники, конечная цель нашего путешествия — Рим, а сейчас мы идем в Гуадалупе.

— А что, в чужих странах можно встретить участие и милосердие? Везде есть добрые души? — осведомился всадник.

— Конечно, есть! — отозвался Антоньо-отец. — Кто бы вы ни были, сеньор, вы можете быть уверены, что если вы нас о чем-либо попросите, то неудовлетворенным не останетесь.

— Возьмите, сеньоры, вот эту золотую цепочку, — снова заговорил всадник, — она стоит около двухсот эскудо, а с нею вместе возьмите вот это сокровище, коему нет цены, — я по крайней мере цены ему не знаю, — и отдайте и то и другое в городе Трухильо кому-нибудь из тех двух кавальеро, которые пользуются известностью не только в этом городе, но и во всем мире: одного из них зовут дон Франсиско Писарро, а другого — дон Хуан де Орельяна^[38]: оба они молоды, оба неженаты, оба богаты и оба люди достойнейшие.

И, сказавши это, он передал Рикле, которая, будучи женщиной сердобольной, поспешила к нему подойти, уже начинавшего плакать младенца, завернутого то ли в тряпье, то ли во

что-то ценное — в темноте этого нельзя было разглядеть.

— Скажите им, чтобы они берегли ребенка, — скоро они узнают, кто он таков, узнают и о его несчастье; впрочем, если он попадет к ним, значит не бывать бы счастьем, да несчастье помогло. А теперь простите — за мной гонятся мои враги. Если они вам встретятся и спросят, не видали ли вы меня, скажите, что не видали, — вам ведь это безразлично. А лучше скажите, что мимо вас промчались всадники с криком: «В Португалию! В Португалию!» Ну, прощайте, я тороплюсь: меня прищипывает страх, однако ж еще более острые шпоры вонзает в меня чувство чести.

Тут всадник дал шпоры коню и понесся было вихрем, но сейчас же вернулся, промолвил:

— Дитя некрещеное!

И ускакал.

Теперь представьте себе наших паломников: сначала Риклу с малюткой на руках; затем Периандра с цепочкой на шее; затем Антоньо-сына, все еще державшего лук наготове; затем Антоньо-отца, собравшегося вынуть шпагу из ножен, одновременно служивших ему посохом; затем Ауристелу, озадаченную и ошеломленную неожиданным происшествием, а теперь всех их вместе, одинаково пораженных странным этим случаем; первую, однако, вышла из оцепенения Ауристела и сказала, что они должны во что бы то ни стало добраться до пастухов — может, они там найдут, чем покормить новорожденного младенца: судя, мол, по тому, какой он крохотный и какой слабый у него голосок, родился он всего несколько часов назад.

Спутники послушались ее; когда же они кое-как добрались до загона, то, прежде чем они успели попросить пастухов приютить их на ночь, к загону, вся в слезах, подошла девушка, убитая горем, но владевшая собой, — чувствовалось, что она еле сдерживает просящиеся из груди рыдания. Она была полураздета, однако те одежды, какие на ней были, указывали на то, что она девушка знатная и богатая. Пламя костра бросало на нее свои отсветы и отблески, и благодаря этому, сколько ни старалась она прикрыть лицо, все ее разглядели и удостоверились, что она хороша собой и на вид совсем еще дитя; впрочем, Рикла, лучше других умевшая определять возраст, дала ей лет шестнадцать-семнадцать. Пастухи спросили, не гонится ли кто за ней и не нуждается ли она еще почему-либо в скорой их помощи, на что скорбящая девушка ответила им:

— Прежде всего, сеньоры, сделайте так, чтобы я провалилась сквозь землю, то есть скройте меня так, чтобы никто меня не нашел. А затем дайте мне поесть, не то я сейчас упаду от голода.

— Проворство наше покажет, что мы люди отзывчивые, — молвил старый пастух и, подбежав к могучему дубу, принялся устилать его дупло мягкими шкурами палых коз и овец, и таким образом у него получилось ложе, вполне пригодное для того, чтобы девушка могла там спешно укрыться. Затем он, подняв девушку на руки, посадил ее в дупло, а немного погодя дал ей молочного супу; он предложил ей и вина, да она отказалась; самое же дупло он завесил шкурами — якобы их повесили для просушки.

Рикла, догадавшись, что это, вне всякого сомнения, мать новорожденного младенца, приблизилась к сердобольному пастуху.

— Доверши благодеяние, добрый человек, — сказала она, — распространи доброту свою и на это дитя, что у меня на руках, иначе оно умрет от голода.

И тут она вкратце рассказала ему, как к ней попал ребенок.

Пастух понял, что она хочет сказать, подозвал одного из своих товарищей и велел ему отнести дитя к козам: пусть, мол, оно какую-нибудь из них пососет.

Только успел пастух унести дитя — именно только-только успел, плач младенца еще

стоял у всех в ушах, — как вдруг подскакали всадники и спросили пастухов, не видали ли они обессиленную девушку и всадника с ребенком, но, не получив нужных им вестей и сведений, с великою поспешностью проследовали дальше, отчего сразу воспряли духом все, кто принимал участие в спасении беглецов. Ночь же эту пленники провели лучше, чем могли ожидать, да и пастухам было с ними куда веселее.

Девушка, прячущаяся в дупле дуба, рассказывает о себе

Чрево дуба, если можно так выразиться, раздулось; тучи на небе набухли темнотою, заставшею взор всадникам, спрашивавшим про пленницу дуба. Однако ж старшему пастуху, отзывчивому по натуре, темнота не мешала раздобывать все, что нужно для приема гостей. Малютка питалась козьим молоком, посаженная в дупло поддерживала свои силы скромным деревенским угощением, странники же наслаждались необычайным и отрадным приютом. Всем хотелось узнать, что сюда привело измученную эту женщину — по-видимому, беглянку — и как здесь оказалось беспомощное дитя. Ауристела, однако ж, всех уговорила ни о чем не расспрашивать женщину до утра, оттого что волнение заграждает уста даже повествующим о событиях радостных, повествующим же о тяжелых испытаниях — и подавно. Старик поминутно подходил к дереву, однако обитательницу его он спрашивал только о ее здоровье. Беглянка же ему отвечала, что хотя все у нее сложилось так, чтобы ей навеки лишиться здоровья, но как скоро она уверилась, что опасность миновала: отец и братья ее не нашли, — то почувствовала, что здоровье к ней возвратилось. Старик то закрывал ее шкурами, то давал ей подышать воздухом; наконец оставил ее и присоединился к странникам; странникам же озаряли ночную тьму не столько светила ночи, сколько костры и огни пастухов, и еще до того, как усталость принудила их отойти ко сну, у них с пастухами было решено, что тот пастух, который отнес дитя к козам, дабы те исполнили по отношению к нему обязанности кормилиц, отнесет его к сестре старого пастуха, проживавшего в небольшой деревушке, в двух милях отсюда. Путники вручили пастуху золотую цепочку для передачи этой женщине, и пусть, мол, ребенок в этой деревне и воспитывается, родился же он, мол, в одной из деревень близлежащих. Кроме того, было заранее уговорено и условлено, как направить по ложному следу ту, первую погоню, если она возвратится, или же новую, снаряженную все с тою же целью найти погибающих; должно заметить, что путешественники наши именно как на погибающих смотрели и на всадника и на беглянку. За разговором и за едою время прошло незаметно, а затем очи странникам мгновенно смежил сон, уста им сковало безмолвие, безмолвие же ночи в конце концов сменилось вновь наступившим днем, веселым для всех, кроме боязливой пленницы, которая, сидя в дупле, *не смела на яркий свет солнца взирать*. Пастухи, расставив поблизости и вдалеке от загона часовых, чтобы они, как кого завидят, тотчас давали знать, все же извлекли женщину из дупла: во-первых, ей необходимо было подышать свежим воздухом, а во-вторых, всем хотелось узнать, что же с ней приключилось. И при свете красного солнышка все увидели, что беглянка прекрасна, так что даже возник спор, кто должен занимать второе после Ауристелы место по красоте — она или Констанса, первое же место неизменно оставалось за Ауристелой, ибо по воле природы равных себе она не имела. Беглянку стали наперебой расспрашивать и молить, и все эти расспросы и предшествовавшие им мольбы клонились к тому, чтобы она поведала свои горести, она же из любезности и из чувства признательности согласилась и, преодолевая слабость, тихим голосом начала рассказывать:

— Хотя мне поневоле придется по ходу рассказа обнаружить перед вами, сеньоры, мои оплошности, из-за которых пала тень на мое доброе имя, но уж лучше я исполню ваше желание и тем самым окажу вам любезность, чем покажусь неблагодарной, если их от вас утаю. Зовут меня Фелисьяна де ла Вос. Родилась я в селении, до которого отсюда недалеко. Знатность моих родителей намного превосходит их достояние. Краса моя ныне увяла, однако

прежде на меня обращали внимание и отзывались о моей наружности благосклонно. Поблизости от того селения, которому небо судило стать моим родным селением, проживает некий весьма состоятельный идалго, коего образ жизни и многочисленные достоинства таковы, что его почитают за настоящего кавальеро. У него есть сын, унаследовавший как немалые достоинства своего отца, так и несметное его богатство. Там же проживает некий кавальеро со своим сыном, люди знатные, но небогатые, и честно нажитого среднего своего достатка они не стыдятся, но и не кичатся им. Вот за этого-то родовитого юношу отец мой и два моих брата и порешили выдать меня замуж, оставшись глухи к мольбам богатого идалго отдать меня за него, — видно, небу было угодно послать мне это испытание, а в будущем я предвижу еще много других; однако супругом моим стал богатый идалго, я же ему отдалась втайне от моего отца и братьев — матери я, к величайшему моему несчастью, лишилась. Мы часто виделись с ним наедине — в таких обстоятельствах случай никогда не поворачивается к любовникам спиной: когда, кажется, всё против них, тут-то он и подставит им свой вихор.

Эти наши тайные свидания привели к тому, что одежда моя стала мне тесной, а мой позор увеличился в размерах, если только можно назвать позором сближение двух обручившихся любовников. Тем временем мой отец и братья без моего ведома сговорились выдать меня за юношу родовитого и, недолго думая, вчера вечером привели в наш дом его самого и двух его ближайших родственников с тем, чтобы мы, даром времени не теряя, обручились. Когда я увидела, что к нам идет Луис Антоньо — так зовут родовитого юношу, — сердце у меня сжалось, но как же я была потрясена, когда отец велел мне пойти к себе и принарядиться, потому что сейчас-де надлежит быть моему обручению с Луисом Антоньо! У меня уже назад тому два дня как наступило то естественное состояние, что бывает перед самыми родами, а тут еще это неожиданное взволновавшее меня известие, при получении которого я вся помертвела, а затем, дав отцу согласие, пошла к себе и, упав на руки горничной девушке, хранительнице моих тайн, заговорила с нею, меж тем как очи мои являли собою два неиссякаемых источника слез:

«Ах, Леонора! Видно, мне больше на свете не жить. В гостиной сидит Луис Антоньо — он ждет, чтобы я вышла к нему и отдала ему свою руку. Ни одна несчастная женщина не находилась в таких крайних обстоятельствах, в таком безвыходном положении, как я. Родная моя! Пронзи мне грудь, извлеки мою душу из тела, да не погубит ее мое бесстыдство! Ах, подруженька! Я умираю! Пришел мой конец!»

И тут я, испустив глубокий вздох, скинула младенца, и невероятный этот случай поразил мою служанку, а у меня отнял разум: не зная, что предпринять, я покорно ждала, когда войдут мой отец и братья и, вместо того чтобы вести меня к жениху, положат меня в гроб.

На этом самом месте Фелисьяне пришлось прервать свой рассказ, ибо часовые, поставленные для охраны, подали знак, что кто-то идет, и тут старый пастух с неожиданным для его лет проворством чуть было снова не упрятал Фелисьяну в дупло, в сие надежное убежище для ее недоли, однако же часовые дали знать, что то была фальшивая тревога, ибо люди, которых они заметили, свернули на другую дорогу, и тогда все успокоились, а Фелисьяна де ла Вос продолжала:

— Вообразите, сеньоры, в каком отчаянном положении находилась я вчера вечером: в гостиной меня ожидает жених, а в саду меня ждет на свидание мой — если только это подходящее слово — любовник, который не подозревает о том, в какой я пребываю крайности, и о том, что здесь Луис Антоньо; я от волнения впала в беспамятство; моя горничная девушка в совершенном смятении держит на руках младенца; отец мой и братья никак не дождутся злосчастной этой помолвки и поминутно торопят меня. От такой напасти

мог бы свихнуться и более ясный ум, а не то что мой; самая светлая голова, самая здравая мысль ничего не могли бы в сем случае придумать. Что же мне еще вам сказать? Хоть и была я без чувств, а все-таки почувствовала, как вошел мой отец.

«Скорей, дочка! — сказал он. — Выходи как есть: твоя краса восполнит беспорядок в одежде и послужит тебе наилучшим убором».

Тут, сколько я себе представляю, его ушей достиг плач ребенка, которого моя служанка, по всей вероятности, спрятала или же отдала Росаньо — так зовут того человека, которого я выбрала себе в мужья. Отец встревожился и, поднеся к моему лицу свечу, прочел на нем все: и мое потрясение и дурноту. И тут снова слух его был поражен долетевшим откуда-то плачем новорожденного, и, выхватив из ножен шпагу, он бросился туда, откуда плач доносился. Перед смутным моим взором блеснула сталь, и в тот же миг сердце мое преисполнилось ужаса, а как всем людям сродно бояться за свою жизнь, то из моего страха ее утратить выросло стремление спасти ее, и только отец мой за дверь, как я, в чем была, по винтовой лестнице спустилась вниз, оттуда мне уже ничего не стоило выбраться на улицу, с улицы — в поле, а с поля — на неведомую дорогу, и по этой дороге, гонимая страхом и влекомая ужасом, я, точно у ног моих неожиданно выросли крылья, бежала быстрее, чем мне это позволяли слабые мои силы. Много раз я была готова броситься с кручи и разом покончить все счеты с жизнью, и столько же раз я была готова повалиться и растянуться на земле — будь, мол, что будет! Однако свет из ваших хижин придал мне бодрости, и, напрягши последние силы, я пошла на огонек, полагая что найду у вас отдых для моей усталости и если не избавление, то все же некое облегчение моих страданий. Как я здесь очутилась, это вы видели своими глазами, а теперь я, благодаря вашему милосердию и радушию, вижу, что спасена. Такова, сеньоры, моя история, а каков будет ее конец, про то знает небо, на земле же своими благими советами поможете мне вы.

На этом кончила свою повесть несчастная Фелисьяна де ла Вос, слушатели же преисполнились изумления и в равной мере сострадания. Периандр тотчас сообщил ей, какими судьбами у них очутился ее ребенок и кто им дал цепочку — словом, рассказал про встречу со всадником.

— Боже мой! — воскликнула Фелисьяна. — Неужто дитя мое нашлось? Значит, это Росаньо поручил его вашим заботам? Когда я его увижу, то по лицу, конечно, не узнаю, — ведь я же его еще не видала, — но, может статься, пеленки, в которые он завернут, извлекут на свет истину, окутанную мраком моего неведения: в самом деле, во что могла завернуть дитя моя застигнутая врасплох горничная девушка, как не в пеленки, которые лежали в моей комнате и которые я, разумеется, сразу узнаю? Если же пеленки не те, то, может статься, во мне заговорит голос крови, и некое тайное чувство подскажет мне, мой это ребенок или чужой.

Пастух же ей на это сказал:

— Ребенок находится в моей родной деревне на попечении моей сестры и моей племянницы. Нынче же они принесут его сюда, и тогда, милая Фелисьяна, тебе все станет ясно. И ты не бойся, сеньора: мои пастухи и вот это дерево послужат облаком, которое скроет тебя от очей преследователей.

— Сдается мне, братец, — сказала Периандру Ауристела, — что бедствия и опасности властвуют не только на море, но и на суше. Невзгоды и несчастья случаются как с теми, кто взбирается на верхи гор, так равно и с теми, кто укрывается на дне теснины. Так называемая Фортуна, о которой я не раз слыхала, будто она лишает благ и оделяет ими когда, как и кого ей вздумается, вне всякого сомнения слепа и своенравна: ведь, на наш взгляд, она возвышает тех, кому надлежит ютиться внизу, и сбрасывает тех, кому подобает обитать на лунных горах. Мне трудно объяснить тебе, братец, свою мысль, но я вот что хочу сказать: эта сеньора, назвавшая себя Фелисьяной де ла Вос (кстати сказать, слово «вос» по-испански означает «голос», а голос ей все время изменяет, когда она ведет речь о своих злоключениях), вызывает у нас вполне понятное чувство изумления. Я живо себе представляю, как назад тому всего лишь несколько часов она у себя дома, окруженная родными и домочадцами, изыскивает хитроумный способ претворить в жизнь дерзновенные свои замыслы, а сейчас я вижу ее уже воочию: вон она прячется в дупле дуба и всего на свете боится — каждой мошки, каждого червячка. Конечно, ее падение — это не то, что падение сильных мира сего, и все же этот случай может служить примером для всех благонравных девушек, стремящихся к тому, чтобы поведение их было во всех отношениях примерным. Вот почему я умоляю тебя, брат мой: оберегай мою честь. Ведь с тех пор, как я вышла из-под опеки моего отца и твоей матери, я вверила ее тебе. И хотя ты на деле неопровержимо доказал свою добропорядочность, — как в безлюдных пустынях, так и во многолюдных городах, — все же я опасаюсь, что время изменит направление твоих мыслей, мысли же человеческие легко этому поддаются. Все зависит от тебя. Честь моя в твоих руках. Одно и то же стремление влечет нас, одна и та же надежда питает нас. Путь, на который мы вступили, долог, однако ж нет такого пути, который рано или поздно не кончился бы, если только этому не воспрепятствуют лень и безделье. Вот мы уже и в Испании, мы избавились от опасного общества Арнальда, за что я неустанно благодарю бога. Нам теперь уже нечего бояться ни кораблекрушений, ни бурь, ни разбойников: ведь об Испании идет такая слава, что это самая мирная и самая благочестивая страна на всем свете; следственно, дальнейшее путешествие наше обещает быть благополучным.

— О сестра моя! — воскликнул Периандр. — Во всем, во всем сказывается твой всеобъемлющий ум! Я вижу ясно: ты испытываешь страх, как всякая женщина, но благоразумие твое придает тебе бодрости. Дабы рассеять основательные твои подозрения, я бы хотел возбудить в тебе новые надежды и укрепить в твоем сердце доверие ко мне. Правда, уже испытанного нами довольно, чтобы страх сменился упованием, упование — твердою уверенностью, уверенность же в конце концов — радостью достижения намеченной цели. Со всем тем я бы хотел, чтобы новые происшествия оправдали твоё доверие ко мне. У пастухов нам больше делать нечего, Фелисьяне мы можем помочь только сочувствием. Постараемся же доставить в Трухильо младенца по просьбе того человека, что отдал нам его вместе с цепочкой, которою он, как видно, хотел оплатить наши труды.

Во время этого разговора появились старый пастух и его сестра с младенцем, за которыми он посылал в деревню по просьбе Фелисьяны, желавшей увериться, ее ли это ребенок.

Ребенка поднесли к Фелисьяне; она долго и пристально разглядывала его, затем распеленала; ничто, однако же, не подтвердило, что это ее дитя, и самое замечательное: естественное материнское чувство не подсказало ей, что это ее ребенок. Новорожденный

оказался мальчиком.

— Нет, — сказала Фелисьяна. — Это не те пеленки, которые приготовила моя горничная, чтобы завернуть мое дитя, и эту цепочку (цепочку ей тоже показали) я никогда не видела у Росаньо. Это чей-нибудь еще малютка, но только не мой. Ведь если б это было мое дитя, разве я не обезумела бы от счастья, что, потеряв своего ребенка, я неожиданно нашла его? Правда, я много раз слышала от Росаньо, что у него есть друзья в Трухильо, но не могу припомнить, как их зовут.

— Со всем тем, — сказал пастух, — раз человек, который отдал младенца странникам, просил отнести его в Трухильо, то я подозреваю, что то был Росаньо. А потому я предлагаю, — если только тебе это может помочь, — послать мою сестру с младенцем и с двумя моими пастухами в Трухильо, дабы удостовериться, примет ли младенца кто-нибудь из тех двух кавальеро, о которых толковал Росаньо.

Вместо ответа Фелисьяна, зарыдав, бросилась пастуху в ноги и крепко их обняла — то был знак, что она его план одобряет. Странники также одобрили план пастуха и, вручив ему цепочку, ускорили дело. Сестра пастуха, сама недавно разрешившаяся от бремени, взмоглась на лошадку, и ей было велено оставить своего ребенка у себя в деревне, а с чужим ребенком ехать в Трухильо, странники же, направляющиеся в Гуадалупе, не спеша, дескать, пойдут следом за ней.

Как задумали, так и исполнили, и при этом — нимало не медля, ибо дело было срочное и отлагательств не терпело. Фелисьяна молчала и молчанием своим как бы изъясляла признательность тем, кто так близко принял к сердцу ее горе. Когда же Фелисьяна узнала, что странники направляются в Рим, то, прельщенная красотой и умом Ауристелы, учтивостью Периандра, ласковыми речами Констансы и матери ее Риклы, обходительностью Антоньо-отца и Антоньо-сына, — все это она успела разглядеть, заметить и оценить за короткое время их знакомства, — а главное, чтобы не видать больше той земли, где погребена ее честь, она попросила их взять ее с собою в Рим: до сих пор она-де странствовала за свои грехи, а теперь, если, бог даст, они согласятся взять ее с собой, она будет странствовать по обету. Ауристела прониклась жалостью к Фелисьяне; ей хотелось как-нибудь вырвать ее из круга тревог и волнений, и оттого она тотчас же с радостью ухватилась за эту мысль. Единственное препятствие она усматривала в том, что Фелисьяна недавно родила, однако ж старый пастух заметил, что между родившей женщиной и родившей самкой любого животного никакой разницы нет: самка животного после родов в постели не нежится, она остается под открытым небом, так же точно и женщине нежиться не обязательно: она может тотчас после родов приступить к повседневным своим занятиям; это, мол, только такой обычай, что женщины после родов нежатся в постели и с ними долго еще потом возятся.

— Я совершенно уверен, — добавил пастух, — что когда Ева родила первенца, то в постели потом не валялась, свежего воздуха не береглась и не кривлялась, как нынешние роженицы. Так что, сеньора Фелисьяна, соберись с силами и следуй велению твоего сердца, которое я весьма одобряю, — святое дело, истинно христианское дело!

Тут заговорила Ауристела:

— А странническое одеяние для вас найдется: я оказалась запасливой и сшила себе сразу два платья, и одно из них я уступлю вам, сеньора Фелисьяна де ла Вос, с условием, однако ж, что вы мне откроете тайну: что такое де ла Вос — прозвище или же фамилия, а если прозвище, то почему оно вам дано?

— Это не моя фамилия, — пояснила Фелисьяна. — Все, кто когда-либо меня слышал, в восторге от моего пения; вот за этот мой дар меня и прозвали *де ла Вос*. Сейчас мне в пору плакать, а не петь, а то бы я вам показала свое искусство. Вот если у меня что-нибудь

изменится к лучшему и глаза мои высохнут, то я вам спою, и пусть это будут не веселые, а печальные песни, вы все равно их заслушаетесь и будете плакать слезами радости.

После этих слов Фелисьяны у всех явилось желание теперь же ее послушать. Никто, однако ж, не осмелился ее об этом просить, ибо, как она сказала, петь ей сейчас было не время.

На другой день Фелисьяна сменила уже ненужную ей одежду на одежду странницы, которую ей уступила Ауристела. Она сняла с себя жемчужное ожерелье и два кольца: украшения всегда свидетельствуют о звании того или иного человека, эти же вещи свидетельствовали о том, что Фелисьяна — женщина знатная и богатая. Рикла на правах всеобщей казначейши взяла их на хранение, и с этой минуты Фелисьяна заняла второе по красоте место среди женщин-странниц, тогда как первое осталось за Ауристелой, а Констанса заняла третье, хотя, впрочем, мнения разделились: некоторые по-прежнему отводили второе место Констансе; что же касается первого места, то у Ауристелы никто оспорить его не мог.

Как скоро Фелисьяна переоделась, к ней вернулась прежняя бодрость, и ее потянуло в путь-дорогу. Удостоверившись в том, Ауристела и все остальные путники простились с отзывчивым пастухом и его подпасками, а затем привычным неспешным шагом, предохраняющим тело от усталости, направились в Касерес. Если же какая-нибудь из женщин начинала ощущать хоть какую-то, самую легкую усталость, то усталость эту снимала тележка, или же берег то ручья, то родника, где странники тотчас располагались, или же зеленая лужайка, к сладостному манившая отдохновению. Таким образом, постоянными их спутниками были отдых и усталость, медлительность и проворство. Медлительность сказывалась в том, что они проходили за день расстояние небольшое, проворство же — в том, что они неуклонно продвигались вперед. В большинстве случаев, однако ж, ни одно благое намерение не приходит к счастливому концу без того, чтобы не встретить на своем пути каких-либо препон, — так и тут попущением божием все это собрание людей приятной наружности, столь различных и в то же время связанных между собой единою целью, натолкнулось на препятствие, о коем вы сейчас услышите.

Мурава прелестного луга соблазнила путников сделать привал. Путники освежились чистой, приятной на вкус водой ручейка, прятавшегося в густой траве. Стеной и оградой служили им заросли ежевики и жимолости, окружавшие их почти со всех сторон; словом, то было место уютное и для отдыха удобное, и вдруг из чащи кустарника на зеленый лужок вышел одетый подорожному юноша, насквозь пронзенный шпагой, которой острие торчало у него в груди. Он тут же упал ничком и, падая, успел вымолвить:

— Боже, помилуй меня!

Сказавши это, он испустил дух.

Потрясенные необычайным зрелищем, путники, все как один, вскочили, однако первым бросился к юноше Периандр и, видя, что тот уже мертв, решил извлечь шпагу. Антоньо-отец и Антоньо-сын стали обшаривать кусты — не притаился ли где-нибудь убийца, не только жестокий, но и коварный, ибо нанести удар в спину способна лишь рука вероломная. Никого не найдя, они присоединились к своим спутникам, разглядывавшим убитого юношу, коего цветущие лета, стройность и пригожесть усилили в них чувство жалости. Подвергнув осмотру его одежду, они обнаружили между коричневым бархатным плащом и камзолом цепочку, состоявшую из четырех рядов мелких золотых колечек, а на этой цепочке висел золотой крест. Между камзолом и сорочкой была обнаружена искусно выточенная из черного дерева коробочка, а в ней — написанный на гладкой дощечке чудный женский портрет, вокруг которого мелкими, однако ж отчетливо видными буквами были написаны

нижеприводимые стихи:

Всех миниатюра эта
Жжет огнем, бросает в дрожь.
Мал портрет, но как хорош
Лик, взирающий с портрета!

По стихам Периандр, прочитавший их первым, догадался, что причина этой смерти — любовь.

Путники осмотрели и обшарили все его карманы, но не нашли ничего, что могло бы объяснить, кто таков убитый юноша. И вот во время этого осмотра вдруг как из-под земли выросли четыре человека, вооруженные арбалетами, и по их знакам отличия Антоньо-отец тотчас смекнул, что это стражники Святого братства^[39], из коих один в эту самую минуту крикнул:

— Стойте, грабители, стойте, убийцы, стойте, разбойники! Вам не удастся обогнать его дочиста! Мы подоспели вовремя — сейчас мы отведем вас туда, где вы сполна заплатите за свое преступление.

— Посмейте только, негодяи! — воскликнул Антоньо-сын. — Среди нас нет грабителей, мы сами — их заклятые враги.

— Оно и видно, — заметил стражник. — Вон лежит убитый, вы роетесь в его вещах, на руках у вас его кровь — все это улики более чем красноречивые. Вы — грабители, вы — разбойники, вы — убийцы, и, поелику вы — грабители, разбойники и убийцы, вы скоро понесете достойную кару за свое злодеяние, и вас не спасут страннические одежды — сей плащ добродетели христианской, коим вы тщитесь прикрыть содеянные вами мерзости.

На это стражнику ответил Антоньо-сын: нацелившись ему в грудь, он метнул стрелу, но попал не в грудь, а в руку. Остальные стражники, то ли с перепугу, то ли для того, чтобы потом с меньшим для себя риском изловить преступников, бросились бежать, но, не утратив присутствия духа, они на бегу громогласно зывали:

— Святое братство бьют! На помощь Святому братству!

И, как видно, их братство в самом деле было святым, оттого что каким-то чудом в мгновение ока сюда набежало более двадцати стражников, каковые стражники, целясь из арбалетов в путников, не оказывавших им ни малейшего сопротивления, окружили их и схватили, не сделав исключения даже для такой красавицы, как Ау-ристела, и вообще ни для кого из странниц, а затем вместе с мертвым телом препроводили их всех в Касерес, коего коррехидор принадлежал к ордену Сант-Яго, и вот этот самый коррехидор, увидев мертвое тело и раненого стражника, выслушав донесение прочих стражников, обнаружив на Периандре следы крови и посовещавшись со своим помощником, хотел было всех задержанных без дальних разговоров подвергнуть пытке, однако Периандр произнес доказательную речь и предъявил полученные в Лисабоне бумаги, обеспечивавшие им всем неприкосновенность и дававшие им право безвозбранно следовать своим путем. Кроме того, он показал коррехидору полотно с изображением своих приключений, а Антоньо-сын отлично объяснил и изложил содержание картинок, и доказательства эти убедили коррехидора в совершенной невинности странников. Но тут казначейша Рикла, весьма мало, а вернее сказать, ничего не смыслившая в нравах и обычаях стряпчих и поверенных, под шумок предложила одному из них, стоявшему в толпе и знаками дававшему ей понять, что он может их выручить, некую сумму. Этим она чуть было не испортила все дело, ибо стоило

судейским крючкам пронюхать, что чужеземцы — не голяки, и они в ту же секунду задумали, как это у них принято и как это у них водится, обождать путников до нитки, в чем бы они, вне всякого сомнения, и преуспели, когда бы небо не помогло невинности восторжествовать над неправдой. А случилось так, что некий хозяин то ли трактира, то ли постоянного двора видел, как несли убитого, и, мигом опознав его, поспешил к коррехидору и объявил:

— Сеньор! Человек, тело которого к вам доставили стражники, вышел от меня вчера утром, а вместе с ним вышел еще один человек, по виду — кавальеро. Перед тем как уйти, несчастный заперся со мной у меня в комнате и, уверясь, что нас никто не слышит, сказал: «Я взываю к вашим христианским чувствам, хозяин, и обращаюсь к вам с просьбой: если я в течение шести дней к вам не вернусь, то вскройте это письмо в присутствии правосудия». Сказавши это, он вручил мне письмо, а я передаю его вашей милости, — думается мне, что оно имеет прямое касательство к необычайному этому происшествию.

Коррехидор взял письмо и, вскрыв его, прочел следующее:

«Я, дон Дьего де Паррасес, выехал из столицы его величества тогда-то (в письме был точно указан день) вместе с моим родственником доном Себастьяном де Сорансо, просившим меня быть ему спутником, от какового путешествия будто бы зависели честь его и жизнь. Дабы в нем не укрепились ложные подозрения на мой счет, я, никакой вины за собой не зная, сам прыгнул в вырытую для меня яму и поехал с ним. Я чувствую, что он меня убьет. Если это случится и если мое тело будет найдено, то пусть все знают, что меня убили изменой и что пострадал я безвинно».

Под этим стояла подпись: «Дон Дьего де Паррасес».

Это письмо коррехидор с превеликою поспешностью переправил в Мадрид, и там власти приложили все старания, чтобы изловить убийцу, убийца же подъехал к своему дому в ту ночь, когда его уже начали искать, и, что-то учуяв, поворотил коня и исчез бесследно. Преступление так и осталось безнаказанным, убитый не воскрес, задержанные были освобождены, найденная на груди убитого и переданная на хранение Рикле цепочка пошла в уплату судебных издержек, портрет был оставлен в усладу очей коррехидоровых, раненый стражник получил денежное вознаграждение, юноша Антоньо еще раз подивил народ, рассказав, что изображено на полотне, Фелисьяна же, дабы никто ее не узнал, сказалась больной и, пока шло дознание, лежала в постели, а затем путники двинулись в Гуадалупе и всю дорогу проговорили о чрезвычайном этом происшествии, мечтая в то же время, чтобы сбылось их желание послушать пенье Фелисьяны де ла Вос, и она бы рано или поздно им спела, ибо всякая скорбь или успокаивается, или уж пресекается вместе с жизнью, однако ее рана была еще свежа и в голосе у Фелисьяны слышались слезы, а из груди у нее вместо звуков песен излетали стоны.

Стоны эти утихли только после того, как им повстречалась возвращавшаяся из Трухильо сестра пастуха: она сообщила, что оставила дитя у дона Франсиско Писарро и дона Хуана де Орельяна, которые, узнав, где именно произошла встреча странников с человеком, отдавшим им ребенка, рассудили, что то был их друг Росаньо, ибо никто другой во всей округе не рискнул бы им довериться.

— Они мне вот что сказали, — добавила крестьянка: — «Как бы, мол, там ни было, а кто нам доверится, тот не раскается». Коротко говоря, сеньоры, ребенка я оставила у этих людей в Трухильо. А еще осмелюсь доложить: цепочка при мне, я все же от нее не отказалась, хотя та цепь, которою прикована моя воля к долгу христианки, куда крепче золотой, и ради нее я бы и не то еще могла сделать.

В ответ на это Фелисьяна высказала пожелание, чтобы крестьянка носила эту цепочку много лет и чтобы нужда не заставила крестьянку с нею расстаться, а то ведь драгоценности в домах у бедняков обыкновенно, мол, не задерживаются, оттого что те либо такие вещи закладывают, либо продают, а уж откупить им потом не на что.

Тут крестьянка с ними простилась, путники попросили передать ее брату и другим пастухам приветы и поклоны, а некоторое время спустя они уже ступили на священную землю гуадалупскую.

Как скоро благочестивые паломники вышли на одну из двух дорог, ведущих к долине, которую окружают и обступают со всех сторон высокие гуадалупские горы, то в их сердцах с каждым шагом начало расти изумление. Однако предела своего оно достигло, когда взору их явился величественный и благолепный монастырь, в стенах которого находится чудотворный образ царицы небесной; чудотворный образ — избавление плененных; чудотворный образ, сбивающий с них оковы, муки их облегчающий; чудотворный образ — исцеление недугующих, утешение страждущих; чудотворный образ матери всем сиротам и спасительницы от бед.

Богомольцы вошли в храм и увидели, что стены его украшены не тирским пурпуром, не сирийскою камкою и не миланской парчою, но костылями, которые здесь оставили хромые, восковыми глазами, которые здесь оставили слепые, деревянными руками, которые здесь повесили однорукие, саванами, снятыми с мертвецов, — все это здесь оставили некогда пребывавшие в пучине скорбен, а ныне воскрешенные, а ныне здоровые, а ныне освобожденные и счастливые благодаря безграничному милосердию матери всяческого милосердия, по молитвам которой благословенный сын ее на этом малом пространстве ратоборствует вместе со всем воинством неисчислимых своих доброт.

Такое впечатление произвели чудесные эти украшения на благочестивых паломников; они вновь обвели очами храм, и показалось им, будто по воздуху летят вырвавшиеся из плена, спеша сложить свои цепи у подножья святых монастырских стен, исцеленные — спеша поставить здесь свои костыли, воскрешенные — спеша расстелить свои саваны, и все они ищут места, ибо святой храм их уже не вмещает — стены его увешаны сплошь. Такого ни Периандру, ни Ауристеле, ни Рикле, ни Констансе, ни Антоньр отроду не приходилось видеть, и это Их как бы ужаснуло, и они долго не могли наглядеться на то, что было у них перед глазами, и надивиться тому, что прозревали они очами духовными, а затем опустились на колени и с истинно христианским благоговением поклонились господу богу и помолились пресвятой его матери, чтобы она их, верующих в чудотворность ее образа и чтущих его, приняла под покров свой. Но вот что было всего изумительнее: Фелисьяна де ла Вос, стоя на коленях и сложив руки на груди, проливая обильные слезы, но со спокойным выражением лица, не шевеля губами, не делая никаких движений и не подавая никаких признаков жизни, вознесла дух свой горе и, давит волю своему голосу, пропела несколько стихов, которые она знала наизусть и которые потом переписала для Ауристелы, и пение это поразило всех, кто ее слушал, и подтвердило справедливость той похвалы, с которой она сама отозвалась о своем голосе в беседе с паломниками, ныне получившими от ее пения, которое они так жаждали услышать, полное удовлетворение.

Фелисьяна успела пропеть четыре строфы, когда двери храма отворились и вошли какие-то двое; обычай, а равно и богобоязненность обоих незнакомцев повергнули их ниц перед образом, голос же Фелисьяны, все еще продолжавший звучать, повергнул их, так же как и паломников, в изумление. Наконец один из них, находившийся уже в преклонном возрасте, обратился к спутнику своему и сказал:

— Или то голос серафима, или то голос дочери моей Фелисьяны де ла Вос.

— Какое же тут может быть сомнение? — вскричал другой. — Это она, но сейчас она перестанет быть ею, если только не промахнется моя рука.

С последним словом он выхватил кинжал и, мгновенно побледнев, дико вращая глазами, неверным шагом направился к Фелисьяне. Маститый старец бросился за ним и, обхватив его

за плечи, молвил:

— Здесь, сын мой, не место для тяжелых сцен и для наказаний. Время терпит: послушница от нас не убежит, так что спешить тебе некуда, иначе вместо того, чтобы наказать чужое преступление, ты примешь на себя вину за преступление, совершенное тобою самим.

Эти речи и этот переполох наложили печать на уста Фелисьяны и одновременно переположили паломников, а равно и всех остальных молящихся, и все же молящиеся не смогли помешать отцу и брату Фелисьяны вывести ее из храма на улицу, а на улице в одну минуту собрались чуть ли не все жители городка, равно как и представители власти, которым все же удалось отнять власть над Фелисьяной у ее отца и брата, державших себя с нею не как близкие родственники, а как ее палачи.

Смятение все еще длилось: отец требовал, чтобы ему отдали дочь, брат требовал, чтобы ему отдали сестру, власти впредь до выяснения всех обстоятельств отказывались ее выдать, но тут с площади на улицу выехали шесть всадников, из коих двое всем здесь были знакомы: весь народ сейчас узнал дона Франсиско Писарро и дона Хуана де Орельяна; они же, привлеченные шумом, вместе с каким-то еще кавальеро, лицо которого было закрыто черной тафтой, спросили, из-за чего такой крик. Им ответили, что, как видно, только из-за того, что власти вступились за странницу, которую хотят убить двое мужчин, — должно полагать, брат ее и отец. Дон Франсиско Писарро и дон Хуан де Орельяна продолжали слушать, о чем говорят, как вдруг кавальеро в маске спрыгнул с коня, выхватил шпагу, сорвал с лица маску и, мгновенно очутившись рядом с Фелисьяной, громким голосом заговорил:

— Вы с меня, сеньоры, с меня взыскивайте за грех Фелисьяны, если только выйти замуж против воли родных — это такой великий грех, за который должно убивать! Фелисьяна — моя супруга, а я, как видите, Росаньо, и не такого уж я низкого звания, чтобы мне нельзя было отдать по добровольному соглашению то, что я сумел взять хитростью. Я человек благородного происхождения, и это может быть установлено свидетельскими показаниями; знатность моя сочетается с состоятельностью, а потому напрасно Луис Антоньо ради вашей прихоти отнимает у меня супругу, которая мне досталась по счастливому стечению обстоятельств. Если же вам обидно, что я с вами породнился, у вас не спросясь, то уж за это вы меня простите — всемогущие силы любви помрачают и более ясные умы, вы же оказали явное предпочтение Луису Антоньо, вот почему я и не соблюл должных приличий, за что вторично прошу у вас прощения.

Во все продолжение речи Росаньо Фелисьяна, дрожащая, испуганная, подавленная и все же прекрасная, держалась за его пояс и прижималась к его плечу. Прежде чем отец и брат ее успели что-нибудь ответить, дон Франсиско Писарро заключил в свои объятия отца, а дон Хуан де Орельяна — брата, ибо то были их близкие друзья. Дон Франсиско сказал отцу:

— Где же ваше благоразумие, сеньор дон Педро Те-норьо? Зачем вы действуете во вред себе? Ведь в подобного рода проступках заложено их оправдание. Ну, чем Росаньо не пара Фелисьяне? И что останется в жизни у Фелисьяны, если у нее отнять Росаньо?

Почти то же самое сказал дон Хуан де Орельяна брату Фелисьяны, прибавив только вот что:

— Сеньор дон Санчо! Порывы гнева добром не кончаются. Гнев — это буря душевная; обуреваемая же страстью душа редко когда достигает цели. Сестра ваша сумела выбрать себе хорошего мужа. За несоблюдение же церемоний и неисполнение обязанностей мстить не должно, иначе обрушится и обвалится здание вашего спокойствия. Послушайте, сеньор дон Санчо: у меня в доме ребенок, ваш племянник, и отречься от него вам не удастся: это было бы равносильно тому, что вы отреклись бы от самого себя, — так он на вас похож.

Вместо ответа дону Франсиско отец Фелисьяны приблизился к своему сыну дону Санчо

и взял у него кинжал, затем подошел к Росаньо и обнял его, а Росаньо припал к ногам того, кого он уже признал своим тестем. В ту же минуту опустилась перед отцом на колени и Фелисьяна, и снова у нее потекли слезы, из груди вырвались вздохи, перед глазами все поплыло. Присутствовавшие возликовали. Отец прослыл в народе рассудительным, сын прослыл в народе рассудительным, друзья их — находчивыми и красноречивыми. Коррехидор пригласил виновников происшествия к себе; настоятель святой обители наиобильнейшую предложил им трапезу; паломники приложились ко всем многочисленным, чтимым и богато убранным святыням монастыря, исповедались в грехах своих, причастились святых таин, и за это время — всего они пробыли здесь три дня — дон Франсиско успел послать за ребенком, тем самым ребенком, которого принесла к нему крестьянка и которого Росаньо отдал ночью Периандру вместе с цепочкой, и ребенок оказался так мил, что дедушка, позабыв все обиды, при виде его воскликнул:

— Дай бог здоровья твоим родителям!

С этими словами он взял ребенка на руки, омочил ему личико слезами умиления, а затем осушил их своими поцелуями и отер ему личико своими седидами.

Ауристела попросила Фелисьяну переписать ей то песнопение, которое она пела перед священным образом; Фелисьяна же сказала, что она спела только четыре строфы, а всего их двенадцать, и все двенадцать нужно-де знать наизусть, и она переписала для Ауристелы это стихотворение. Вот оно:

В те дни, когда еще не породил
Крылатых духов разум довременный,
И не пришел в движенье хор светил,
Круговорот свершая неизменный,
И золотым лучом не озарил
Лик солнца изначальный мрак вселенной,
Уже соорудил себе творец
Сверкающий заоблачный дворец.

Заложено смирение в основанье
Чертога, что воздвигнул царь царей,
И тем несокрушимее все зданье,
Чем это чувство глубже и полней.
Постройке нет предела и скончанья,
Луна песчинкой кажется пред ней,
Она прочней и выше тверди горней,
Морей, и суши, и небес просторней.

На веру опирается она,
И стены ей надежда заменяет;
Цементом милосердья скреплена,
Она, как бог, старения не знает;
Ей никакая стража не нужна —
Ее от зла воздержность охраняет,
А сила, справедливость, мудрость — суть
Врата, к ней открывающие путь.

Вокруг нерукотворного строения
Лепечут родники живой воды,
И, осеня их своею тенью,
Шумят вечнозеленые сады,
Где для души, взлжавшей исцеленья,
Взрастают чудотворные плоды,
Где служат ей источником прохлады
Пальм, кипарисов, кедров мириады.

Там ввысь могучий ствол платан вознес,
Благоухает киннамон душистый,
И белизна иерихонских роз,
Как риза херувимская, лучиста;
Там не опасны зной или мороз;
Туда не прокрадется дух нечистый,
Слепителен и славен сей чертог,
Который нам с небес являет бог.

А на земле небесному чертогу
Подобьем служит Соломонов храм,
Где совершенство, свойственное богу,
Наглядно предстает людским очам,
Откуда, — чуть мы подойдем к порогу, —
Свет благодати брызжет в сердце нам.
К тому же нас по милости господней
Мария, как звезда, ведет сегодня.

Едва в ней искра божья занялась,
Едва ее достигла весть благая,
Как выше гордых тронов вознеслась
В своем смиренье девушка простая;
Как с нею вера в душу к нам влилась,
Гнет первородного греха смягчая;
Как в ней все обитатели земли
Свою Эсфирь навеки обрели.

О господи возлюбленное чадо,
Кого на радость людям создал он;
Кем змий, надменный повелитель ада,
Низвержен, сокрушен и посрамлен;
Предстательница наша и ограда,
Тобой наш род от гибели спасен,
Собой ты благодать олицетворила
И бога с человеком примирила.

В тебе соединились доброта
И мощь, от века бывшие в раздоре.

О мать того, кем будет испита
За наши вины чаша мук и горя,
Ты, как заря, предтеча дня, чиста!
Смирительница бурь в житейском море,
Ты — слава тех, кто праведен и свят,
Надежда тех, пред кем зияет ад!

О голубица неземного храма,
С кем разделил надзвездный трон господь,
Над кем не тяготеет грех Адама,
В чьем чреве Слово претворилось в плоть,
Ты — длань того, кто чадо Авраама
Отцу родному не дал заколоть,
Затем чтоб агнца для закланья ныне
Мы обрели в твоём сладчайшем сыне.

Взрасти же тот благословенный плод,
Которого вкусить желает страстно
Наш род греховный, ибо он живет
В крошечной тьме судьбы своей злосчастной,
Но знает, что и для него придет
День искупленья, светлый и прекрасный,
Когда дитя, рожденное тобой,
С плеч наших снимет груз вины былой.

О ты, к кому посланец златокрылый
Из рая светозарного слетел,
Кого творец устами Гавриила
Наречь своей супругой захотел,
В кого вошла божественная сила!
Да славится вовеки твой удел,
И пусть венцом нетленным озарится
Твое чело, небесная царица!

Эти самые стихи и начала тогда петь Фелисьяна, а потом она их переписала, Ауристела же не столько их поняла, сколько угадала чутьем их красоту.

Итак, враждовавшие помирились. Фелисьяна, ее муж, отец и брат отправились к себе и попросили было дона Франсиско Писарро и дона Хуана де Орельяна доставить им ребенка, но Фелисьяна, для которой не было ничего несноснее ожидания, решила все же взять его с собой и этим своим решением обрадовала всех своих родных.

В Гуадалупе странники пробыли несколько дней, и в течение этого времени им начала открываться величественность святой обители (я нарочно употребляю слово «начала», потому что до конца она открыться не может). Отсюда они направились в Трухильо; там их приветили два доблестных кавальеро, дон Франсиско Писарро и дон Хуан де Орельяна, и там им пришлось рассказать о своей встрече с Фелисьяной все с самого начала, и, рассказывая, они восхищались ее голосом, ее рассудительностью, восхищались благородным поступком ее отца и брата, Ауристела же с умилением вспоминала о тех изъявлениях преданности, которые она слышала из уст Фелисьяны в час расставания.

От Трухильо до Талаверы два дня ходьбы, и в Талавере путники узнали, что здесь все готовится к великому празднику Монды: праздник этот существовал за много лет до Рождества Христова, однако ж христиане возвысили его и облагородили, и если прежде то был языческий праздник в честь богини Венеры, то теперь это праздник в честь и в похвалу приснодеве. Путники хотели было остаться на праздник, однако, чтобы не задерживаться, от исполнения своего желания воздержались.

Уже на шесть миль отошли они от Талаверы, как вдруг увидели, что впереди идет странница, совершенно одна, — вот что показалось им странным, — однако же им не пришлось ее окликать, потому что в эту самую минуту она, то ли прельщенная приятностью местоположения, то ли принуждаемая усталостью, присела на зеленой лужайке. Путники приблизились к ней, и наружность ее оказалась такова, что ее стоит описать подробно: возраст ее, видимо, давно уже вышел за пределы молодости и приближался к границам старости; лицо у нее было не лицо, а блин, ибо и рысий взгляд не углядел бы на нем носа: до того ее нос был мал и приплюснут — щипцами не ущипнешь; к тому же его заслоняли гораздо более выпуклые глаза. На ней был рваный плащ, доходивший ей до пят; поверх плаща она еще надела пелерину, отделанную кожей, но до того облезлой и потрескавшейся, что уже невозможно было различить, какая именно это кожа — то ли сафьян, то ли самая что ни на есть дешевая. Подпоясана она была поясом, сплетенным Из дрока, таким толстым и здоровенным, что он скорее напоминал якорный канат, нежели пояс странницы. Тока на ней была грубая, но зато белая и чистая. На голове — старая шляпа, без шнурка и без ленты, на ногах — стоптанные альпаргаты, в руке — посох, на манер пастырского, со стальным наконечником. На левом боку болталась изрядной вместимости тыквенная фляжка, на шее висели четки, коих шарики по величине превосходили шары, какими детвора сбивает кегли. Одним словом, все на ней было драное, все, как бывает на кающихся, и, при ближайшем рассмотрении, все далеко не первого сорта. Подойдя, путники с ней поздоровались, она же ответила им на приветствие голосом, какого только можно было ожидать от приплюснутого ее носа, то есть отнюдь не нежным, но, напротив того, гнусавым. У нее спросили, куда она направляется и какое именно совершает паломничество, а затем, прельщенные, как и она, приятностью местоположения, даром времени не теряя, уселись в кружок. На ту же самую лужайку пустили они пастись свою тележку, служившую им и гардеробною, и кладовую, и погребцом, и, начав утолять голод, любезно предложили страннице разделить с ними трапезу, она же, отвечая на заданный вопрос, сказала:

— Паломничество я совершаю такое же точно, какое совершают и некоторые другие паломники, то есть такое, которое лучше всего помогает человеку оправдать свою праздность. Так вот, полагаю нелишним довести до вашего сведения, что сейчас я направляюсь в великий город Толедо поклониться пречистому образу священного престола,

оттуда пойду к Младенцу Иисусу Гуардийскому, а затем, описав круг не хуже норвежского сокола, осяду у святой Вероники Хаэнской и пробуду там до последнего апрельского воскресенья — в этот день в самом сердце Сьерры Морены в трех милях от города Андухара празднуется праздник божьей матери Главы, а это такой праздник, который чтут во всем подлунном мире. Я даже слыхала, будто древние языческие праздники, — а праздник Монды Талаверской — это подражание праздникам языческим, — не выдерживают и не могут выдержать с ним сравнение. Я бы очень хотела, — если б только это было мне по силам, — напречь свое воображение, в коем он у меня запечатлелся, и живописать вам его словами и явить его умственному вашему взору, дабы, обняв его взором, вы уразумели, что восторг мой не преувеличен. Но это не моего ума дело. В одной из галерей роскошного мадридского королевского дворца праздник этот воссоздан со всею возможною точностью. Представьте себе гору, или, вернее, скалу, на ней — монастырь. в монастыре находится чудотворный образ божьей матери, именуемой Главою, — так называется скала, на которой построен монастырь, а в старину эта самая гора прозывалась Пик, потому что она стоит среди ровной и открытой долины, стоит одна-одинешенька, вокруг нее — ни горы, ни холма, высота ее равна приблизительно четверти мили, окружность — что-то около полумили. Так вот, гора эта возвышается среди широкой и живописной долины, а ее подножье благодаря постоянному притоку влаги, ибо его мимоходом почтительно лобзуют воды реки Ксандулы, неизменно пленяет взор своею зеленью. Красивые места, высокая гора, образ, чудеса, толпы богомольцев, притекающих ради такого торжества отовсюду: и из ближних и из дальних краев, — все это служит к вящей славе праздника, и он точно славится во всем мире, в Испании же его чтут больше чем какие-либо другие местные праздники, с какими бы древними святынями они ни были связаны.

Рассказ этой нововстреченной, хотя и старой по возрасту паломницы привел остальных паломников в изумление, и они было возымели охоту пойти вместе с нею поглядеть на этикие чудеса, однако ж им всем так хотелось поскорее окончить свой путь, что это желание взяло верх над вновь появившимся.

— А вот куда я двинусь оттуда — этого я еще не знаю, — продолжала паломница. — Одно могу сказать: я всегда найду, чем мне себя занять и где убить время — по примеру иных паломников, о которых я уже упоминала.

Тут вмешался Антоньо-отец:

— Сдается мне, почтеннейшая паломница, что сами-то вы паломничество не очень одобряете.

— Ничуть не бывало, — возразила она. — Я отлично знаю, что это дело хорошее, богоугодное и похвальное, — таким оно было всегда и будет впредь, — я дурно отношусь к дурным паломникам, которые греют себе руки на богоугодном деле, которые превращают достохвальную добродетель в источник грязной наживы, — одним словом, к тем, которые вымогают милостыню у бедняков настоящих. На сей предмет я могла бы еще кое-что сказать, да уж лучше помолчу.

В это время на большой дороге, возле которой находились наши странники, показался всадник; поравнявшись с ними, он в знак приветствия снял шляпу и уже собирался отвесить учтивый поклон, но тут его конь, как это выяснилось впоследствии, попал передней ногой в канаву и со всего маху полетел туда вместе с седоком. Все поспешили на помощь путнику, не чая найти его целым и невредимым. Антоньо-сын вытащил могучего жеребца за узду, меж тем как другие с полною готовностью принялись ухаживать за хозяином, прибегнув к самому обыкновенному средству, какое в подобных случаях употребляется, а именно: дали ему воды; найдя же, что ушиб его не столь опасен, как им показалось вначале, они посоветовали ему

сесть на коня и ехать дальше; он же сказал им:

— Быть может, сеньоры путешественники, сама судьба столкнула меня в эту яму, дабы затем я возвысился над теми опасностями, к коим воображение влечет мой дух. Хотя, сеньоры, вы меня и не спрашиваете, однако ж я хочу вам о себе сообщить, что я чужеземец, поляк; еще мальчиком покинул я родину и поехал в Испанию, куда, как к единой матери всех народов, стекаются все чужеземцы; я служил у испанцев, изучил кастильский язык, о чем вы можете судить по моей беседе с вами, а затем, охваченный свойственною всем людям страстью видеть свет, отправился в Португалию, и в тот самый вечер, когда я прибыл в великий город Лисабон, со мной случилось одно необычайное происшествие, о котором я и намерен вам рассказать, вы же хотите, верьте мне, хотите, нет, ибо истина всегда найдет себе пристанище, хотя бы в себе самой.

Подивились Периандр, Ауристела и все остальные неожиданному и складному рассказу пострадавшего всадника, и, возымев охоту дослушать его до конца, Периандр попросил чужестранца продолжать, прибавив, что все к его словам отнесутся с должным доверием, ибо все они люди учтивые и в житейских делах искушенные. Поощренный Периандром, чужестранец продолжал:

— Итак, в тот же вечер, задумав переменить гостиницу, ибо та, где я остановился, показалась мне неважной, вышел я на одну из главных улиц, или *ruas*, как их там называют, и, проходя узкой и довольно грязной ее частью, столкнулся с закутанным в плащ португальцем, который при этом с такой силой меня отшвырнул, что мне пришлось обнять землю. Обида пробудила гнев: поручив отомстить за меня моей шпаге, я вынул ее из ножен, недруг мой с дерзкою отвагой и наглостью выхватил свою, темная ночь совместно с Фортуной, отнюдь не подозревавшей, каков будет исход поединка, сами направили острие моей шпаги в глаз португальца, и тот, упав навзничь, отдал тело земле, а уж кому он отдал душу — одному богу известно. Ужас объял меня при виде содеянного; я оцепенел; я сознавал, что спасение мое в бегстве; хотел бежать, но не знал — куда; однако едва донесся до меня шум толпы, уже спешившей на место происшествия, как у ног моих выросли крылья, и я, не помня себя от страха, помчался назад, ища, где бы укрыться или, по крайней мере, отереть шпагу, дабы в случае, если власти меня настигнут, предстать пред ними без этой явной улики.

И вот, когда силы уже оставляли меня, в окне одного богатого дома я увидел свет и, не задумываясь, бросился туда. Очутившись в незапертой и роскошно убранной нижней зале, я прибавил шагу и прошел в другую, столь же роскошно убранную, а затем, привлеченный светом, проникавшим из соседней комнаты, проследовал дальше и увидел некую сеньору, возлежавшую на пышном ложе; разгневанная, она приподнялась и спросила, кто я таков, что мне надобно, куда я иду и кто позволил мне ходить по всем комнатам, нарушая святость домашнего очага. Я же ей на это сказал:

«Сеньора! Вы задали мне столько вопросов, что сразу мне на них не ответить; скажу лишь, что я чужестранец и что, по всей вероятности, я убил сейчас на вашей улице человека, чему виной не столько я сам, сколько его несчастный жребий и его заносчивость. Заклинаю вас богом живым и взываю к вашему благородству: укройте меня от суровости властей, — как я полагаю, они гонятся за мной по пятам».

«Вы кастилец?» — спросила она по-португальски.

«Нет, сеньора, — отвечал я, — я из иных краев, и притом — весьма далеких».

«Впрочем, будь вы хоть трижды кастилец, — сказала она, — я все равно спасла бы вас, если б только могла, и я вас спасу, если только смогу. Перешагните через это ложе и лезьте под ковер; за ним вы обнаружите пустое пространство: стойте там и не шевелитесь; если же явятся власти, то из уважения ко мне они поверят всему, что бы я ни сказала».

Не заставив себя долго ждать, я приподнял ковер, обнаружил пустое пространство, скорчился там, перевел дух и начал горячо молиться богу. И тягостная эта неизвестность длилась до тех пор, пока в комнату не вбежал слуга.

«Сеньора! — почти крикнул он. — Мой господин, дон Дуарте, убит; его несут сюда; острие шпаги, пройдя через правый глаз, пронзило его насквозь; убийца же неизвестен, равно как и повод ссоры, о которой свидетельствовали только удары шпаг, но какой-то мальчик говорит, что видел, как в наш дом вбежал человек».

«Без сомнения, это и есть убийца, — сказала сеньора, — и ему не уйти отсюда. О я несчастная! Как часто я со страхом ждала, что мне принесут бездыханное тело моего сына, ибо столь пылкий нрав до добра не доводит!»

В это время другие слуги, внеся убитого на плечах, положили его на пол перед страждущей матерью, и та жалобным голосом начала причитать:

«Ах, месть! Сколь настойчиво взываешь ты ко мне у врат души моей! Но ведь мне не подобает отвечать на твой зов, ибо мой долг меня призывает сдержать свое слово. Ах, сколь жестоко, однако ж, терзает меня моя скорбь!»

Вообразите, сеньоры, каково мне было слушать горестные стенания матери, которой один вид мертвого сына, казалось, должен был вложить в руки бесчисленное множество орудий смерти, дабы она обратила их против меня, ибо ей нетрудно было догадаться, что убийцею ее сына был я. Но смел ли я проронить хотя единое слово, смел ли я на что-либо надеяться в моем состоянии полнейшей безнадежности? А тут еще вошли представители власти, и один из них с отменной учтивостью сказал сеньоре:

«Мы не дерзнули бы переступить порог вашего дома, когда бы некий мальчуган не уверил нас, что он сам видел, как сюда вбежал убийца этого кавальера».

При этих словах я насторожился и, затаив дыхание, стал ждать ответа страждущей матери, и ответ ее поразил меня мужественным своим великодушием и истинно христианским милосердием:

«Если этот человек и вошел в мой дом, то уж, во всяком случае, не в эти покои. Вы можете его искать в других, но дай бог, чтобы вы его не нашли, ибо смерть плохо помогает от смерти, особенно если зло причинено не из коварных побуждений».

Представители власти отправились обыскивать дом, и ко мне вернулось покинувшее было меня присутствие духа. Сеньора велела унести бесчувственное тело сына и облечь его в саван и распорядилась насчет похорон, прибавив, что она желает остаться одна, ибо не расположена выслушивать утешения и соболезнования, с коими бесчисленные родственники, а также друзья и знакомые уже спешили к ней.

Отдав эти распоряжения, она призвала к себе служанку, которая, как видно, пользовалась у нее особым доверием, шепнула ей что-то на ухо и, приказав затворить за собою дверь, отпустила. Служанка так и сделала, после чего сеньора села на свое ложе и, дотронувшись рукою до ковра и, как мне тогда показалось, коснувшись моего сердца, — отчего оно еще пуще забилося в груди, обнаруживая все признаки охватившего его страха, — тихим и печальным голосом молвила:

«Человек! Кто бы ты ни был, теперь ты видишь, что ты отнял дыхание груди моей, свет моих очей и опору моей жизни. Но как я уразумела, что вины за тобою нет, то и хочу я, чтобы данное мною слово преобороло во мне жажду мести. Когда ты вошел сюда, я обещала тебя спасти, — итак, во исполнение моего слова, делай, что я тебе скажу: закрой руками лицо, дабы я, нечаянно подняв глаза, его не запомнила, выходи из своего заточения и следуй за моей служанкой, которая не замедлит сюда прийти, — она выведет тебя на улицу и вручит сто золотых, кои помогут тебе скрыться. Тебя здесь никто не знает, на тебе нет явных улик, — так

приди же в себя, ибо чрезмерное волнение всегда выдает преступника».

В это время появилась знакомая мне служанка. Закрыв лицо рукою, я вышел из-за ковра, пал в знак благодарности на колени, многократно облобызал ножку кровати, а затем молча последовал за служанкой, и она, так же молча, взяла меня за руку и через потайную садовую калитку ощупью вывела на улицу.

На улице я первым делом вытер шпагу, а затем, совершенное храня спокойствие, пошел по городу, случайно вышел на главную улицу и, узнав мою гостиницу, вошел туда с таким видом, точно со мной не происходило никаких событий — ни радостных, ни печальных. Хозяин гостиницы сообщил мне о несчастье, только что постигшем одного кавальеро, которого кто-то убил, и долго распространялся о том, сколь знатного он роду и сколь заносчивый был у него нрав, чем, как полагал хозяин, и воспользовался некий тайный его недруг и нарочно вывел его из себя.

Всю ночь я благодарил бога за оказанную мне милость и восхищался благородным поступком доньи Гьомар де Соза (так, по полученным мною сведениям, звали мою благодетельницу), равно как и необычайною твердостью истинно христианской ее души, а утром вышел к реке и обнаружил полную народа лодку, которая должна была доставить людей в Санжоан к отходу большого корабля, отбывавшего к Ост-Индским островам. Я возвратился в гостиницу, продал хозяину своего коня и, устремив все свои помыслы к единой цели, снова вышел к реке и сел в лодку, а на другой день я уже выходил из гавани на большом корабле, который, поставив паруса, шел в желаемом направлении.

Пятнадцать лет пробыл я в Ост-Индии — в рядах храброго войска португальского, и там со мною происходили разные случаи, из которых какой-нибудь сочинитель мог бы составить занятную и правдивую повесть, в особенности же из тех подвигов, что совершали там непобедимые португальцы, которым подобает за них хвала ныне и присно и во веки веков. Появилось у меня там немного золота, жемчугу, завелись и кое-какие вещицы небольшого веса, да зато большой ценности. Когда же мой начальник собрался в Лисабон, я, воспользовавшись случаем, возвратился вместе с ним в Португалию, в Лисабоне же я положил возвратиться на родину, посетив предварительно самые лучшие и самые главные города Испании. Я обратил в деньги мои сокровища, ту же часть денег, которой, по моим подсчетам, должно было хватить на путевые издержки, — в чеки, и первым делом я направил путь в Мадрид, куда только что прибыл тогда со своим двором великий король Филипп Третий^[40]. Однако ж судьбе, как видно, надоело вести корабль моей удачи с попутным ветром по морю жизни человеческой, и она устроила так, что корабль этот сел на мель, а дело было так: прибыв вечером в Талаверу, — это отсюда недалеко, — я остановился на постоялом дворе, который оказался для меня не постоялым двором, но гробницей, ибо там я нашел гробницу для своей чести.

О всемогущая сила любви! Я разумею любовь безрассудную, скороспелую, сладострастную и нечистую. С какою легкостью ты сокрушаешь мысли благие, намерения добрые, стремления благоразумные! Так вот, во время моего пребывания на постоялом дворе туда как-то раз случилось зайти девушке лет шестнадцати — по крайней мере, я столько дал ей на вид, впоследствии же я узнал, что ей двадцать два года; она была в одном платье, хотя и дешевеньком, но очень чистом, и когда она прошла мимо меня, то мне показалось, что на меня пахнуло цветущим майским лугом, а для меня этот запах слаще запаха всех ароматических веществ, коими славится Аравия. Эта самая девушка подскочила к слуге, молодому малому, и, что-то шепнув ему на ухо, с громким хохотом выбежала на улицу и скрылась в доме напротив. Малый кинулся было за ней, но не догнал — он успел только так огреть ее по спине, что она едва устояла на ногах. Увидевши это, служанка постоялого двора

в сердцах сказала малому:

«Как тебе, ей-богу, не совестно, Алонсо? Луиса такого обхождения не заслуживает».

«Жив буду, я ее еще и не так отделаю, — отозвался Алонсо. — Ты, моя дорогая Мартина, прикуси язычок: таких бесстыдниц нужно учить не только что тумаками, а и пинками и чем ни попадя».

С последним словом малый удалился, оставив меня наедине с Мартиной, и тут я ее спросил, кто такая эта Луиса и замужем она или нет.

«Нет, пока еще не замужем, но, наверно, скоро выйдет вот за этого самого Алонсо, — отвечала Мартина. — А пока между его и ее родителями идут переговоры касательно свадьбы, она у него то и дело получает трепку, и в большинстве случаев — по заслугам. Откровенно говоря, почтенный постоялец, Луиса дерзковата, довольно-таки бесцеремонна и развязна. Сколько я ее ни одергиваю, впрок это ей не идет: как об стену горох, опять за свое. А ведь дорожке скромности у девушки приданого нет — это святая истина. Дай бог здоровья моей матери, она мне в щелку не давала глядеть, что делается на улице, а уж чтобы за порог выйти — ни боже мой! Я хорошо помню, как она мне внушала: женщина, мол, что курочка, ну и так далее».

«А скажите на милость, сеньора Мартина, — спросил я, — как же после столь строгого послушания вы решились на постриг в столь веселом заведении, каков постоянный двор?»

«Об этом долго рассказывать», — отвечала Мартина.

Так же вот и я: коли рассказывать со всеми подробностями, то это будет долга песня, а время ведь не ждет, да и уж очень болит у меня душа.

Странники странника слушали со вниманием, и теперь им хотелось знать, отчего у этого поляка болит душа, так же точно, как они знали, отчего болит у него тело, и того ради Периандр обратился к нему с такими словами:

— Расскажите нам, сеньор, все, что вам будет угодно, и с теми подробностями, какие вам будет угодно сообщить, — подробности в большинстве случаев придают рассказу больше весу. Хорошо, когда рядом с отлично приготовленным фазаном стоит блюдо со свежим, вкусным зеленым салатом. Подливой же к рассказу является своеобразный язык рассказчика. Итак, сеньор, продолжайте! Расскажите нам про Алонсо и Мартину, задайте добрую взбучку Луисе, можете выдать ее замуж, а можете и не выдавать, и пусть она к вам пристаёт, как репей, — дело-то ведь не в ее развязности, а в том, что с нею произойдет: так, по крайней мере, мне подсказывают мои астрологические познания.

— В таком случае, сеньоры, — молвил поляк, — я воспользуюсь милостивым вашим дозволением и не оставлю капли на дне чернильницы, — все, как есть, представлю на ваш суд. С теми немногими сведениями, какие мне удалось тогда получить, я ушел к себе, и всю ночь мне не давали покою изящество, прелесть и непринужденная манера держаться этой, на мой взгляд, несравненной красавицы, вот только не знаю, как ее назвать: то ли она просто соседка, то ли знакомая моей хозяйки. Я мечтал, строил воздушные замки, сочетался с Луисой законным браком, у меня уже были дети, я чихал на то, что про меня скажут люди, и в конце концов положил изменить первоначальному своему решению, положил остаться в Талавере и жениться на этой богине — должно заметить, что мне эта девчонка, даром что ее лупил трактирный слуга, показалась прекрасной, как сама Венера.

Между тем прошла ночь, а наутро я пощупал пульс у моего влечения, пульс же у него был таков, что, как мне тогда казалось, если я не женюсь на Луисе, то в непродолжительном времени вместе с влечением утрачу и самую жизнь, которая зависела теперь от одного взгляда этой девушки. И порешил я, невзирая ни на какие препятствия, поговорить с ее отцом и попросить ее руки. Я показал ему мои драгоценности, выложил перед ним все мои деньги, наговорил ему с три короба о том, что я-де на все руки мастер, отец же Луисы после осмотра моего имущества сделался кроток, как агнец; когда же я ему объявил, что приданого мне не нужно, что я почти себя вознагражденным, удовлетворенным и ублаженным одною лишь красотой его дочери, то он дал полное свое согласие. Алонсо огорчился, Луиса же, моя невеста, повела двойную игру, как то показали события, происшедшие две недели спустя мне на горе и к ее позору, ибо она, теперь уже моя супруга, удовольствовавшись частью моих денег и драгоценностей, с помощью Алонсо, у воли которого и у ног которого тотчас выросли крылья, бежала из Талаверы, а я остался один, одураченный, охваченный поздним раскаянием, о ней же, о ее легкомыслии и о ее плутовстве люди судачат на всех перекрестках. Обида вызвала во мне жажду мести, но, кроме меня самого, мне некому было мстить. Я готов был удавиться, однако ж судьба, как видно пожелавшая вознаградить меня за ею же причиненные обиды, распорядилась так, что недругов моих схватили в Мадриде и посадили в тюрьму, а меня вызвали в Мадрид для того, чтобы я вчинил им иск и восстановил свои права, и вот теперь я направляюсь туда с твердым намерением смыть их кровью пятна на моей чести и, отняв у них обоих жизнь, тем самым снять со своих плеч бремя их преступления, а между тем бремя это совсем меня придавило и сокрушило. Вот как перед богом говорю: я добьюсь их казни! Вот как перед богом говорю: я за себя отомщу! Вот как перед богом говорю: скоро все узнают, что я обиды не прощаю, особенно обиды злые,

проникающие до мозга костей. Я поеду в Мадрид — я уже оправился после своего падения. Сейчас я сяду на коня — и тогда уж меня лучше не трогать: я не приклоню слуха ни к молениям иноков, ни к плачу людей благочестивых, ни к обещаниям добрых душ; меня не прельстят дары богачей, меня не устрашат угрозы и приказания сильных мира сего; сколько бы ни нашлось любителей вмешиваться в чужие дела, они ничего со мной не поделают — честь моя всплывет поверх содеянного преступления, как всплывает масло поверх воды.

Тут он с чрезвычайною легкостью поднялся, дабы снова сесть на коня и продолжать свой путь, но Периандр взял его за руку и, остановив, обратился к нему с такими словами:

— Сеньор! Гнев ослепляет вас, и вы не замечаете, что от этого ваш позор растет и ширится. Пока что вы обещены единственно в глазах тех, кто знает вас в Талавере, а таких, по всей вероятности, весьма немного, теперь же вы будете обещены еще и в глазах тех, кто вас узнает в Мадриде. Вы уподобляетесь тому крестьянину, который всю зиму пригревал у себя за пазухой змею, а весной, когда она могла бы ужалить его, он по милости божией там ее не обнаружил, потому что она ушла. Крестьянин же, вместо того, чтобы возблагодарить бога, пошел искать ее с тем, чтобы снова пустить к себе в дом и к себе за пазуху: как видно, он позабыл, что человек разумный никогда не станет искать то, что может послужить ему во вред; как видно, он позабыл пословицу: «Бегущему врагу — серебряный мост», и еще: «Злейший враг мужчины — это его жена». Впрочем, вот эта пословица возникла, должно полагать, не у христиан, а у иноверцев: у них брак — нечто вроде сделки, нечто вроде соглашения насчет найма дома или же земельной аренды. Между тем у католиков брак — это таинство, освободить от которого может смерть или же что-либо не менее жестокое, чем смерть, но и оно способно лишь развести мужа с женой по разным жилищам, но не властно расторгнуть связующие их узы. Вы только подумайте: много ль выиграете вы от того, что суд отдаст вам ваших врагов, связанных и уничиженных, и вы при огромном стечении народа, размахивая ножом и грозя перерезать им горло, будто в самом деле, как вы сказали, их кровь сможет омыть вашу честь, возведете их на эшафот? Повторяю: много ли вы от этого выиграете? Ничего, кроме того, что ваше бесчестье станет очевидным для всех. Надобно вам знать, что месть способна покарать, но она не уничтожает самого преступления, и если человек добровольно в нем не раскается, то такого рода преступление никогда из памяти человеческой не изгладится, оно будет жить в ней вечно, во всяком случае — пока жив тот, кому нанесено оскорбление. Одумайтесь же, сеньор, и не взывайте к правосудию — пусть лучше в сем случае действует милосердие. Речь идет не о том, чтобы вы простили жену и снова ввели ее в свой дом, — такого закона нет. Речь идет лишь о том, чтобы вы о ней позабыли, и это послужит ей самым тяжким наказанием. Вы можете жить только вдали от нее; если же вы вновь соединитесь, то это будет для вас медленная смерть. Недаром у римлян был очень принят развод. Конечно, высшим актом милосердия было бы простить ее, приютить ее, держать ее у себя и воспитывать, но для этого должно вооружиться терпением, для этого потребна высшая степень благоразумия, а ведь лишь немногие из смертных могут за себя в этом смысле поручиться, и, уж верно, не те, с кем приключилось столько лютых напастей. А еще я хочу, чтобы вы уразумели, что если вы отнимете у них жизнь, то тем самым совершите смертный грех, а его не должно совершать ни за какие блага, сопряженные с восстановлением чести.

Вспыльчивый поляк слушал Периандра со вниманием, не сводя с него глаз, и, наконец, сказал:

— Ты, сеньор, умудрен не по годам. Твоя рассудительность опередила твой возраст, зрелость ума твоего не соответствует молодости твоих лет. Ты говорил по внушению ангела, ты успокоил мой дух, и теперь уже дух мой стремится не куда-либо, а на мою родину, где я

возблагодарю бога за то добро, которое ты мне сделал. Помоги мне только встать — гнев придал мне сил, да не лишит же меня их моя снисходительность, которую я по зрелом размышлении намерен выказать!

— Мы все рады вам помочь, — объявил Антоньо-отец.

Поляк со всеми распрощался, ему помогли взобраться на коня, и он сказал, что хочет заехать в Талаверу, — там у него остались кое-какие вещи, — а потом он-де из Лисабона морем доберется до своей родины; еще он сказал, что зовут его Ортель Банедре, по-кастильски же — Мартин Банедре. Затем он еще раз изъявил им свою преданность и поворотил коня в сторону Талаверы, странники же снова подивились необычности его приключений, а равно и той приятности, с какою он о них рассказывал.

Эту ночь они провели здесь же, а еще через два дня они вместе с престарелою паломницею уже приближались к Сагра де Толедо и к берегам достохвального Тахо, славящегося чистым своим песком и знаменитого текучим хрусталем своих вод.

Слава о Тахо пределов не знает; она доходит даже до тех народов, что живут на краю света, всюду она проникает, всем о себе заявляет и у всех вызывает желание поглядеть на эту реку. А как у народов северных все видные люди хорошо знают латинский язык и древних поэтов, то и Периандр, человек в своей стране наивиднейший, не составлял исключения. И отчасти поэтому, отчасти потому, что как раз совсем недавно были выданы в свет славные творения неогреченного поэта Гарсиласо де ла Вега и Периандр держал их в руках, читал, перечитывал и наслаждался, он, едва увидев прозрачные воды Тахо, воскликнул:

— Мы скажем не «Здесь кончил песнь свою Салисьо»^[41], а «Здесь начал песнь свою Салисьо. Здесь он в своих эклогах превзошел самого себя, здесь пела его свирель, а стоит ей, бывало, запеть — и речные струи замирают, на деревьях ни один лист не шелохнет и ветер перестает дуть, чтобы не мешать наслаждаться всем странам и всем народам». О ты, что по праву гордишься прозрачностью вод своих и чистотою песка своего, ибо ты не песок, но самородное золото! Привечай же убогого странника — он обожал тебя издали, а нынче пришел тебе поклониться.

Затем он обратил взор свой на великий город Толедо и сказал:

— О венец высокой горы, о слава Испании и светоч всех городов ее! В твоих стенах с незапамятных времен хранятся святыни готов — те святыни, которые помогли тебе возродить былую славу и стать блюстителем и зеркалом обрядов католических. Приветствуем тебя, священный город, — ты же привечай нас, пришедших на тебя полюбоваться!

Так говорил Периандр, и еще лучше мог бы это сказать Антонио-отец, если б он знал то, что знал Периандр: должно заметить, что книги часто дают о вещах более верное представление, нежели непосредственное с ними знакомство, ибо читатель внимательный по многу раз задерживает свое внимание на том, что он читает, невнимательный же наблюдатель ни на чем своего внимания не останавливает, — вот в чем преимущество чтения перед наблюдением.

Почти в то же мгновение слуха странников достигли веселые звуки множества музыкальных инструментов, разносившиеся по полям, что окружают город, и тут странники увидели, что по направлению к ним движутся не отряды вооруженной пехоты, но полки девушек краше ясного солнышка, одетых по-деревенски, с бусами и патенами на шее, коих серебро и кораллы вполне заменяли девушкам золото и жемчуг, золото же, исчезнув на сей раз с их груди, сверкало у каждой из них на голове, ибо у всех девушек волосы были длинные и золотистые; они рассыпались у них по плечам, а на голове были собраны в пучки под венками зелени и душистых цветов. В их одежде преобладала не миланская камка и не флорентийский атлас, но куэнкское суконце. Со всем тем деревенские их наряды смело могли поспорить с самыми роскошными столичными уборами, ибо в них сочетались благопристойная умеренность и чрезвычайная опрятность. Каждая из них была, как цветок, как настоящая роза, каждая из них была само изящество, и все они под звуки множества музыкальных инструментов исполняли танец, из множества фигур состоявший. Вокруг каждого отряда девушек смыкали кольцо парни — то ли их родственники, то ли знакомые, то ли просто односельчане, в ослепительной белизны холщовых рубахах, с узорчатыми платочками. У одного был тамбурин и флейта, у другого — гусли, у третьего — погремушки, у кого-то еще — альбоги, и звуки всех этих инструментов сливались в один звук, тешивший слух своею стройностью, а стройность ведь и есть цель всякой музыки. Когда же один из

таких отрядов, одно из таких скоплений танцующих девушек обогнало странников, один из сопровождавших его мужчин, как потом выяснилось, деревенский алькальд, взяв одну из танцующих девушек за руку и оглядев ее с головы до ног, голосом сердитым и ничего доброго не предвещающим заговорил:

— Ах, Тосуэло, Тосуэло, как же тебе не стыдно? Что же ты веселье расстраиваешь? Что же ты такой хороший праздник оскверняешь? И как только господь терпит такое безобразие! Если б только про то знала моя дочь Клементы Кобеньо — вот как бог свят, меня бы и глухие услышали!

Только успел алькальд это вымолвить, как к нему подошел другой алькальд и сказал:

— Педро Кобеньо! Если б тебя услышали глухие, ты был бы чудотворцем. Удовольствуйся тем, что мы с тобой слышим друг друга и знаем, чем тебя обидел мой сын Тосуэло. Я представляю здесь правосудие, и если он преступил закон, то я смогу и сумею его наказать.

На это ему Кобеньо ответил так:

— Преступление его вот в чем: он, мужчина, надел на себя женское платье, и не просто женское платье, а праздничный наряд королевской прислужницы. Как видишь, алькальд Тосуэло, вина на нем не пустячная. Мне сдается, что тут не без участия моей дочки: по моему, твой сын надел ее платье. Вот я и боюсь, как бы дьявол тут не напакостил и без нашего ведома и без благословения церкви не свел их. Ты же знаешь, что скоропалительные браки, браки втихомолку, по большей части добром не кончаются; такие браки — хлеб для церковного суда, а от церковного суда дешево не отделаешься.

Но тут за Тосуэло ответила одна из юных поселянок, остановившихся послушать разговор двух алькальдов.

— Если уж на то пошло, сеньоры алькальды, так Мари Кобеньо уже давно жена Тосуэло, а он ее муж, и это так же верно, как то, что моя мать — жена моего отца, а мой отец — муж моей матери. Мари беременна и не в состоянии ни танцевать, ни плясать. Повенчайте их, и пусть дьявол пропадет пропадом, а кого господь соединил, того и апостол Петр благословил.

— А ведь ты дело говоришь, девушка, ей-богу, право! — рассудил Тосуэло. — Они друг другу пара: что он, что она — чистокровные христиане^[42], имущества — сколько у него, столько же и у нее.

— Ну вот и отлично! — заметил Кобеньо. — Позовите сюда мою дочку — она все сейчас приведет в ясность, она у меня за словом в карман не лезет.

Мари Кобеньо была отсюда далеко; когда же она приблизилась, то первыми ее словами были:

— Не я первая, не я последняя оступилась и свалилась в ров. Тосуэло — мой супруг, а я — его супруга. Если наши родители нас не повенчают, господь все равно простит нас.

— Так, так, дочка! — сказал ее отец. — А что стыд на мою голову, это мне, по-твоему, как с гуся вода? Нет уж, коль скоро дело сделано, пусть алькальд Тосуэло даст ему ход, раз оно так далеко у вас зашло.

— Алькальд Кобеньо рассуждает, как все старики! — заметила первая девушка. — А ну-ка, детки, протяните друг другу руку, если только вы этого не сделали раньше, будьте, как велит наша мать — святая церковь, единая душа, а теперь идемте танцевать под вяз — есть из-за чего портить себе праздник!

Тосуэло присоединился к мнению девушки, молодые протянули друг другу руку, спор прекратился, и опять пошли танцы и плясы. Вот если бы так кончались все тяжбы, то ретивые перья судейских были бы сухи и полысели бы от бездействия.

Периандру, Ауристеле и прочим странникам показался занятным этот бой, который дали любовники, и приятно было им поглядеть на деревенских девушек — девушки, все как одна, показались им верхом и пределом человеческой красоты.

Периандр предложил не заходить в Толедо — об этом его попросил Антоньо-отец, не чаявший, как дожидаться той минуты, когда он окажется у себя на родине и увидит отца и мать, а между тем до его родных мест было уже недалеко, и еще он привел тот довод, что для осмотра такого города, как Толедо, с его достопримечательностями нужно гораздо больше времени, — в спешке они все равно, мол, не осмотрят город как следует. Порешили странники не заходить и в Мадрид, где в ту пору находился двор: они опасались, что их что-нибудь может там задержать. Укрепила же их в этой мысли пожилая странница: она сказала, что в Мадриде много недорослей, которые, сами будучи людьми ничтожными, выдают себя за потомков людей великих, и вот для этих желторотых птенцов любая хорошенькая женщина, независимо от ее душевных качеств, служит приманкой: любовная блажь в душевных свойствах не разбирается, она смотрит только на наружность.

К этому Антоньо-отец со своей стороны прибавил:

— Значит, нам придется прибегнуть к той самой хитрости, к какой прибегают во время перелета журавли: на горе Лимава их подстерегают хищные птицы, однако журавли в предвидении этой опасности пролетают над горою ночью; при этом каждый держит в клюве камень, чтобы не выдать себя курлыканьем. Нам же всего безопаснее идти берегом славной реки, тогда город останется у нас справа — мы осмотрим его как-нибудь в другой раз, а сейчас пойдем через Оканию в Кинтанар де ла Орден: это и есть моя родина.

Странница, выслушав, какой путь следования предлагает Антоньо-отец, объявила, что пойдет своей дорогой, более для нее удобной. Милая Рикла дала ей две золотые монеты, и после изъявлений учтивости и признательности странница со всеми простилась.

Паломники наши побывали в Аранхуэсе, а как дело было весною, то он особенно пленил и увеселил их взор. Они увидели его ровные, широкие улицы, коим служили как бы защитой и охраной бесконечные ряды деревьев, которых листья свежее своею зеленью напоминали мелкие, чистой воды, изумруды; еще они увидели слияние двух славных рек — Энареса и Тахо^[43], их поцелуи и объятия, и полюбовались их водяными горами; подивились они тому порядку, в каком здесь содержатся цветники, а равно и многообразию цветов; посмотрели на пруды, где больше рыбы, нежели песку, и на чудесные плодовые сады, где каждая ветвь сгибалась под тяжестью плодов. Коротко говоря, Периандр уверился, что местность эта вполне заслужила ту славу, которая о ней идет по всему миру.

Из Аранхуэса путники направились в Оканию, и здесь Антоньо-отцу подтвердили, что родители его живы, и еще он узнал много приятных для него вещей, о чем в своем месте будет сказано.

Воздух родного края возвеселил душу Антоньо, и все его спутники возрадовались духом после того, как посетили божью мать Упование. Рикла и ее дети с волнением) думали о том, что скоро они встретятся: она — со свекром и свекровью, они — с дедушкой и бабушкой; Антоньо уже получил сведения, что они живы, хоть и истосковались по сыну. Еще он узнал, что недруг его унаследовал достояние своего отца и что умер он близким другом отца Антоньо, ибо по тщательном выяснении всех обстоятельств этого крайне запутанного дела, которое в конце концов привело к дуэли, было установлено, что Антоньо ничего оскорбительного не сказал, — слова, коими они во время стычки обменялись, они произносили с обнаженной шпагой в руке, а между тем блеск оружия уменьшает силу слов; таким образом, слова, произносимые с обнаженной шпагой в руке, не оскорбляют, а всего-навсего обижают, и потому не должно думать, что человек, желающий отплатить за них, мстит за нанесенное ему оскорбление — он лишь наказывает за причиненную ему обиду. Сейчас я поясню это на примере: предположим, что я высказываю какую-нибудь непреложную истину; на это некий неосведомленный человек мне говорит, что все это ложь, от начала до конца, и, выхватив шпагу, подтверждает свое изобличение; мне, изобличаемому, нет никакой необходимости отстаивать провозглашенную мною истину, ибо опровергнуть ее невозможно; однако мне необходимо наказать моего обличителя за непочтительные выражения; следственно, тот, кого таким образом обличили, может сразиться с тем, кто пытался его обличить, однако при этом он не должен чувствовать себя оскорбленным и, вступая в бой, добиваться полного удовлетворения, ибо, повторяю, между обидой и оскорблением различие велико. И точно: я уже упомянул, что Антоньо стало известно о дружбе его отца с его противником, а раз что они подружились, значит они этому делу большого значения не придали.

Получив такие добрые вести, Антоньо, окончательно успокоенный и воспрянувший духом, на другой же день пустился в дорогу вместе со всеми своими спутниками и поведал им все, что стало ему известно; еще он им сообщил, что после смерти мнимого его недруга все имущество такового перешло по наследству к его брату и что этот его брат состоит в столь же дружеских отношениях с отцом Антоньо, в каких находился с ним при жизни покойный.

Антоньо вступил в заговор со всеми своими спутниками: ему хотелось не сразу назвать себя отцу, а подготовить его исподволь и тем самым усилить радость встречи, радость же внезапная способна-де убить человека, так же как убивает неожиданное горе.

Спустя три дня, уже в сумерках, подошли они к родному селению Антоньо, а немного погодя — к дому его отца, отец же его и мать посиживали в это время около своего дома и, как говорится, дышали свежим воздухом, ибо то была пора летних жаров. Путники приблизились к ним все вместе, и первым заговорил с отцом сам Антоньо:

— А что, сеньор, есть в этом селении странноприимный дом?

— Здесь живут христиане, а потому здесь во всех домах принимают странников, — отозвался отец. — Если же вы нигде не нашли себе пристанища, то мой дом настолько велик, что в нем все разместятся. У меня есть близкие люди, они скитаются по белу свету и, может статься, так же, как и вы, в эту самую минуту ищут, кто бы их к себе пустил.

— А что, сеньор, — продолжал Антоньо, — это селение — не Кинтанар де ла Орден и не проживает ли здесь кто-нибудь из идадьго по фамилии Вильясеньор? Говорю я это к тому, что я знавал в дальних краях некоего Вильясеньора, и вот если б я его здесь встретил, у него

всегда нашлось бы место и для меня и для моих спутников.

— А как звали этого Вильясенъора, сынок? — спросила мать.

— Его звали Антоньо, — отвечал Антоньо, — а отца его, если не ошибаюсь, звали Дъего де Вильясенъор, — так, по крайней мере, он мне говорил.

— Ах, сеньор! — встав с места, воскликнула мать. — Антоньо — это мой сын. Вот уже шестнадцать лет, как с ним стряслась беда и он принужден был оставить родные края. Слезами и стенаниями искупала я его вину, я вымаливала ему прощение в молитвах. Дал бы бог мне его увидеть, прежде чем очи мне не затмит ночь вечная! А скажите на милость, как давно вы его видели? Как давно вы с ним расстались? Здоров ли он? Думает ли воротиться на родину? Не забыл ли родителей? Теперь он может приехать к нам без всякого риска: врагов у него здесь больше нет, — те враги, которые когда-то обрекли его на изгнание, ныне превратились в друзей.

После этого разговора престарелый отец Антоньо крикнул слугам, чтобы они зажгли в доме свет и провели в покои почтенных путников, затем приблизился к своему пока еще не узнанному сыну, заключил его в объятия и сказал:

— Если б даже, сеньор, вы и не были столь приятных вестей глашатаем, я пригласил бы вас к себе ради вас самого, ибо таков мой обычай — привечать у себя всех проходящих мимо моего дома странников. Но после таких радостных вестей рвение мое стократ усилится, и я превзойду самого себя в готовности служить вам не щадя своих сил.

Тем временем слуги зажгли свет и повели странников в дом, а навстречу им в обширный внутренний двор вышли две красивые скромные девушки, сестры Антоньо, родившиеся в то время, когда он пребывал в изгнании, и, очарованные красотой Ауристелы и прелестью своей племянницы Констансы, к великой радости Риклы принялись осыпать их поцелуями и восхищаться ими. Сестры ожидали, что вот-вот появятся их родители вместе с гостем, однако ж те появились не одни, а в сопровождении целой толпы, которая несла на руках кресло, а в кресле сидел полумертвый человек, и в этом человеке они сейчас узнали графа, получившего в наследство от дяди не только его имение, но и его врага. Шум толпы, смутнение родителей, желание как можно лучше принять гостей — все это так взволновало девушек, что они растерялись и не знали, за кем ухаживать и у кого спросить о причине переполоха.

Родители Антоньо бросились к графу — тот был ранен пулей в спину навылет во время стычки между двумя ротами солдат, стоявших в селении на постое, и сельчанами; и вот, когда графа ранили, он велел отнести себя к своему другу Дъего де Вильясенъору, а принесли его как раз, когда Дъего де Вильясенъор принимал у себя своего сына, невестку, внуков, Периандра и Ауристелу, Ауристела же, взяв сестер Антоньо за руки, обратилась к ним с просьбой увести ее подальше от всей этой сумятицы — куда никто не мог бы пойти. Девушки, не уставая дивиться несравненной красоте Ауристелы, исполнили ее просьбу. Констанса, в душе которой заговорил властный голос крови, не могла, да и не хотела расстаться со своими тетушками; все три девушки были одних лет и почти одинаково красивы. То же самое происходило и в душе Антоньо-сына, и в конце концов он, забыв правила приличия, забыв, что он в этом доме гость, в восторженном порыве, — впрочем, вполне благопристойном, — обнял одну из своих тетушек, что заставило одного из слуг воскликнуть:

— А ну-ка, господин странник, руки прочь! С нашим хозяином шутки плохи: он вас живо окоротит, невзирая на ваше бесстыдство и наглость, уж вы мне поверьте.

— Клянусь богом, братец, — молвил Антоньо, — это лишь слабое изъяснение моей преданности. Я молю бога, чтобы исполнилось мое желание, а у меня только одно желание:

как бы угодить этим сеньорам и всем обитателям дома сего.

Между тем раненого графа положили на мягкую постель и позвали к нему двух лекарей, чтобы те остановили кровь, лекари же, осмотрев рану, признали ее смертельной: человеческие средства тут, дескать, бессильны.

Сельчане, все как один человек, ополчились на солдат, солдаты же в боевом порядке построились в поле, дабы в случае нападения дать поселянам бой. Все усилия и все благоразумие командиров, христианское миролюбие священников и монахов — ничто не могло усмирить народ: ведь народ часто волнуется по пустякам, и волнение его растет подобно волнению на море: сперва это зыбь, легким гонимая ветерком, но вдруг налетает норд-ост и, придав ласкающему дуновению зефира ураганную силу, вздымает валы до самого неба, а кстати сказать, небо в этот раз постаралось ускорить наступление дня, и на рассвете благоразумие командиров взяло верх, и им удалось увести солдат, сельчане же, несмотря на досаду и злость, которые они питали к солдатам, за пределы села так и не выступили.

Антоньо, начав издалека, сам себя перебивая и сильно волнуясь, в конце концов открылся своим родителям и представил им внуков и сноху — старики взглянули на них и заплакали, в очах же их застыло изумление перед красотой Ауристелы и привлекательностью Периандра, и вся душа их была исполнена восторга.

Сия радость, столь же великая, сколь и нечаянная, неожиданная встреча с родным сыном и его семьей — все это поглощало их внимание и отвлекало его от несчастья с графом, о котором они почти совсем забыли, а между тем графу час от часу становилось хуже. Все же хозяева познакомили его со своими родными и вновь подтвердили, что их дом и все, что только можно у них найти для ухода за больным, — к его услугам, ибо двигаться он не мог, а если б даже он и изъявил желание, чтобы его перенесли к нему в дом, то осуществить его было бы невысказано: едва ли донесли бы его до дома живым. Ауристела и Констанса, отзывчивые по натуре, не отходили от постели больного; движимые чувствами христианскими, они со всем возможным рвением исполняли при нем обязанности сиделок, действуя наперекор лекарям, которые требовали оставить больного одного или уж, во всяком случае, оставить его на попечение мужчин.

Однако по воле провидения, которое все на свете устрояет и движет по законам, от нас скрытым, повелело и распорядилось так, что жизнь графа пресеклась, но, прежде чем с нею расстаться, чувствуя, что он не жилец на этом свете, граф позвал к себе Дьего де Вильясеньор и, оставшись с ним наедине, обратился к нему с такою речью:

— Я покинул мой дом и направился в Рим, где святейший владыка в этом году отверз сокровищницы церкви^[44], поведав, что в благословенное сие лето господь явит нам безмерную свою благость. Вышел я налегке; меня можно было принять скорее за бедного странника, нежели за состоятельного кавальеро; наконец дошел я до вашего селения и, как вам известно, оказался свидетелем стычки между его жителями и расквартированными здесь солдатами. Я вмешался в эту стычку, чтобы люди зря не губили свою жизнь, и поплатился за это собственной жизнью, ибо я чувствую, как через рану, которую мне нанесли, скорее всего, вероломно, жизнь вытекает из меня по капле. Я не знаю, кто меня ранил, — когда дерется простонародье, то тут уже трудно что-нибудь разобрать. Смерти я не боюсь — единственно, чего я боюсь, это что она повлечет за собою смерть других людей, если их настигнет мщение или правосудие. Я же, как кавальеро и как христианин, хочу перед смертью объявить свою волю и успеть сделать то, что еще в моих силах. Итак, я прощаю моего убийцу и всех соучастников его, а кроме того, я намерен поблагодарить вас за все, что в вашем доме было для меня сделано, и отблагодарить не как-нибудь, а чем только могу. Вот в этих двух баулах.

где все мои вещи, есть и деньги и драгоценности, много места не занимающие, — всего, думается мне, на сумму в двадцать тысяч дукатов. Сумма, правда, небольшая, но если бы она была равноценна сокровищам Потоси^[45], то и тогда я употребил бы ее на то же, на что хочу употребить достояние, коим я располагаю ныне. Пока я еще жив, сеньор, передайте все это вашей внучке сеньоре донье Констансе, или пусть лучше она возьмет все сама — это будет ей приданое жениха: дело состоит в том, что я намерен обручиться с нею; правда, она скоро овдовеет, но зато она останется после меня почтенною вдовою и вместе с тем честною девушкой. Позовите сюда ее и священника, чтобы он обручил меня с нею. Ее добродетели, ее христианская душа, ее красота таковы, что она по праву могла бы повелевать всем миром. Не удивляйтесь, сеньор, тому, что вы от меня сейчас услышали, верьте мне! Если титулованная особа вступает в брак с благородною девушкою, в коей к вящей ее славе совместились все свойства женщины добродетельной, то не сочтите это за блажь. Нет, так мне велит господь, на это меня склоняет собственная моя воля. И сейчас я взываю к вашему благоразумию и прошу вас о том, чтобы ваша воля не чинила препятствий моей. Не теряйте же времени, приведите ко мне поскорей священника: пусть он обручит меня с вашей внучкой, а еще писаря: пусть он составит завещание и брачный договор по всей форме — так, чтобы потом клевета людская ничего не могла бы опровергнуть.

При этих словах Вильясеньор остолбенел; для него не подлежало сомнению, что граф помешался и что час его смерти настал, а перед смертью люди обыкновенно говорят или нечто весьма поучительное, или же нечто крайне бессвязное. Вот что он сказал в ответ графу:

— Сеньор! Бог даст, вы поправитесь, боль тогда уже не затуманит ваше сознание, и вы более светлым взором взглянете и на свои сокровища и на свою избранницу. Моя внучка вам не пара; во всяком случае, если она когда и будет достойна стать вашею супругой, то лишь в отдаленном будущем, но никак не сейчас, я же не настолько алчен, чтобы купить ту честь, какую вы мне оказываете, ценою того, что скажет обо мне темный на-род, а он всегда любит позлословить. И так уж, поди, про меня говорят, что я нарочно затащил вас к себе: меня, дескать, одолела жадность, и я нарочно довел вас до того, что вы повредились в уме, и женил на своей внучке.

— А пусть себе говорят, — заметил граф. — Темному народу не привыкать обманываться, так пусть он обманется и на ваш счет.

— Будь по-вашему! — согласился Вильясеньор. — Я не настолько неучтив, чтобы не отворить ворота счастью, когда оно само ко мне стучится.

С этими словами он вышел из комнаты и все слышанное от графа пересказал жене своей, внукам, Периандру и Ауристеле, те же рассудили, что должно, пока не поздно, схватить случай за вихор, благо он сам его подставляет, и пойти за священником и писарем, которые, мол. доведут дело до конца. За тем и за другим послали без промедления, и не прошло и двух часов, как Констанса была обручена с графом, деньги же его и драгоценности с соблюдением всех необходимых формальностей и условий перешли к ней. Во время помолвки музыку заменяли вздохи и рыдания, ибо конец графа был близок.

Коротко говоря, на другой день после помолвки граф, исповедовавшись и причастившись святых тайн, скончался на руках у своей супруги, графини Констансы, и тогда она, покрывшись черным платком и опустившись на колени, возвела очи к небу и произнесла:

— Даю обет...

Но тут ее прервала Ауристела:

— Какой обет собираетесь вы дать, сеньора?

— Быть монахиней, — отвечала та.

— Монахиней будьте, обета же такого не давайте, — сказала Ауристела. — Решение

посвятить себя богу не должно быть поспешным; на этот путь нельзя вступать единственно потому, что вас постигло несчастье: может статься, кончина вашего супруга подвигнула вас на то, чтобы дать обет, который потом вы не в силах будете или же не захотите исполнить. Предайте судьбу свою в руки божий и в свои собственные руки, и тогда разум ваш, а также разум ваших родных научит вас, как поступить, и наставит вас на стезю правую. А теперь распорядитесь насчет похорон и уповайте на бога — уж если вы нежданно-негаданно были возведены в графское достоинство, то господь, без сомнения, сумеет и захочет возвести вас со временем в иное достоинство, еще более почетное, еще более славное и непреходящее.

Констанса прониклась доводами Ауристелы и, отдав распоряжения насчет похорон, вышла к только что прибывшему младшему брату графа — горестная весть дошла до него в Саламанке, где он учился. Он оплакал кончину брата, однако ж, вспомнив о наследстве, скоро утешился. Здесь он узнал о помолвке брата, обнял свою невестку, ничего не стал оспаривать, гроб с телом брата распорядился перевезти в его имение, а затем выехал в столицу, чтобы возбудить дело против убийц, и в конце концов добился того, что командиров обезглавили; многие сельчане также понесли наказание. У Констансы остались приданое жениха и титул графини. Когда Периандр заговорил о дальнейшем путешествии, Антоньоотец и Рикла, устав от долговременных странствий, отказались ему сопутствовать; что же касается Антоньо-сына и Констансы, то странствия их не утомили, да и не могли они себе представить, как это они расстанутся с Ауристелой и Периандром.

Дедушка еще не видел полотна, на котором были изображены их похождения. Как-то раз Антоньо показал ему полотно, заметив, что здесь нужно бы еще изобразить, как Ауристела очутилась на острове варваров, где произошла ее встреча с Периандром, причем — необычайная метаморфоза! — она была в мужском платье, а он — в женском. Ауристела сказала, что она в двух словах все это объяснит. Дело, мол, было так: в Дании, на берегу моря, на нее, Клелию и двух рыбацек напали пираты и, переправив их на необитаемый остров, принялись делить добычу, но «разделить ее поровну им так и не удалось; тогда один из самых главных пиратов потребовал, чтобы ему отдали меня, а он-де за это прибавит что-нибудь из вещей. Итак, я одна очутилась в его власти, у меня не оказалось ни одной товарки по несчастью, а между тем это великое утешение, когда ты можешь с кем-нибудь разделить свое горе. Ревнуя меня даже к ветру, пират велел мне переодеться в мужское платье. Долго я скиталась вместе с ним и оказывала ему лишь такие услуги, которые не роняли моего достоинства. В конце концов мы пристали к острову варваров, варвары неожиданно на нас напали, мой властелин был убит в стычке, а меня взяли в плен и посадили в подземную тюрьму, и там я встретилась с моей дорогой Клелией, которую туда привела цепь столь же тяжелых испытаний, и она рассказала мне о нравах варваров, о распространенном среди них предрассуждении и о ложном и нелепом пророчестве, которому они верят. У Клелии были подозрения, что в этой же яме сидел брат мой Периандр, но она не успела с ним перемолвиться, потому что варвары поспешили взять его отсюда с тем, чтобы как можно скорей принести в жертву». Тогда Ауристела порешила во что бы то ни стало последовать за ним, дабы удостовериться, он это или же не он, а как она была в мужском платье, то добиться этого ей ничего не стоило. Сколько ни отговаривала ее Клелия, она настояла на своем и отдалась на волю варваров с тем, чтобы и ее принесли в жертву, ибо она рассудила, что лучше разом покончить все счеты с жизнью, чем столько раз быть на волосок от смерти, чем ежеминутно рисковать расстаться с жизнью. К этому Ауристела ничего больше не прибавила, заметив, что все, что с нею случилось потом, уже известно.

Старик Вильясензор высказал пожелание, чтобы события, о которых рассказывала Ауристела, были также запечатлены на полотне. Другие, однако ж, были противоположного

мнения: они сказали, что не только ничего не нужно добавлять, но что и уже изображенное следовало бы счистить, ибо столь великие и доселе невиданные приключения надлежит изображать не на непрочном полотне — они должны быть вычеканены на меди и врезаны в память потомства. Со всем тем Вильясеньор попросил подарить ему полотно — он-де будет любоваться удачными портретами своих внуков, а равно и несравненною красотою и привлекательностью Ауристелы и Периандра.

Ауристела и Периандр торопились в Рим исполнить свой обет, и на сборы в дорогу они потратили всего несколько дней. Антоньо-отец остался дома, Антоньо же сын остаться не захотел, а равно и его сестра Констанса, ибо в силу своей, уже известной читателям, привязанности к Ауристеле она готова была идти с ней не то что в Рим, а и на тот свет, если бы туда можно было идти с кем-нибудь вместе.

Настал день разлуки, и то был день обильных слез, крепких объятий и горестных вздохов, чаще всего излетающих из груди Риклы, которая при расставании с детьми испытывала такое чувство, как будто у нее душа расставалась с телом. Паломников благословил дедушка, ибо существует такое поверие, что благословение старых людей предохраняет от бед. Путешественники взяли с собой одного из слуг Дьего де Вильясеньор, чтобы он прислуживал им в пути, и тронулись в путь отчасти с легким, отчасти со стесненным сердцем, оставив пустоту и в доме и в душе стариков.

Долгие путешествия неизменно сопровождаются разнообразными приключениями, а как разнообразие предполагает известную пестроту событий, то и рассказы о них должны быть непохожи один на другой. Наглядным тому примером служит наша повесть, нить которой беспрестанно обрывают происшествия, повергая нас в недоумение касательно того, где нам завязать узел: ведь не все, что происходит в жизни, достойно описания, иное, без малейшего ущерба для повести, можно и опустить; есть такие деяния, о которых по причине необыкновенного их величия должно умалчивать, есть и такие, которые по причине крайней своей низости также не подлежат оглашению, ибо это лишь историк обладает тем преимуществом, что, о чем бы он ни писал, все сохраняет у него отпечаток подлинности; сочинитель же таковым преимуществом не обладает: ему надлежит излагать события точно, занимательно и правдоподобно, — с тем, чтобы вопреки и наперекор лжи, коренящейся в самом замысле и нарушающей его стройность, возникла истинная гармония.

Напомнив себе эту истину, обращаюсь к прекрасным моим странникам, прибывшим по пути в одно не большое, но и не малое селение, коего название я сейчас уже не помню, и увидевшим, что посреди площади, через которую им непременно надобно было пройти, стоит огромная толпа народа, жадно внимающая двум юнцам и не спускающая с них глаз, — юнцы же, одетые так, словно они недавно вырвались из плена, объясняли, что изображает собою раскрашенный холст, который они расстелили на земле. Казалось, они только что сняли с себя лежавшие возле них тяжелые цепи — явные доказательства постигшего их тяжкого бедствия. Один из них, на вид лет двадцати четырех, говоривший внятно и в высшей степени красноречиво, время от времени оглушительно хлопал бичом, или, вернее, хлыстом, точь-в-точь, как кучер, который, желая наказать или припугнуть коней, с невероятным треском рассекает воздух кнутом. Среди тех, кто слушал подробные его объяснения, находились два местных алькальда, оба — старики, хотя один из них казался моложе.

Так вот с чего начал свою речь освобожденный пленник:

— Здесь, сеньоры, нарисован город Алжир, язва всего Средиземноморского побережья, пристанище корсаров, прибежище и оплот пиратов, что выходят на своих судах вот из этой малюсенькой гавани и держат в страхе весь свет, ибо они осмеливаются, миновав Геркулесовы столпы^[46], разорять и грабить отдаленные острова, которые, будучи окружены со всех сторон безбрежным Океаническим морем, могли бы, кажется, чувствовать себя защищенными, во всяком случае, от турецких судов. Судно, нарисованное здесь в уменьшенном виде, как того требуют законы живописи, — это двадцатидвухвесельный галиот, владелец же его и капитан — вот этот турок, что проходит между скамьями, держа мертвую руку, которую он отрубил вон у того христианина и которая служит ему бичом и хлыстом для избиения других христиан, привязанных к скамьям, и со страхом поглядывает, скоро ли настигнут его вон те галеры, что устремились за ним в погоню. Вон тот пленник, что сидит с краю на передней скамье и которому турок отрубленной рукой разбил лицо в кровь, — это я, старший гребец на галиоте, а другой, что сидит рядом, — это мой товарищ, и крови у него на лице меньше, оттого что его не так жестоко избили. Будьте же внимательны, сеньоры: может стать, следя за скорбною моею повестью, вы услышите грозные крики и брань, которою нас осыпал собака-Драгут, — так звали арраиса этого галиота, корсара столь же знаменитого, сколь и жестокого, не менее жестокого, чем Фаларис и Бузирис, тираны Сицилии^[47]; по крайней мере, у меня в ушах все еще звучат: *роspени, манахора и дениманийок*,

произносившиеся им с сатанинскою злобою, — всеми этими словами и выражениями турки пользуются для того, чтобы оскорблять пленных христиан и изрыгать на них хулу; они почитают их за людей низких, бессовестных, нечестивых, злонамеренных и, ради вящего устрашения несчастных, бьют их по живому телу мертвыми руками.

Один из алькальдов, по-видимому долго живший в алжирском плену, сказал другому вполголоса:

— До сих пор этот пленник, в общем, как будто бы говорил правду, — видно, он и в самом деле побывал в плену. Попробую, однако ж, расспросить его о некоторых частностях, — посмотрим, выкрутится ли он. Надобно вам знать, что я тоже находился на этом галиоте, но мне помнится, что старшим гребцом был вовсе не он, а некий Алонсо Моклин, родом из Велес-Малаги.

Тут алькальд обратился к пленнику:

— Скажите, друг мой: чьи галеры устремились за вами в погоню и удалось ли вам с их помощью обрести желанную свободу?

— То были галеры дона Санчо де Лейва, — отвечал пленник, — свободы же мы не обрели, ибо они нас не настигли. Мы обрели ее позднее, с помощью галиота, который с грузом зерна шел из Сарджела в Алжир. На нем мы прибыли сначала в Оран, потом в Малагу, а теперь мы с моим товарищем держим путь в Италию, дабы присоединиться к войску, которое возглавляет богохранимый король наш.

— А скажите, друзья, — продолжал алькальд, — вы попали в плен одновременно? Вас сразу же привезли в Алжир или сначала в какую-нибудь другую часть Берберии?

— Нет, не одновременно, — отвечал другой пленник, — наш корабль направлялся с грузом шерсти в Геную, и его захватили турки близ Аликанте, а мой товарищ рыбачил в Перчелес под Малагой — там его и взяли в плен. Встретились мы с ним в Тетуане в подземной тюрьме, подружился, долгое время делили горе пополам, и вот теперь сеньор алькальд из-за каких-то несчастных медяков, что мы тут насобирали, нещадно к нам придирается.

— То ли еще будет, молодой человек! Я из вас все жилы повытяну, — пригрозил алькальд. — А ну-ка, скажите, сколько в Алжире гаваней, сколько колодцев с пресной водой и сколько ключей.

— Что за глупый вопрос! — воскликнул первый пленник. — Сколько замков, столько и ключей, а сколько там гаваней и колодцев — это я помнить не обязан, я в плену того натерпелся, что забыл, как меня зовут. Если же сеньор алькальд почитает приличным нарушать Христову заповедь о любви к ближним, то нам остается собрать с холста медяки и свернуть палатку. Счастливо оставаться, свет не клином сошелся «а вашем селе!

При этих словах алькальд подозвал одного из стоявших в толпе, который, как видно, исполнял обязанности местного глашатая, а, может статься, в случае надобности, и палача, и сказал ему:

— Хиль Берруэко! Немедленно приведи сюда двух ослов, какие тебе попадутся на глаза. Клянусь жизнью его величества короля, я прокачу на них по всем улицам этих сеньоров пленников, — хватает же у них совести рассказывать тут всякие небылицы в лицах и кланчить за это милостыню у настоящих бедняков, а ведь сами-то здоровы, как быки: им бы заступ в руки, а не хлыст, которым они тут без толку хлопают. Я пробыл в алжирском плену пять лет и могу засвидетельствовать, что вы, молодые люди, понятия о нем не имеете.

— Черт знает что такое! — воскликнул пленник. — Не стыдно вам, сеньор алькальд, требовать, чтобы такие бедняки, как мы, были богаты воспоминаниями, не стыдно вам из-за сущей безделицы, из-за жалких медяков, позорить двух славных студентов и лишать его

величество двух храбрых солдат, которые отправляются в эту самую Италию или там Фландрию рубить, колоть, ранить и убивать всех врагов святой католической веры, какие только встретятся нам на пути? Если уж вы добиваетесь истины, истина же есть дочь господня, то да будет вам известно, сеньор алькальд, что мы вовсе не пленники, а саламанкские студенты: в разгар ученья, которое шло у нас весьма успешно, нам вдруг припала охота побродить по свету и получить представление о походной жизни, ибо прелестей мирной жизни мы уже вкусили. Как будто нарочно для того, чтобы помочь нам в осуществлении задуманного предприятия, в Саламанку явились пленники, вероятно тоже выдававшие себя за таковых. Мы купили у них этот холст, запаслись кое-какими сведениями об Алжире, — они показались нам достаточными и вместе с тем необходимыми для того, чтобы наши рассказы могли сойти за правду, — продали за бесценок книги и разные вещицы и, нагрузившись вот этим товаром, в конце концов дошли до вашего села. Теперь мы намерены двинуться дальше, если только от сеньора алькальда не последует иного распоряжения.

— А я намерен отсчитать каждому из вас по сотне розог, — подхватил алькальд, — затем вместо пики, с которой вы собираетесь таскаться по Фландрии, дать вам в руки весло и, посадив на галеры, заставить шлепать им по воде, — этак вы, пожалуй, принесете больше пользы его величеству, нежели с пикой.

— Как видно, сеньор алькальд желает прослыть афинским законодателем^[48], — заметил юный краснбай, — верно, вы хотите, чтобы слух о вашей непреклонности дошел до членов государственного совета и чтобы они, преисполнившись к вам доверия и приняв вас за строгого и праведного судью, стали поручать вашей милости важные дела, дабы вы могли выказать свою строгость и беспристрастие? Помните, однако ж, сеньор алькальд: одно дело — дура лекс^[49], а другое — беззаконие.

— Говори, да не заговаривайся, братец, — сказал другой алькальд, — у нас тут дуралеев нет, все здешние алькальды были, есть и будут умны, как день. Держи язык за зубами, а не то худо тебе придется.

Тем временем воротился глашатай и сказал:

— Сеньор алькальд! Ослов я не нашел, но зато встретил двух рехидоров — Берруэко и Креспо, — вон они прогуливаются.

— Я тебя за ослами посылал, болван, а не за рехидорами, — ну да все равно, веди их сюда, я хочу, чтобы они присутствовали при вынесении приговора, а приговор так или иначе должен быть вынесен, — не откладывать же дело из-за того, что ты не нашел ослов: кого-кого, а ослов, слава тебе, господи, в наших местах довольно.

— Не думайте, сеньор алькальд, что вы обеспечите себе место в раю своею неумолимостью, — снова заговорил юнец. — Ради самого Христа, примите в соображение, что награбленный нами капитал не настолько велик, чтобы пускать его в рост или учреждать с его помощью майорат^[50]. Мы еле-еле сводим концы с концами, а между тем мы добываем себе пропитание трудом не менее тяжким, чем труд мастерового или же чернорабочего. Родители не обучали нас ремеслам, и оттого нам волей-неволей приходится надеяться на свою изворотливость, тогда как, владей мы каким-либо ремеслом, мы надеялись бы на свои руки. Наказывайте взяточдателей, воров, забирающихся в чужие дома, разбойников с большой дороги, лжесвидетелей, дурных слуг своей родины, бездельников и тунеядцев, которые увеличивают собою число сошедших с пути истинного, честных же бедняков не задерживайте, ибо они намерены предоставить в распоряжение его величества не только силу мышц своих, но и остроту своего ума, а ведь лучшие солдаты — это те, которых пересадили с почвы науки на поле боя. Из студента не может не выйти отличного солдата,

ибо тут к силе присоединяется разум, а сила — к разуму, они действуют заодно, и это изумительное сочетание радует сердце Марса, укрепляет мир и усиливает мощь державы.

Речь юнца привела в изумление Периандра и большинство присутствовавших своим содержанием, а равно и тем жаром, с каким она была произнесена, юнец же между тем продолжал:

— Обыщите нас, сеньор алькальд, осмотрите со всех сторон, исследуйте все швы на нашем платье, и если в нашем распоряжении окажется более шести реалов, то прикажите дать нам не сто, а сто миллионов розог. Не думаю, чтобы из-за столь ничтожной выручки стоило выставлять людей на позор и подвергать их истязаниям на галерах, а потому я еще раз прошу вас, сеньор алькальд: подумайте хорошенько, не торопитесь, а то как бы сгоряча, в запальчивости, не натворить такого, о чем вы после сами, может быть, пожалеете. Разумные судьи карают, но не мстят, осмотрительные и незлобивые — сочетают справедливость со снисходительностью и, будучи милосердными даже в строгости, доказывают этим ясность своего ума.

— Ей-богу, этот юноша складно говорит, хотя и слишком много, — заметил другой алькальд, — я не намерен наказывать студентов, — у меня совсем другое намерение, а именно: позвать их к себе и дать им на дорогу денег, с условием, однако ж, что они будут идти дорогой прямой, никуда с нее не сворачивая, иначе они скорее навлекут на себя подозрения, нежели вызовут жалость.

Тогда первый алькальд, смягчившись и подобрев, преисполнившись кротости и сострадания, сказал:

— Нет уж, они не к вам пойдут, а ко мне, и у себя дома я с ними потолкую об Алжире, дабы впредь, когда они станут рассказывать вымышленную свою историю, никто не мог поймать их на ошибке.

Пленники поблагодарили его, присутствовавшие одобрили благородный его поступок, странники же были обрадованы столь благоприятным исходом дела.

Первый алькальд обратился к Периандру и сказал:

— Ну, а вы, сеньоры странники, тоже намерены показать нам какой-нибудь холст? Вы тоже намерены выдать за правду еще какую-нибудь историю, хотя бы ее сочинила сама ложь?

Периандр ничего ему не ответил, ибо как раз в эту минуту Антоньо достал из-за пазухи все их пропускные свидетельства, разрешительные грамоты и удостоверения и, передав алькальду, сказал:

— Из этих бумаг вам станет ясно, ваша милость, кто мы такие и куда направляемся. Собственно говоря, мы не обязаны вам их показывать: ведь мы не просим подаяния и не нуждаемся в нем, а потому, как свободные путешественники, мы имеем право на свободу передвижения.

Алькальд взял бумаги, однако ж по причине своей неграмотности передал их другому алькальду, а как другой алькальд тоже не принадлежал к числу грамотеев, то бумаги в конце концов перешли в руки писаря и там задержались, писарь же, пробежав бумаги глазами, вернул их Антоньо и, обратясь к алькальдам, сказал:

— Сеньоры алькальды! Добропорядочность этих путников столь же бесспорна, сколь неотразима их красота. Если они пожелают здесь заночевать, то мой дом послужит им гостиницей, а мое к ним расположение — крепостью, где они могут чувствовать себя в полнейшей безопасности.

Периандр изъявил ему свою признательность. Было уже поздно, а потому странники порешили остаться здесь на ночь, и в доме писаря они нашли ласку, уют и обильное

угощение.

Настал день, а вместе с ним настало время для благодарности за гостеприимство; когда же странники тронулись в путь, то при выходе из селения повстречали мнимых пленников, и те им сказали, что алькальд так их натаскал, что уж теперь они все про Алжир знают назубок и никто к ним не придерется.

— В иных случаях, — добавил наиболее из них разговорчивый, — воровство совершается с дозволения и одобрения властей. Я хочу сказать, что дурным слугам правосудия случается иной раз стакнуться с нарушителями закона: всем, дескать, есть-пить надо.

Наконец все они, и путники и мнимые пленники, подошли к тому месту, где дорога разветвлялась. Пленники двинулись по Картахенской дороге, а странники — по Валенсийской, и на другой день, когда Аврора уже выглядывала из окон востока, сметая с небосвода звезды и очищая путь солнцу, коему предстояло свершить обычный свой круговорот, Бартоломе (так, кажется, звали слугу, попечению которого были вверены пожитки путников), удостоверившись, что солнце восходит весело и радостно, что оно разукрасило облака небесные всеми возможными цветами и явило взору на редкость отрадное и красивое зрелище, со свойственною всем деревенским жителям рассудительностью заговорил:

— Видно, правду молвил проповедник, который на днях проповедовал в нашем селе, а говорил он о том, что небо и земля вещают и обличают величие божие. По чести, если б даже мои родители, священники и наши деревенские старики не рассказывали мне о боге, я все равно почуял бы, что он есть, и уверовал: мне довольно было бы познать величие бескрайних небес, — а ведь я слышал, что небес много, во всяком случае — не меньше одиннадцати, — или же величие солнца: оно всех нас освещает; на вид — не больше щита, а на самом деле — во много раз больше земли, но огромное-то оно огромное, а до чего же, я слышал, легкое: в двадцать четыре часа проходит триста миль с лишком! Хоть это и правда, а мне как-то не верится. Впрочем, про это толкуют всё люди положительные, волей-неволей приходится им верить. Но вот чего я никак не могу взять в толк: говорят, будто под нами живут люди, прозываются они антиподы, и когда мы здесь, наверху, двигаемся, то мы ходим по их головам, — вот этому я веры не придаю: ведь чтобы выдержать этакую тяжесть, надобно иметь медные головы.

Посмеялся Периандр над доморощенной астрологией парня и сказал:

— Я бы мог привести тебе, Бартоломе, веские доказательства и убедить тебя, что ты заблуждаешься и неверно представляешь себе мироздание, для чего мне понадобилось бы возвратиться к первым дням творения. Но дабы приспособиться к твоему кругу понятий, я постараюсь сузить свой собственный и ограничусь весьма немногим: я хочу лишь, чтобы ты признал за непреложную истину, что земля есть центр небесного круга. Центром я называю незримую точку, в которой сходятся все его радиусы. Впрочем, мне сдается, что ты и этого не способен понять. Ну хорошо, я не буду больше затруднять тебя разными мудреными названиями. Довольно тебе знать, что небо раскинулось над всею землею; в какой бы ее части люди ни находились, над всеми людьми простирает покров свой небо. Таким образом, небесный свод обнимает, как видишь, всех нас, а следственно, обнимает он и этих самых антиподов — так уж распорядилась природа, распорядительница в доме истинного бога, творца неба и земли.

Парень не без приятности слушал речи Периандра; доставили они удовольствие и

Ауристеле, Констансе и Антоньо.

Такими и тому подобными поучениями занимал и развлекал дорогою спутников своих Периандр, когда их нагнала повозка, которую сопровождали шесть пеших аркебузирова и один всадник, к передней седельной луке коего был привязан мушкет, и вот этот самый всадник, приблизившись к Периандру, молвил:

— Если у вас, почтенные путешественники, есть в запасе консервы, — а я полагаю, что непременно должны быть, ибо наружный ваш вид обличает в вас скорее богатых кавальеро, нежели бедных странников, — так вот, если у вас есть консервы, то пожертвуйте их для поддержания сил ослабевшего юноши, который едет в повозке: его приговорили к двум годам галер, а вместе с ним еще двенадцать солдат: всех их ссылают в каторгу за участие в убийстве графа, а командиров судили строже — они, сколько мне известно, приговорены к смертной казни: им отрубят голову в Мадриде.

При этих словах прелестная Констанса не могла удержаться от слез, ибо слова эти вызвали в ее памяти кончину недолговечного ее супруга, но как христианские ее чувства тут же взяли верх над жаждою мщения, то она бросилась к тележке с вещами, достала коробку консервов и, подбежав к повозке, спросила:

— Кто здесь ослабевший?

На это ей один из конвойных ответил так:

— Вон он, забился в угол, лицо у него все в колесной мази — видно, хочет быть не краше самой смерти, когда она за ним придет, а жить ему и впрямь осталось недолго: ведь он уж сколько времени ничего в рот не берет.

При этих словах юноша с намазанным колесной мазью лицом поднял голову, сдвинул на затылок рваную шляпу, закрывавшую все его грязное и некрасивое, как показалось Констансе, лицо, и, взяв у нее коробку консервов, промолвил:

— Спаси вас Христос, сеньора!

Тут он снова нахлобучил шляпу, снова сделался мрачен и, забившись в угол, стал ждать смерти.

Странники перекинулись еще несколькими словами с конвойными, а затем пути их разошлись.

Спустя несколько дней прекрасные наши странники достигли селения морисков в королевстве Валенсийском, расположенном примерно в одной миле от моря. И здесь постоянный двор им не зандобился, оттого что каждый дом здесь гостеприимно распахивал перед ними свои двери. Удостоверившись в том, Антоньо сказал:

— Я не понимаю, отчего про них идет худая молва, да они святые люди!

— Христа встречали в Иерусалиме с пальмовыми ветвями те самые люди, которые несколько дней спустя его распяли, — возразил Периандр. — Ну, авось, бог даст, как говорят, все обойдется. Давайте воспользуемся гостеприимством вон того доброго старика, что зовет нас к себе в дом.

И точно: старый мориск почти силком тащил их за рукав к себе и по всем признакам готовился принять их не как мориск, а по-христиански. Прислужить им вышла его дочка, одетая по-мавритански и до того красивая, что даже самые обворожительные христианки почли бы за счастье оказаться похожими на нее: ведь природа, распределяя свои щедроты, так же может осчастливить дикарок Скифии, как и жительниц Толедо. Коротко говоря, эта самая красавица мавританка, взяв Констансу и Ауристу за руки, отвела их в одну из комнат нижнего этажа и там, не выпуская их рук, боязливо огляделась по сторонам и, удостоверившись, что никто их не подслушивает, и только после этого успокоившись, на ломаном испанском языке заговорила:

— Ах, сеньоры! Вы попались так же точно, как кроткие, бесхитростные овечки попадают под нож мясника. Вы видели этого старика, которого мне стыдно назвать своим отцом, видели, как он перед вами расстилался? Так знайте же, что у него одна цель — быть вашим палачом. Нынче ночью шестнадцать судов, принадлежащих берберийским корсарам, должны принять на борт, если так можно выразиться, оптовый груз — всех жителей нашего селения со всем их имуществом, чтобы им потом не за чем было возвращаться. Эти несчастные воображают, будто в Берберии они ублажат свое тело и спасут свои души, а того не возьмут в толк, что мориски туда уже целыми селами переселялись и так-то после тужили, так-то жаловались на горькую свою судьбу! Берберийские мавры говорят, что там у них рай земной, вот здешние мориски и летят туда, как бабочки на огонь своего несчастья. Если же вы не хотите, чтобы и вас постигло несчастье, если вы не хотите утратить свободу, которую вы всосали с молоком матери, то бегите из этого дома и укройтесь в церкви: там вы найдете себе покровителя в лице священника — ведь только он, да еще писарь у нас в селе чистокровные христиане. Найдете вы там и моего дядю, хадрака^[51] Харифа — он мавр только по названию, а по делам своим он христианин. Скажите, что вас к нему направила Рафала, тогда он поверит и укроет вас. Поймите, это не шутка, иначе вы дорого заплатите за свое разужерение: ведь самый худший вид обмана — это когда он рассеивается слишком поздно.

Испуганное выражение лица Рафалы, жесты, какими она сопровождала свою речь, — все это произвело на Ауристелу и Констансу сильное впечатление, и, поверив Рафале, они ответили ей изъявлениями своей признательности. Затем они позвали Периандра и Антонио, рассказали им обо всем и без всякого благовидного предлога забрали свои пожитки и ушли. Бартоломе хотелось отдохнуть, а не кочевать с места на место — такое непостоянство ему не улыбалось, однако он вынужден был подчиниться своим господам.

В церкви путников встретили с распростертыми объятиями священник и Хариф, путники же сообщили им о своем разговоре с Рафалой.

— Вот уже несколько дней, сеньоры, мы со страхом ожидаем прибытия берберийских судов, — сообщил священник. — Они частенько к нам сюда заглядывают, но на сей раз запаздывают, и вот это-то обстоятельство меня и тревожит. Пожалуйте, дети мои: колокольня у нас тут надежная, и вполне надежны окованные железом двери храма — нужно уж очень постараться, чтобы они обрушились или же сгорели.

— О, если б очи мои, прежде чем закрыться навеки, увидели нашу землю свободной от этих колючек, от этого сорняка! — воскликнул тут Хариф. — Скорей бы настало время, которое предсказывал мой дед, понимавший толк в астрологии, — время, когда христианская религия будет царить в Испании безраздельно! Ведь Испания — это же единственный уголок на земле, где нашла себе пристанище истинная истина Христова и где ее свято чтут! Я мориск, сеньоры, как мне ни неприятно в этом сознаться, однако же это не помешало мне стать христианином, ибо господь посылает дар божественной благодати всем своим верным рабам: вы лучше меня знаете, что он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ну так вот: дедушка мой предсказывал, что в недалеком будущем в Испании воцарится король династии австрийской^[52] и в душе его созреет многотрудное решение изгнать отсюда морисков, — так сбрасывают змею, которая, вползая за пазуху, впилась в тело, так отделяют плевелы от пшеницы, так выпалывают и выкидывают из поля вон худую траву. Ей, гряди, счастливый юноша, мудрый король, и приведи в исполнение твердый указ об изгнании, и пусть тебя не пугает мысль, что земля эта пребудет пустынной и безлюдной и что не следует так поступать с людьми, которые были на этой земле крещены. Сколько бы ни были значительны опасения, благие последствия

великого этого дела их рассеют; будущее покажет, — и очень даже скоро, — что чистокровные христиане, которые на этой земле поселятся, так ее возделают, что она станет давать урожай куда более обильный. Пусть у владельцев этих земель будет не так много покорных вассалов, но зато это будут католики, под охраною которых на дорогах прекратится разбой, которые восстановят порядок, и люди перестанут дрожать за свое имущество — никто его у них уже не отнимет.

Заперев двери и завалив их скамьями, все поднялись на колокольню, а затем втащили наверх приставную лестницу. Священник взял с собою запасные дары. Мужчины вооружились камнями, зарядили два мушкета, слуга Бартоломе, оставив у дверей храма пустую и голую тележку, заперся вместе со своими господами, и все они, начеку, настороже и наготове, стали ждать приступа, о возможности коего их предувредила дочь мориска. Наконец священник определил по звездам, что полночь миновала, и, охватив взглядом морской простор, при ярком свете луны, на которую не набегала ни одна тучка, заметил турецкие суда. Тогда он схватил веревки и столь поспешно и с такой силой ударил в колокола, что все окрест задрожало, и, услышав набат, сбегалась береговая охрана и рассыпалась по побережью, однако все ее проворство не помешало турецким судам подойти к берегу и произвести высадку. Только этого и ждавшие местные жители, захватив с собой самые лучшие и самые дорогие свои вещи, вышли навстречу туркам, а турки по сему случаю подняли радостный вой и крик и затрубили в трубы: музыка то была хотя и военная, однако ж веселая; затем мориски подожгли селение и попытались поджечь двери храма — они не собирались туда проникнуть, им просто хотелось попортить храм; обломали колеса тележки, вследствие чего Бартоломе ожидала участь вьючного животного; свалили каменный крест у въезда в селение и при этом громко зывали к Магомету, в довершение же всего трусливые эти негодяи, у коих нет ни стыда, ни совести, передались туркам. Но они и в море, как говорится, еще не вышли, а уже почувствовали, что эта перемена в жизни грозит им нищетой и обрекает на бесчестье их жен и дочерей.

Антоньо и Периандр палили из мушкетов и иногда попадали в цель, Бартоломе бросал камни — и все норовил угодить в тех, кто стоял возле его тележки, Хариф стрелял из лука. Но не столь часто летели с колокольни камни и стрелы, сколь часты были слезы, струившиеся из очей Ауристелы и Констансы, которые, глядя на ковчежец с дарами, молили бога спасти их от страшной беды и не допустить, чтобы сгорел храм, а храм между тем так и не загорелся — и не каким-либо чудом, а просто потому, что двери были окованы железом и потому, что огонь был нежаркий.

Незадолго до рассвета суда с добычей под ликующие крики «Алла ил алла!» и под звуки бесчисленных труб и литавр вышли в море, и тут все, кто был на колокольне, увидели, что к церкви бегут две фигуры: одна — со стороны моря, другая — со стороны села; когда же они приблизились, в одной из них Хариф узнал племянницу свою Рафалу — держа в руках тростниковый крест, она громко восклицала:

— Христианка, христианка, да к тому же еще, по милости и милосердию божью, вольная христианка!

Вторым человеком, бежавшим к церкви, оказался писарь — эту ночь он по счастливой случайности не ночевал в селе и прибежал сюда, только когда слышал набат, и, прибежав, заплакал, но оплакивал он не жену и детей — их тут не было, — а свой дом, разграбленный и сожженный.

Укрывавшиеся на колокольне порешили спуститься не прежде чем рассветет, дав время туркам уйти подальше, а береговой охране — обследовать побережье; когда же они спустились и отворили двери, в храм вошла со слезами радости на глазах похорошевшая от

волнения Ра-фала и, помолившись, поцеловала руку священнику, а затем обняла дядю. Писарь же не преклонял колен и никому не целовал рук — он был удручен потерей своего имущества. Когда же все мало-помалу успокоились и пришли в себя, Хариф опять вспомнил о пророчестве своего деда и, воспрянув духом, как бы по наитию заговорил:

— Ей, гряди, благородный юноша! Ей, гряди, государь непобедимый! Сокруши, разбей, опрокинь все преграды, очисти и освободи Испанию от моего дурного племени, причинившего ей столько горя и столько вреда! Ей, гряди, благоразумный и знаменитый советчик, новоявленный Атлант, подъявший на рамена свои бремя забот об испанской монархии! Помоги своими советами и ускори это вызываемое необходимостью переселение! Выведи в море суда, груженные балластом, который являют собой потомки Агари! Выброси на тот берег тернии, волчец и другие сорные травы, что заглушают всходы христианские! Если те немногие евреи, которые попали в Египет, размножились до того, что при выходе из Египта их уже насчитывалось более шестисот тысяч семейств, то за этих людей тем паче беспокоиться нечего — их много больше, и житье у них привольное: из них не тянут соки на нужды церкви, с них не дерут последнюю шкуру на дела индийские, их не обирают дочиста на расходы военные. Все они состоят в браке, все или почти все имеют потомство, — отсюда следует и явствует, что прирост их и приплод долженствует быть неисчислимым. Ей, гряди, говорю я, гряди, гряди, государь, и да воссияет твое королевство, как солнце, и да преисполнится оно красоты небесной!

Два дня пробыли здесь паломники; когда же они запаслись всем, что бывает нужно в дороге, а Бартоломе привел в надлежащий порядок тележку, то, поблагодарив священника за его радушие, выразив одобрение Харифу по поведи образа его мыслей, обняв Рафалу и со всеми простившись, тронулись в путь.

в начале коей путешественники вспоминают о минувшей беде, о благонамеренности Харифа, о храбрости священника и о горячности Рафалы; вот только они забыли у нее спросить, каким образом удалось ей ускользнуть от турок, высадившихся на суше. Впрочем, путники легко сообразили, что, воспользовавшись переполохом, она забилась в укромный уголок с тем, чтобы потом исполнить заветное свое желание — жить и умереть христианкой.

Наконец путники приблизились к Валенсии, но, не желая задерживаться, в самый город не вошли. Впрочем, нашлись люди, которые рассказали им, как широко этот город раскинулся, какой славный живет в нем народ, сколь живописны его окрестности, словом, обо всем, что делает его самым красивым и самым богатым городом не только в Испании, но и во всей Европе; много лестных слов услышали путники и о красоте валенсианок, о необычайной их порядливости и о том, как красиво здесь говорят, — мягкостью и благозвучием выговора с валенсийцами одни лишь португальцы могли бы поспорить.

Путники порешили, несмотря на усталость, проходить ежедневно еще больше, чем раньше, чтобы поскорей поспеть в Барселону, — они получили сведения, что там можно сесть на одну из галер, которая во Францию заходить не будет, а доставит их прямо в Геную. Когда же они покинули Вилья Реаль, очаровательное, живописнейшее селение, из лесу неожиданно вышла валенсийская пастушка, одетая по-деревенски, вся ясная, как солнышко, красивая, тоже как солнце или как луна, и без подходов и без всяких церемоний, пленяя слух своим выговором, обратилась к паломникам с вопросом:

— Скажите, сеньоры: лучше самой или же лучше дать повод?

На это ей Периандр ответил так:

— Прелестная пастушка! Если ты подразумеваешь ревность, то и сама не ревнуй и повода не подавай: ведь если ты станешь ревновать, то этим ты себя унизишь, а если вызовешь ревность в другом, то утратишь доверие. Если же тот, кто тебя любит, человек разумный, то, зная твои достоинства, он будет тебя любить и уважать, а если он человек недалекий, то зачем он тебе тогда нужен?

— Ты рассудил умно, — молвила поселянка и, простившись с путниками, скрылась в чаще леса, повергнув их в изумление своим вопросом, своим проворством и своим пригожеством.

По дороге в Барселону с путниками случились еще кое-какие происшествия, но столь незначительные, что о них не стоит и упоминать; упомянем лишь, что они издали увидели святую гору Монсеррат и с благоговением ей поклонились, но, опять-таки чтобы не задерживаться, подниматься на нее не стали.

Когда же они подходили к Барселоне, как раз в это время к берегу подходили четыре испанские галеры и приветствовали город орудийным залпом; затем моряки спустили на воду четыре шлюпки, из коих одна была покрыта дорогими левантийскими коврами и алого шелка подушками, а в той шлюпке, как вскоре выяснилось, находились красивая нарядная молодая дама, пожилая дама и две прехорошенькие, скромно одетые девушки.

Множество народа, как обычно, собралось поглядеть на галеры, а главное — на приезжих; между тем любопытство привело наших странников к самым шлюпкам, так что они могли протянуть руку выходящей из шлюпки даме, дама же, сойдя на берег, окинув взглядом собравшихся и с крайним вниманием оглядев Констансу, сказала:

— Подойдите ко мне, прелестная странница! Пойдемте со мною в город — я хочу уплатить вам свой долг, о коем вы, должно полагать, мало осведомлены. Спутники ваши

пусть тоже с нами пойдут — вам не к чему покидать такое милое общество.

— Что касается вашего общества, — подхватила Констанса, — то оно столь приятно, что лишь человек, находящийся не в полном разуме, способен от него отказаться. Пойдемте, куда вам будет угодно, спутники же мои последуют за мной — они со мною неразлучны.

Дама взяла Констансу за руку и, сопровождаемая кавальеро, явившимися встречать ее, а также знатью, прибывшею на галерах, направилась в город, и во все продолжение пути Констанса не спускала с нее глаз и никак не могла припомнить, где она ее видела. Дама вместе со всеми новоприбывшими расположилась в одном из лучших барселонских особняков и не пожелала отпустить странников, а как скоро представилась возможность, то обратилась к ним с такою речью:

— Я хочу, сеньоры, вывести вас из недоумения, а вы, уж верно, недоумеваете, видя то особое расположение, какое я вам выказываю. Итак, да будет вам известно, что зовут меня Амбросьей Агустиной; родилась я в одном из городов арагонских; брат мой, дон Бернардо Агустин, — начальник галер, только что прибывших в Барселону. В отсутствие моего брата и тайно от моих родных в меня влюбился кавалер ордена Алькантары Контарино де Арболанчес, я же, влекомая моею звездою, или, лучше сказать, моею собственною слабохарактерностью, полагая к тому же, что это для меня хорошая партия, пошла с ним под венец, и он стал властелином моих мечтаний и моим повелителем. Но в тот самый день, когда мы с ним поженились, он получил от его величества приказ сопровождать испанскую пехотную часть, направлявшуюся из Ломбардии в Геную, на остров Мальту, где, судя по всему, собирались высадиться турки. Контарино повиновался беспрекословно и, второпях не успев даже пожать плоды нашего брачного союза и не обращая внимания на мои слезы, по получении приказа немедленно отбыл. Я осталась с таким чувством, словно на меня обрушился небесный свод, словно душа моя и сердце сдавлены и зажаты между небосводом и землею. Одна мечта сменялась у меня другою, один замысел — другим, и наконец я остановилась на таком, коего осуществление отняло у меня на время честь, а могло бы отнять и жизнь. Никому ничего не сказав, в мужском платье, которое я взяла у одного из слуг, я ушла из дома и поступила з помощники к барабанщику роты, стоявшей в селении, расположенном милях в восьми от того, где жила я. За несколько дней я научилась отбивать дробь не хуже моего хозяина и усвоила все грубые замашки полковых музыкантов. Немного спустя к нашей роте присоединилась другая, и обе двинулись в Картахену, где им предстояло погрузиться на четыре галеры, находившиеся под командой моего брата, а замысел мой состоял как раз в том, что я на одной из этих галер отправлюсь в Италию и там разыщу моего мужа; супруг же мой, — думалось мне, — по своему благородству не станет осуждать меня и порицать за дерзновенную мою мечту, а она так мною завладела, что меня даже не останавливала опасность быть узнанной на галерах моего брата. Кто любит, тот преодолевает всевозможные препятствия, тот победит какие угодно трудности, ничто его не остановит, обрыв для него не обрыв, а ровное место, он подавляет в себе чувство страха и не теряет надежды, даже когда положение представляется безнадежным. Должно заметить, что события часто развиваются совсем не так, как мы предполагаем, а потому и мой план, незрелый и непродуманный, едва не погубил меня, и вот об этом-то я собираюсь вам рассказать. У наших солдат, стоявших на постое в одном ламанчском селении, завязалась отчаянная драка с сельчанами, и в этой драке был смертельно ранен некий граф. В столице нарядили следствие, командиры рот были схвачены, солдаты разбежались, однако ж кое-кого удалось задержать, и той же участи подверглась и я, несчастная и ни в чем не повинная. Солдат приговорили к двум годам галер, а заодно и меня. Тщетно оплакивала я свое злополучие, видя, сколь тщетными оказались все мои мечты. Хотела руки на себя наложить,

однако ж страх вечных мучений удержал в моей руке нож и стащил с моей шеи петлю. Я ограничилась тем, что выпачкала себе лицо, обезобразила себя сколько могла и забилась в угол повозки, намереваясь плакать, не осушая глаз, и ничего не есть: пусть, мол, слезы и голод довершат то, чего не могли совершить ни петля, ни нож. Прибыли мы в Картагену еще до прихода галер. Нас отвели под стражей в тюремный замок, и там мы пребывали в ожидании, вернее — не в ожидании, а в страхе перед тем, что с нами будет. Не знаю, сеньоры, помните ли вы, как недалеко от постоянного двора вам встретилась повозка и как эта прелестная странница, — тут дама указала на Констансу, — дала коробку консервов ослабевшему преступнику.

— Да, я помню, — сказала Констанса.

— Ну, так знайте же, что то была я, — продолжала сеньора Амбросья. — Сквозь занавески я всех вас разглядела и не могла на вас не заглядеться: ведь вы все так хороши, что вами невольно залюбуешься. Ну, так вот: галеры пришли и притащили на буксире мавританскую бригадину, которую две из них дорогой взяли в плен. В тот же день солдат заковали в цепи и велели им сменить военную форму на бушлаты, — превращение это, конечно, печальное и прискорбное, однако ж терпимое: если горе не лишает человека жизни, то он с ним свыкается. Настала моя очередь менять одежду. Надсмотрщик велел вымыть мне лицо — сама я была так слаба, что не могла пошевелить рукой. Меня оглядел цирюльник, который брил команду, и сказал:

«На такую бороду я много бритв не изведу. И зачем только нам прислали этого заморыша? У нас тут гребцам житье не сладкое. Ведь ты же еще щенок — что ты такого мог натворить, за что ты к нам попал? Бьюсь об заклад, что тебя сюда прибило волной и течением чужих злодеяний».

Тут он обратился к надсмотрщику и сказал:

«Я так полагаю, начальник: самое благое дело — заковать этому мальчонке ноги в кандалы и направить в кормовую каюту: пусть он прислуживает командиру, — какой из него гребец?»

От этих слов, раскрывших передо мной весь ужас моего положения, у меня так больно сжалось сердце, что я потеряла сознание и упала замертво. Мне потом сказали, что в бессознательном состоянии я пробыла несколько часов, в течение которых меня всячески старались привести в чувство. Особенно меня тревожило — если только, впрочем, я была тогда способна испытывать какие-либо чувства, — что вот сейчас откроется, что я женщина, а не мужчина. Наконец я очнулась, и первое, что я увидела, это склоненные надо мною лица моего брата и моего супруга, державших меня за руки. Не могу постигнуть, отчего в это мгновение вечный мрак не окутал мои очи; не могу постигнуть, как не прилип у меня к гортани язык. Я не в силах была произнести ни единого слова, хотя слышала, как брат мой спросил:

«Что это за одежда на тебе, сестра?»

А муж мой спросил:

«Сокровище души моей! Что это за маскарад? Когда бы за твое добронравие мне не ручалась твоя честь, я бы тут же заставил тебя сменить это одеяние на саван».

«Так она вышла за вас замуж?» — спросил моего супруга мой брат. — Для меня это такая же точно неожиданность, как то, что на ней мужское платье. Если это правда, то, право же, это для меня большое утешение в моем горе, которое мне причинил ее вид».

Тут, помнится, я собралась с духом и сказала:

«Брат мой! Я твоя сестра, Амбросья Агустина, вышла замуж за сеньора Контарино де Арболанчес. Моя любовь к нему и мое одиночество (ведь тебя тогда со мной не было)

принудили меня пойти с ним под венец, но он, даже не успев насладиться радостями супружества, со мною расстался; тогда я, взбалмошная, вздорная, безумная, надела на себя это платье и пустилась догонять моего мужа».

И тут я им рассказала всю свою историю, которую вы уже слышали, и судьба, как видно, сжалилась надо мной, ибо и супруг и брат мне поверили и прониклись ко мне состраданием. В свою очередь, они мне рассказали, что муж мой попал в плен к маврам, — они захватили баркас, на котором он ехал в Геную, освободили же его накануне вечером, и с братом моим он увиделся только сейчас, у бесчувственного моего тела. Все это может показаться маловероятным, однако ж все произошло именно так, как я вам рассказываю.

На галерах находилась вот эта самая сеньора, которая прибыла сюда вместе со мной, и две ее племянницы — они направляются в Италию, к сыну сеньоры, который ведает в Сицилии королевским имуществом. Они дали мне платье — то, что сейчас на мне. И вот сегодня муж мой и брат на радостях позволили нам сойти на берег, чтобы мы немного развлеклись, а у них тут много друзей, и они сами хотят с ними повеселиться. Если же вы, сеньоры, направляетесь в Рим, то я попрошу брата доставить вас в ближайшую к нему гавань. Мне хочется за коробку консервов, которая явилась для меня тогда истинным благодеянием, отблагодарить вас чем только могу. И если даже я сама и не поеду в Италию, мой брат по моей просьбе все равно вас туда отвезет. Такова, друзья, моя история. Если вы мне скажете, что вам не верится, то меня это не испугает: истина способна занемочь, но умереть она никогда не умрет. Говорят, что оказать доверие — значит проявить учтивость, вы же, сколько я могла заметить, чрезвычайно учтивы, и вот на вашу учтивость я и возлагаю мои надежды.

На сем кончила свою речь прелестная Агустина; вслед за тем слушатели начали выражать изумление, каковое вскоре достигло своего предела, вслед за тем начали выясняться подробности, а вслед за тем начались объятия — Констанса и Ауристела обняли очаровательную Агустину. Агустине, однако, предстояло возвратиться на родину — такова была воля ее мужа, потому что брать с собой жену в поход, сколько бы ни была она мила своему супругу, всегда обременительно.

Вечером море до того разыгралось, что пришлось увести галеры подальше от берега, — берег здесь ненадежен. Гостеприимные каталонцы, — народ вспыльчивый, в гневе ужасный и вместе с тем мягкий, миролюбивый; народ, который с легкостью жертвует жизнью во имя чести и в защите жизни и чести превосходит самого себя, а это значит, что он превосходит в том все народы мира, — посетили сеньору Амбросью Агустину и постарались чем возможно порадовать ее, заслужив благодарность ее мужа и брата. Ауристела того натерпелась на море, что водный путь ее уже не прельщал, — она предпочла идти в Италию пешком через Францию, благо во Франции было тогда спокойно. Амбросья поехала обратно в Арагон, галеры двинулись своим путем, странники же — своим и через Перпиньян вступили в пределы Франции.

Из Перпиньяна путь наших путников лежал во Францию, и еще на много дней хватило им разговоров о приключениях Амбросьи; множество допущенных ею оплошностей они объясняли ее малоопытностью и оправдывали ее безрассудство любовью к мужу.

Коротко говоря, она, как уже было сказано, возвратилась к себе на родину, галеры двинулись своим путем, а наши странники — своим, и когда они прибыли в Перпиньян, то остановились в гостинице, у ворот которой стоял стол, а вокруг стола сгрудилось множество народу, смотревшего, как играют в кости два человека, — больше никто участия в игре не принимал. Странникам показалось в диковинку, что играют всего только двое, а смотрит на них невесть сколько народу. Периандр осведомился о причине, и ему сообщили, что кто проиграет, тот проиграет свою свободу и обязуется полгода отбыть гребцом на королевских галерах, а кто выиграет, тот выиграет двадцать дукатов, которые королевские приставы дали проигравшемуся, чтобы он попытал счастья. Он и попытал, да неудачно: опять проиграл, и на него в ту же секунду надели цепи, а с выигравшего цепи сняли, надевали же их на него перед игрой для верности, чтобы он не сбежал в случае проигрыша. Будь проклята игра и будь проклят жребий, когда проигрыш и выигрыш столь неравноценны!

Между тем к гостинице приблизилась толпа народу, и в толпе этой обращал на себя внимание легко одетый человек приятной наружности, окруженный не то пятью, не то шестью малышами в возрасте от четырех до семи лет; рядом с ним шла женщина, держа в руках узелок с деньгами, и, горько плача, причитала:

— Возьмите, сеньоры, ваши деньги, и отдайте мне моего мужа — его заставил взять их не порок, а нужда. Он не проигрался — он продан: он хочет своим трудом кормить меня и детей, а ведь нам все равно кусок в горло не пойдет — ни мне, ни детишкам.

— Успокойся, жена, и деньги эти трать, — сказал мужчина, — сила у меня в руках есть, моим рукам способней орудовать веслом, нежели заступом, так что расквитаться я расквитаюсь. Ведь я же рук своих на карту не ставил, я их не проиграл — я проиграл только свою свободу, но зато теперь я сумею вас прокормить.

Плач детей заглушил печальный разговор между мужем и женой. Приставы, которые вели отца семейства, посоветовали детишкам перестать плакать, ибо целого моря слез не хватило бы, мол, для того, чтобы вернуть их отцу утраченную свободу. Дети, однако ж, не унимались и умоляли отца:

— Папа! Не бросай нас! Если ты уйдешь, мы все умрем.

Случай этот, странный и нечаянный, взволновал наших путников чрезвычайно, особенно богачку Констансу, и все они обратились к приставам с просьбой, чтобы они, сделав вид, будто такого человека не существует на свете, взяли назад деньги, иначе, мол, эта женщина останется вдовой, а ребятишки — сиротками. И так красноречиво они рассуждали и так настойчиво просили, что в конце концов деньги вернулись к их владельцам, жена вновь обрела своего мужа, а дети — отца. В милой Констансе, разбогатевшей после своего замужества, было гораздо больше христианского, нежели языческого, и она с согласия своего брата дала горемычным беднякам на поправление дел пятьдесят золотых, и они ушли довольные и свободные, воссылая благодарения богу и нашим странникам за неожиданное и небывало щедрое подаяние.

А на другой день путники уже ступали по французской земле и, пройдя Лангедок, достигли Прованса и в одной из провансальских гостиниц встретились с тремя французскими дамами такой необыкновенной красоты, что, не будь на свете Ауристелы, пальма первенства

досталась бы им. Судя по окружавшей их пышной свите, они принадлежали к высшей знати; когда же они увидели странников, то привлекательность Периандра и Антоньо, равно как несказанная красота Ауристелы и Констансы, привели их в восхищение. Позвав Ауристелу и Констансу к себе, француженки ласково и любезно с ними заговорили и осведомились, кто они; при этом, думая, что перед ними испанки, они заговорили с ними на языке кастильском; надобно заметить, что во Фракции и мужчины и женщины умеют говорить по-кастильски.

Пока Ауристела отвечала, — вопрос был обращен именно к ней, — Периандр завел разговор с человеком, которого он принял за слугу знатных француженок, и спросил, кто они и куда направляются, слуга же ему на это ответил так:

— Во французском королевстве проживает герцог Намюрский, что называется — принц крови, человек храбрый, большого ума, однако ж большой самодур. Недавно он получил наследство и решил, что женится только по своей доброй воле, ничьих советов не слушая, хотя бы ему посватали невесту еще более родовитую и богатую, чем он, и хотя бы ему пришлось действовать наперекор самому королю: он рассуждал так, что король, мол, вправе предложить кому-либо из своих вассалов невесту, но не в силах заставить его полюбить ее. Послушный этой своей прихоти, этому безумию или, наоборот, благоразумию — уж не знаю, как это и назвать, — он разослал слуг своих во все концы Франции с тем, чтобы они сыскали ему невесту знатную и собой пригожую, а за богатством-де не гнались: если, мол, невеста будет благонравна и красива, то он этим приданым удовольствуется. Прослышал он о благонравии и красоте вот этих трех сеньор и послал меня, своего слугу, на них поглядеть, а вместе со мной послал он одного знаменитого художника, чтобы тот написал их портреты. Все три девушки незамужем, и лет им всем, как видите, немного. Старшая, Делеазир, умна необычайно, но бедна; средняя, Беларминия, великодушна и обворожительна и притом довольно богата; у младшей, Фелис Флоры, то преимущество, что она гораздо богаче их обеих. Они также прознали о намерениях герцога, и мне сдается, что каждая из них почла бы за счастье выйти за него замуж. Под предлогом посетить Рим, дабы получить отпущение грехов в сей юбилейный год, иначе именуемый столетним, они покинули родные места с тем, чтобы проездом через Париж повидаться с герцогом — авось, мол, что-нибудь из этого и выйдет. Однако после того, как я увидел вас, почтеннейшие путешественники, я положил уговорить моего господина, чтобы он выкинул из головы всякую мысль об этих сеньорах, а взамен я закажу для него портрет вашей спутницы, красавицы единственной, красавицы из красавиц. И если она окажется вдобавок еще и знатного рода, то слугам моего господина нечего будет больше искать, а господину моему — нечего больше желать. Скажите, пожалуйста, сеньор, замужем ваша спутница или незамужем, как ее зовут и кто ее родители?

Периандр, весь дрожа, так ему на это ответил:

— Зовут ее Ауристелой; направляется она в Рим; о своих родителях она предпочитает умалчивать; что она незамужем — за это я могу ручаться, ибо знаю это наверное. Но дело состоит вот в чем: она свободна и сама себе госпожа, и своей девичьей воли она не отдаст никому из владык земных, — по ее словам, она отдала свою волю владыке небесному. А дабы вы не сомневались, что я говорю истинную правду, я вам открою, что я ее брат, которому она поверяет все свои тайные мысли. Следственно, этим портретом вы ничего не достигнете, только понапрасну взволнуете вашего господина, если, впрочем, его не оттолкнет худородность наших родителей.

— Со всем тем, — рассудил слуга, — я закажу портрет просто из любви к прекрасному, и пусть вся Франция любит на новоявленное чудо красоты.

Тут они расстались, Периандр же изъявил желание пуститься в путь не теряя драгоценного времени, дабы у живописца не осталось времени для писания портрета.

Бартоломе, хотя ему такая спешка пришлось не по нраву, принялся скрепя сердце укладывать пожитки. Герцогский же слуга, видя, что Периандр торопится, приблизился к нему и сказал:

— Сеньор! Я, конечно, мог бы упросить вас побыть здесь еще немножко, хотя бы до вечера, чтобы мой художник спокойно, не торопясь, написал портрет вашей сестры, но вы идите себе с богом: художник мне сказал, что ему довольно было раз взглянуть на вашу сестру, и облик ее запечатлелся в его воображении, так запечатлелся, что он напишет ее по памяти не хуже, чем если бы он смотрел на нее не отрываясь.

Периандр в глубине души проклинал изрядное искусство живописца, но делать было нечего; при прощании милые француженки нежно обнялись с Ауристелой и Констансой и предложили им, если они хотят, взять их с собою в Рим. Ауристела в самых сердечных выражениях поблагодарила их, но сказала, что она всецело зависит от брата своего Периандра и что ни ей, ни Констансе долее задерживаться здесь нельзя, оттого что брат Констансы Антоньо и ее брат хотят идти дальше пешком. На этом они с француженками простились, а шесть дней спустя прибыли в одно из селений Прованса, где с ними произошло то, о чем будет рассказано в следующей главе.

У истории, поэзии и живописи так много общего и так тесно они между собою связаны, что историк, например, не может не живописать, а живописец не может не сочинять. История не всегда занимается событиями значительными, равно как и живопись живописует не одно только возвышенное и великолепное, равно как и поэзия не всегда витает в облаках. История обращается и к предметам низким, живопись воспроизводит на полотнах какую-нибудь незатейливую травку, поэзия иной раз воспевает жизнь скромную. Доказательством тому служит Бартоломе: будучи всего-навсего обозным в странническом нашем полку, он, однако ж, привносит подчас целые речи, и его слушают. И вот как-то раз на память ему пришел случай с человеком, который продал свою свободу ради того, чтобы прокормить детей, и он обратился к Периандру с такими словами:

— А большая ведь это, должно полагать, сеньор, забота — кормить детей! Сказал же тот игрок, что он не хотел губить свою жизнь — он-де пошел в кабалу, чтобы прокормить нищую свою семью. Я слыхал, что свободу ни за какие деньги продавать нельзя, а он продал свою свободу за пустяк — его жена в руках это несла. А еще я слышал от стариков такую историю: повели вешать одного пожилого человека, и вот перед казнью священники стали его напутствовать и утешать, а он им и говорит:

«Не утруждайте себя, ваши преподобия, дайте мне умереть спокойно! Что мне сейчас страшно — этого я отрицать не стану, да только в жизни-то со мной бывали и пострашнее случаи».

Священники спрашивают: что же, дескать, может быть страшнее?

«А вот что, — говорит. — Шесть человек детей, мал мала меньше, утречком проснулись и просят есть, а дать-то им и нечего. Вот эта самая нужда и сунула мне в руки отмычку, а на ноги надела войлочные туфли, чтобы легче воровать было, — словом, как видите, не испорченная натура толкнула меня на воровство, а горькая нужда».

Речи осужденного достигли ушей судьи и так на него подействовали, что чувство милосердия возобладало в нем над чувством справедливости, и виновный был помилован.

Периандр же ему на это сказал:

— Когда отец заботится о ребенке, он заботится о самом себе: мой ребенок — это мое второе «я», он есть воспроизведение и продолжение моего бытия. Заботиться о себе — дело вполне естественное и даже необходимое, так же точно естественно и необходимо заботиться о детях. Вот уже сыну заботиться об отце не столь естественно и не столь необходимо, ибо любовь отца к сыну идет по нисходящей линии, а нисходить, то есть спускаться вниз, всегда легче; любовь же сына к отцу идет по линии восходящей, то есть поднимается и взбирается вверх. Отсюда и берет начало пословица: «Один отец сделает больше для ста сыновей, чем сто сыновей для одного отца».

Таковыми и тому подобными разговорами занимали они себя, путешествуя по Франции, дороги же во Франции людные, ровные и спокойные, на каждом шагу здесь попадаются усадьбы, коих владельцы проводят на лоне природы почти круглый год, лишь изредка наезжая в города. К одной из таких усадеб, расположенной в стороне от большой дороги, приблизились наши скитальцы. Был полдень; солнечные лучи падали отвесно; жар усиливался, и путешественники рассудили за благо провести время жгучего полуденного зноя под сенью высокой башни. Услужливый Бартоломе разложил пожитки, расстелил скатерть, и все сели в кружок, дабы утолить уже начавший заявлять о себе голод из запасов, которые сделал все тот же Бартоломе. Не успели они, однако ж, поднять руку, чтобы

поднести кусок ко рту, как Бартоломе, подняв глаза кверху, громко крикнул:

— Осторожней, сеньоры! Что-то падает с неба — глядите, как бы вас не придавило!

Тут все подняли головы и увидели, что кто-то летит вниз, однако, прежде чем они могли разглядеть, что же это такое, у ног Периандра уже стояла необычайной красоты женщина — она бросилась с башни, но ее одежда послужила ей колоколом и крыльями, так что она, не причинив себе никакого вреда, плавно опустилась на землю: вещь вполне возможная, ничего тут сверхъестественного нет. Все же она была ошеломлена и напугана, равно как и те, кто следил за ее полетом. На башне тотчас раздались крики: кричала какая-то женщина, которую держал мужчина, — казалось, оба пытаются столкнуть друг друга вниз.

— Помогите, помогите! — взывала женщина. — Помогите, сеньоры! Этот сумасшедший сейчас меня сбросит!

— Кто не побоится войти в эту дверь, — опомнившись, сказала тут совершившая полет женщина, показав на дверь внизу башни, — тот спасет от смерти моих детей и другие слабые существа, которые остались там, наверху.

Движимый присущим ему великодушием, Периандр вошел в дверь, а немного погодя он оказался уже на вышке и, сцепившись с помешанным, вырвал у него из рук нож и продолжал защищаться. Однако ж судьба, задавшаяся целью придать этому происшествию трагический конец, устроила так, что оба они сорвались с башни; сумасшедший упал уже после того, как Периандр нанес ему рану ножом в грудь, а у самого Периандра кровь текла из глаз, из ушей и из носа: на нем не было широких одежд, которые могли бы удержать его в воздухе и ослабить силу удара, и удар оказался настолько силен, что Периандр, грянувшись оземь, потерял сознание. Все это произошло у Ауристелы на глазах, и, вообразив, что Периандр убится, она бросилась к нему и, позабыв о приличиях, прильнула устами к его устам, дабы, если только душа его еще не отлетела, вдохнуть в себя драгоценную ее частицу, но хотя душа его еще не отлетела, ни одна ее частица к ней не перешла — до того плотно стиснул он зубы. Констанса, давши полную волю чувству сострадания, в то же время не могла усилием воли заставить себя подойти к Ауристеле — она осталась стоять там же, где находилась в тот миг, когда Периандр упал: можно было подумать, что ноги у нее приросли к земле или же что это не женщина, а мраморная статуя. Антоньо поспешил удостовериться, кто из двоих мертв, а кто полутруп. Один лишь Бартоломе не мог подавить в себе лютую скорбь и горькими слезами плакал.

Итак, странники пребывали в отчаянии, глубоко, но все еще неомом, и вдруг увидели, что сюда направляются люди: обратив внимание на эти полеты, они свернули с большой дороги узнать, в чем дело, — то были прелестные француженки Делеазир, Беларминия и Фелис Флора. Как скоро они приблизились, так сейчас узнали Ауристелу и Периандра, ибо всякий, кто видел их хоть однажды, забыть потом уже не мог — с такою силою врезалась в память необыкновенная их красота. Влекомые человеколюбивым стремлением оказать помощь пострадавшим, француженки спешили, но в это самое мгновение на них сзади напал целый отряд вооруженных всадников, насчитывавший до восьми человек. Этот налет принудил Антоньо взять в руки лук и стрелы, которые всегда были при нем и которые могли ему пригодиться как при наступлении, так и при обороне. Один из вооруженных всадников грубо схватил Фелис Флору за руку и, посадив ее на переднюю луку своего седла, сказал товарищам:

— Готово дело! Больше мне ничего и не нужно. Поехали обратно!

Душа Антоньо не терпела насилия, а потому он, отринув всякий страх, вложил в лук стрелу и, отведя лук на расстояние вытянутой левой руки, а правую рукою натянув тетиву на уровне правого уха, так что обе точки соприкосновения стрелы и лука как бы слились,

нацелился в похитителя Фелис Флоры, и выстрел его оказался до того метким, что стрела, не задев самой Фелис Флоры, а лишь коснувшись ее покрывала, пронзила обидчика. Один из его спутников вспылал мстостью и, прежде чем Антоньо успел вложить в лук другую стрелу, так лихо ударил его по голове, что тот упал замертво, и тут уже Констанса вышла из своего оцепенения и бросилась на помощь брату: хотя и родственные чувства и дружество суть признаки и проявления большой любви, а все же у родных кровь разогревается даже в тех случаях, когда она стынет у самых верных друзей.

Между тем из дома выбежали вооруженные люди; слуги французов, за неимением оружия схватив камни, ринулись на защиту своей госпожи. Похитители, приняв в соображение, что их предводитель мертв и что, судя по количеству набежавших защитников, предприятие их вряд ли увенчается успехом, и рассудив, что рисковать своею жизнью ради того, кто уже не в состоянии вознаградить их, было бы чистейшим безумием, оставили поле сражения.

Пока шел этот бой, до нас с вами почти не долетал лязг стали, не раздавалась пальба, в воздухе не звучал плач по умершим, вопли отчаяния, схороненные под покровом горестного безмолвия, замирали в груди, — слышались только предсмертные хрипы да тяжкие вздохи, по временам вырывавшиеся у страждущих Ауристелы и Констансы, склоненных над своими братьями и не имевших сил громко выразить свое горе, что всегда облегчает наболевшую душу.

В конце концов небо, дабы они не скончались скоропостижно от невозможности излить душевную свою муку, расковало им уста, и из уст Ауристелы хлынул поток слов:

— Зачем же я, несчастная, стремлюсь уловить его дыхание, когда он уже мертв? Да если б даже он еще дышал, могу ли я это почувствовать, коль скоро у меня самой дыхание прерывается, и я не постигаю, как я еще говорю и дышу? О милый мой брат! В тот миг, когда ты упал, разбились все мои надежды! И как твое величие не спасло тебя от беды? А впрочем, у великих людей великие беды. Молния падает на самые высокие горы, и чем сильнее оказывается ей сопротивление, тем больший причиняет она ущерб. Ты тоже гора, но гора скромная, таящаяся от людских взоров под сенью своей находчивости и благоразумия. Ты искал свое счастье во мне, однако ж смерть твоя отрезала тебе путь к счастью, мне же указала путь к могиле. И столь же близка к могиле будет королева, твоя родная мать, когда до нее дойдет весть о безвременной твоей кончине! Увы мне! Опять я одна, на чужбине, словно плющ, у которого отняли опору!

Все, что Ауристела говорила о королеве, о горах, о величии, привлекло внимание всех, кто ее слушал, и привело их в изумление, которое еще усилили речи Констансы, державшей у себя на коленях голову тяжело раненного брата, меж тем как сердобольная Фелис Флора, признательная раненому за то, что он спас ее от бесчестья, зажимала ему рану платком; унимала кровь и тихонько выжимала платок.

— О моя опора! — причитала Констанса. — Зачем судьбе нужно было сопричислить меня к высоким особам, а затем низринуть туда, где страждут обездоленные? Брат мой! Очнись, если хочешь, чтобы очнулась и я, а не то, милосердный боже, пусть нас обоих постигнет один и тот же удел: пусть очи наши закроются одновременно, пусть нас зароят в одной могиле! Счастье свалилось на меня нежданно-негаданно, так пусть столь же внезапно оно меня и покинет!

И, сказавши это, она лишилась чувств, а вслед за ней и Ауристела, и обе они были теперь бледнее раненых. Женщина, упавшая с башни, — главная виновница падения Периандра, — велела слугам, во множестве сюда сбежавшимся, перенести Периандра на кровать их господина, а ее супруга Домисьо, и тут же отдала распоряжения насчет его похорон.

Бартоломе подхватил на руки своего господина Антоньо, Констансе подала руку Фелис Флора, Ауристеле — Беларминия и Делеазир, и все это траурное шествие шагами скорби направилось к дому, напоминавшему королевский замок.

Рассудительные речи, с коими обращались француженки к горевавшим Констансе и Ауристеле, помогали плохо: когда несчастье только что случилось, утешительные слова не действуют; внезапно охватывающие скорбь и отчаяние не сразу бывают доступны голосу утешения, сколько бы ни был он разумен. Если что нарывает, то болит, пока не успокоится, а для успокоения требуется время, пока нарыв не прорвется. Так же точно когда человек плачет, когда человек стонет, когда перед его глазами находится тот, кто вызывает у него вздохи и пени, то прибегать к каким-либо средствам, пусть даже хитроумным, бесполезно. Так пусть же еще поплачет Ауристела, пусть крушится некоторое время Констанса, пусть обе они пока не приклоняют слуха к словам утешения, а между тем прелестная Кларисья поведает нам, отчего повредился в уме ее супруг Домисьо, а дело обстояло, как она рассказывала трем француженкам, следующим образом: еще до того, как они с Домисьо поженились, он был влюблен в одну свою родственницу, и она была твердо уверена, что выйдет за него замуж. Дело ее, однако ж, не выгорело, но и у Кларисьи не заладилось.

— Скрывая досаду, что ее надежды рухнули, — продолжала Кларисья, — Лорена (так звали родственницу Домисьо) послала ему к свадьбе в подарок много разных вещей, хоть и не дорогих, но зато диковинных и красивых, и между прочим однажды она, подобно Деянире, пославшей сорочку Геркулесу^[53], послала моему жениху добротные и отменно сшитые сорочки. Когда же он одну из них надел, то мгновенно потерял сознание и несколько дней пролежал пластом, хотя сорочку тут же с него сняли, вообразив, что ее заколдовала рабыня Лорены, которую подозревали в чародействе. Наконец супруг мой очнулся, однако ж все представления его оказались смутными и искаженными, каждый его поступок носил на себе печать безумия, и безумия не тихого, но буйного, яростного, исступленного, так что в конце концов пришлось надеть на него цепи.

И вот сегодня, в то время как Кларисья стояла на башне, сумасшедший сорвался с цепи и, взобравшись туда, выбросил ее в окно, но, хвала небесам, ее спасли широкие одежды, а вернее сказать, обычное милосердие господа бога, пекущегося о невинных. Кларисья рассказала и о том, как взбежал на башню странник, чтобы спасти горничную девушку, которую умалишенный также хотел выбросить, а вслед за ней той же участи несомненно подверглись бы и двое маленьких детей, на башне находившихся; судьба, однако ж, распорядилась иначе: и граф и странник грянулись о сырую землю: граф — смертельно раненный, странник — с ножом в руке; этот нож он, по всей вероятности, отнял у Домисьо и ранил его, но ранил напрасно, ибо Домисьо все равно расшибся при падении.

Между тем Периандр, все еще не приходя в сознание, лежал на кровати, и ему оказывали помощь врачи: вправляли ему кости, давали лекарства; наконец им удалось нащупать пульс, а затем Периандр очнулся и узнал кое-кого из тех, кто стоял вокруг него, и в первую очередь, разумеется, Ауристелу; узнав же ее, он слабым, еле слышным голосом вымолвил:

— Сестра моя! Я умираю христианином-католиком. Люблю тебя.

Больше он не мог произнести ни единого слова.

Антоньо удалось остановить кровь. Лекари осмотрели рану и попросили у Констансы на радостях вознаграждения: рана-де глубокая, но не опасная — бог даст, скоро поправится. Фелис Флора им заплатила, опередив Констансу, которая сейчас же пошла за деньгами, но Констанса все-таки дала им денег и от себя, а лекари, щепетильностью не отличавшиеся, взяли и у той и у другой.

Месяц с лишком пребывали здесь на излечении пострадавшие, а француженкам не

хотелось их покидать, — так сблизилась она за это время с Ауристелой и Констансой, так полюбили они слушать разумные их речи и так понравились им Антоньо и Периандр, особенно Фелис Флоре: она не отходила от изголовья Антоньо, она любила его любовью сдержанной, проявлявшейся лишь в особом к нему благоволении и заставлявшей думать, что это не более как чувство признательности за то благодеяние, которое он совершил, вырвав ее с помощью стрелы из рук Рубертино, владельца замка, расположенного по соседству с ее замком; по словам Фелис Флоры, этот самый Рубертино, движимый не возвышенною, но порочною любовью, задался целью следовать за ней по пятам и домогаться ее руки; она же имела множество поводов увериться, — да и молва о нем была такая, а молва редко ошибается, — что Рубертино — человек суровый и жестокий, взбалмошный и своенравный, и это заставило Фелис Флору отказать ему, хотя она не закрывала глаз на то, что Рубертино, раздосадованный отказом, не остановится перед тем, чтобы похитить ее и силою добиться того, на что он так и не заручился ее согласием, однако стрела Антоньо расстроила все его коварные и непродуманные планы, и это не могло не вызвать в ее душе благодарного чувства. В рассказе Фелис Флоры все, от начала до конца, соответствовало истине.

И вот наконец пострадавшие поправились и заметно окрепли, и тогда у них вновь появились мечты, однако ж насущною их мечтою было вновь пуститься в путешествие; того ради, запасшись в дорогу всем необходимым, они осуществили эту свою мечту, а француженкам по-прежнему не хотелось с ними расставаться, ибо странники вызывали у них восторг и преклонение, те же обороты речи, которые Ауристела употребляла в своем плаче по Периандру, навели француженок на мысль, что то люди не простые: ведь и коронованные особы ходят иногда в рубище, и вельможи одеваются в лохмотья. Словом, француженки пребывали в недоумении: по отсутствию свиты можно было заключить, что это люди средней руки, меж тем как изящество их манер и тонкие черты лица свидетельствовали о том, что это особы высочайшие: словом, француженки терялись в догадках. Полагая, что после такого падения надеяться на свои ноги было бы со стороны Периандра неблагоприятно, они уговорили странников ехать верхом. Фелис Флора из чувства благодарности к своему спасителю Антоньо изъявила желание ехать с ним рядом. И вот, беседуя о дерзости Рубертино, которого уже давно похоронили, о необычайной истории графа Домисьо, у которого подарки родственницы отняли не только разум, но в конце концов и жизнь, а равно и о чудесном полете его жены, удивительном и маловероятном, приблизились они к довольно глубокой реке. Периандр предложил поискать мост, однако ж спутники его с ним не согласились, и подобно как в узком месте от сбившегося в кучу стада послушных овечек отделяется одна и идет вперед, а за нею нимало не медля устремляются все остальные, так же точно поступили и наши путешественники: первую въехала в реку Беларминия, а за нею все остальные, причем Периандр ехал рядом с Ауристелой, Антоньо же — между Фелис Флорой и сестрою своею Констансой. И тут вышел такой случай, что с Фелис Флорой произошел случай несчастный, ибо у нее от быстрого течения закружилась голова и она посредине реки свалилась в воду, но в тот же миг за нею с чрезвычайною поспешностью бросился благородный Антоньо и, точно новоявленную Европу, вынес на своих плечах на противоположный песчаный берег реки.^[54] Фелис Флора же, тронутая его самоотверженностью, воскликнула:

— Как ты великодушен, испанец!

Антоньо же ей на это ответил:

— Если б я выказал великодушие не тогда, когда жизнь твоя была в опасности, то оно бы еще чего-нибудь стоило, а тут мне гордиться нечем.

Прекрасные, как я люблю их называть, странники поехали дальше и в сумерках

приблизились к усадьбе, которая была в то же время и постоянным двором, где наши путники со всеми удобствами и расположились. Происшествия же, которые с ними там случились, требуют иного слога и особой главы.

На свете бывают такие странные случаи, что, пока они еще не произошли, никакое, самое богатое воображение не в силах представить их себе заранее. Вот почему многие события именно в силу своей необычайности почитаются не за быль, каковою они на самом деле являются, а за сказку, и вот почему нужны особые клятвы или же доброе имя рассказчика, чтобы происшествия эти признаны были происшествиями истинными, хотя, по мне, лучше совсем ничего о них не говорить, и этому нас учат старинные кастильские стихи:

О чудесном рассуждать
Бесполезно мы не будем,
Ибо этого всем людям
Не понять.

Первою, кого увидела на постоялом дворе Констанса, была миловидная девушка лет двадцати двух, одетая по испанской моде, чисто и опрятно, и вот эта самая девушка, приблизившись к Констансе, сказала ей на кастильском языке:

— Слава богу! Наконец-то я вижу если не моих земляков, то по крайности моих соплеменников — испанцев! И еще скажу: слава богу! Наконец-то я услышу родную речь!

— Так, значит, вы испанка, сеньора? — спросила Констанса.

— А как же! — отвечала та. — Да еще из самого лучшего города во всей Кастилии.

— Из какого же? — полюбопытствовала Констанса.

— Из Талаверы де ла Рейна, — отвечала девушка.

При этих словах Констанса тотчас заподозрила, что это, уж верно, жена поляка Ортеля Банедре, которую задержали в Мадриде по обвинению в прелюбодеянии и которую муж после разговора с Периандром не стал преследовать, предпочтя возвратиться на родину, и тут у Констансы возникли на ее счет разные предположения, и, как вскоре выяснилось, она почти все угадала безошибочно. Констанса взяла девушку за руку и, отведя ее к Ауристеле и Периандру, молвила:

— Сеньоры! Вы, уж верно, сомневаетесь в моей способности угадывать события, и точно: способность эта на будущее не распространяется — будущее одному богу ведомо; если же смертным когда и удастся что-либо предугадать, то это простая случайность, или же это предположения, основанные на опыте, подтвердившем верность предположений, высказанных в свое время по сходным поводам. Но что вы скажете, если я угадаю события уже происшедшие, хотя я ничего о них не знала, да и не могла знать? Желаете удостовериться? Вот эта милая девушка, родом из Талаверы де ла Рейна, вышла замуж за чужеземца, за поляка, а зовут его, если не ошибаюсь, Ортель Банедре, однако ж она опорочила его доброе имя тем, что слюбилась с трактирным слугой, — а трактир как раз напротив ее дома, — и по легкомыслию и по молодости лет с ним убежала, но в Мадриде ее схватили по обвинению в прелюбодеянии, и там, в тюрьме, и покуда она очутилась здесь, бедняжка всего натерпелась, о чем она сама, надеюсь, нам сейчас расскажет: хоть я и живо представляю себе ее мытарства, а все же она сама расскажет про них подробнее и занимательнее.

— Господи Иисусе! — воскликнула девушка. — Как же это вам удалось, сеньора, прочесть мои мысли? Как вы могли угадать постыдную историю моей жизни? Так, сеньора, я и есть эта самая прелюбодейка, я и есть эта узница, приговорили же меня всего лишь к

десяти годам изгнания, оттого что иска мне никто не вчинил, и теперь я мыкаю горе с одним испанским солдатом, который направляется в Италию, и так мне подчас солоно приходится, что хоть в петлю полезай. Мой первый дружок умер в тюрьме, а этот, — не берусь сказать, какой он у меня по счету, — оказывал мне в тюрьме разные услуги, вывел меня оттуда, а теперь, как я уже сказала, он бродит по свету и всюду таскает за собой меня — себе на утеху, мне на горе, а ведь я же не дура: я отлично понимаю, что, шатаясь с ним по белу свету, я гублю свою душу. Сеньоры! Вы — испанцы, вы — христиане, и вы — люди знатные, сколько я могу судить по наружному вашему виду, — ради бога, избавьте меня от этого солдата, вырвите меня из когтей львиных!

Подивились Периандр и Ауристела прозорливости Констансы и, оценив, признав и похвалив ее способности, изъявили готовность сделать все от них зависящее, чтобы спасти заблудшую девушку, а девушка вдобавок им сообщила, что солдат не всегда находится при ней, а через день — только чтобы отвести глаза властям.

— Прекрасно, — заметил Периандр. — Мы всеми силами постараемся вам помочь. Кто сумел угадать ваше прошлое, тот сумеет позаботиться о вашем будущем. Только уж вы сами-то ведите себя благопристойно: добропорядочность — это фундамент, а без фундамента доброго здания не построишь. Будьте все время с нами: помните, что злейшие ваши враги на чужбине — это ваш возраст и ваша наружность.

Девушка всплакнула, Констанса умилилась, и то же самое чувство изобразилось на лице Ауристелы, что заставило Периандра дать себе слово, чего бы это ни стоило, спасти девушку. Но тут вошел Бартоломе и сказал:

— Сеньоры! Я намерен показать вам одно из самых необыкновенных зрелищ, какие когда-либо являлись вашему взору.

Он проговорил это с таким встревоженным и даже как бы испуганным видом, что все, вообразив, будто он и впрямь покажет им невиданное диво, последовали за ним и в другом конце гостиницы увидели сквозь циновки комнату, но комната эта, увешанная траурным сукном, была погружена в печальный мрак, так что им ничего не удалось рассмотреть. И вот, когда они все еще тщетно продолжали вглядываться, к ним подошел некий старец, также облаченный в траур, и сказал:

— Сеньоры! Если вам будет угодно спустя два часа, а именно в час ночи, посмотреть на сеньору Руперту так, чтобы она вас не видела, то я вам это устрою, и душевные ее качества и красота приведут вас в немалое изумление.

— Сеньор! — возразил Периандр. — Вот этот наш слуга позвал нас поглядеть на диво, но пока что мы не видим ничего, кроме этой траурной комнаты, а тут еще никакого дива нет.

— Когда вы пожалуете сюда в указанный час, — сказал старец в трауре, — то вам будет на что подивиться: в этой комнате, было бы вам известно, остановилась сеньора Руперта, та самая, которая не прожила и года со своим супругом, графом Ламбертом из Шотландии; брак этот стоил графу жизни, а сеньору Руперту также на каждом шагу подстерегала смертельная опасность: надобно знать, что Клаудино Рубикон, один из родовитейших дворян шотландских, кичившийся своею знатностью и богатством и отличавшийся пылкостью нрава, полюбил мою госпожу, когда она еще была девушкой, а сеньора Руперта, если и не питала к нему отвращения, то, во всяком случае, пренебрегала им, что она и доказала, выйдя замуж за графа. Столь поспешное решение моей госпожи Рубикон принял за намерение оскорбить его и унижить, словно у прекрасной Руперты не было родителей, которые могли принудить ее к этому, словно она не была связана обязательством, которое ее к этому обязывало; к тому же, брачующиеся непременно должны подходить друг к другу по возрасту, — желательно, чтобы муж был по крайней мере на десять лет старше жены, дабы

старость застигла их одновременно. А Рубикон уже успел овдоветь, и у него был сын невступно двадцати одного года, человек благородный в полном смысле этого слова, притом отличавшийся гораздо более кротким нравом, нежели его отец, и вот если бы он предложил руку сеньоре Руперте, то мой господин, граф Ламберт, здравствовал бы и поныне, а ей жилось бы не в пример веселее. Случилось, однако ж, так, что когда сеньора Руперта, ничего не подозревая, отправилась с супругом отдыхать к себе в имение, в одном безлюдном месте нам повстречался Рубикон, множеством слуг окруженный. Едва увидел он мою госпожу, тотчас заговорила в нем обида, которую она, по его мнению, нанесла ему, и вышло так, что любовь породила гнев, а из гнева выросло желание причинить горе моей госпоже, а как жажда мести, которую испытывают влюбленные, всегда оказывается сильнее нанесенных им оскорблений, то вспыльчивый, нетерпеливый и дерзкий Рубикон, выхватив из ножен шпагу, подбежал к моему ни в чем не повинному господину, — тот, будучи застигнут врасплох, не сумел предотвратить опасность, Рубикон же, пронзив ему грудь, воскликнул: «Я наказал тебя за чужую вину, и если это жестокость, то еще более жестоко обошлась со мною твоя супруга, ибо не одну, а сто тысяч жизней отняло у меня ее презрение». Всеми этому я был свидетелем, я слышал все слова, все видел своими глазами, вложил персты мои в рану, внимал достигавшим неба воплям моей госпожи. Тело графа мы предали земле; при этом, когда мы хоронили его, госпожа велела отсечь ему голову, а спустя несколько дней с нее, при помощи особых приспособлений, срезали мясо, так что остался лишь череп; госпожа приказала положить череп в серебряный ларец, а затем, возложив на него руки, произнесла клятву. Но я забыл вам сказать, что жестокий Рубикон, то ли желая надругаться над покойником, то ли из еще более жестоких побуждений, то ли просто второпях, не вынул из груди моего господина своей шпаги, и на ней как будто и сейчас еще видны свежие пятна крови. Так вот что сказала моя госпожа: «Я, несчастная Руперта, одаренная небесами одною лишь красотою, возлагаю руки на скорбные эти останки и даю небесам клятву — употребив всю свою силу и всю ловкость свою, даже если бы мне пришлось ради этого тысячу раз пожертвовать своею жалкою жизнью, отомстить за смерть моего мужа, для чего не отступать ни перед какими препятствиями и всечасно искать заступничества. И пока я не исполню свое, если и не христианское, то, по крайней мере, справедливое желание, — клянусь, что одежды мои останутся черными, жилище — мрачным, трапезы — печальными, спутником же моим пребудет одиночество. На столе моем вечно будут находиться терзающие душу останки: череп, который молча взывает ко мне о возмездии, и шпага, на коей словно еще не высохла та кровь, что, волнуя мою, не даст мне покоя до тех пор, пока я не отомщу». Произнеся эту клятву, она как бы преградила нескончаемый поток слез, но зато дала исход тяжелым вздохам. Ныне она держит путь в Рим, дабы испросить у итальянских князей покровительства и защиты от убийцы ее мужа, Рубикона, который все еще преследует ее, — правда, исподтишка, но ведь известно, что от мошки больше вреда, нежели от орла помощи. Увидите вы ее, сеньоры, как я вам уже сказал, спустя два часа, и если она не приведет вас в изумление, то или я плохой рассказчик, или у вас каменные сердца.

На этом кончил свою повесть одетый в траур слуга, и путешественники, еще не видя Руперты, выразили свое изумление по поводу слышанного.

Говорят, что гнев, охватывающий нас при виде обидчика или даже при одном воспоминании о нем, есть волнение крови, притекающей к сердцу; конечная же цель и предел гнева — месть, и, будь она разумна или безрассудна, обиженный, пресытившись ею, успокаивается. В этом мы убедимся на примере прекрасной Руперты, в которой так сильны были обида, возмущение и жажда отомстить своему врагу, что, узнав о его смерти, она распространила свой гнев на всех его потомков, так что, будь это в ее власти, она ни одного из них не оставила бы в живых, ибо ярость женщины границ не знает.

В назначенный час путешественники, оставшись незамеченными, увидели Руперту во всей ее красе; на ней было белоснежное вдовье покрывало, ниспадавшее почти до самого пола; она сидела за столом, и перед ее взором находились серебряный ларец с черепом супруга, шпага, отнявшая у него жизнь, и сорочка, на которой ей все еще чудились свежие пятна крови. Все эти вещественные знаки скорби пробудили в ней гнев, — впрочем, надобности в том не было, ибо он вечно бодрствовал. Руперта встала и, возложив правую руку на череп мужа, начала произносить и повторять те клятвы, которые привел в своем рассказе облаченный в траур слуга. Из глаз у нее струились слезы, столь обильные, что они могли бы омыть священные останки ее любви; из груди вырывались вздохи, колебавшие воздух; к обычным своим жалобам она присовокупляла новые, которые только еще больше ожесточали ее, и до того овладела ею страстная жажда мести, что порою казалось, будто уже не слезы текут у нее из очей, но пламя, и не вздохи вылетают у нее из груди, но дым. Смотрите! Видите? Вот она — плачет, вздыхает, безумствует, размахивает смертоносною шпагой, целует окровавленную рубашку, и все тело ее сотрясается от рыданий. Но подождите до утра, и вы увидите такое, о чем вам хватит разговору на тысячелетия, если, паче чаяния, вам удастся столько прожить. Уже скорбь готова была отлететь от Руперты, уже сама Руперта, казалось, была удовлетворена, ибо угрожающий, расточая угрозы, постепенно обретает покой, но тут явился к ней один из слуг, в траурном своем одеянии похожий на черную тень, и, запинаясь, проговорил:

— Сеньора! Только что со своими слугами подъехал к гостинице юноша Крорьяно, сын вашего недруга. Хотите не показывайтесь ему, хотите — объявитесь, словом, поступайте как вам заблагорассудится, — времени для того, чтобы подумать, у вас довольно.

— Он не должен знать, что я здесь, — молвила Руперта. — Скажи всем моим слугам, чтобы они ни нечаянно, ни умышленно не выдавали меня и не произносили моего имени.

Затем она убрала свои сокровища и велела запереть комнату, дабы никто к ней не входил. Путешественники возвратились к себе, она же, оставшись одна, погрузилась в задумчивость. Вот о чем говорила она сама с собой, хотя, впрочем, я затрудняюсь сказать, откуда это стало известно:

— Итак, Руперта, благие небеса предают в твои руки, как жертву на закланье, душу твоего недруга: ведь сын, а в особенности единственный, — это часть души отца. Смелей же, Руперта! Забудь, что ты женщина; если же ты не можешь про это забыть, то вспомни, что ты — оскорбленная женщина. Кровь мужа твоего вопиет к тебе, прислушайся к тому, что вещает его безъязыкая голова: «Отмщенье, милая супруга моя, ибо я убит без вины!» Мне ведомо, что отвага Олоферна не устрасила робкую Юдифь^[55]; правда, побуждения у нее были совсем иные: она отомстила врагу господню, я же хочу отомстить человеку, про которого я не могу сказать, враг ли он мне; ей любовь к отчизне вложила в руки оружие, мне же — любовь к супругу. Но к чему эти бессмысленные сравнения? Что же мне остается, как

не закрыть глаза и не вонзить сталь в грудь этого юноши, которому я тем сильнее отомстить сумею, что вина его невелика? Я заслужу имя мстительницы, а там будь что будет. Заветные желания не боятся преград, хотя бы даже смертельных; исполню же и я свое, хотя бы это стоило мне жизни.

И вот, обдумав и сообразив, как ей проникнуть ночью в комнату Крорьяно, Руперта подкупила его слугу, тот облегчил ей доступ, будучи уверен, что, приведя к ложу своего господина такую красивую женщину, как Руперта, он оказывает ему великую услугу, она же, притаившись в той части комнаты, откуда ее не было видно и слышно, и вверив судьбу свою небесам, в таинственном ночном безмолвии стала ждать блаженной минуты, какую сулила ей смерть Крорьяно. С собою взяла она острый нож, столь легкий и столь искусно наточенный, что она почла его наиболее удобным орудием для этого ужасного жертвоприношения, и плотно закрытый фонарь с горящею восковою свечой. Дабы ничем не обнаружить своего присутствия, она лишь по временам осмеливалась перевести дух. На что не способна женщина в гневе? Есть ли такие горы, которые она не сдвинула бы со своего пути? Есть ли такие страшные кары, которые не показались бы ей слабыми и мягкими? Однако ж довольно: тут столько можно сказать, что лучше удовольствоваться сказанным, да и трудно найти для этого достойные слова. Наконец ее час настал: Крорьяно лег, дорожная усталось взяла свое, и он, не чуя смертельной опасности, отошел ко сну.

Чутко прислушивалась Руперта, спит ли Крорьяно, однако времени с тех пор, как он лег, прошло довольно, к тому же и дыхание у него было ровное, как у спящего человека. Тогда она, даже не перекрестившись и не призвав на помощь силы небесные, открыла дверцу фонаря, после чего в комнате сразу стало светло, и, дабы не наткнуться на что-нибудь по дороге к кровати, заранее внимательно огляделась.

Прелестная убийца, кроткая фурия, обворожительный палач! Дай волю своему гневу, утоли свою ярость, сотри с лица земли и уничтожь обиду, которую ты можешь выместить на том, кто лежит пред тобой. Но берегись, прекрасная Руперта, старайся не смотреть на этого прекрасного Купидона, а не то в мгновение ока разрушит он хитроумный твой замысел!

Наконец она приблизилась к кровати, дрожащею рукою сдернула покрывало с лица Крорьяно, спавшего крепким сном, и окаменела, точно под взглядом Медузы^[56]: Крорьяно показался ей столь прекрасным, что нож выпал у нее из рук, и теперь она с ужасом думала о едва не свершившемся злодеянии; она увидела, что красота юноши, подобно солнцу, разгоняющему туман, обратила в бегство тени той смерти, которой она его обрекла, и в одно мгновение тот, кого она избрала жертвой на алтарь своей кровавой мести, стал священным избранником ее сердца.

«Ах, благородный юноша! — сказала она себе. — Ты скорее создан для того, чтобы быть моим супругом, нежели предметом моей ненависти! Можно ли вменять тебе в вину то, что совершил отец твой, можно ли карать невинного? Живи, живи, славный юноша, и да умрут в моей груди месть и жестокость, дабы не мстительною, но милосердною назвали меня, когда это узнается».

Тут смятенная и томимая раскаянием Руперта уронила фонарь на грудь Крорьяно, пламя свечи обожгло его, и он пробудился. Свеча потухла; Руперта заметалась по комнате в поисках выхода; Крорьяно закричал, схватил шпагу, спрыгнул с кровати и, сделав несколько шагов, столкнулся с трепещущей Рупертой.

— Не убивай меня, Крорьяно! — воскликнула она. — Еще так недавно я хотела и могла убить тебя, а ныне сама готова молить о пощаде.

На шум сбегались со свечами слуги, и Крорьяно, узнав прекраснейшую вдову, вперил в нее взор, подобно как созерцают блестящий диск луны, окруженный белыми облаками.

— Что это значит, сеньора Руперта? — спросил он. — Вас привела сюда жажда мщения? Вам угодно, чтобы я искупил грех моего отца? Вот этот нож, — что это как не знак вашего намерения стать моим палачом? Отец мой умер, а от мертвых нельзя требовать удовлетворения за причиненное ими зло. За них должны расплачиваться живые, а потому, будучи единственным представителем моего отца, я и хочу вознаградить вас за нанесенное им оскорбление, как могу и умею. Однако ж дозвоьте мне прежде одно почтительное прикосновение, ибо я все еще спрашиваю себя: уж не дух ли вы, явившийся то ли убить меня, то ли ввести в заблуждение, то ли улучшить мой жребий?

— А мой жребий да ухудшится, — подхватила Руперта, — если только небо найдет средство его ухудшить и если я, входя накануне в эту гостиницу, помышляла о тебе. Но ты приехал; я не видала, как ты вошел; я услышала твое имя, и оно пробудило во мне гнев и призвало к мщению; я уговорила с твоим слугою, что он запрет меня ночью в этой комнате; скрепив ему уста печатью подарков, я вошла сюда, достала нож, и желание лишить тебя жизни во мне усилилось; удостоверившись, что ты спишь, я вышла из засады, при свете фонаря откинула с твоего лица покрывало, и лицо твое внушило мне почтительное и благоговейное чувство; подобно как притупляется лезвие ножа, так же точно утихла во мне жажда мести, фонарь выпал у меня из рук, боль от ожога заставила тебя проснуться, ты стал кричать, повергая меня в смятение, а затем произошло то, чему ты сам был свидетелем. Больше я не хочу ни мстить, ни вспоминать про обиды, — живи спокойно, ибо я желаю быть первой женщиной, отплатившей добром за зло, если только простить мнимую вину значит сделать добро.

— Сеньора! — сказал Крорьяно. — Отец мой намерен был на тебе жениться; ты ему отказала; с досады он убил твоего супруга; он умер, унеся с собою в иной мир свое преступление; я, плоть от его плоти, остался жить для того, чтобы творить благо во спасение его души; если же тебе нужна моя душа, то, когда ты не призрак, явившийся, как я уже сказал, чтобы ввести меня в заблуждение, — ведь во всяком большом и неожиданном счастье всегда есть нечто сомнительное, — назови меня своим супругом.

— Протяни мне руки, — сказала Руперта, — и ты увидишь, что я не бесплотное существо и что душа, в этом теле заключенная, которую я ныне вверяю тебе, чиста, бесхитростна и правдива.

Свидетелями их объятий и помолвки были вошедшие со свечами слуги Крорьяно. В эту ночь суровая война окончилась сладостным примирением, поле битвы обернулось брачным ложем, из гнева вырос мир, из смерти — жизнь, из горя — радость. Занялся день и застал обручившихся в объятиях друг у друга. Путешественники проснулись с мыслью о том, на что же решилась злосчастливая Руперта после того, как прибыл сын ее недруга, которого историю они уже знали во всех подробностях, однако ж вскоре до них дошел слух о помолвке, и они, как подобает людям благовоспитанным, отправились поздравить жениха и невесту; когда же они подошли к комнате Руперты, навстречу им, держа в руках ларец с черепом ее первого мужа, сорочку и шпагу, столько раз исторгавшую у вдовы слезы, вышел старый слуга и сказал, что он несет все это туда, откуда былые невзгоды, померкшие при свете нового счастья, уже не возвращаются. Затем он пробормотал что-то насчет легкомыслия Руперты и всех женщин вообще, причем самое ласковое название из тех, какими он их наградил, было — сумасбродки.

Жених и невеста к этому времени уже встали. Слуги Руперты ликовали так же точно, как и слуги Крорьяно, вся гостиница по случаю помолвки столь высоких гостей превратилась в царский дворец. Периандр и Ауристела, Констанса и Антоньо вступили с Крорьяно и Рупертой в разговор и во время этой беседы сообщили им о себе все, что нашли нужным.

В это самое время в гостиницу зашел человек, коего седая окладистая борода указывала на то, что ему, уж верно, перевалило за восемьдесят. Одет он был не как паломник и не как монах — надобно заметить, что одежда паломника мало чем отличается от одежды монаха. Ничем не прикрытая голова его была лысая, голая, и только по бокам свисали длинные пряди белоснежных волос; опорой для его старого тела служила изогнутая палка. Словом, весь его облик и каждая черта в отдельности говорили о том, что это маститый старец, всяческого уважения достойный, и как скоро его увидела хозяйка гостиницы, то опустилась перед ним на колени и сказала:

— Этот день, дедушка Сольдино, я почти одним из счастливейших в моей жизни, раз что я удостоилась видеть тебя в моем доме: ведь ты всегда приносишь мне счастье.

Обратясь к присутствовавшим, она пояснила:

— Взгляните на эту снежную гору, на эту движущуюся мраморную статую — это славный Сольдино, слава о котором идет не только по всей Франции, но и по всей земле.

— Не хвалите меня, милая сеньора, — заговорил старец, — иной раз добрая слава возникает от худой лжи. Счастлив человек или нет — это познается не когда он приходит в мир, а когда он уходит из мира. Так же точно и добродетель: если она оканчивается пороком, то это уже не добродетель, а порок. Со всем тем я бы хотел оправдать ваше мнение обо мне. Так вот, да будет вам известно, что вашему дому грозит опасность: приготовления к свадебному веселью непременно наделают пожар, и почти весь ваш дом сгорит.

Тут Крорьяно, обратясь к Руперте, заметил:

— Как видно, это кудесник или же знахарь, раз что он предсказывает будущее.

Старик услышал, что сказал Крорьяно.

— Я не кудесник и не знахарь, — возразил он, — я астролог, а если эту науку хорошо изучить, то она помогает угадывать будущее. Поверьте мне, сеньоры, хотя бы на этот раз: оставьте гостиницу, пойдете ко мне — я живу в ближней роще, и там вы найдете если и не весьма удобный, то во всяком случае более надежный кров.

Не успел он договорить, как вошел Бартоломе и сказал:

— Сеньоры! Кухня горит! Возле кухни было сложено много дров, и вот они-то и загорелись — так полыхает, что всем водам моря не погасить пожар.

Вслед за Бартоломе с тою же вестью прибежали другие слуги, и уже слышно было, как стреляют сухие дрова, подтверждая справедливость принесенного слугами известия. Предсказание Сольдино сбылось: пожар бушевал вовсю. По сему обстоятельству Периандр, не вдаваясь в рассуждения, доберется сюда огонь или же не доберется, взял Ауристелу на руки и сказал Сольдино:

— Сеньор! Ведите нас к себе — здесь оставаться нельзя.

Антоньо взял за руки Констансу и Фелис Флору, следом двинулись Делеазир и Беларминия, кающаяся девица из Талаверы ухватила за пояс Бартоломе, сам Бартоломе — за ручку тележки, и все они вместе с обрученными и с хозяйкой, имевшей и прежде случай удостовериться, как хорошо умеет Сольдино угадывать будущее, двинулись за стариком, хотя и медленно, однако ж неуклонно шествовавшим вперед. Те слуги, что не слышали предсказания Сольдино, пытались тушить пожар, но весьма скоро ярость его убедила их в том, что это напрасный труд: гостиница горела целый день. И это еще счастье, что она загорелась днем, а не ночью, иначе вряд ли кому-нибудь удалось бы спастись.

Наконец путники вошли в рощу и увидели небольшую пещеру, а в ней дверку, ведущую в

некое мрачное подземелье. Прежде чем войти в пещеру, Сольдино обратился ко всем, кого он сюда привел, с такою речью:

— Мирная сень дерев заменит вам золоченую кровлю, мурава приветного сего луга послужит если и не весьма мягкою, то во всяком случае весьма чистою постелью. А в пещеру я приглашу вот этих знатных людей — единственно потому, что так им подобает, а не потому, чтобы там им было лучше.

Тут он позвал Периандра, Ауристелу, Констансу, трех француженок, Руперту, Антоньо и Крорьяно и, оставив других наружи, ушел с ними в пещеру, а дверь за собою запер. Тогда Бартоломе и талаверка, видя, что Сольдино не отнес их к числу званых и избранных, и видя друг в друге товарищей по несчастью, то ли с досады, то ли по легкомыслию уговорились, что Бартоломе бросит своих хозяев, а она сойдет со стези покаяния. Поставив перед собой эту цель, они позаботились о том, чтобы в тележке на два страннических одеяния стало меньше, а затем талаверка удрала от сердобольных своих спутниц верхом на коне, дружок ее дернул от почтенных своих хозяев пешком, и оба они направились туда же, куда направлялась вся остальная компания, а именно в Рим.

Полагаем не лишним заметить еще раз: не всякое происшествие, будь то происшествие невероятное или хотя бы правдоподобное, надлежит вставлять в повесть, ибо если у читателей возникнет сомнение в его истинности, то оно утратит всякое значение, от историка же требуется одно — писать правду, не считаясь с тем, что скажут читатели: правда это, мол, или же неправда. Так вот, руководствуясь вышеизложенным правилом, автор этой истории сообщает, что Сольдино в обществе дам и кавалеров начал спускаться в мрачное подземелье вниз по ступенькам; когда же они спустились на семьдесят с лишним ступенек, перед ними открылось чистое и ясное небо, и еще они увидели широкий приветный луг, пленявший взор и увеселявший душу. Все, кто сюда спустился вместе с Сольдино, окружили его, и он повел с ними такую речь:

— Сеньоры! Тут никакого колдовства нет. Подземный ход, через который мы сюда проникли, представляет собою кратчайший путь с вершины горы к этой долине, но сюда ведет и другая дорога, более удобная, более пологая и приятная, протяжением в одну милю. Я построил себе келью и своими руками прорыл к лугу подземный ход, и луг этот щедро вознаграждает мой долговременный труд, снабжая меня водою и злаками. Здесь, убежав от войны, я обрел мир; голод, который мучил меня в том, верхнем, если так можно выразиться, мире, здесь сменился изобилием; вместо властвующих над миром принцев и монархов, коим я служил, я нашел здесь бессловесные деревья, которые, несмотря на свою вышину и великолепие, отличаются смирением; здесь мне не страшны ни опала императора, ни гнев министра; здесь мне не приходится сталкиваться ни с презрением любимой женщины, ни с нерадивостью слуг; здесь я сам себе господин, здесь сердце у меня всегда на месте, здесь все помыслы мои и все желания я прямым путем устремляю к богу; здесь я прекратил занятия математикой, но зато наблюдаю течение звезд, движение солнца и луны; здесь я нахожу поводы для веселья и провижу поводы для огорчений, и что я предугадываю, то все как по писаному и сбудется, в чем я нимало не сомневаюсь. Я вижу ясно-ясно, словно я сам при сем присутствую, как отсекают голову отважному пирату, храброму юноше, принадлежащему к австрийской династии.^[57] О, если б вы могли все это видеть так явственно, как я! Знамена в знак презрения швыряются в море, полумесяцы погружаются в воду, выдираются пышные конские хвосты бунчуков, поджигаются корабли, тела разрубаются на куски, люди прощаются с жизнью. Но — горе мне! Меня берет за сердце судьба еще одного венчанного юноши, распростертого на зыбучем песке, пронзенного тучей мавританских копий.^[58] Один из них — внук, а другой — сын разящего меча войны, неоцененного Карла Пятого, коему я

служил много лет и прослужил бы до последнего моего издыхания, когда бы этому не воспрепятствовало то обстоятельство, что я предпочел земному воинству небесное. Без помощи книг, на основании одного только опыта, приобретенного мною за время моего одиночества, я предсказываю тебе, Крорьяно, — а доверие твое я заслужил хотя бы тем, что, никогда прежде не видя тебя, я знаю твое имя, — что ты много лет будешь здравствовать со своею Рупертой. Тебе, Периандр, я предвещаю благополучный конец твоего путешествия. Сестра твоя Ауристела скоро перестанет быть твоею сестрою, но не потому, чтобы ей суждено было в непродолжительном времени расстаться с жизнью. Ты, Констанса, скоро будешь уже не графиней, а герцогиней, а твой брат Антоньо достигнет степеней, коих его достоинства заслуживают. Желания французских дам не исполнятся, но зато в их жизни наступит иного рода перемена, которая послужит им к чести и порадует их. То, что я предсказал пожар, то, что я угадал, как вас всех зовут, хотя прежде никогда не был с вами знаком, то, что я провижу гибель помянутых мною лиц, — все это должно бы уже внушить вам доверие ко мне. Но окончательно вы уверитесь в моей способности предсказывать события, как скоро увидите, что слуга ваш Бартоломе, захватив с собой тележку и девушку из Кастилии, скрылся, да еще и увел вашу лошадь. Не бегите за ними — все равно не догоните. Девушка склонна не столько сокрушаться, сколько утешаться, и вопреки и наперекор вашим наставлениям она останется верна этой своей наклонности. Я испанец — это обязывает меня быть любезным и правдивым. В силу своей любезности я предлагаю вам все, что может мне предложить этот луг, а что я человек правдивый, в этом вы удостоверитесь на собственном опыте. Вас, может статься, удивляет, как это я, испанец, очутился на чужой земле, — да будет вам известно, что на свете есть места и края менее целебные и более целебные, мы же с вами сейчас находимся в краю, наиболее для меня целебном. В окрестных поместьях, усадьбах и селениях обитают правоверные католики. Я соблюдаю обряды и нахожу у местных жителей все, чего природа не может предоставить тем, кто желает вести жизнь истинно человеческую. Таковую именно жизнь веду здесь я и помышляю о жизни вечной. А пока что пойдемте обратно: там, наверху, мы найдем пищу телесную, подобно как здесь, внизу, мы усладили себя пищей духовной.

Путникам была предложена убогая, но зато опрятно приготовленная трапеза, однако ж, хотя здесь подавалось все самое свежее, удивить этим наших четырех странников было нельзя, ибо они тотчас вспомнили остров варваров и остров Отшельничий, где остался Рутилио и где они ели плоды спелые и плоды неспелые. Еще им пришло на память ложное пророчество, которому поверили островитяне, многие предсказания Маврикия, пророчество о судьбе морисков, которое они слышали из уст хадрака Харифа, и, наконец, пророчества испанца Сольдино. И показалось им, что они окружены провидцами и что им удалось проникнуть в самую суть юдициарной астрологии, а ведь до того, как события им показали, что астрология не ошибается, они верили в нее слабо.

Трапеза скоро окончилась. Сольдино вывел своих гостей на дорогу, девицы же и обозного Бартоломе странники недосчитались и были этим немало огорчены, ибо вместе с исчезновением помянутых лиц у них исчезли и деньги и съестные припасы. Антоньо приметно опечалился и хотел было устремиться в погоню за ними обоими, — он легко сообразил, что либо девица увела Бартоломе, либо Бартоломе увел ее, а вернее, что они увели друг дружку. Сольдино, однако ж, ему сказал, чтобы он не огорчался и не думал за ними гнаться: в слуге, дескать, непременно заговорит совесть, завтра же он вернется и все украденное возвратит. Словам Сольдино все поверили, и Антоньо в погоню не пустился, тем более, что Фелис Флора предложила Антоньо дать займы столько, сколько ему самому и его спутникам потребуется для того, чтобы добраться до Рима, каковое любезное предложение преисполнило Антоньо чувством признательности, и, со своей стороны, он предложил ей принять от них в залог вещицу, которую можно удержать на ладони и которая, однако ж, стоит более пятидесяти тысяч дукатов: он имел в виду одну из двух жемчужных серег Ауристелы, которые та вместе с бриллиантовым крестиком всюду носила с собой. Стоимости залога Фелис Флора не смела верить; зато она осмелилась вновь предложить займы денег.

В это самое время их обогнали восемь всадников, и среди них дама, сидевшая верхом на муле в богато убранном дамском седле; все на ней было зеленое, даже шляпа, коей многочисленные пышные перья колыхались на ветру, даже маска, закрывавшая ей лицо. Всадники молча поклонились нашим путешественникам и проследовали дальше. Путешественники наши так же молча им поклонились. Вдруг один из всадников поворотил коня и, приблизившись к нашим странникам, попросил у них воды. Странники не отказали ему в его просьбе и спросили, что они за люди и что это за дама в зеленом, всадник же на это ответил так:

— Впереди едет синьор Алессандро Каструччо, дворянин из Капуи, один из самых богатых людей во всем королевстве Неаполитанском. Дама — это его племянница, синьора Изабелла Каструччо; она родилась в Испании, и там она схоронила своего отца, а теперь родной дядя увозит ее в Капую с тем, чтобы выдать ее там замуж, и, по-моему, она этим обстоятельством не весьма довольна.

— Уж верно, она недовольна не предстоящим замужеством, — возразил одетый в траур слуга Руперты, — просто она устала от долгого путешествия. Я так полагаю, что всякая женщина жаждет соединиться с недостающей ей половиной, то есть со своим супругом.

— Я этой философии не разумею, — заметил всадник. — Я знаю только, что она грустит, а отчего — это уж ее дело. Ну, прощайте, мне пора — мои господа уже далеко.

С этими словами он хлестнул коня и скоро скрылся из виду, путешественники же

обнялись, простились и расстались с Сольдино. Мы забыли сказать, что Сольдино посоветовал француженкам ехать прямо в Рим, не заезжая в Париж, — так, мол, для них будет лучше. Француженки восприняли его совет как слова оракула и совместно с нашими паломниками избрали путь в Италию через Дофине, а там-де они через Пьемонт и государство Миланское доберутся сначала до Флоренции, а потом и до Рима. Наметив план дальнейшего путешествия и уговорившись покрывать ежедневно более значительное расстояние, чем прежде, они тронулись в путь, а на другое утро увидели, что навстречу им везет тележку одетый как паломник их обозный Бартоломе, которого они почитали за вора. У всех при виде его вырвался крик изумления, а затем посыпались вопросы, зачем он бежал, что это на нем за одежда и, наконец, что заставило его возвратиться. Он же, став на колени перед Констансой, но обращаясь ко всем, чуть не плача заговорил:

— Почему я бежал — сам не знаю; одежда на мне, как видите, странническая; воротился же я, чтобы вернуть пропажу, из-за которой вы, может быть, да не может быть, а наверное решили, что я вор. Вот, сеньора Констанса, тележка со всем, что в ней было, за исключением двух страннических одеяний: одно на мне, а другое надела на себя, чтобы сойти за паломницу, мнимая скромница, талаверская соромница. Черт бы побрал плута Амура, который меня на это подбил! А хуже всего, что я его раскусил и все-таки порешил стать под его знамена — таким темным людям, как я, не под силу бороться с сердечным влечением. Благословите меня, ваша милость, и отпустите — меня ждет Луиса. Примите в рассуждение, что я ухожу от вас без единого гроша и что я верю в чары моей подружки куда больше, чем в ловкость моих рук, — мои руки всегда были честными, и такими они, если только господь не отнимет у меня разум, и останутся даже при том условии, если мне суждено прожить тысячу веков.

Долго отговаривал его Периандр, пытаясь доказать ему, сколь безрассудно он поступает, долго отговаривала его Ауристела, а еще дольше — Констанса и Антоньо, но они только, как говорится, бросали слова на ветер и вопияли в пустыне. Бартоломе отер слезы и, выпустив из рук тележку, показал им тыл и пустился бежать без оглядки, поразив всех силою своей страсти и своим простодушием. Антоньо, видя, что Бартоломе припустился, вложил стрелу в лук, который никогда еще его не подводил, и вознамерился пронзить Бартоломе насквозь и вырвать у него из груди безумную его страсть, однако ж Фелис Флора, старавшаяся держаться поближе к Антоньо, ухватила рукой за лук.

— Оставь его, Антоньо, — сказала она, — он и без того наказан судьбой: что может быть хуже, когда тобою вертит и помыкает сумасбродка?

— Твоя правда, сеньора, — согласился Антоньо. — И коль скоро ты даруешь ему жизнь, то у кого же хватит смелости посягнуть на нее?

Долгое время с путешественниками ничего любопытного не происходило. Наконец они вошли в Милан и подивились обширности города, несметным его богатствам, золотой его казне, ибо про миланцев не скажешь, что у них есть золото, — они обладатели целой золотой казны; подивились миланским кузницам войны, куда, кажется, перевел свои кузницы сам Вулкан, изобилию плодов, великолепию храмов и, наконец, сметливости его жителей. От своего хозяина они узнали, что особого внимания заслуживает здесь Академия венценосцев^[59], коей украшение составляют знаменитые академики, чей светлый ум дает обильную пищу славе, и слава трубит о них всечасно и во всех частях света. Еще хозяин сказал, что нынче как раз академический день и что в стенах Академии состоится диспут на тему: существует ли любовь без ревности.

— Конечно, существует, — заметил Периандр, — и доказать это легче легкого.

— А я не знаю, что такое любовь, — заговорила Ауристела, — зато я знаю, что значит

любить.

— Мне это непонятно, — обратилась к ней Беларминия, — я не улавливаю разницы между словами «любовь» и «любить».

— Разница есть, — возразила Ауристела, — любить возможно, не испытывая мятежного пыла страсти и не теряя душевного спокойствия: можно любить служанку, которая вам предана, можно любить статую или же картину, которая вам нравится, которой вы восхищаетесь. Такого рода чувство не вызывает ревности, да и не может ее вызвать. Но то, что именуется любовью, — это, как принято выражаться, пламенная страсть души, и если даже она и не вызывает ревности, то, во всяком случае, может вызвать такую душевную тревогу, от которой люди умирают, а бестревожной любви, по моему разумению, вообще не существует.

— Совершенная правда, сеньора, — подтвердил Периандр. — Кто любит, кто очарован своим предметом, тот боится потерять его; у всякого баловня судьбы случаются невзгоды; нет такого клина, который остановил бы колесо Фортуны. И вот, как ни сильно в нас желание поскорее достигнуть цели нашего путешествия, я бы попытался все же доказать сегодня в Академии, что бывает любовь без ревности, без тревог же любви не бывает.

На том их разговор прекратился. В Милане путешественники пробыли всего четыре дня, в течение которых они только начали осмотр его достопримечательностей, ибо для того, чтобы закончить осмотр, им понадобилось бы не четыре дня, а целых четыре года. После Милана они побывали в Лукке — небольшом, но красивом и притом вольном городе, который, находясь под сенью крыл Империи и Испании, держится особняком и гордо поглядывает на другие города, коими правят владетельные князья, и князья эти весьма не прочь прибрать его к рукам. В Лукке испанцев принимают радушнее и обходятся с ними лучше, чем где бы то ни было, — испанцам здесь не нужно приказывать, достаточно обратиться с просьбой, а как в Лукке они обыкновенно проводят не более дня, то они не успевают выказать здесь свой нрав, а ведь считается, что у испанцев нрав дерзкий. Именно здесь с нашими путешественниками случилось одно из самых удивительных приключений, на страницах этой книги запечатленных.

Любая из гостиниц Лукки способна вместить роту солдат, и вот в одной из таких гостиниц остановился отряд наших путешественников, — их сюда привели стражи, стоявшие у городских ворот, и взяли с хозяина слово, что завтра утром, вообще когда путники надумают покинуть город, он поставит о том стражей в известность.

При входе в гостиницу Руперта заметила, что оттуда вышел лекарь, коего род занятий обличала его одежда, и лекарь этот, обратись к хозяйке, — а что это была именно хозяйка, в том Руперта также не сомневалась, — сказал:

— Я, сеньора, еще окончательно не удостоверился, сумасшедшая эта девушка или же бесноватая, и, чтобы не ошибиться, я говорю, что она и бесноватая и сумасшедшая. Со всем тем я не теряю надежды на ее выздоровление, если только ее дядя не будет спешить с отъездом.

— Господи Иисусе! — воскликнула Руперта. — Куда мы попали? В дом сумасшедших и бесноватых? Будь моя воля, ей-же-ей, ноги бы моей тут не было.

На это ей хозяйка сказала:

— Ваше превосходительство (так в Италии говорят вместо «ваша милость») не пожалеет, если у нас. остановится: ради того, чтобы поглядеть, что у нас делается, можно сто миль пешком пройти.

Все порешили здесь остановиться. Ауристела же и Констанса, выслушав хозяйку, обратились к ней с вопросом, что именно происходит у нее в гостинице, уж будто бы столь любопытное.

— Пойдемте со мной, — предложила хозяйка, — и когда вы увидите то, что увидите, скажете то же, что и я.

Хозяйка пошла вперед, а Констанса и Ауристела за ней, и наконец они увидели лежавшую на золоченой кровати красавицу девушку лет шестнадцати-семнадцати; руки у нее были раскинуты и привязаны бинтами к изголовью: сделано это было для того, чтобы она не могла пошевелить руками. Две женщины, исполнявшие при ней обязанности сиделок, пытались связать ей и ноги, больная же им говорила:

— Довольно того, что вы мне связали руки. Остальное держат путы моей скромности.

Тут она обратилась к путешественницам и, возвысив голос, произнесла:

— Гости небесные, ангелы во плоти! Вы, уж верно, явились меня исцелить, — чего же еще можно ожидать от таких прелестных созданий, исполняющих христианский долг — посетить больную? Положение ваше обязывает вас ко многому, и вы в самом деле много можете, — прикажите же развязать меня! Я всего только раз пять укушу себе руку и на том успокоюсь, больше я ничего худого себе не сделаю: ведь я вовсе не такая сумасшедшая, какой представляюсь другим; боль же, которая меня мучает, не настолько свирепа, чтобы я себя закусала до смерти.

— Бедная моя племянница! — воскликнул вошедший в комнату старик. — До чего довела тебя эта самая боль, хоть ты и говоришь, что из-за нее ты себя до смерти не закусашь! Помолись богу, Изабелла, и постарайся покушать, но только не вонзай зубы в прекрасное свое тело, — ешь то, что тебе даст горячо любящий тебя дядя. Я могу предложить тебе и того, что летает в воздухе, и того, что обитает в воде, и того, что вскармливает земля. Твое великое богатство вкупе с моим великим усердием все тебе достанут.

На это болящая девица ответила так:

— Оставьте меня одну с этими ангелами, — может статься, терзающий меня бес не выдержит их присутствия и выйдет из меня.

Кивнув головой на Ауристелу, Констансу, Руперту и Фелис Флору в знак того, чтобы они остались с ней, она попросила остальных удалиться, и ее престарелый и убитый горем дядя не только на это согласился, но еще и сам стал о том же просить других, и вот от него-то путники и узнали, что это и есть та самая дама в зеленом, которую они повстречали на дороге вскоре после того, как покинули пещеру прозорливого испанца, и это о ней говорил им попросивший у них напиток слуга, что зовут ее Изабеллой Каструччо и что ее отдают замуж в королевство Неаполитанское.

Больная между тем оглянулась по сторонам, но, не удовольствовавшись этим, спросила посетительниц своих, нет ли в комнате кого-нибудь еще, кроме тех, кого она порешила оставить. Руперта зорким взглядом окинула помещение и поручилась, что самовольно здесь никто не остался. Изабелла успокоилась и, сделав над собой приметное усилие, села на кровати, а затем, подав знак, что намерена сообщить им нечто чрезвычайно важное, испустила столь тяжелый вздох, что казалось, будто вместе со вздохом из уст ее излетела душа. В конце концов она вновь откинулась на подушки и лишилась чувств, и в это мгновение присутствовавшим почудилось, что она умирает, и они стали кричать: «Воды! Воды!» — им хотелось поскорее сбрызнуть лицо Изабелле, переходившей у них на глазах в мир иной. На зов прибежал несчастный старик, держа в одной руке крест, а в другой кропило, которое он только что омочил святой водой. Вместе с ним вошли в комнату два священнослужителя — полагая, что в девушку вселился бес, они находились при ней почти безотлучно. Вслед за ними вошла хозяйка и принесла воды. Больную sprysнули водой, и она очнулась.

— Все эти хлопоты излишни, — объявила она. — Я скоро поправлюсь, но не тогда, когда вам это будет благо-угодно, а когда я сама почту за нужное, то есть как скоро сюда прибудет Андреа Марулло, сын местного дворянина Джованни Баттиста Марулло, — в настоящее время Андреа учится в Саламанкском университете и даже не подозревает, что здесь происходит.

Речи Изабеллы окончательно укрепили присутствовавших во мнении, что Изабелла одержима бесом, иначе невозможно было объяснить, как она узнала о существовании Джованни Баттиста Марулло и его сына Андреа. Разумеется, сейчас нашлись люди, которые поспешили доложить помянутому Джованни Баттиста Марулло, что одержимая бесом красавица сказала про него и про его сына. Девушка снова попросила оставить ее наедине с теми, на ком она остановила выбор с самого начала. Священники прочли над ней евангелие и, исполняя ее желание, позвали к ней всех, на кого она указала; она же обещала подать знак, когда бес перестанет ее мучить: должно заметить, что священники были совершенно уверены в том, что она одержима бесом. На сей раз обследовала комнату Фелис Флора и, затворив дверь, сказала больной:

— Мы одни. Что тебе угодно, сеньора?

— Мне угодно высвободить руки, — отвечала Изабелла. — Бинты, правда, не впиваются в тело, а все-таки я от них устала, они мне мешают.

Изабелле с великим проворством развязали руки, она села на кровати, одной рукой обняла Ауристелу, другой — Руперту, попросила Констансу и Фелис Флору присесть к ней на кровать и, как скоро все они образовали живописную группу, голосом тихим и со слезами на глазах заговорила:

— Я, сеньоры, несчастная Изабелла Каструччо. Отцу с матерью я обязана благородным своим происхождением, Фортуне — состоянием, а небесам — более или менее

привлекательной наружностью. Мои отец и мать — уроженцы Капуи, я же родилась в Испании, а воспитывалась в Мадриде, в доме моего дяди, который сейчас здесь, со мной... Господи боже! Зачем же я обращаю вспять поток моих злоключений?.. Итак, я сирота, живу у моего дяди, которому мои родители меня поручили и которого они назначили моим опекуном, и вот однажды к нам в столицу приезжает некий юноша, я встречаюсь с ним в церкви и не могу глаз от него отвести, — не подумайте, сеньоры, что то была излишняя с моей стороны вольность; нет, вы так не подумаете, если вспомните, что я женщина. Одним словом, он и дома все стоял у меня перед глазами; в душе моей так ярко запечатлелся его образ, что потом уже никак не мог изгладиться из моей памяти. Наконец мне удалось узнать, кто он таков, каково его звание, что он делает в столице и куда намерен отбыть; выяснилось, что зовут его Андреа Марулло, что он сын Джованни Баттиста Марулло, дворянина из Лукки, родовитого, но небогатого, и что он собирается поступить в Саламанкский университет. В столице он пробыл с неделю, и за это время я успела ему сообщить, кто я по своему происхождению, довести до его сведения, что я богатая невеста, и уведомить, что о наружности моей он составит себе представление, если придет в такую-то церковь. Еще я ему написала, что дядя мой, дабы не дробить имение, намерен выдать меня замуж за моего двоюродного брата, но он-де мне не нравится и не подходит мне по характеру, что, кстати сказать, вполне соответствует истине. В заключение я высказывала ту мысль, что в моем лице счастливый случай подставляет ему свои локоны, а что ему только остается за них ухватиться, иначе, мол, он после будет каяться, и еще я его предупредила, чтобы он не сделал отсюда вывода о моей доступности и не утратил ко мне уважение. Он много раз видел меня в церкви и в конце концов ответил мне так: его-де прельстила не мишура знатности моей и богатства, он-де полюбил меня самое, я, мол, его кумир, и он молит меня об одном: позволить ему проводить своего приятеля в Саламанку, куда они оба должны были ехать учиться, и заклинает не изменять своему решению, внушенному любовью к нему. Я же ему на это ответила, что не изменю, ибо моя любовь — это не случайная безрассудная страсть, которая мгновенно вспыхивает и так же мгновенно гаснет. Коротко говоря, долг дружбы принудил его со мною расстаться, он не в состоянии был бросить своего приятеля и, проливая, как всякий влюбленный, слезы (он проезжал мимо нашего дома, и я сама видела, что он плачет), уехал, мысленно оставшись со мной, я же, оставшись дома, мысленно отправилась вместе с ним. На другой день — этому трудно поверить, однако ж беда находит к существам обездоленным кратчайший путь — на другой день дядя объявил мне, что мы едем в Италию, мне же не удалось ничем отговориться, не удалось сказатьсся больной — пульс и цвет лица свидетельствовали о том, что я здорова, и дядя не поверил, что я больна, — он решил, что я просто-напросто не желаю выходить замуж и ищу предлога остаться в Мадриде.

Я успела, однако ж, уведомить Андреа обо всем, что стряслось в его отсутствие, и о вынужденном моем отъезде. Тут же я его предупредила, что постараюсь проездом через Лукку прикинуться бесноватой, — я хотела, чтобы этот мой замысел внушил ему мысль тотчас же оставить Саламанку, приехать в Лукку и наперекор моему дяде и всему свету со мной обвенчаться. Теперь судьба моя всецело зависит от его проворства, и не только моя, но и его судьба — в том случае, если он действительно отвечает мне взаимностью. Если мое письмо до него дошло, — а оно не могло не дойти, потому что я уплатила за доставку, — не позднее, чем через три дня, он должен быть здесь. Я сделала все, что было в моих силах. Если в душу к тебе закралась любовь, а надежда манит тебя издали, то это равносильно тому, как если бы в тело твое вселился легион бесов. Такова, сеньоры, моя история, такова история моего безумия, такова история моей болезни: бесы, терзающие меня, — это любовные мои

думы. Я терплю голод, ибо надеюсь на утоление его. И все же меня гнетут сомнения: ведь, как говорят в Кастилии, у несчастных людей крошки хлеба успевают замерзнуть, пока они поднесут их ко рту. Вот почему, сеньоры, я обращаюсь к вам с просьбой: в разговорах с дядей притворяйтесь, что вы верите моему обману, окажите поддержку моим измышлениям, чтобы он, пока я поправляюсь, на несколько дней оставил меня в покое: авось, бог даст, какой-нибудь из этих дней принесет мне счастье, и за мной приедет Андреа.

Мы почитаем излишним упоминать, поразила или не поразила слушателей история Изабеллы, ибо ее история сама по себе такова, что она не может не поразить воображение тех, кому ее рассказывают. Руперта, Ауристела, Констанса и Фелис Флора дали Изабелле слово быть с нею в заговоре и не уезжать отсюда до тех пор, пока мечты ее не осуществятся, ждать же им этого, по всей вероятности, осталось, дескать, недолго.

Прелестная Изабелла Каструччо все старалась доказать, что бес ее существует в действительности, а четыре женщины, уже успевшие с ней подружиться, все старались уверить окружающих, что она и точно больна, и, приводя всевозможные доводы, утверждали, что устами Изабеллы говорит в нее вселившийся бес: он-де нарочно вселяется в любовников, чтобы все видели, каков есть Амур.

В это время, то есть в сумерки, вторично явился врач и привел Джованни Баттиста Марулло, отца влюбленного в Изабеллу Андреа, и, войдя в комнату, где лежала больная, сказал:

— Поглядите, синьор Джованни Баттиста Марулло, как страдает эта девушка, и судите сами, заслуживает ли этот ангел, чтобы в нем сидел бес. Впрочем, надежды на ее выздоровление мы не утратили: она сама нам сказала, что бес в ближайшее время покинет ее — ваш сын, мол, сюда, а бес, мол, отсюда; сына же вашего мы ожидаем с минуты на минуту.

— Так и мне передавали, — подтвердил синьор Джованни Баттиста. — Я буду очень рад, если приезд моего сына принесет пользу девушке.

— Благодарите бога, да скажите спасибо мне, что я оказалась такой расторопной, — заговорила тут Изабелла. — Если б не я, он так бы и сидел в своей Саламанке неизвестно для чего. Смею вас уверить, синьор

Джованни Баттиста, что сын ваш не столь добродетелен, сколь очарователен, и на уме у него не столько ученье, сколько наряды. Будь они прокляты, все эти наряды и предметы мужского щегольства, — от них только вред государству. А еще будь прокляты тупые шпоры, от которых никакого толку, и наемные мулы, которым за почтовыми лошадьми не угнаться.

На эти слова Изабелла нанизывала другие, столь же загадочные и двусмысленные, поэтому наперсницы понимали ее совсем не так, как все прочие; наперсницы толковали ее слова правильно, а другие полагали, что она бредит.

— Где же вы видели, синьора, сына моего Андреа? — спросил Марулло. — В Мадриде или в Саламанке?

— Ни там и ни там, а в Ильескасе, — отвечала Изабелла. — Это было в день святого Иоанна, на утренней зорьке, — мы с ним черешни собирали. Впрочем, сказать по правде, это еще чудо, что я отличаю правду от плодов моего воображения: ведь я его вижу все время, он вечно у меня в душе.

— Хорошо еще, что мой сын собирал черешни, а не искал блох, что, вообще сказать, в большей мере свойственно студентам, — заметил Марулло.

— Студенты — учтивые кавалеры, — продолжала нести ахинею Изабелла, — они редко ищутся, а вот зато чешутся часто: ведь этой пакости столько развелось на свете и до того она обнаглела, что залезает и в белье к принцам и под больничные одеяла.

— Все-то ты знаешь, лукавый, — видно, уже стар, — сказал врач, уверенный в том, что в Изабелле сидит бес.

И вдруг, точно и впрямь все это подстроил сам сатана, в комнату вбежал дядюшка Изабеллы и, не помня себя от радости, воскликнул:

— Добрые вести, племянница, добрые вести, моя родная! Синьор Андреа Марулло, сын здесь присутствующего Джованни Баттиста, уже приехал! Ты надежда всей моей жизни, да сбудется же надежда, которую ты нам подала, будто, только увидев его, ты тотчас же станешь здоровой! Ну же, окаянный бес, *vade retro, exi foras*^[60], и не вздумай возвращаться в

эту комнату, мы ее после тебя чисто-начисто выметем и приберем!

— Иди ко мне, иди ко мне, второй Ганимед, новоявленный Адонис^[61], и если ты, точно, свободен, здоров и у тебя нет никакой задней мысли, то обручись со мною, — молвила Изабелла. — Я жду тебя, в твердости не уступая скале, ибо волны омывают скалу, но сдвинуть ее с места не в силах.

Тут вбежал одетый по-дорожному Андреа Марулло; в доме отца ему уже сообщили о болезни чужестранки Изабеллы и о том, как она его ждет, оттого что-де его приезд изгонит из нее беса. Будучи догадливым от природы, да к тому же получив надлежащие наставления от Изабеллы, которая писала ему в Саламанку, что он должен делать, если застанет ее в Лукке, он, не снимая шпор, помчался в гостиницу и, как полоумный, как сумасшедший, влетел в комнату Изабеллы.

— Прочь, прочь, прочь! Изыди, изыди, изыди! — вскричал он. — Се грядет доблестный Андреа, главный адский начальник, если уж тебе не довольно просто начальника!

Даже тех, кто был посвящен во все тайны, смутил этот шум и крики; врач же и даже родной отец Андреа воскликнули:

— Да это тоже бес, сродни тому, что сидит в Изабелле!

А дядя сказал:

— Мы надеялись, что приезд юноши будет к добру, ан, оказалось, к худу.

— Успокойся, сын мой, успокойся! — сказал отец. — Можно подумать, что ты не в себе.

— Как он может быть не в себе, коль скоро он видит меня? — воскликнула Изабелла. — Разве я не средоточие всех его помышлений? Разве я не предел всех его желаний?

— Какое же тут может быть сомнение? — подхватил Андреа. — Да, ты владычица над моею волей, ты мое отдохновение, избавляющее от тягот, ты моя жизнь, спасающая от смерти. Дай мне руку, госпожа моя, в знак того, что ты будешь моею женой, выведи меня из состояния рабского и даруй мне свободу, а для меня быть свободным — значит быть твоим подъяремным. Повторяю: дай мне руку, мое блаженство, и возведи простого смертного Андреа Марулло в достоинство супруга Изабеллы Каструччо. Сгиньте же, бесы, пытавшиеся помешать сладостному нашему союзу, а что соединил сам господь, того люди да не разлучают!

— Ты справедливо молвил, синьор Андреа, — заметила Изабелла. — Так дай же мне без всяких хитростей, подвохов и плутней свою руку, и я буду твоею.

Андреа протянул ей руку, и в тот же миг возвысила голос Ауристела:

— Она смело может отдать ему свою руку: они созданы друг для друга.

Но тут дядюшка Изабеллы, до сего времени пребывавший в недоумении и оцепенении, схватил Андреа за руку и сказал:

— Что же это такое, синьоры? Или в вашем городе таков обычай, что один бес женится на другом?

— Да нет! — вмешался врач. — Это они нарочно, чтобы поскорей изгнать беса, ведь нельзя же себе представить, что все это заранее подготовил человеческий разум.

— Со всем тем, — продолжал дядюшка Изабеллы, — я хочу услышать из его и из ее уст, как понять эту помолвку: взаправду они обручаются или же это игра.

— Взаправду, — отвечала Изабелла: — ведь Андреа Марулло не сумасшедший, а я не бесноватая. Я его люблю и хочу выйти за него замуж, если только и он меня любит и намерен на мне жениться.

— Я не сумасшедший и не бесноватый, господу богу было угодно даровать мне ум здравый, — молвил Андреа и снова протянул руку Изабелле, в то же мгновение она протянула ему свою, оба они изъявили свое согласие, и таким образом помолвка состоялась.

— Да что же это такое? — возопил Каструччо. — Добились-таки своего! Боже, боже! Позор на мою седую голову!

— Породниться со мной — это не позор, — возразил отец Андреа. — Я благородного происхождения и хоть и небогат, а в посторонней помощи не нуждаюсь. Во всем этом происшествии я ни сном, ни духом: детки без меня сумели поладить. У влюбленных смекалка развита не по летам Правда, в подобных обстоятельствах молодежь частенько попадает впросак, но многие все же угадывают верно, а уж если угадывают, хотя бы к совершенно случайно, то такие браки оказываются гораздо счастливее заранее обдуманных. Со всем тем я желал бы знать, имеет ли законную силу то, что сейчас произошло на наших глазах, и если это возможно расстроить, то ради богатого приданого Изабеллы я унижаться не стану.

Два при сем присутствовавших священника объявили, что законность помолвки сомнению не подлежит, ибо если вначале Андреа Марулло и Изабеллу Каструччо можно было принять за невменяемых, то, подтверждая свое согласие на брак, они уже были в полном разуме.

— А мы еще раз подтверждаем, — объявил Андреа.

Подтвердила вновь и Изабелла. Когда же ее дядя это услышал, крылья его сердца опустились, голова свесилась на грудь, глаза закатились, и, испустив тяжелый вздох, он внезапно упал без чувств. Слуги положили его на кровать, Изабелла, напротив, встала с постели, Андреа повел ее как законную свою супругу в отчий дом, а два дня спустя в одну из луккских церквей вошли мальчуган, младший брат Андреа Марулло, коему предстояло креститься, и Андреа с Изабеллой, коим предстояло обвенчаться и похоронить ее дядю; подобное стечение обстоятельств трудно было не признать за нарочитое, имеющее целью показать, какие странные совпадения бывают в жизни: одних крестят, другие женятся, третьих хоронят, и все это происходит одновременно.

Со всем тем Изабелла надела траур, — та, что именуется Смертью, часто ставит рядом брачное ложе и гроб, свадебные же уборы перемешивает с траурными одеждами.

Странники наши и проезжающие пробыли в Лукке еще несколько дней, и все это время им оказывали гостеприимство новобрачные и благородный Джованни Баттиста Марулло. И на сем автор этой истории оканчивает третью ее книгу.

Странники наши долго еще потом судили-рядили, действителен или же не действителен брак Изабеллы Каструччо, коль скоро он зиждется на обмане, причем Периандр всякий раз отвечал утвердительно, и отвечал он так с легким сердцем оттого, что вся эта история ни малейшего касательства к ним не имела. Периандр был подавлен лишь совпадением крестин, свадьбы и похорон, и возмущало его невежество лекаря, так и не разгадавшего хитрость Изабеллы и не распознавшего болезнь ее дяди. Путники то принимались толковать о недавних событиях, то вспоминали невзгоды, приключившиеся с ними самими. Крорьяно и Руперта всячески старались допытаться, кто такие Периандр и Ауристела, Антоньо и Констанса, каковых усилий им не потребовалось, дабы узнать, кто такие француженки, ибо те, не успев познакомиться, все о себе рассказали. Наконец, не особенно мешкая в пути, достигли они Акуапенденте — городка, расположенного неподалеку от Рима; при въезде же в него Периандр и Ауристела оказались немного впереди всей остальной компании, и тут, не боясь, что кто-нибудь их случайно услышит или же нарочно подслушает, Периандр обратился к Ауристеле с такою речью:

— Тебе хорошо известно, сеньора, какие благородные побуждения и какие важные причины вынудили нас оставить отчизну и проститься с довольством. И вот уже мы дышим воздухом Рима, и вот уже надежды, все это время поддерживавшие нас, оживились, и вот уже внутренний голос твердит мне, что я накануне долгожданного и сладостного обладания. Вот почему я прошу тебя, сеньора: снова и снова раскинь умом, проверь свое чувство, убедись, все ли ты верна первоначальному своему решению и останешься ли ты ему верна после того, как будет исполнен обет твой, в чем я, однако ж, не сомневаюсь, ибо царская кровь, в твоих жилах текущая, не может явиться источником ложных обещаний и двойной игры. Что же касается меня, прелестная Сихизмунда, то вот этот самый Периандр, которого ты сейчас видишь перед собой, не кто иной, как Персилес, которого ты видела во дворце моего отца короля, Персилес, который в чертогах отца дал тебе слово быть твоим супругом и который свое слово исполнит, даже если враждебный рок забросит нас в пустыни ливийские.

Сомнения Периандра привели Ауристелу в недоумение, и, устремив на него пристальный взор, она заговорила с ним так:

— За всю мою жизнь, Персилес, у меня была только одна сердечная склонность, и назад тому два года я, никем не принуждаемая, по своей доброй воле тебе в ней призналась, и склонность моя так же сильна во мне и неколебима, как и в тот день, когда ты во мне ее вызвал; более того, она, если только это возможно, еще усилилась и возросла среди бесчисленных мытарств, выпавших на нашу долю. Я бесконечно тебе признательна за то, что и твои чувства остались неизменны, и, как скоро обет мой будет исполнен, я не премину осуществить то, о чем ты мечтаешь. Скажи мне, однако ж: что мы с тобой будем делать после того, как нас свяжут одни и те же узы и опутают одни и те же цепи? Мы оторваны от родины, на чужбине мы никого не знаем, мы с тобой словно плющ, лишившийся опоры в годину бедствий. За себя я не боюсь — лишь бы ты был со мною, но случись что с тобой, — вот этого я уже не перенесу. До сего дня или, вернее, почти до сего дня моя душа страдала только за себя, отныне же она будет страдать и за себя и за тебя; впрочем, я не так выразилась: ведь наши души неразделимы, душа у нас с тобой одна.

— Послушай, сеньора, — снова заговорил Периандр: — хоть и говорят, будто каждый из нас творец своей судьбы с первого и до последнего шага, на самом деле никто в своей

судьбе не волен, вот почему я не могу ответить тебе сейчас на твой вопрос: что мы будем делать после того, как счастливая звезда нас соединит? Лишь бы поскорей настал конец нашей разобщенности, скорей бы нам быть вместе, а уж там всегда найдется клочок земли, который нас прокормит, всегда найдется хижина, где можно укрыться, всегда найдется расселина, где можно спрятаться. Коль скоро, как ты выразилась, душа у нас с тобою одна, то с этим блаженством ничто на свете не сравнится, никакие золоченые кровли нам не нужны. Мы всегда сумеем известить мою мать королеву о нашем местопребывании, она же всегда сумеет найти способ оказать нам помощь, а пока что нам сослужат службу твой бриллиантовый крест и жемчужные серьги, коим цены нет. Я только вот чего опасаясь: если обнаружится, что мы обладаем такими сокровищами, то выйдет наружу весь наш обман, ибо кто поверит, что эти драгоценности — достояние женщины, в низкой доле рожденной?

В это время с Периандром и Ауристелой поравнялись их спутники, и им поневоле пришлось прервать беседу, а между тем то была первая их беседа о делах сердечных, ибо вследствие необычайной скромности Ауристелы Периандр до сих пор не отваживался говорить с ней по секрету, и так, из особой предосторожности пустившись на хитрость, они и слыли братом и сестрой среди всех, кому случалось с ними сталкиваться. Один лишь нечестивец Клодьо благодаря своему из ряду вон выходящему хитроумию был недалек от истины.

До Рима паломникам оставался еще один день пути, и вот накануне вечером они остановились в гостинице, где вечно происходили всякие чудеса, и одно из чудес, если только можно его так назвать, произошло и с нашими путешественниками. Когда все уже сидели за столом, стараниями хозяина и благодаря усердию слуг ломившимся от яств, из смежной комнаты вышел приятной наружности странник, держа в левой руке письменные принадлежности, а в правой — тетрадь, и, приветливо со всеми поздоровавшись, заговорил на языке кастильском:

— Страннические одежды, которые вы на мне видите, обязывают носящего их просить милостыню, обязывают они к тому и меня, но только я буду просить у вас особой, необычной милостыни, и вы без помощи сокровищ или же какого-либо другого щедрого подаяния меня обогатите. Я, сеньоры, человек незаурядный: одной половиной моей души владеет Марс, а другой — Меркурий и Аполлон. Несколько лет я упражнялся в военном искусстве, а еще несколько лет, уже в более зрелом возрасте, посвятил наукам. Я отличился на войне и приобрел некоторую известность в мире ученых. Я издал несколько книг, и они имели успех не только у людей несведущих — знатоки также одобрили их. Голь, как говорится, на выдумки хитра, вот и я тоже люблю фантазировать и что-нибудь придумывать, и пришла мне недавно в голову мысль новая и даже отчасти странная, а именно — я задумал чужими руками выдать в свет книгу, трудиться над ней, повторяю, будут другие, а весь барыш — мне. Книга будет называться *Афоризмы странников* ; представляет же она собой сборник почерпнутых из житейского опыта изречений, а собираю я их таким образом: если некто, с кем у меня происходит встреча в дороге или где-либо еще, покажется мне человеком неглупым и добродетельным, то я обращаюсь к нему с просьбой записать вот в эту тетрадь что-нибудь поучительное, что-нибудь этакое назидательное, и так мне посчастливилось собрать более трехсот афоризмов, и все они заслуживают внимания и достойны быть напечатанными, причем напечатаю я их не под своим именем, а под именами их авторов, ибо каждому вменяется в обязанность поставить под афоризмом свою подпись. Так вот какого рода милостыни я прошу и не променяю ее на все золото мира.

— Прочтите нам что-нибудь из вашей тетради для образца, — сказал Периандр, — а уж там мы постараемся что-нибудь для вас придумать.

— Нынче утром здесь были проездом странница и странник, — сообщил испанец. — Узнав же, что они испанцы, я обратился к ним с обычной своей просьбой, и тогда странница продиктовала мне по неграмотности следующее:

«Я предпочитаю быть дурною женщиной — и желать исправиться, нежели быть хорошей — и замышлять недоброе».

Она велела подписать за нее так: *Странница из Талаверы*. Странник также оказался неграмотным и продиктовал мне вот что:

«Нет более тяжелой обузы, нежели распутная жена».

Подписался я за него так: *Ламанчец, Бартоломе*. Вот в какую форму я просил бы вас облечь афоризмы. Я нимало не сомневаюсь, что такие люди, как вы, подарят мне наилучшие афоризмы, которые составят украшение и явятся гордостью моей книги.

— Все ясно; я первый хочу исполнить свой долг, — объявил Крорьяно и, взяв у странника перо и тетрадь, записал:

«Воин, павший в бою, доблестнее спасшегося бегством».

Под этим он поставил свою подпись: *Крорьяно*. Потом сделал запись Периандр:

«Счастлив тот воин, который знает, что, в то время как он сражается, на него взирает его го сударь».

И он подписался. После него сделал запись Антоньо:

«Слава воинская, вырезанная на меди стальным резцом, долговечнее всякой иной».

Подписался он: *Варвар Антоньо*. Таким образом, все мужчины оставили записи в тетради старика; тогда старик обратился с тою же просьбой к дамам, и первая вызвалась Руперта. Она написала:

«Только красота, сочетающаяся со скромностью, имеет право называться красотой. Красота же без скромности — это не красота, а всего-навсего миловидность».

И поставила свою подпись. Ее примеру последовала Ауристела и, взяв перо, написала:

«Лучшее приданое девушки благородного происхождения — скромность, тогда как красота и богатство умаляются с течением времени и гибнут от несчастного случая».

И подписалась. После нее записала в тетради Констанса:

«Выбирая себе мужа, девушка должна руководствоваться не чужим, а лишь своим собственным мнением».

И подписалась. Фелис Флора также оставила запись в тетради:

«Сила послушания — великая сила, но она значительно уступает силе влечения».

И подписалась. Затем настала очередь Беларминии, и она написала:

«Женщине должно уподобиться горностаю: горностай предпочитает быть пойманным, лишь бы не выпачкаться в грязи».

И подписалась. Последней сделала запись прелестная Делеазир:

«Все, что совершается на этом свете, зависит от случая, в особенности женитьба и замужество».

Вот какие записи сделали в тетради наши дамы и наши странники, и испанец остался ими очень доволен и всех поблагодарил; Периандр же спросил его, знает ли он наизусть какой-либо из занесенных в тетрадь афоризмов и не мог ли бы он предложить его их вниманию, а испанец на это ответил, что сейчас он им скажет один афоризм и что ему особенно понравилась стоящая под ним подпись. Афоризм гласил:

«Ничего не желай, и ты будешь самым богатым человеком на свете».

Подпись же стояла под ним такая: *Дьего де Ратос, по прозвищу Горбатый, сапожник, чинящий старую обувь, проживающий в Тордсильясе*^[62] — местечке в Старой Кастилии, близ Вальядолида.

— Подпись длинна и растянута, — заметил Антоньо, — зато более краткого и сжатого афоризма нельзя себе представить, честное слово! И мысль в нем выражена ясно: если человек чего-либо желает, значит ему чего-то недостает, а если ничего не желает, значит он ни в чем недостатка не терпит, а потому он и есть самый богатый человек на свете.

Испанец обнародовал и некоторые другие афоризмы, и они послужили отменной приправой и для беседы и для ужина. Он подсел к нашим путешественникам и во время ужина между прочим сказал:

— Я и за две тысячи дукатов не продам эту книгу мадридским книгоиздателям. Все они норовят получить право на издание бесплатно или по дешевке, так что автору прямой убыток. Справедливость, впрочем, требует заметить, что иной раз книгоиздатель купит у автора книгу, напечатает, думает нажиться, ан, глядь, все пропало: и труд и деньги. Что же касается моей книги афоризмов, то тут с первых же строк видно, что это книга полезная и для издателя выгодная.

Испанский странник с полным правом мог бы озаглавить свою книгу *История странствий, составленная разными авторами*, и это в точности соответствовало бы истине, ибо сочинители ее — всё люди или странствовавшие или странствующие. Что же касается наших странников, то их позабавила подпись Дъего де Ратос, сапожника, чинящего старую обувь, и заставило призадуматься изречение ламанчца Бартоломе по поводу того, что нет более тяжелой обузы, чем распутная жена; это означало, что Бартоломе уже восчувствовал тяжесть обузы, которую он взвалил себе на плечи, связавшись с девицею из Талаверы.

Путешественники продолжали толковать об этом и на другой день, уже простившись с современным испанцем, новомодным автором новых превосходных книг, и в тот же день они воспряли духом, завидев издали Рим, радость же духовная оказала благотворное действие и на их телесное здравие. Исполнились веселья сердца Периандра и Ауристелы, убедившихся, сколь близки они к заветной цели, равно как и сердца Крорьяно. Руперты и трех француженок, ликовавших по случаю благополучного исхода и счастливого конца их путешествия; разделяли всеобщую радость и Констанса с Антоньо. Солнце находилось в зените и потому, хотя оно стояло сейчас выше, чем в какое-либо другое время дня, особенно сильно жгло и палило. Справа виднелась роща и манила путников укрыться под ее сенью, и у путников возникла мысль не только побыть в лесу, пока не спадет полдневный жар, но даже тут и переночевать, а в Рим прийти на другой день.

Так они и поступили и по мере продвижения в глубь леса, восхищаясь его красотою, восхищаясь родниками, бившими из земли, ручьями, прятавшимися в траве, все более укреплялись в этом своем решении. И так далеко они зашли, что когда наконец обернулись, то убедились, что с большой дороги никто бы их теперь не разглядел. Долго выбирали они место, где бы расположиться на отдых, — слишком велик был выбор: везде было одинаково красиво и одинаково безопасно, — и вдруг Ауристела случайно подняла глаза и увидела, что на ветке зеленой ивы висит портрет: на дощечке в четвертушку листа величиною было изображено лицо прекрасной женщины. Когда же Ауристела всмотрелась в его черты, то ей стало ясно, что это ее портрет, и в замешательстве и изумлении она показала на него Периандру. Между тем Крорьяно заметил на траве следы крови и показал на свои перепачканные в еще теплой крови ноги. Портрет, который, кстати сказать, Периандр поспешил снять с дерева, а также кровь, на которую указал Крорьяно, привели всех в смущение, и все загорелись желанием узнать, кто же владелец портрета и чья тут пролилась кровь. Ауристела не могла себе представить, кто, где и когда ухитрился написать ее портрет, а у Периандра вылетело из головы, что говорил ему слуга герцога Намюрского: художник-де, писавший портреты трех француженок, сумеет написать портрет и Ауристелы, даром что он почти ее не видел; если б Периандр вспомнил этот разговор, им всем не пришлось бы теряться в догадках.

Следы крови привели Крорьяно и Антоньо к купе мощных деревьев; под одним из них сидел на земле видный из себя и залитый кровью странник и обеими руками держался за сердце. Увидевши это, Антоньо и Крорьяно пришли в ужас, особенно Крорьяно, ибо, бросившись к раненому, подняв его окровавленную и свесившуюся на грудь голову и оттерев ему лицо, он тотчас же убедился, что перед ним, вне всякого сомнения, герцог Намюрский, и удостовериться в этом не помешало Крорьяно даже то обстоятельство, что герцог был не в обычном своем одеянии, — так хорошо Крорьяно знал своего друга.

Раненый герцог или, вернее, тот, кто представлял собою тень прежнего герцога, не

открывая залитых кровью глаз, невнятно заговорил:

— О ты, что позавидовал моему благополучию! Зачем ты не поднял повыше руку и не поразил меня прямо в сердце? Ты бы там обнаружил еще более живой и еще более похожий портрет, нежели тот, который ты сорвал с моей груди и повесил на дерево, дабы он не служил мне щитом и талисманом в нашем с тобой поединке.

Не успел он произнести эти слова, как подросла Констанса; сердце у нее было нежное и отзывчивое, а потому она, не вслушиваясь в жалостные слова герцога, нимало не медля осмотрела его рану и постаралась остановить кровотечение.

Подобного рода происшествие ожидало и Периандра с Ауристелой: кровавые следы вели дальше, и, пойдя по этим следам, они обнаружили в зарослях высокого зеленого тростника еще одного странника — этот также был весь в крови, только на лице у него не было ни единого пятнышка, и он ничем его не прикрывал; следственно, Периандру и Ауристеле не пришлось отмывать ему лицо и не нужно им было пристально в него вглядываться, чтобы узнать в нем принца Арнальда, который, по всем признакам, был жив, но потерял сознание. Когда же он очнулся, то первым делом попытался встать и сказал:

— Ты не унесешь с собой портрета, злодей! Портрет принадлежит мне, это моя святыня! Ты у меня его похитил, я же тебя ничем не оскорбил, и ты еще хочешь отнять у меня жизнь!

Нечаянная встреча с Арнальдом бросила Ауристелу в дрожь, но, хотя прямой ее долг был бы оказать ему помощь, она не осмелилась подойти к нему, оттого что боялась Периандра, Периандра же чувство благодарности купно с чувством сострадания заставило приблизиться к Арнальду; он взял принца за руки и сказал ему вполголоса, дабы не сделать всеобщим достоянием того, что принц, быть может, хотел утаить:

— Придите в себя, сеньор Арнальд, и вы тотчас же удостоверитесь, что вас окружают лучшие ваши друзья. Не отчаивайтесь — бог не без милости. Повторяю: откройте глаза — и вы увидите вашего друга Периандра и навеки вам благодарную Ауристелу, всегда готовых к услугам. Поведайте нам свою беду, расскажите нам обо всем, что с вами случилось, я же ручаюсь вам и за себя и за Ауристелу, что мы, в меру наших сил и умения, все рады сделать для вас. Скажите нам, ранены ли вы, и если да, то кто ранил вас и куда именно, — тогда мы тотчас примемся лечить вас.

При этих словах Арнальд открыл глаза и, узнав обоих, с великим трудом стал перед Ауристелой на колени, но обнял он колени не ее, а Периандра, ибо даже и в таком состоянии думал о том, как бы не оскорбить ее целомудрие, а затем, вперив в нее взор, молвил:

— Ты не можешь не быть подлинной Ауристелой, ты не можешь быть только ее изображением, ибо ни один дух не волен и не смеет скрываться за столь дивным обличьем. Ты, без сомнения, — Ауристела, а я, также вне всякого сомнения, — Арнальд, всегда готовый к твоим услугам. Я всюду искал тебя: ведь ты мое пристанище, и если я к нему не причаю, то душа моя будет вечно обуреваема скорбью.

Между тем Крорьяно и всем прочим стало известно, что обнаружен еще один путешественник и что он тоже, видимо, ранен. Услышавши это, Констанса, которой удалось остановить кровь герцогу, поспешила на помощь к другому раненому. Как же скоро она узнала Арнальда, то это привело ее в смятение и ошеломило, но, поняв душевное его состояние и боясь каким-нибудь неосторожным словом выдать его, она, не пускаясь ни в какие разговоры, попросила его только показать рану, Арнальд же молча показал правой рукою на левую. Констанса засучила ему рукав, — оказалось, что все плечо у него рассечено. Констанса сумела остановить кровь, после чего она обратилась к Периандру и сказала, что другой раненый — герцог Намюрский и что, по ее разумению, их обоих надлежит доставить в ближайшее село: они-де потеряли много крови и им необходимо полечиться.

Едва услышав имя герцога, Арнальд содрогнулся, по горячим его жилам, в которых почти не было крови, заструилась хладная ревность, и он заговорил, словно в бреду:

— Король выше герцога, однако ж ни тот, ни другой и ни один из самодержцев на свете не стоит Ауристелы.

К этому он прибавил:

— Не уносите меня туда же, куда вы намерены унести герцога, — присутствие обидчика не способствует скорейшему выздоровлению обиженного.

Арнальд путешествовал вместе с двумя своими слугами, герцога также сопровождало двое слуг, но, исполняя распоряжение господ, слуги оставили их одних в лесу и отправились в ближайшее село, дабы приискать для них помещение, однако ж слуги обоих господ не были между собою знакомы и искали помещение порознь.

— И еще, — продолжал Арнальд, — поглядите, не висит ли на дереве, где-то тут, совсем близко, портрет Ауристелы, — из-за него у нас с герцогом и завязался поединок. Снимите и дайте его мне, — я за него кровь проливал, он мой по праву.

О том же молил Руперту, Крорьяно и других герцог Намюрский, однако Периандр, желая примирить обе стороны, сказал, что портрет пока будет у него на хранении и что при более благоприятных обстоятельствах он возвратит его законному владельцу.

— Какие же могут быть сомнения, что портрет мой? — воскликнул Арнальд. — Господь знает, что в то самое мгновенье, когда я увидел оригинал, он запечатлелся у меня в душе. Но пусть портрет будет у тебя, брат мой Периандр: ты преградишь к нему доступ ревности, злобе и заносчивости тех, кто на него посягает. Только унесите меня поскорее отсюда — мне дурно.

Путники наши кое-как дотащили до села обоих раненых, у коих раны были не столь уже глубоки, — слабели они не от этого, а от потери крови. Между тем слуги подыскали им в селе прекрасное помещение; герцог же Намюрский до времени оставался в неведении, что его соперник — принц Арнальд.

Со смешанным чувством зависти и досады удостоверились француженки в том, что портрет Ауристелы герцогу неизмеримо дороже их портретов: тот самый слуга, которому, как известно, герцог в свое время поручил заказать их портреты, сообщил им, что герцог всюду носит их с собой вместе с другими своими драгоценностями, но что портрет Ауристелы он просто обожает.

Речи слуги поселили разочарование в сердцах француженок; они были оскорблены в своих лучших чувствах, и то сказать: нет на свете такой красавицы, которая обрадовалась бы, узнав, что другая красавица ей не уступает или хотя бы что она может идти с ней в сравнение, — напротив, это была бы для нее смертельная обида. Видно, правду говорят люди, что всякое сравнение унизительно; если же сравнивают женщин, какая из них красивее, то такое сравнение унизительно в высшей степени, и уж тут ни дружба, ни родственные чувства, ни высокое положение, ни знатность ничего не могут поделать с проклятою завистью, а ведь иначе и не назовешь то внутреннее движение, которое вызвало у красавиц француженок известие, что их с кем-то сравнивают.

Еще они узнали от слуги, что герцог, его господин, влюбившись в портрет странствующей Ауристелы, оставил Париж и отправился искать ее, нынче же утром о нем произошло следующее:

— Он сел под деревом, держа в руках портрет, и заговорил с неодушевленным этим предметом так, как если бы перед ним был живой оригинал, но тут к нему подкрался сзади другой путешественник и подслушал его разговор с портретом, а я и мой товарищ находились на ту пору в некотором отдалении и не могли ему воспрепятствовать. Наконец мы его заметили и дали знать герцогу, что его подслушивают. Герцог обернулся и увидел путешественника, а тот, ни слова не говоря, выхватил у него портрет, и так это было для герцога неожиданно, что он не сумел удержать его. Вот что он, сколько я помню, сказал другому путешественнику:

«Похититель священных предметов! Не оскверняй святыню святотатственными руками своими! Отдай мне изображение красоты небесной: ведь ты же его недостоин, и ведь оно мое!»

«Нет, достоин, — возразил другой путешественник. — За неимением же свидетелей, которые могли бы это подтвердить, я вынужден прибегнуть к острию моей шпаги, а шпага моя вот тут, внутри этого посоха. Я владею по праву дивным этим портретом, — в странах чужедальних я не жалел для оригинала своих сокровищ, я полюбил его всей душой и служил ему усердно, не щадя своих сил».

Тогда герцог обратился к нам и тоном, не допускающим возражений, велел оставить их одних, идти в село, и даже не оглядываться, и там его ожидать. Такое же распоряжение отдал другой путешественник каким-то двум, которые его сопровождали, — должно полагать, его слугам. Все же я не утерпел и ослушался приказа: любопытство подстрекнуло меня оглянуться, и я увидел, что другой путешественник вешает портрет на дерево, — впрочем, я скорее обо всем догадывался, нежели явственно видел; затем он вынул из посоха шпагу, во всяком случае какое-то похожее на шпагу оружие, и бросился на моего господина, а господин мой отразил удар тоже шпагой, которую, сколько мне было известно, он носил внутри посоха. Другие слуги хотели было их разнять, я же держался противоположного мнения; я сказал, что коль скоро они дерутся на равных условиях, коль скоро их только двое и у нас нет оснований бояться и опасаться, как бы кто не помог кому-либо из них со стороны, то Нам надлежит не вмешиваться и идти своей дорогой: если мы, дескать, в точности

исполним приказание, то с нас за это не взыщут, а вот если вернемся, то, пожалуй что, и взыщут. Как бы то ни было, то ли благоразумие, то ли трусость связала нас по рукам и ногам, то ли блеск стали, тогда еще не окровавленной, ослепил нас, но только мы больше уже назад, на место стычки, не оглядывались, а смотрели вперед, по направлению к селу, в котором мы с вами сейчас находимся. Наконец мы пришли в село, тотчас же нашли помещение, а затем, уже более быстрым шагом, пошли в лес узнать, какая участь постигла наших господ. Нашли мы их в таком же точно состоянии, в каком нашли их и вы, и если бы вы вовремя не подоспели, то время было бы безнадежно упущено.

Вот что рассказал слуга, вот что слышали француженки, и так это их опечалило, словно они уже были возлюбленные герцога, и в тот же миг рухнули все их мечты и планы выйти замуж за герцога, ибо ничто столь убийственно и пагубно не действует на любовь, как пренебрежение, выказанное при самом ее зарождении. Пренебрежение, которое встречает любовь в самом начале, обладает таким же точно свойством, что и голод: голод и сон способны сломить любую твердую волю, равно как и пренебрежение убивает желания самые пылкие. Впрочем, все это только на первых порах; когда же любовь захватила всю душу и безраздельно ею завладела, пренебрежение и разочарование только пришпоривают страсть, и она мчится стремглав к заветной мете.

В конце концов и герцог и принц Арнальд оправились от ран и спустя неделю могли уже добраться до Рима, откуда к ним, пока они нуждались в лечении, привозили врачей. К этому времени герцог был уже осведомлен, что его соперник — наследный принц Дании; узнал он и о его намерении жениться на Ауристеле. Известие это лишь укрепило герцога в той мысли, которая преследовала и его и Арнальда. Он рассудил, что девушка, которой воздают царские почести, тем более достойна титула герцогини. Однако ж ко всем его размышлениям, ко всем его рассуждениям и догадкам примешивалась ревность; горечь отравляла ему существование, покой его был нарушен.

Наконец настал день, когда им всем надлежало снова тронуться в путь. Герцог и Арнальд вошли в Рим порознь, никого о своем прибытии не предупредив, меж тем как все остальные путешественники взойшли на высокий холм, откуда отлично был виден Рим, и, как перед святыней, преклонили колена, и вдруг возле них послышался голос присоединившегося к ним неведомого странника, — со слезами на глазах он произнес:

О сердце мира, град благословенный,
Несокрушимый, мощный, вечный Рим!
Склоняюсь я, смиренный пилигрим,
Пред красотой твоею несравненной.

Прославлен ею ты во всей вселенной
Не меньше, чем величием былым,
И всех, кто б ни пришел к стенам твоим,
Она восторгом полнит неизменно.

Святыней стали для племен земных
Твои холмы, которые рекой
Кровь мучеников некогда багрила.

И мнится: каждый из камней твоих
Обтесан той же дивною рукой,

Прочитав этот сонет, странник обратился ко всем остальным и сказал:

— Назад тому несколько лет один испанский стихотворец, самому себе лютый враг^[63], позор для своей отчизны, придя в сей священный град, сочинил и сложил сонет в посрамление славному этому граду и именитым его обитателям, и за преступление, которое совершил его язык, когда-нибудь расплатится его шея. Я же не поэт, я простой христианин, но все же я почел своим долгом, как бы в искупление его вины перед Римом, сочинить тот сонет, который вы только что слышали.

Периандр попросил его прочитать еще раз; странник согласился; все его расхвалили, а затем, спустившись по склону холма, миновали Луга Маргариты^[64] и, многократно облобызав у входа в священный город землю на его рубеже и черте, вошли в него через Порта дель Пополо, однако перед тем, как они в него вступили, к одному из слуг Крорьяно приблизились два еврея и спросили, есть ли где остановиться всей их компании, готово ли для нее помещение; если же нет, то они-де предоставят им такое, каким не погнушались бы и государи.

— Да будет вам известно, синьоры, что мы евреи, — сказали они. — Меня зовут Завулон, а моего товарища — Авия. Мы занимаемся тем, что обставляем дома сообразно и соответственно званию тех, кто собирается в них поселиться, — одним словом, чем выше цена, которую будущие посетители согласны нам дать, тем красивее убранство.

Слуга же им на это сказал:

— Мой товарищ еще вчера прибыл в Рим, чтобы приискать помещение, соответствующее званию моего господина и его спутников.

— Бьюсь об заклад, — заметил Авия, — что это тот самый француз, который вчера сговорился с нашим товарищем Манассией и снял у него не дом, а царский дворец.

— Ну, так проводите нас туда, — сказал слуга Крорьяно. — Мой товарищ, уж верно, ждет нас и все нам покажет. Если же дом, который он подыскал, нам не подойдет, мы воспользуемся услугами синьора Завулона.

Все пошли вперед, и при въезде в город евреи увидели своего товарища Манассию и слугу Крорьяно, — из этого они заключили, что слуга Крорьяно снял именно тот богато обставленный дом Манассии рядом с Аркой португальца, который они так расхвалили, и, веселые и довольные, повели туда наших путников.

Стоило француженкам войти в город, и все взоры устремились на них, а как это был день базарный, то вся улица Санта Мариа дель Пополо была запружена народом. Однако восхищение, коего постепенно исполнялись сердца тех, кто любовался француженками, мгновенно сменилось восторгом, который вызван был появлением несравненной Ауристелы и очаровательной Констансы, шедшей с нею рядом, подобно как по небу движутся параллельно две яркие звезды. Обе они были так прекрасны, что один из римлян, должно думать — поэт, воскликнул:

— Даю голову на отсечение, что это богиня Венера, как в давно прошедшие времена, посетила наш город, дабы поклониться праху возлюбленного своего сына Энея. Напрасно, по чести, напрасно градоначальник не приказал одушевленному этому изваянию прикрыть свой лик. Или он хочет, чтобы люди здравомыслящие любовались ею, чтобы чувствительные тут же погибли, а чтобы глупцы сотворили себе из нее кумир?

Так, осыпаемые похвалами, преувеличенными, а потому излишними, шли наши милые странники и наконец приблизились к Манассиеву дому, достойному принять

могущественного государя и способному вместить немалочисленное воинство.

Весть о прибытии француженок вместе с другими очаровательными путниками в тот же день облетела Рим. Особое внимание обратила на себя бесподобная красота Ауристелы, и все ее славили — хоть и не так, как она того заслуживала, но в ту меру, в какую это было доступно лучшим умам города. В одно мгновение дом, где остановились путники, окружила толпа, — римлян влекло сюда любопытство и желание посмотреть на это собрание красот, о котором все только и говорили. Желание это было столь сильно, что люди выражали его громкими криками и просили путешественниц и странниц выглянуть хотя бы в окно, но тем хотелось отдохнуть с дороги. Особенно настойчиво требовали Ауристелу, и все же ни одна из женщин так и не показалась толпе.

Вместе с другими паломниками, в таких же, как и они, одеждах вступили в город Арнальд и герцог, и стоило им заметить друг друга, как у них задрожали колени и сильно забились сердца.

Периандр увидел их из окна, указал на них Крорьяно, и оба выбежали на улицу, дабы предотвратить несчастье, коим могла окончиться встреча двух ревнивых соперников. Периандр заговорил с Арнальдом, Крорьяно — с герцогом, и Арнальд сказал Периандру следующее:

— К несноснейшим тяготам, которые мне приходится терпеть из-за Ауристелы, я причисляю мучительную мысль, что француз, о коем я слыхал, будто это герцог Намюрский, является как бы владельцем портрета Ауристелы; правда, портрет находится у тебя, однако ж мне представляется, что герцог этим обстоятельством доволен единственно потому, что портрет не у меня. Послушай, друг Периандр: тот недуг, который влюбленные называют ревностью, правильнее было бы назвать бешенством отчаяния, и к нему еще примешиваются ненависть и зависть, и вот когда эти чувства овладевают любящею душой, то тут уже голос рассудка немеет, тут уже все средства бессильны. Как бы ни были незначительны поводы для ревности, последствия ее ужасны: в лучшем случае ревность отнимает у человека разум, в наилучшем же случае — жизнь, ибо ревнивый влюбленный предпочтет лучше умереть от отчаяния, нежели жить ревнуя. Тому, кто любит воистину, ревновать свою любимую не подобает, но хотя бы он и достигнул нравственного совершенства и поборол ревность к любимому существу, все же ревность гнездится у него в душе — он начинает испытывать ревность к своему собственному счастью, а ведь за свое счастье никогда нельзя быть спокойным: владелец сокровищ и драгоценностей, которому они и правда дороги, вечно за них дрожит, вечно боится их потерять, и вот эту страсть вырвать из любящего сердца невозможно, она к нему приросла. Итак, я советую тебе, друг Периандр, — если только человек, который самому себе ничего не может посоветовать, имеет право советовать другим, — прими в соображение, что я король, что я горячо люблю Ауристелу, и ты на множестве примеров мог удостовериться и познать, что слово у меня никогда не расходится с делом, а я тебе уже объявил, что мне не нужно иного приданого за твоею сестрой — несравненною Ауристелой, кроме того драгоценного приданого, которое у нее есть, а именно добродетели и красоты, и что я не стану наводить справки о ее родословной; мне и без того ясно, что природа не откажет в благах Фортуны тому, кого она сама одарила столь щедро. Никогда или, вернее, только в редких случаях высокие добродетели избирают своим обиталищем предметы низкие, равно как красота телесная есть знак красоты душевной. Дабы долго не распространяться, я повторю сейчас то, что ты уже слышал от меня не раз: я обожаю Ауристелу, и мне нет дела до того, явилась она к нам из края надзвездного или же из

недр земли. Мы находимся в Риме, то есть там, где мне ею обещано осуществление моих надежд, и я рассчитываю, брат мой, на твое содействие, а я за то сделаю тебя своим соправителем, — не дай мне умереть от руки герцога, внуши той, кого я боготворю, доброе чувство ко мне.

На все эти речи, предложения и обещания Периандр ответил так:

— Когда бы моя сестра была повинна в том, чем досадил тебе герцог, я бы, может статься, и не наказал ее, но во всяком случае пожурил, а это уже было бы для нее тяжким наказанием, однако мне хорошо известно, что она не виновата, — чем же я могу тебе тут помочь? Что касается обещанного тебе осуществления твоих чаяний по приезде в Рим, то я не имею понятия, какие именно надежды я тебе подал, — что же я могу тебе ответить? Что же касается тех предложений, которые ты мне делал прежде и делаешь теперь, то я тебе за них признателен в той мере, в какой должен быть признателен такому человеку, как ты, такой человек, как я. Скажу тебе без ложной скромности, доблестный Арнальд: может статься, убогая пелерина странника — это облако, а ведь самое маленькое облачко способно закрыть от нас солнце. Ну, а теперь успокойся: ведь мы только вчера прибыли в Рим, неужели же чьи-либо козни, происки и подвохи успели за это время свести на нет наши усилия достигнуть желанного, счастливого конца путешествия? Избегай по возможности встреч с герцогом, ибо любовника отвергнутого, влюбленного безнадежно чувство досады толкает на новые домогательства, хотя бы и в ущерб любимому существу.

Давши слово так именно и поступить, Арнальд предложил Периандру денег и драгоценностей, дабы ни он, ни француженки не стеснялись в расходах и жили на широкую ногу.

Другого рода разговор произошел у Крорьяно с герцогом: герцог прямо объявил, что если Арнальд не отступится от портрета Ауристелы, то он, герцог, его отберет. Он попросил Крорьяно быть посредником между ним и Ауристелой и уговорить ее выйти за него замуж, внушив ей, что по своему положению он, герцог, не ниже Арнальда и что род его — один из славнейших во всей Европе. Коротко говоря, герцог показал себя в этой беседе заносчивым ревнивцем, как и подобает пылкому влюбленному, Крорьяно дал слово переговорить с Ауристелой и потом сообщить ему, каков будет ее ответ на лестное для нее предложение герцога стать его женой.

На этом два ревнивых и влюбленных соперника, коих надежды были решительно ни на чем не основаны, распрощались — один с Периандром, другой с Крорьяно, пообещав, что впредь они будут умерять свои порывы и таить чувство обиды по крайней мере до тех пор, пока сама Ауристела им не откроется; каждый при этом надеялся, что Ауристела изберет именно его, ибо, казалось им, королевство или же богатейшее герцогство способны поколебать любое твердое решение и кого угодно заставить изменить первоначальному намерению: ведь честолюбие, стремление возвыситься — это в натуре человека и особенно это свойственно женщинам.

Ауристела ничего об этом не подозревала: все ее помыслы были теперь направлены на постижение душеспасительных истин. Она возросла в краях и землях дальних — там, где правая вера католическая не исповедуется во всей ее чистоте; Ауристела же испытывала потребность утвердиться в правой вере и того ради посетить римские храмы, где богослужение совершается строго по уставу.

К Периандру, как скоро он простился с Арнальдом, приблизился некий испанец и сказал: — Если не ошибаюсь, ваша милость — испанец, а у меня для вас есть письмо.

Сказавши это, он вручил Периандру запечатанное письмо; на конверте было написано: «Именитому сеньору Антоньо де Вильясеньор, по прозванию Варвар».

Периандр спросил незнакомца, как к нему попало это письмо. Незнакомец ответил, что письмо от испанца, сидящего в тюрьме, в так называемой Тор ди Нона, и вместе со своею красавицею подружкой, по прозвищу Талаверка, приговоренного за убийство не более не менее, как к повешению. Периандр сразу понял, о ком идет речь, приблизительно догадался, что эта пара могла натворить, и сказал:

— Письмо не мне, а вон тому страннику, который идет сюда.

И точно: в эту самую минуту к ним подошел Антоньо; Периандр отдал ему письмо, Антоньо же, отойдя с Периандром в сторону, распечатал его и прочитал следующее:

«Кто плохо начал, тот плохо и кончит; если у тебя одна нога здоровая, а другая хромая, ты все равно будешь хромать; дурное общество добру не научит. Так и я: связался на свою беду с Талаверкой, а теперь вот мы оба приговорены к повешению, и приговор тот окончательный. Солдат, с которым она покинула Испанию, разыскал ее здесь, в Риме, и застал нас вдвоем; это его взбесило, и он поднял на нее руку; я же шутить не люблю и ничего никому не спускаю: я вступился за мою подружку и уходил ее обидчика насмерть. Когда же мы с ней попытались унести ноги, нас нагнал еще один путешественник и принялся снимать мерку с моей спины таким же точно манером, каким я только что снимал мерку с солдата. И тут оказалось, что у моей супруги есть муж, поляк по рождению, что она вышла за него замуж еще в Талавере и что это он меня избивает. И вот, боясь, что поляк, начав с меня, примется потом за нее, ибо она его обесчестила, Талаверка, не долго думая, выхватила один из двух ножей, которые она всюду носила с собой в ножнах, и, не говоря худого слова, три раза подряд ударила его в спину, после каковых ударов врач ему уже оказался не нужен. И так ее миленок, которого я пристукнул палкой, и супруг, которого она сама заколола ножом, в мгновение ока проложили ей дорогу к смерти. Нас обоих поймали тут же, на месте преступления, и препроводили в тюрьму, где мы с ней и очутились отнюдь не по нашей доброй воле. Нам учинили допрос. Мы во всем сознались — запирались было бесполезно — и только благодаря этому избежали пытки, которая здесь называется *tortura*. С судом никакой

проволочки не было, хотя, признаюсь, мы ничего не имели бы против, если бы нас еще поддержали в тюрьме до суда. Как бы то ни было, суд состоялся, и нас приговорили к изгнанию, но не просто к изгнанию, а к изгнанию из этой жизни. Одним словом, сеньор, нас приговорили к повешению, и Талаверка пришла от сего в совершенное отчаяние и день и ночь крушится; она целует Вашей милости руки, а также моей госпоже Констансе, а также сеньору Периандру, а также сеньоре Ауристеле и просит передать, что она жаждет очутиться на воле хотя бы для того, чтобы поцеловать вашим милостям руки у вас в доме. Еще она просит передать, что если только несравненная Ауристела сжалится над нами и соблаговолит взять на себя хлопоты о нашем освобождении, то большого труда это для нее не составит, ибо чего не добьется такая писаная красавица, как она, хотя бы она молила самое непреклонность? И еще она просит: если, мол, вам не удастся добиться помилования, то по крайности постарайтесь добиться, чтобы нам переменили место казни и казнили не в Риме, а в Испании; дело состоит вот в чем: Талаверке стало известно, что здесь водят на казнь без приличествующей случаю торжественности: приговоренные к повешению идут пешком, никто их почти что не Видит, и некому помолиться за упокой их души, особливо если это испанцы. Так вот она бы хотела, если только это возможно, умереть на родине, в присутствии близких, — в родном краю всегда, мол, найдется какой-нибудь родственник и из человеколюбия закроет ей глаза. Я с нею согласен: во-первых, потому что меня всегда убеждают разумные доводы, а, во-вторых, потому что мне опостылела эта тюрьма, и я почел бы себя счастливым, если б меня повесили завтра, — по крайности, меня перестали бы есть клопы. Довожу до Вашего сведения, государь мой, что здешние судьи ничем не хуже наших, испанских: и те и другие отличаются учтивостью, любят воздавать и получать по справедливости, в тех же случаях, когда похлопотать некому, они не склонны прислушиваться к голосу милосердия; так вот, если чувство милосердия вам сродно, а оно не может быть не сродно таким добродетельным людям, как вы, то вам не представится более подходящего случая проявить его, чем по отношению к нам: ведь мы на чужбине, сидим в тюрьме, нас пожирают клопы и прочие мерзкие насекомые, а насекомые хоть и маленькие, да зато их много, и досаждают они побольше крупных. А самое главное — нас обирают до нитки и тянут с нас последнее ходатаи, поверенные и писцы, от коих да избавит нас всеблагий господь. Аминь.

Ожидаем от вас благоприятного ответа с таким же нетерпением, с каким молодые аистята, сидя в гнезде, ожидают, когда мать прилетит к ним с кормом».

Под этим стояла подпись: *Несчастный ламанчец, Бартоломе.*

Письмо Бартоломе вызвало у Периандра и Антоньо живейшее любопытство и вместе с тем весьма огорчило их; попросив того, кто доставил им письмо, передать узнику, чтобы он не отчаивался и не терял надежды, ибо Ауристела и другие сделают для него все, чего можно достигнуть с помощью даров и посулов, они тут же начали совещаться о том, что предпринять для смягчения участи Бартоломе. Первый шаг вызвался сделать Крорьяно, а именно поговорить с французским послом — своим родственником и другом, чтобы тот добился отсрочки казни, а за это время просьбы и хлопоты возымеют, мол, желаемое действие. У Антоньо явилась мысль написать Бартоломе — ему хотелось получить от него ответ, столь же забавный, как и его первое письмо, но когда об этом узнали Ауристела и Констанса, они ему отсоветовали: не следует-де огорчать человека и без того огорченного; Бартоломе может не понять шутки и еще больше огорчится. Они решились поручить иверить трудное это дело стараниям Крорьяно и Руперты, которая, кстати сказать, очень просила своего мужа в него вмешаться, и спустя шесть дней Бартоломе и Талаверка были уже

на воле: покровительство и подношения — это такие силы, которые прошибают стены и устраняют любые трудности.

Тем временем Ауристела старалась приобрести познания, каких, по ее разумению, ей не хватало для того, чтобы стать настоящей католичкой, и постигнуть то, о чем в ее родной стране говорилось туманно. Она обратилась с соответствующей просьбой к исповедникам, принесла им полное, искреннее и чистосердечное покаяние и получила вразумительные и исчерпывающие ответы по поводу всего, что ей до сего времени было неясно; исповедники в доступной форме преподнесли ей основные и наиболее важные догматы нашей веры. Начали с зависти и гордости Люцифера, с того, как он вместе с третьей частью звезд низринул в преисподнюю, вследствие чего на небе образовались пустые, никем не занятые места, оставшиеся после падших ангелов, наказанных за свое безрассудство. Далее Ауристеле рассказали, что господь нашел чем заполнить эти пустоты — он сотворил человека и вложил в него душу, способную принять в себя благодать, утраченную падшими ангелами. Побеседовали с ней о сотворении человека, о сотворении мира, о священной и благодетельной тайне воплощения и, приведя основания, на самом разуме основанные, коснулись глубочайшей тайны пресвятой троицы. Ауристеле объяснили, что второе лицо пресвятой троицы, бог сын, вочеловечился для того, чтобы бог искупил грех человека и как человек и как бог — только это двуипостасное сочетание и могло искупить бесконечные грехи мира, которые бог до бесконечности и искупает, человек же, существо конечное, искупить их не в состоянии, равно как и бог в одной ипостаси не мог бы за них пострадать, но когда две ипостаси объединились, то возникла суть бесконечная, и так совершилось искупление. Показали ей изображение смерти Христа и всех его страстей, претерпенных им начиная с ясель и кончая крестом. Прославили великую силу таинств и указали на вторую ступень нашего спасения, то есть на покаяние, без которого в рай не попадешь, ибо дорогу к нему нам преграждают грехи. Показали ей также Иисуса Христа, бога живого, изображенного, в прямом соответствии с полнотою его небесного бытия, полно и живо, сидящего одесную отца и незримо присутствующего на земле, и это священное его присутствие непрестанно и нераздельно, ибо одно из важнейших свойств божества — впрочем, все они одинаково важны, — заключается в том, что бог вездесущ — вездесущ вследствие своего всемогущества, вездесущ по своей сути и образу. Говорили с Ауристелой и о неизбежности второго пришествия, о том, что господь грядет на облаках небесных судить землю, о незыблемости и непобедимости его церкви, которую не одолеют врата, иначе говоря — силы адовы. Шла речь и о том, какую властью облечен святейший владыка, наместник бога на земле и ключарь неба. Словом, исповедники преподали Ауристеле и Периандру все, что они почли необходимостью им преподать и в чем их надлежало наставить. От этих бесед дух Ауристелы и Периандра возрадовался и вне себя от радости воспарил к небу, ибо к небу, и только к небу, возносили они теперь свои помыслы.

Теперь уже Ауристела и Периандр смотрели на все иными глазами, во всяком случае иными глазами смотрел Периандр на Ауристелу; он рассуждал так: раз что Ауристела исполнила обет, который влек ее в Рим, то ей уже ничто не мешает и не препятствует выйти за него замуж. Однако, если Ауристела, будучи еще наполовину язычницей, любила добродетель, ныне, будучи наставлена в вере правой, она ее обожала; она была далека от мысли, что, вступая в брак, она тем самым нарушает ее законы, но она не хотела проявить уступчивость, прежде чем ее к тому не принудят домогательства и мольбы. Она ожидала, что само небо просветит ее и укажет, как ей надлежит поступить после свадьбы, ибо возвращаться на родину она не хотела: это представлялось ей шагом безрассудным и легкомысленным, оттого что брат Периандра, полагавший, что Ауристела самой судьбой предназначена ему в жены, увидев крушение своих надежд, непременно отомстит и ей и Периандру. От этих дум, от этих опасений Ауристела пребывала в задумчивости и нерешимости.

Француженки посещали храмы, ходили по святым местам, и это их хождение было обставлено особою пышностью и великолепием, ибо Крорьяно, как уже было сказано, доводился родственником французскому послу, и благодаря этому они не терпели недостатка ни в чем, что могло поддержать их достоинство; они всюду брали с собой Ауристелу и Констансу, и всякий раз, когда они выходили из дому, вслед за ними устремлялось едва ли не пол-Рима. И вот однажды ехали они по улице Банков и вдруг увидели на стене портрет женщины во весь рост: на голове у нее красовалась полукорона, а под ногами был нарисован земной шар; и как скоро путешественники приблизились к портрету, то сей же час догадались, что это Ауристела: сходство бросалось в глаза, никаких сомнений тут быть не могло. Ауристела в недоумении спросила, чей это портрет и не продается ли он. Владелец портрета, — как потом выяснилось, это был известный художник, — ответил, что портрет продается, но что он не знает в точности, чей это портрет, что это копия, которую его приятель, тоже художник, снял во Франции, и со слов этого приятеля ему, дескать, известно, что это некая чужестранка, совершающая паломничество в Рим.

— А что означает корона у нее на голове, шар под ногами, и почему не корона, а полукорона? — осведомилась Ауристела.

— А это фантазия или, если хотите, причуда художника, — отвечал владелец портрета. — Вероятно, он хотел этим показать, что чужестранка достойна носить венец красоты и владеть целым светом, а я бы от себя добавил, что вы, синьора, и есть оригинал этого портрета, что вы заслуживаете целой короны и достойны владеть не нарисованным земным шаром, а самым настоящим и доподлинным.

— Что стоит портрет? — спросила Констанса.

На это владелец ей сказал:

— Один паломник давал мне за него тысячу золотых, а другой объявил, что согласен дать за него любую цену. Но я не стал с ними разговаривать — по-моему, они надо мной насмехались: в самом деле, сомнительно мне что-то, ведь это уж они чересчур.

— Напрасно сомневаетесь, — возразила Констанса. — Если только это те паломники, которых я имею в виду, то они в состоянии дать вам какую угодно цену, так что вы останетесь довольны.

Француженки, Руперта, Крорьяно и Периандр были потрясены сходством. Посторонние, рассматривавшие портрет, также нашли несомненное сходство, и мало-помалу все заговорили

в один голос:

— Это портрет вон той путешественницы, что сидит в карете. Зачем нам глядеть на копию, когда вон оригинал?

Толпа обступила карету и не пускала ее ни взад, ни вперед; тогда Периандр обратился к Ауристеле:

— Ауристела, сестра моя, закрой лицо! Слишком яркий свет слепит глаза, мы не видим, куда нам ехать.

Ауристела закрыла лицо, и толпа раздалась, но продолжала идти за каретой в надежде, что Ауристела снимет покрывало, и тогда можно будет снова беспрепятственно любоваться ею.

Как скоро карета удалилась, к владельцу портрета приблизился Арнальд в одежде странника и сказал:

— Это я давал вам за портрет тысячу золотых. Если вам эта цена подходит, то берите портрет и пойдете ко мне — я вам уплачу чистоганом.

Но тут вмешался другой паломник, а именно герцог Намюрский:

— Это что за цена, братец! Пойдете лучше ко мне! Запросите любую цену — я вам уплачу наличными.

— Синьоры! — молвил художник. — Уж вы как-нибудь договоритесь между собой, а меня не уговаривайте — меня цена не волнует, тем более, что вы, как я полагаю, уплатите мне не столько деньгами, сколько благим намерением приобрести портрет.

Разговор художника с двумя покупателями слушало множество народу; всем любопытно было узнать, чем кончится этот торг; обещание же осыпать художника золотом, исходившее от двух бедных по виду странников, представлялось народу чистейшим зубоскальством.

Наконец художник сказал:

— Кто хочет иметь портрет, пусть докажет это на деле и ведет меня к себе — я сей же час сниму портрет и снесу к нему.

Услышав такие речи, Арнальд сунул руку за пазуху, достал золотую цепь, на которой висел усыпанный бриллиантами медальон, и сказал:

— Возьмите цепь — вместе с медальоном она стоит более двух тысяч эскудо — и отнесите портрет ко мне.

— А вот это стоит десять тысяч, — молвил герцог, протягивая художнику еще один усыпанный бриллиантами медальон, — несите портрет ко мне.

— Свят, свят, свят! — воскликнул кто-то из толпы. — Что же это за портрет, что же это за покупатели и какие же у них драгоценности? Нет, тут дело нечисто. Вот что я вам посоветую, милейший художник: определите пробу каждой цепочки и испытайте доброкачественность камней, а то как бы и цепочки и бриллианты не оказались фальшивыми, — уж больно дорого они свои вещи ценят, поневоле заподозришь.

Герцог и наследный принц возмутились, однако ж, боясь себя выдать в присутствии посторонних, дали свое согласие на то, чтобы владелец портрета удостоверился в высокой пробе их вещей.

Вся улица Банков пришла в волнение: одни восхищались портретом, другие любопытствовали, что это за паломники, третьи рассматривали драгоценности, и все ждали, чем кончится дело с портретом, ибо ни у кого не вызывало сомнений, что ни тот, ни другой паломник за ценою не постоит; видно было, что если б они не набивали цену, владелец отдал бы портрет гораздо дешевле.

В это время по улице Банков проезжал римский градоправитель; услышав шум толпы, он осведомился о причине, — ему показали портрет и драгоценности. Рассудив, что у

обыкновенных странников таких дорогих вещей не бывает и, значит, тут что-то не так, он распорядился взять их под стражу, портрет доставить к нему на дом, а вещи сдать на хранение.

Художник приуныл, да и было от чего: расчеты его не оправдались, его имущество забрали власти, а уж ежели что попадет к ним в руки, то, хотя бы даже и вернулось потом назад, первоначальный свой блеск непременно утратит.

Художник кинулся к Периандру, уведомил его, чем кончился торг, и, высказав опасение, что градоправитель не расстанется с портретом, сообщил, что этот портрет был написан в Португалии, а что он его купил у художника во Франции; Периандр этому поверил, вспомнив, что во время пребывания Ауристелы в Лисабоне с нее было написано много портретов. Со всем тем он предложил ему за портрет сто эскудо, если тот ухитрится получить его обратно. Несмотря на столь значительное снижение — с тысячи на сотню, художник этим удовольствовался и нашел еще, что запродавал портрет выгодно и с барышом.

В тот же день путешественники наши, объединившись с другими испанскими паломниками, порешили обойти семь церквей, и среди примкнувших к ним странников случайно оказался тот самый стихотворец, который при входе в Рим прочитал свой сонет. Путешественники наши тотчас его узнали, заключили в свои объятия, и тут с обеих сторон начались расспросы, кто как поживает и что с кем за этот промежуток времени приключилось. Странствующий поэт сказал, что накануне с ним произошел случай любопытный, о котором стоит рассказать, а именно: до него дошли сведения, что некий придворный священник, богач и чудака, устроил у себя музей, какого еще ни у кого в мире не было: он не собирал портретов людей, которые жили до него или же в его время; он только заготавливал доски для того, чтобы впоследствии на них были написаны портреты будущих знаменитостей, в частности — поэтов, которые должны прославиться в будущем; так, например, стихотворец обнаружил у него две доски: на одной из них было написано *Торквато Тассо*^[65], а под этим — *Освобожденный Иерусалим*; на другой было написано *Сáрате*, а под этим — *Крест и Константин*.

— Я попросил его объяснить мне, что это за имена. Он же мне на это ответил так: он-де, мол, ожидает, что скоро на земле воссияет светило — поэт по имени Торквато Тассо, и он воспоеет вновь отвоеванный Иерусалим, настроив для того свою лиру на столь возвышенный и отрадный для слуха лад, какого нам ни у кого еще не приходилось слышать. А вскоре после него явится-де испанец по имени Франсиско Лопес Дуарте, чей голос зазвучит во всех четырех странах света, и сладкозвучие его преисполнит восторга сердца людей, а воспоеет он обретение креста господня и войны императора Константина: то будет самая настоящая поэма, проникнутая героическим и религиозным духом.

На это Периандр ему сказал:

— Что-то мне не верится, чтобы человек заблаговременно брал на себя труд заготавливать доски, на коих будут написаны портреты людей, которые только еще должны появиться на свет, да и потом, в этом городе, главе всего мира, есть чудеса, более достойные созерцания. А что же, у него и для других поэтов заготовлены доски?

— Да, и для других, — отвечал странник, — однако ж я удовольствовался первыми двумя, остальные имена читать не стал. Но так, на глаз, их там столько, что в тот век, когда эти поэты появятся, — а хозяин утверждал, что он не за горами, — по всей вероятности будет большой урожай на всякого рода поэтические творения. Ну, а там, что господь даст.

— Одно можно сказать с уверенностью, — заметил Периандр: — год, урожайный на стихи, будет годом голодным, если только природа не сотворит чудо: ведь говорится *поэт*, а подразумевается *бедняк*. Отсюда следствие: раз много поэтов, значит много бедняков, а раз

много бедняков, значит год будет трудный.

Странник и Периандр все еще вели этот разговор, когда к ним приблизился еврей Завулон и сказал Периандру, что некая Ипполита родом из Феррары, одна из красивейших женщин не только Рима, но и всей Италии, просит его пожаловать к ней сегодня. Периандр сказал, что пойдет с удовольствием, чего бы он, конечно, не сказал, если бы вместе со сведениями о ее красоте ему дали сведения о ее звании; надобно знать, что Периандр, стоя на вершине скромности, никогда, однако ж, не унижался и никогда не снисходил до предметов низких, как бы прекрасны они ни были; оттого-то природа и отлила в одной форме его и Ауристелу и во всем их уравнила; кстати сказать, Периандр скрыл от Ауристелы, что он будет у Ипполиты, хотя ему не так уж и хотелось к ней идти — чтобы залучить его туда, еврей пустился на хитрости; должно заметить, что любопытство иной раз заставляет колебаться и смотреть кое на что сквозь пальцы самую неприступную добродетель.

Благовоспитанность, богатые наряды и роскошное убранство в доме восполняют отсутствие многого другого: благовоспитанность не способна оскорбить, богатый наряд не может раздражать глаз, роскошное убранство ласкает взор. Все это было у Ипполиты — куртизанки, в богатстве не уступавшей древней Флоре; что же касается обходительности, то это была сама благовоспитанность. Все ее знакомые были от нее без ума, ибо она всем кружила голову своею красотою, богатство придавало ей весу в обществе, в любезности же ее было нечто просто обольстительное. В тех случаях, когда Амур бывает наделен тремя этими качествами, он покоряет каменные сердца, он раскрывает железные кошельки, он сгибает волю твердую, как мрамор, — особливо, если к упомянутым трем качествам присоединяются лживость и льстивость, усиливающие действие чар. Есть ли на свете такой ясный ум, который, встретив одну из подобных красавиц, даже не взглянет на ее пригожесть и обратит внимание прежде всего на ее поведение? Красота ослепляет и в то же время озаряет. Вслед за ослеплением приходит влечение; вслед за озарением — мысль о том, что любимое существо еще может исправиться.

Обо всем этом и не помышлял Периандр, однако ж любовь действует иной раз не спросясь — так и эта затея возникла без ведома Периандра и не на почве его увлечения, а на почве увлечения Ипполиты; между тем с такими развратницами, как Ипполита, недолго угодить туда, где покаяние уже не приносит душе облегчения. Ипполита случайно увидела Периандра на улице, и необычная и привлекательная его наружность произвела на нее впечатление; она слышала, что он испанец, и это особенно ее соблазняло, ибо от испанца, по ее расчетам, можно было ожидать дивных подарков и утех любви. Этими мыслями она поделилась с Завулоном и попросила заманить Периандра к ней в дом, а в доме у нее царили чистота и порядок, и так он был богато убран, что здесь впору было устраивать торжества свадебные, а не привечать странников. У синьоры Ипполиты, — так все величали ее в Риме, — был дружок по имени Пирро Калабриец — задира, бедокур и головорез, все достояние коего заключалось в острие его шпаги, в ловкости его рук да еще в плутнях Ипполиты, благодаря чему он весьма часто, ни перед кем не заискивая, достигал намеченной цели. Однако же наибольших благ добивался Пирро проворством ног, — на них он надеялся даже еще крепче, чем на руки. Особенно же он гордился тем, что неизменно пленял Ипполиту своим умением прикинуться, когда нужно, влюбленным, а когда нужно — быть беспощадным: ведь на всякую горлицу найдется коршун, который погонится за ней и растерзает, — светская чернь постыдным этим промыслом не гнушается. Так вот, этот дворянин, дворянин только по названию, был у Ипполиты в то время, когда к ней вошли еврей и Периандр. Ипполита отозвала его в сторону и сказала:

— Ступай с богом, дружок, да возьми себе золотую цепочку, — мне ее нынче утром прислал с Завулоном вот этот путешественник.

— Что ты выдумываешь, Ипполита? — возразил Пирро. — Мне сдается, что он испанец, и чтобы он даром стал тебе делать такой подарок, который стоит не меньше ста эскудо? Да быть того не может! У меня все поджилки трясутся.

— Ну, ну, Пирро, бери же цепочку! Будь он хоть разиспанец, а я ему ее не верну и не отдам.

В конце концов Пирро все же взял цепочку, которую Ипполита нарочно утром купила, чтобы заткнуть ему рот, — только этой ценой ей и удалось его спровадить. Освободившись и избавившись от помехи, сбросив с себя оковы, Ипполита приблизилась к Периандру и без

всяких церемоний, с очаровательною улыбкой для начала обвила ему руками шею.

— Я хочу удостовериться, подлинно ль смелы испанцы, или это только одна слава, — объявила она.

Дерзость Ипполиты потрясла Периандра; ему почудилось, будто весь дом на него валится; он выставил руку для защиты и, остановив и отстранив Ипполиту, молвил:

— Эти одежды нельзя осквернять, синьора Ипполита; во всяком случае я вам этого не позволю. Странники, хотя бы то были испанцы, не обязаны проявлять смелость, если это не вызывается необходимостью. Скажите же, синьора, для чего вам нужна моя смелость, и если только она не повредит ни вам, ни мне, то я беспрекословно вам повинуюсь.

— Я полагаю, господин путешественник, что смелость у вас и в душе и в теле, — заметила Ипполита. — Но коль скоро вы обещаете исполнить мою просьбу, никому из нас не причинив вреда, то пойдемте со мной в ту комнату — я вам покажу мое собрание картин, мою галерею.

На это ей Периандр ответил так:

— Хотя я и испанец, а все же нрав у меня робкий, и вас одной я больше боюсь, нежели целого вражеского войска. Пусть нас кто-нибудь проводит — тогда я готов идти с вами куда угодно.

Ипполита позвала двух служанок и готового на все услуги Завулону и велела вести их в галерею. Дверь отворилась, и, как потом рассказывал Периандр, глазам его открылась комната, которая могла бы быть во дворце какого-нибудь любознательного и богатого государя. Паррасий^[66], Полигнот, Апеллес, Зевксид и Тимант были здесь представлены самыми совершенными своими созданиями, для которых Ипполита не пожалела своих драгоценностей; был здесь и благочестивый Рафаэль ди Урбино и божественный Микеланджело, — только великому государю пристало и подобало иметь такие сокровища. Королевские дворцы, пышные замки, дивные храмы, собрание чудных картин — все это несомненные и безошибочные признаки душевного благородства и богатства государей. В самом деле, сколько ни бьет крылами время, сколько ни ускоряет оно полет свой, а все же эти его соперники наперекор ему наглядно показывают все великолепие былых веков. О Ипполита! Только и есть в тебе хорошего, что страсть к собиранию картин. О, если б эта благородная страсть не сочеталась в тебе с любострастием и если б ты не пыталась будить страсть в душе Периандра! А Периандр между тем, ошеломленный, изумленный, взволнованный, не мог надивиться изобилию яств, коими был уставлен накрытый белоснежною скатертью стол, тогда как слух его услаждало пение множества птиц, что сидели в искусно сделанных и развешанных по всей комнате клетках и наполняли ее нестройной, но приятной гармонией. Словом, Периандру казалось, будто все, что он слышал о садах Гесперид, о садах волшебницы Фалерины, о знаменитых висячих цветниках^[67], обо всем, что славится в мире, не может идти в сравнение с убранством этой залы и с собранием этих картин. Однако ж, находясь между двух огней, Периандр страшился утратить свою непорочность, и оттого все, что являлось здесь его взору, не производило на него должного впечатления; более того: он скоро пресытился этим пиршеством для глаз; возмущенный этой ловушкой, забыв всякую учтивость, он попытался выйти из галереи, но его удержала Ипполита, он же резким движением оттолкнул ее и наговорил ей не весьма приятных вещей. Тогда она сорвала с него пелерину и обнаружила под ней камаол, а под камзолом бриллиантовый крест, до сего времени избежавший стольких опасностей, и крест этот ослепил зрение Ипполиты и помрачил ее разум, и вот, видя, что слабым ее силам с Периандром не совладать и он рано или поздно от нее уйдет, она, полагая, что всякое промедление будет Периандру только во вред, решилась вцепиться в него и хоть ненадолго,

да задержать, но Периандр, оставив пелерину в руках у этой новоявленной жены египетского фараона, без пояса, без шляпы, без посоха, выскочил-таки на улицу, ибо в подобного рода битвах побеждает тот, кто бежит, а не тот, кто выжидает. Ипполита бросилась к окну и начала сзывать народ.

— Держите вора! — кричала она. — Он вошел ко мне в дом как честный человек и похитил дивную вещь, за которую не жалко отдать целый город!

Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время по улице проходило двое папских гвардейцев^[68], которым будто бы дана власть задерживать людей на месте преступления; услышав же слово «Вор!», они воспользовались сомнительным своим правом, схватили Периандра и, сорвав с него крест, обошлись с ним не слишком любезно, а именно — надавали ему затрещин: так расправляются сии власть имущие с только что пойманными преступниками, хотя бы преступление их еще не было установлено. Видя, что крест у него отобрали, а взамен перекрестили ладонями по лицу, Периандр заговорил с немцами по-немецки и попытался втолковать им, что он не вор, что он человек знатный, что это его собственный крест, что Ипполите он его дарить не собирался и что он просит отвести его к градоправителю: там-де он без труда докажет свою невиновность. Он пообещал им денег, и благодаря этому обещанию, равно как и тому обстоятельству, что он заговорил с ними на их родном языке, — а это всегда действует на незнакомцев успокоительно, — немцы не обратили внимания на вопли Ипполиты и повели Периандра к градоправителю; Ипполита же, отойдя от окна, готова была рвать на себе волосы с досады.

— Ах, девушки! — обратилась она к своим служанкам. — Что я наделала! Кого я хотела почтить, того избидела! Кому хотела угодить, того оскорбила! Кого я заключила в своей душе, того заключат в тюрьму как вора! Все мои ласки, все мои чары послужили только к тому, чтобы надеть оковы на свободного, к тому, чтобы оклеветать невинного.

И тут она им сказала, что двое папских гвардейцев схватили и увели паломника. Затем она велела подать ей карету — у нее мгновенно созрело решение ехать следом за Периандром и вступить за него, ибо сердце ее не могло вынести, чтобы пострадало самое дорогое для нее существо на свете; пусть лучше, мол, ее обвинят в лжесвидетельстве, но только не в жестокости: жестокости ей не простят, а лжесвидетельство могут и простить — во всем-де виновата любовь: любовь из-за всякого пустяка позволяет себе какую угодно прихоть, какой угодно каприз, и причиняет боль любимому человеку.

Когда Ипполита вошла к градоправителю, тот, держа в руке крест, допрашивал Периандра, а Периандр при виде Ипполиты ему сказал:

— Вот эта самая синьора утверждает, что крест, который ваша милость сейчас держит в руке, я у нее похитил, — так пусть она скажет, что это за крест, сколько он стоит, сколько на нем бриллиантов, тогда я повинюсь. Но без внушения ангела или же еще какого-либо духа, она сама не сумеет ответить на эти вопросы, оттого что она видела крест только у меня на груди и притом всего один раз.

— Что вы можете на это возразить, синьора Ипполита? — спросил градоправитель и, чтобы она не могла рассмотреть крест, сейчас же прикрыл его рукой.

Ипполита ответила так:

— Я могу сказать одно: любовь свела меня с ума, и пусть это послужит страннику полным оправданием, я же смиренно ожидаю наказания, какое синьору градоправителю благоугодно будет на меня наложить.

И тут она ему во всех подробностях рассказала о том, что у нее произошло с Периандром, и градоправителя поразила не столько любовная страсть Ипполиты, сколько ее дерзость, а между тем вождение толкает таких особ на любые дикие выходки.

Градоправитель выразил Ипполите свое неудовольствие, попросил Периандра простить ее и без всякого крючкотворства, что уже само по себе явилось для Периандра великой удачей, объявил ему, что он свободен, и возвратил крест. Он лишь полюбопытствовал, кто такие странники, которые в уплату за портрет Ауристелы предлагали свои драгоценности, а также кто такие Периандр и Ауристела.

Периандр ему на это ответил так:

— Это портрет моей сестры Ауристелы. У путешественников могут быть и более дорогие вещи. Крест это мой. По прошествии некоторого времени и в случае необходимости я о себе расскажу, но не сейчас, ибо такова воля моей сестры. Портрет я уже купил у художника по сходной цене и без публичного торга, ибо на торгах здравого смысла не ищи, — на торгах людьми движет злоба или причуда.

Градоправитель изъявил желание приобрести портрет за ту же цену, дабы в Риме, как он выразился, к тем чудным картинам, коими он славится, прибавилась еще одна и явилась главным его украшением.

— Я вам его дарю, ваша милость, — объявил Периандр, — попасть в руки такого владельца — это, на мой взгляд, великая честь для портрета.

Градоправитель поблагодарил Периандра. В тот же день он выпустил Арнальда и герцога, возвратил им их драгоценности, портрет же, точно, попал к нему в руки, ибо он твердо держался того мнения, что должно же что-то перепадать и ему.

Ипполита возвращалась домой не столько устыженная, сколько смятенная, еще более озабоченная и еще более влюбленная. Хотя и правда, что презрение бывает на первых порах губительно для любви, однако ж презрение, выказанное Периандром, только распалило в ней страсть. Она полагала, что самый твердокаменный паломник не устоит против тех даров, коими она собиралась его осыпать, но тут же сама себя опровергала. — Если б этот паломник был беден, — рассуждала она, — он не носил бы на груди такого креста, коего многочисленные и драгоценные бриллианты красноречиво свидетельствуют о богатстве владельца. Нет, эту крепость измором не возьмешь. Чтобы принудить ее сдаться, нужны иные хитрости и приемы. А что, если у этого юноши сердце занято? А что, если Ауристела ему не сестра? А что, если его кривлянья со мной — это лишь прикрытие, это лишь завеса, за которой он прячет свое сердечное влечение к Ауристеле?.. Боже! Кажется, я спасена! Так! Да погибнет Ауристела! Да расточатся ее чары! Во всяком случае, испытаем силу страсти этого дикаря. Попробуем применить такое средство: пусть Ауристела заболит, пусть в очах Периандра померкнет солнечный этот свет. А вдруг вместе с ее красотой, первоисточником его любви, пропадет и его любовь? Быть может, если мне удастся сгубить красу Ауристы и одновременно убить в Периандре чувство, он станет ко мне благосклоннее. Ну, попробую, была не была! Ведь недаром говорится: попытка не пытка!

Утешенная этими мыслями, Ипполита возвратилась домой и, застав у себя Завулону, поделилась с ним своими планами; будучи наслышана о том, что жена Завулону — известная всему Риму колдунья, Ипполита, предварительно задоблив его подарками и посулами, велела ему поговорить с женой, чтобы та не пыталась отворожить Периандра от Ауристы, — Ипполита сознавала, что это дело безнадежное, — а чтобы она напустила на Ауристелу порчу и по возможности скорее отправила ее на тот свет. Завулону уверил Ипполиту, что его жене при ее искусстве и познаниях извести Ауристелу будет нетрудно. Получив для начала некую мзду, он пообещал, что жена с завтрашнего же дня примется за Ауристелу. Ипполита же не только задобрила Завулону, но и припугнула его, а ведь если еврея ублаготворить, да еще и припугнуть, то он не только пообещает, но и сделает все, что угодно.

Периандр рассказал Крорьяно, Руперте, Ауристеле, французенкам, Антоньо и Констансе о том, как Ипполита воспыкала к нему страстью, как его задержали на улице и как он рассудил за благо подарить портрет градоправителю. Повесть о сердечных делах куртизанки не произвела приятного впечатления на Ауристелу: Ауристела слышала, что Ипполита женщина красивая, хитрая, свободная и богатая, а между тем достаточно в любящее сердце заползти червячку ревности, хотя бы только одному и хотя бы он был величиною с крохотную букашку, — и в сознании влюбленного каждая мелочь уже разрастается до размеров горы Олимп, а если к тому же скромность сковывает ему уста и он не может излить свою муку, то душа его, истерзанная узами молчания, готова в любую минуту расстаться с телом. Как уже было однажды замечено, от ревности есть только одно средство — выслушать оправдания, но если оправдания выслушать нельзя, то человеку жизнь уже не в жизнь, и Ауристела рада была бы тысячу раз уйти из жизни, но только не высказывать Периандру своих подозрений. Вечером своих господ впервые после долгой разлуки посетили Бартоломе и Талаверка, свободные от цепей тюремных, но отягчившие себя цепями еще более крепкими, то есть брачными, ибо они поженились. Луису освободила смерть поляка, коего судьба завлекла в Рим. Он так и не возвратился на родину из-за того, что в Риме случайно встретился с той, которую, памятуя о советах, преподанных ему в Испании

Периандром, он и не думал разыскивать, — он не шел навстречу собственной гибели, она сама его нашла.

В тот же вечер наших путешественников посетил Арнальд и рассказал о том, что с ним приключилось после того, как война в его стране кончилась и он отправился на поиски Ауристелы. Рассказал он о своем посещении Отшельничьего острова, где вместо Рутилио он уже нашел другого отшельника, который ему сообщил, что Рутилио в Риме; еще Арнальду случилось побывать на острове рыбаков: рыбаки, которые при них тогда вышли замуж, по-прежнему свободны, здоровы и довольны жизнью, а равно и те рыбаки, которые все еще вспоминают, как они вместе с Периандром ходили в море; по слухам, Поликарпа умерла, а Синфороса предпочла остаться в девушках; остров варваров снова заселился, и жители его все так же нерушимо верят, что ложное пророчество сбудется; Маврикий, его дочь Трансила и его зять Ладислав переехали в Англию, где им живется спокойнее; Леопольд, король данейцев, после войны женился, дабы иметь наследника, и простил тех двух изменников, которых он держал в оковах вплоть до того дня, когда его обнаружили Периандр и рыбаки, проявившие к нему особую отзывчивость и участие, за что тот изъявил им крайнюю свою признательность. По ходу рассказа Арнальд упоминал имена родителей Периандра и Ауристелы, и при звуках этих имен у них каждый раз начинало сильно биться сердце, и они невольно задумывались о своем величии и о своем злосчастье. Еще Арнальд сообщил, что у португальцев, преимущественно у лисабонцев, в большой цене портреты Ауристелы; во Франции по той дороге, по которой проходили Констанса и французенки, до сих пор только и разговору, что об их красоте; Крорьяно стяжал себе славу великодушного и благоразумного юноши за то, что он женился на несравненной Руперте; в Лукке до сих пор на всех перекрестках толкуют о сообразительности Изабеллы Каструччо и о страстной любви к ней Андреа Марулло, который ради своей любви прикинулся бесом, за что небо уготовало ему жизнь райскую; то, что Периандр упал с башни и остался жив, почитается всеми за чудо; еще Арнальд сообщил, что по дороге встретился ему юный странствующий сочинитель, который не пожелал ехать с ним вместе, а предпочел двигаться медленнее, ибо он сочинял комедию о приключениях Периандра и Ауристелы, приключения же эти он хорошо запомнил благодаря полотну, которое довелось ему видеть в Португалии; Арнальд прибавил, что юноша этот твердо намерен, буде Ауристела изъявит согласие, на ней жениться. Ауристела сказала, что она польщена и что она даст сочинителю денег на платье, если он предстанет перед нею в рваном, ибо добрые намерения сочинителя заслуживают-де щедрой награды. Еще Арнальд сообщил, что он побывал в доме у Констансы и Антоньо, что их отец с матерью и дедушка с бабушкой в добром здравии и что они только очень беспокоятся, не имея вестей об Антоньо и Констансе, и хотели бы, чтобы Констанса по возвращении вышла замуж за своего деверя, графа, который собирается сделать тот же разумный выбор, что и покойный его брат, — то ли дабы не упускать двадцать тысяч дукатов, то ли потому что его пленили достоинства Констансы, что, пожалуй, вернее, каковое обстоятельство всех обрадовало, особенно Периандра и Ауристелу, которые любили Антоньо и Констансу как родных брата и сестру.

Рассказ Арнальда, толковавшего об открывающейся перед Констансой возможности выйти замуж за графа, о двадцати тысячах дукатов и прочем тому подобном, невольно наводил на мысль о людях высокопоставленных и именитых, и тут у слушателей с особою силою вспыхнуло подозрение, что Ауристела и Периандр — особы высокие. Арнальд рассказал и о своей встрече во Франции с французским дворянином Ренатом, несправедливо побежденным в бою, впоследствии обеленным и восторжествовавшим благодаря тому, что в недруге его заговорила совесть.

Словом, из множества приключений, о коих шла речь на протяжении занимательной

нашей истории и к коим Арнальд имел прямое касательство, он обошел молчанием всего несколько, не пожелав, однако же, умолчать о портрете Ауристелы, который держал у себя Периандр против желания герцога, да и против желания самого Арнальда, хотя он и дал слово, что, дабы не обижать Периандра, он ничем не выдаст своей досады.

— Если бы портрет принадлежал вам, сеньор Арнальд, я бы его вам вернул, и вам больше не на что было бы досадовать, — заговорил Периандр. — Но портрет попал в руки герцога благодаря счастливой случайности, а также благодаря его собственной расторопности, вы же отняли у него портрет силой, — на что же вы теперь жалуетесь? Влюбленным не следует прилагать ко всему мерку своих желаний, — желания их далеко не всегда должны быть удовлетворены, ибо иногда надлежит прислушаться к голосу разума, а разум велит иногда поступить совсем иначе. И вот я поступлю так, что вы, сеньор Арнальд, останетесь недовольны моим решением, зато герцог будет по крайней мере удовлетворен, а именно — портрет останется у сестры моей Ауристелы: ведь это же ее портрет, а не чей-либо еще.

Решение Периандра удовлетворило, однако ж, Арнальда и, уж конечно, удовлетворило самое Ауристелу.

На этом кончилась их беседа, а на другой день, прямо с утра, жена Завулоне Джулия пустила в ход против Ауристелы козни, колдовство, яд и волшебные чары.

Болезнь не дерзала встретиться с красотою Ауристелы лицом к лицу — ее безобразие страшилось пригожества Ауристелы, а потому она прибегла к обходному движению: на рассвете Ауристела почувствовала, что по спине у нее бегают мурашки, и этот озноб не позволил ей встать с постели. Вслед за тем у нее пропал аппетит, в глазах потух блеск, вся она сразу так ослабела, как слабеют обыкновенно недугующие только с течением времени, и это ее состояние больно отозвалось в душе Констансы и в душе Периандра: оба они встревожились не на шутку и, как все люди, которым редко везет в жизни, начали вообразить себе всякие ужасы. Не прошло и двух часов, как Ауристела почувствовала недомогание, и вот уже алые розы ее ланит поблекли, пунцовые губы посинели, жемчуг зубов почернел; казалось, даже волосы — и те изменили свой цвет; руки повисли, как плети; что-то новое появилось у нее в чертах лица и в самом его выражении. И все же она представлялась Периандру такою же красавицей, ибо он видел пред собой не ту Ауристелу, которая лежала в постели, а ту, чей образ напечатлелся у него в душе. Слова, какие она произносила, чуть касались его слуха — достигли они его слуха вполне лишь много позднее; говорила она тихо, невнятно, ко снующим языком.

Болезнь Ауристелы так напугала француженок, что они сами чуть не заболели. Послали за самыми лучшими врачами, во всяком случае — за врачами с именем: дело ведь не в искусстве лекаря, а в том, какая о нем идет слава, — бывают лекари удачливые и незадачливые, так же как бывают счастливые и несчастливые солдаты; счастливый случай и счастливая судьба (а это одно и то же) могут явиться к обездоленному и в рубище и в одежде златотканной. Но к Ауристеле счастливый случай не являлся ни в лохмотьях, ни в бархате, и это приводило Антоньо и Констансу в отчаяние, хотя они и держали себя в руках. Зато полную им противоположность являл собою герцог: любовь к Ауристеле пробудила в его душе ее красота, а как наружная ее красота блекла, то и любовь его к ней угасала, ибо чувство должно пустить в душе глубокие корни для того, чтобы не претерпеть изменений вплоть до самого того мгновения, когда любимое существо опустят в землю. Нет ничего безобразнее смерти, приближается к ней одна лишь болезнь, а любовь к безобразному — это уже нечто противоестественное, нечто из ряду вон выходящее.

Одним словом, Ауристела час от часу таяла, так что близкие уже не надеялись на ее выздоровление. В сих обстоятельствах один лишь Периандр оставался в одиночестве: он один не терял присутствия духа, он один по-прежнему был в нее влюблен, он один бесстрашно противостоял враждебному року и самой смерти, которая вслед за Ауристелой неминуемо сразила бы и его.

Две недели ждал герцог Намюрский улучшения в состоянии Ауристелы, каждый день расспрашивал врачей, но ни один врач не мог ему сказать ничего определенного, ибо никто не знал причины ее недуга. Наконец герцог, к тому же еще заметив, что француженки перестали обращать на него внимание, видя, что место ангела света, до сих пор охранявшего Ауристелу, заступил ангел тьмы, заранее придумал такие уловки, которые хотя бы отчасти его извиняли, и, явившись к больной Ауристеле, в присутствии Периандра ей объявил:

— Враждебный рок воспрепятствовал мне, прелестная сеньора, сочетаться с вами законным браком, и прежде нежели отчаяние погубит мою душу, — а жизнь мою оно уже погубило, — я намерен попытать счастья на иной стезе, хотя чувствую, что, несмотря на все мои усилия, счастье мне уже не улыбнется, — напротив того: со мной неминуемая стряпнется беда, хотя я ее и не накликал, и я погибну и умру уже не от отчаяния, но от горя. Меня зовет к

себе моя мать; она сыскала мне невесту; я намерен исполнить ее волю; однако ж я нарочно так долго буду в дороге, что смерть успеет меня настигнуть, ибо меня все время будут преследовать воспоминания о вашей красоте и мысль о вашей болезни... лишь бы, бог дал, не о вашей кончине.

При этих словах герцог даже выдавил из себя несколько слезинок.

Ауристела ничего не смогла ему ответить, а может быть, просто не захотела разговаривать с ним в присутствии Периандра — вместо ответа она сунула руку под подушку, достала портрет и отдала его герцогу, герцог же поцеловал ей руки за столь великую милость, но в это мгновение к портрету потянулся Периандр и, взяв его у герцога, молвил:

— Если вам это не очень обидно, ваша светлость, то ради всего святого отдайте его мне, тогда я сумею сдержать данное мною слово: если я его сдержу, то вам от этого не будет ущерба; если же не сдержу, то я понесу ущерб великий.

Герцог рассыпался в любезностях: он-де готов отдать ему не только портрет, а и все свое достояние, и честь, и жизнь, одним словом то, что у него есть, и даже то, чего у него нет, однако ж, прощаясь с Периандром и Ауристелой, он был твердо уверен, что прощается с ними навсегда. Таков был сей расчетливый любовник, — быть может, первый из любовников, который крепко держал случай за вихор.

Все эти события, казалось бы, могли убедить Арнальда, сколь неосновательны были его надежды и как печально окончатся долгие его странствия, ибо, повторяем, смерть стояла у изголовья Ауристелы, и точно: у Арнальда был большой соблазн последовать за герцогом, но только не в буквальном смысле, — соблазн проститься с Ауристелой и Периандром и возвратиться в Данию. Однако ж любовь к Ауристеле и душевное его благородство не позволили ему лишиться Периандра дружеского своего участия и бросить Ауристелу в последние минуты ее жизни, — напротив того: вновь ее посетив, он подтвердил свое намерение на ней жениться; несмотря на обуревавшие его сомнения, он продолжал верить в лучший исход.

Ипполита ликовала: искусство бесчеловечной Джулии действовало наверняка — за одну неделю Ауристела так изменилась, что ее можно было узнать только по звуку голоса, каковое обстоятельство приводило в недоумение врачей и удручало близких. Француженки беспокоились за Ауристелу как за родную любимую сестру, всех более — Фелис Флора: она питала к Ауристеле особую нежность.

Между тем Ауристеле становилось все хуже и хуже, и порча, на нее напущенная, не ограничилась ею одной — она перекинулась на ее близких, а как ближе всех ей был Периандр, то он больше всех от порчи этой и пострадал, но не потому чтобы злодейка Джулия ядом и колдовством, которые она применяла к Ауристеле, старалась во что бы то ни стало извести и его, а потому что горе, которое причинила ему болезнь Ауристелы, было так велико, что с ним творилось то же, что и с Ауристелой: он слабел с каждым днем, и состояние его внушало не меньше опасения, нежели состояние Ауристелы.

Ипполита, уразумев, что это средство обоюдоострое, и верно угадав происхождение болезни Периандра, решилась излечить его, излечив Ауристелу, Ауристела же, исхудавшая, без кровинки в лице, как бы прощалась с жизнью, стоя на пороге смерти. И в ожидании, что врата смерти вот-вот перед нею откроются, она, уже познавшая истину веры католической, изъявила желание открыть душе доступ и приготовить ее к принятию святых таин. Сделав все для того, чтобы сей обряд над ней совершился, она отнеслась к нему с величайшим благоговением и во время исповеди доказала безгреховность помыслов своих и чистоту своего нрава, — видно было, как хорошо усвоила она то, чему ее наставляли в Риме; поручив себя воле божией, она успокоилась и уже не помышляла ни о королевствах, ни о почестях, ни о славе.

Ипполита, до сознания которой дошло, как уже было сказано, что, уморив Ауристелу, она уморит и Периандра, бросилась к Джулии и велела ей либо ослабить силу злых своих чар, от коих сохла Ауристела, либо совсем снять с нее порчу; она-де не желает, чтобы из-за нее оборвались разом три жизни: ведь если умрет Ауристела, то умрет Периандр, а если умрет Периандр, тогда и она, Ипполита, не жилища на этом свете. Джулия изъявила покорность, как будто от нее в самом деле зависело, напустить на человека хворь или же исцелить его, как будто не произволением Божиим посылаются нам все испытания, кроме, впрочем, тех, которые мы сами заслужили своими проступками. Однако ж господь, вынужденный, если можно так выразиться, наказать нас за наши грехи, может допустить, чтобы колдуньи силою своего колдовства отняли у человека здоровье. Разумеется, только Божиим попусшением они своими зельями и ядами через некоторое время отправляют человека на тот свет, отправляют потому, что человек не в силах себе помочь, ибо толком не знает, что с ним, какого рода губительный недуг его снедает. От таковых болезней един господь властен нас избавить по великому милосердию своему, ибо оно сильнее всякого лекарства.

И вот с того дня Ауристеле хуже не становилось, а это уже признак улучшения. С того дня на небе ее лика стали появляться первые проблески — предвестники восхода солнца ее красоты; вновь зацвели розы на ее ланитах; в очах вспыхнула радость; тени скорби отступили от нее; нежный ее голос стал по-прежнему звонким; уста приобрели еще большую яркость; зубы белизною своею сравнялись с мрамором и засверкали, что жемчуг. Словом, малое время спустя Ауристела вновь воссияла во всей своей красе, во всей своей прелести, во всем своем очаровании, во всей своей жизнерадостности, и те же явления наблюдались у Периандра, у француженок, у Крорьяно и Руперты, у Антоньо и Констансы, которая радовалась радостям

Ауристы и печалилась ее печалю, Ауристы же, возблагодарив провидение за милость его и благость, которые она усматривала как в посланной ей болезни, так и в выздоровлении своем, однажды позвала к себе Периандра и, приняв все меры предосторожности, чтобы никто сюда не вошел, обратилась к нему с такими словами:

— Брат мой! По воле неба я вот уже два года называю тебя этим ласковым и скромным именем, и еще ни разу, забывшись или по своей оплошности, не назвала я тебя как-нибудь иначе, менее скромно и менее приятно для слуха, и мне бы хотелось продлить это блаженство — так, чтобы кончилось оно только вместе с концом нашей жизни, ибо настоящее счастье только тогда и хорошо, когда оно прочно, а прочно оно бывает, только если оно целомудренно. Наши души, как ты это знал и раньше и как я это постигла только теперь, вечно в движении, и успокаиваются они только в божестве, как в своей сердцевине. В жизни земной желания бесконечны, одно нанизывается на другое, одно цепляется за другое, причем некоторые из таких цепей тянутся к небу, а другие спускаются до самой преисподней. Ты можешь подумать, брат, что это не мой язык и что это выходит за пределы тех скудных познаний, какие я могла приобрести в годы детства; прими, однако ж, в рассуждение, что опыт изобразил и начертал на *tabula rasa*^[69] моей души истины важные, из коих главнейшая вот эта: наивысшее счастье заключается в богопознании и боговидении, средства же, для достижения таковой цели служащие, суть средства благородные, полезные и отрадные, как-то: милосердие, добронравие и непорочность. Я по крайней мере так это понимаю, и еще я понимаю, что твоя любовь ко мне столь велика, что ты не захочешь пойти мне наперекор. Я наследница королевского престола. Тебе известно, что принудило мою горячо любимую мать отослать меня к вам во дворец: вот-вот должна была разразиться война, и мать за меня боялась. Так произошла наша встреча, и в первые же дни мы сроднились с тобою духовно, воля моя раз навсегда покорила твоей и уже ни в чем из твоей воли не вышла. Ты стал для меня отцом, братом, защитником, опорой, ты стал моим ангелом-хранителем, ты, наконец, стал моим учителем и наставником — ведь это ты привез меня в Рим, где я истинною сделалась христианкою. И вот теперь я бы хотела жить так, чтобы по возможности не сбиваться с прямого пути в царство небесное, следовать им без тревог и волнений, а для этого ты должен разрешить меня от клятвы, которою я сама же себя и связала, ты должен вернуть мне мое слово и обещание стать твоею супругой. Верни мне мое слово, а я зато обещаю сделать над собою усилие и вырвать с корнем свое чувство к тебе: ради такого великого блага, как царство небесное, надобно отрешиться от всего земного, надобно оставить родителей и супруга. Я не собираюсь менять тебя на другого — я оставляю тебя для бога, и за это бог не оставит тебя своею милостью, а это такая великая награда, с которой не сравнится то, что ты утратишь, поручая меня ему. У меня есть младшая сестра, такая же красивая, как я, если только, впрочем, можно назвать красотою преходящую земную прелесть. Ты волен на ней жениться, и тогда ты получишь королевство, от коего я откажусь в вашу пользу, — так сбудутся мои мечты, но и твои не во всем потерпят крушение. Но что же ты понурил голову, брат мой? Что же ты потупил очи? Или не по сердцу тебе мои речи? Или путь мой кажется тебе неправым? Скажи мне что-нибудь, ответь! Ведь должна же я знать твои стремления, — быть может, я сумею как-либо согласовать их с моими и найти выход, который придется по нраву тебе и до известной степени удовлетворит и меня.

С чрезвычайным вниманием выслушал Периандр Ауристу, и в одну секунду в мозгу его пронесся вихрь мыслей, одна мрачнее другой; Периандр вообразил, что Ауристы его возненавидела, что она решилась на эту перемену в своей жизни для того, чтобы лишить жизни его, Периандра: ведь должна же она понимать, что если она за него не выйдет, то для чего же ему тогда жить на свете? Эта догадка привела и повергла его в столь бурное

отчаяние, что он вскочил с места и под предлогом, что ему нужно поздороваться с Фелис Флорой и Констансой, которые в это время входили в комнату, покинул Ауристелу, об Ауристеле же я не могу сказать наверное, что она уже раскаивалась, — знаю только, что она была расстроена и озабочена.

Чем стремительнее притекает вода к горлышку узкого сосуда, тем медленнее выливается: на ту воду, что прихлынула раньше, напирает та, что за ней, но это только задерживает ее, одна вода теснит другую — и так до тех пор, пока наконец главная масса воды не пробьет себе дорогу и не вытечет из сосуда. То же самое происходит с мыслями огорченного любовника: все они сразу просятся на язык, одна перебивает другую, речь не знает, какой из них отдать предпочтение; вот почему весьма часто молчание влюбленного говорит больше, чем ему бы хотелось. У Периандра это состояние выразилось, между прочим, в том, что он был нелюбезен с Констансой и Фелис Флорой; осаждаемый роем мыслей, терзаемый догадками, волнуемый измышлениями, отвергнутый, в пучину сомнений ввергнутый, вышел он от Ауристелы, и так ничего ей и не сказал, так и промолчал, так и не пожелал ответить ей ни единого слова на ее многословную речь.

Констансе, Фелис Флоре и Антоньо, явившемуся вместе с ними навестить Ауристелу, показалось, будто она только что пробудилась от тяжкого сна; она говорила сама с собой внятно и вразумительно:

— Я поступила дурно, но что же делать? Разве не лучше, что брат мой знает о моих намерениях? Разве не лучше вовремя оставить извилистые дороги и неверные тропы и выйти на ровную стезю, где предо мною тотчас откроется вожденная цель наших странствий? Я отдаю себе отчет в том, что Периандр не послужит мне препятствием на пути в царство небесное, но в то же время я сознаю, что без него я скорее туда дойду. Мой первый долг — забота о спасении моей души; прежде всего — взыскание царства небесного, взыскание вечного блаженства, а потом уже родственные чувства, тем более, что с Периандром меня узы родства не связывают.

— Послушай, сестра моя Ауристела! — заговорила Констанса. — Ты открываешь нам такие тайны, что это разрешает наши сомнения, но как бы ты потом не пожалела! Если Периандр тебе не брат, тогда ты слишком много общаешься с ним. Если же он твой брат, то его общество не должно смущать тебя.

Ауристела между тем опомнилась, и как скоро до ее сознания дошло, что говорила Констанса, она попыталась поправить дело, но это ей так и не удалось: когда человек пытается что-либо починить ложью, то, сколько бы он ни накладывал ложь на ложь, окружающие уже начинают прозревать истину, хотя бы сомнения еще оставались.

— Не помню, сестра, что я тут наговорила, — молвила Ауристела. — Я не знаю, брат мне Периандр или не брат; я знаю одно: он — моя душа, вот и все. Им я живу, им я дышу, из-за него умираю и благодаря ему существую, но со всем тем разума я не теряю, никаких нескромных мыслей у меня по отношению к нему не возникает, приличия я соблюдаю строго и веду себя с ним, как подобает вести себя благородной сестре с благородным братом.

— Я отказываюсь понимать вас, сеньора Ауристела, — вмешался Антоньо. — Из ваших слов с одинаковым успехом можно сделать два противоположных вывода: что Периандр ваш брат и что Периандр вам не брат. Скажите нам наконец, если можете, кто же вы оба такие. Но, кто бы он ни был, вы же не станете по крайней мере отрицать, что вы оба люди знатные, а у нас, — я разумею самого себя и сестру мою Констансу, — жизненный опыт не так уж мал, и нас теперь ничто не удивит. Хотя мы еще так недавно отбыли с острова варваров, испытания, через которые мы затем прошли на ваших глазах, многому нас научили: вы нам только подайте намек, а уж мы за одну-единственную ниточку вытащим весь клубок запутанных дел, хотя бы то были дела сердечные, а ведь дела сердечные сами себя выдают. Что ж такого,

что Периандр вам не брат? Почему бы вам не стать законною его супругой? И что же, наконец, плохого в том, что до сих пор, придерживаясь строгих и честных правил, вы были чисты и невинны и перед богом и перед людьми? Ведь не всякая любовь опрометчива и дерзновенна, и не все влюбленные смотрят на своих возлюбленных лишь как на источник наслаждений — истинные влюбленные преклоняются пред их душевною красотою. А когда так, госпожа моя, то я осмеливаюсь вторично обратиться к вам с просьбой: скажите, кто вы и кто таков Периандр. Когда он от вас выходил, в очах у него пылал вулкан, а на устах лежала печать.

— О я несчастная! — воскликнула Ауристела. — Лучше бы я была в вечное погружена молчание: ведь если б я не могла говорить, его уста не были бы заграждены печатью! О, как мы, женщины, несдержанны, как мы нетерпеливы и как же мы болтливы! Пока я молчала, душа моя была спокойна. Стоило мне заговорить — и я утратила покой. А дабы я утратила его окончательно и дабы окончилась трагедия моей жизни, я хочу, раз что небо даровало мне в вашем лице брата и сестру, поведать вам, что Периандр мне не брат, но и не супруг и не возлюбленный, — во всяком случае, не такой возлюбленный, который, плывя по течению своей прихоти, стремится стать на якорь чести любимой девушки. Он — сын короля. Я — королевская дочь и наследница королевства. Итак, у нас обоих течет в жилах королевская кровь. Государство мне принадлежит более обширное. Расположены мы друг к другу одинаково. Намерения наши совпадают, желания наши, к наибогаой цели направленные, также сходятся. Вот только судьба беспрестанно расстраивает и путает все наши замыслы и вечно заставляет ждать у моря погоды. Однако же ком в горле у Периандра давит горло и мне, а потому я пока ничего больше вам не открою; я только попрошу вас позвать его ко мне: коль скоро он позволил себе уйти без моего позволения, то, пока его не позовут, он сам вряд ли вернется.

— Встань же! — сказала Констанса. — Пойдемте к нему все вместе, — те узы, коими Амур связывает влюбленных, надолго разлучаться им не дает. Идем же! Чем скорее мы его разыщем, чем скорее ты свидишься с ним, тем скорее достигнешь желанной цели. Отрешись от всякого рода сомнений и решишь выйти замуж за Периандра: стоит вам соединиться — и злословие тотчас умолкнет.

Ауристела встала и вместе с Фелис Флорой, Констансой и Антоньо пошла к Периандру. Все трое сопровождавших ее теперь уже знали, что она королева, а потому смотрели на нее по-иному и еще большую выказывали ей почтительность.

А Периандр, пока его разыскивали, постарался удалиться от той, которая его искала: он ушел из Рима пешком и совершенно один, если не считать за спутников горестную разлуку, печальные вздохи, неумолчные рыдания и всевозможные догадки, не дававшие ему ни минуты покою.

— О прекраснейшая Сихизмунда, особа королевского рода, красавица, которую возжелала отличить и осчастливить сама природа, красавица благоразумная в высшей степени, очаровательная свыше меры! — говорил он сам с собой. — Тебе, сеньора, ничего не стоило выдавать меня за брата: ведь я никогда ничего не предпринимал для того, чтобы раскрыть перед всеми обман, — у меня и в мыслях этого не было, несмотря на то, что лукавство человеческое тщилося добратся до истины; оно с ног сбивалось, пытаясь дознаться! Если ты хочешь вознестись на небо одна и отвечать перед богом только за себя, то да будет так! Но я хочу, чтобы ты знала, что на избранный тобою путь ты вступишь не без греха. У тебя, госпожа моя, не было намерения меня убить, но ты окутала свои замыслы тайною и обманом и поведала мне их лишь после того, как приняла решение вместе с корнями моей любви вырвать и мою душу, однако моя душа — твоя душа, и я оставляю ее

тебе: твори над ней свою волю, я же с ней расстаюсь навсегда. Мир тебе, моя радость! Знай же, что я желаю доставить тебе наивысшую радость и только потому тебя покидаю!

Тем временем смерклось. Периандр, сойдя с дороги, ведущей в Неаполь, и услышав журчанье ручья, струившегося под сенью дерев, повалился ничком на его берегу, и хотя он наложил запрет на слова, однако же вздохам не воспретил излетать из груди.

в коей открывается, кто такие Периандр и Ауристела

Добро отделяет от зла столь незначительное расстояние, что это как бы две линии, которые, хотя и исходят из отдаленных и разных точек, в конце концов сходятся.

Итак, Периандр в обществе тихого ручейка и лунного света изливал душу в рыданиях. Еще его общество составляли деревья и свежий ласкающий ветерок, осушавший его слезы. Мечты уносили его к Ауристеле, а ветер развеивал его надежды, но вдруг до него долетел чей-то голос; когда же он к нему прислушался, то различил звуки родного своего языка, — он только не мог разобрать, еле слышно говорит этот голос или же напевает; наконец, подстрекаемый любопытством, он пошел на голос и, приблизившись, уловил, что это не один, а два голоса и что они не напевают и не шепчутся, а ведут меж собою беседу. Но особенно его поразило то, что они, находясь вдали от Норвегии, говорили на ее языке. Периандр стал за дерево, так что и он и дерево составили одну тень; как же скоро он затаил дыхание, то первыми словами, достигшими его слуха, были следующие:

— Тебе не нужно убеждать меня, сеньор, что в Норвегии год делится на две половины, — ведь я жил в Норвегии, меня завлекла туда моя горькая доля, — и я знаю, что полгода там царствует ночь, а полгода — день. Что это именно так, я хорошо знаю, а вот почему это так, объяснить не сумею.

Другой голос ему на это ответил:

— В Риме я покажу тебе наглядно, на глобусе, какова причина чудесного этого явления: для того климата это так же естественно, как для здешнего то, что продолжительность суток равна двадцати четырем часам. Я тебе уже рассказывал, что на краю норвежских владений, почти на самом Северном полюсе, есть остров, — говорят, будто это уже край света, во всяком случае край этой его части, а называется остров Тиле, Вергилий же в первой книге *Георгик* именует его Фуле:

Станешь ли богом просторного моря, чтоб всем мореходам
Чтить лишь твое божество, подчинишь ли и крайнюю Фуле...

По-гречески Фуле — то же самое, что по-латыни Тиле, Остров тот величиною с Англию, — может быть, немножко меньше, — остров богатый, обильный всем, что нужно для человеческой жизни. Есть и еще один остров на Северном полюсе, милях в трехстах от Тиле, называется он Фрисландия, открыт он был назад тому лет четыреста, и настолько сей остров обширен, что именуется королевством, и королевство то немалое. Король и правитель на острове Тиле — Максимин, сын королевы Эустокии, отец же его назад тому всего несколько месяцев переселился в иной, лучший мир, оставив двух сыновей: один из них — это наследный принц Максимин, о котором я уже упоминал, а другой — юноша с душою возвышенною, по имени Персилес, наделенный в избытке всеми дарами природы, любимейший сын своей матери. Я не имею довольно слов, дабы описать совершенства Персилеса, а потому лучше уж о них умолчать — боюсь, как бы с моими слабыми способностями их не принизить; я его люблю, я был его воспитателем, я пестовал его, когда он был еще малым ребенком, и я мог бы много о нем рассказать, и все же, дабы не умалить его достоинств, предпочитаю на них не останавливаться.

Периандр слушал, слушал, и вдруг его осенило: да ведь это же Серафид, его

воспитатель, а беседует он с итальянцем Рутилио, который время от времени вставлял свои замечания, так что Периандр и его узнал по голосу. Нетрудно вообразить, как был изумлен Периандр, изумление же его все возрастало по мере того, как Серафид, — а это был именно он, — рассказывал дальше:

— У Эусебии, королевы Фрисландии, было две дочери, две писанные красавицы, особенно старшая, по имени Сихизмунда, — младшая же в честь матери звалась Эусебией, — и в этой Сихизмунде природа сосредоточила всю прелесть мира, и вот, неизвестно, собственно, с какою целью, королева Эусебия под тем предлогом, что неприятель будто бы готовится идти на нее войной, отправила Сихизмунду на остров Тиле, к Эустокии, как в более безопасное место, дабы Сихизмунда, не ведая ужасов войны, жила под крылышком у Эустокии, ну, а я так полагаю, что не это было главной причиной: Эусебия мечтала о том, чтобы ее дочь полюбил наследный принц Максимин и на ней женился, — всегда, дескать, можно ожидать, что дивная красота превратит в воск любое сердце, даже каменное, что она заставит сойтись и крайности. Но это только мое предположение, а наверное я могу сказать одно: принц Максимин и правда влюбился в Сихизмунду, хотя и заочно, — ведь когда Сихизмунда появилась на острове Тиле, Максимины там не было, но его мать послала ему ее портрет и уведомила о том, что мать Сихизмунды просила приютить ее у них во дворце; Максимин же ей на это ответил, что он желает, чтобы Сихизмунде всяческие оказывались почести и что он намерен на ней жениться. Этот его ответ был подобен стреле, пронзившей сердце сына моего Персилеса, — я называю его сыном по праву воспитателя. Как скоро сия весть достигла слуха Персилеса, он уж больше ни о каких веселостях не хотел и слышать; резвость, свойственная молодости, покинула его; славе и всеобщей любви, которые он стяжал своими подвигами, он предпочел тишь забвения, а самое главное, он занемог и впал в безысходное отчаяние. К нему позвали врачей, но, не зная причины недуга, они не сумели сыскать от нее средство: ведь по биению пульса нельзя угадать душевную боль, следственно трудно, в сущности — невозможно, определить душевный недуг. Мать, видя, что сын ее гибнет, и не имея понятия о том, кто же виновник его гибели, неотступно молила его открыть ей душу, а то-де, мол, это невыносимо: причина известна ему одному, из-за последствий же страдают они оба! Настойчивые просьбы и уговоры несчастной матери в конце концов сломили упорство и стойкость Персилеса, и он сознался, что без памяти влюблен в Сихизмунду, но вместе с тем прямо объявил, что лучше умрет, чем станет поперек дороги своему брату. Это его признание воскресило королеву, и она подала Персилесу надежду — придется, мол, заставить Максимины побороть его чувство к Ауристеле, да ведь и то сказать: когда речь идет о спасении человеческой жизни, то пренебрегают иной раз кое-чем более важным, а уж гневом брата и подавно. После разговора с сыном Эустокия имела разговор с Сихизмундой и в самых сильных выражениях изъяснила ей, что утратит она вместе с утратой Персилеса, который представлял собой, по ее словам, верх совершенства, меж тем как суровый нрав Максимины к нему не располагал. Она привела этому такие доказательства, приводить которые, пожалуй, и не следовало, достоинства же младшего своего сына, Персилеса, превознесла до небес.

Что могла ей на это ответить Сихизмунда, девушка молодая, одинокая, да еще после таких уговоров? Она ответила, что нет у нее другой руководительницы, нет у нее другой советчицы, кроме чести, и вот если честь ее никак не будет задета, то она готова вверить свою судьбу королеве и Персилесу. Королева расцеловала ее и поспешила передать ее ответ Персилесу, и тут Сихизмунда и Персилес условились, что они покинут остров до приезда его брата, Максимины же будет сказано, что Сихизмунда дала обет побывать в Риме, дабы утвердиться в католической вере, здесь, в северных странах, подвергшейся некоторым

искажениям, а Пер-силес-де, мол, поклялся, что ни словом, ни делом не посягнет на ее невинность. Получив от королевы множество дорогих вещей, провожаемые ее наставлениями, Персилес и Сихизмунда отбыли, а после их отъезда королева рассказала мне все, о чем я только что рассказал тебе.

Спустя два с лишним года наследный принц Максимин прибыл наконец в свое королевство: все это время он воевал со своими недругами. Сихизмунду он во дворце не нашел, а вместо нее нашел свою кручину. Недолго думая, он стал собираться в дорогу, ибо хотя в добропорядочности своего брата он ни одной секунды не сомневался, однако его тревожили смутные подозрения, от коих любовник может уберечься лишь чудом. Едва лишь королева-мать свела о его сборах, то призвала меня к себе и, объявив, что вверяет мне здравие, честь и самую жизнь Персилеса, попросила опередить Максимиана и дать знать Персилесу, что брат пустился за ними в погоню. Принц Максимин отбыл на двух больших кораблях и, пройдя Геркулесовы столпы, после многих перемен погоды, после многих бурь достигнул острова Тинакрии, затем славной Партенопей^[70], в настоящее же время находится недалеко отсюда, в поселении Террачине, расположенном на границе Неаполитанской и Римской провинций. У него так называемая перемежающаяся лихорадка, и он при смерти. В Лисабоне я напал на след Персилеса и Сихизмунды, ибо всюду идет громкая слава о некоем прекрасном страннике и некоей прекрасной страннице, — так вот, если это не ангелы во плоти, то кто же это еще может быть, как не Персилес и Сихизмунда?

— Если б ты назвал их не Персилесом и Сихизмундой, а Периандром и Ауристелой, — заговорил Серафидов собеседник, — то я мог бы дать тебе о них сведения наидостовернейшие: ведь я много дней провел в их обществе и терпел вместе с ними многообразные бедствия.

И тут он поведал Серафиду приключение на острове варваров, равно как и некоторые другие, о коих он не кончил повествовать до рассвета, а на рассвете Периандр, дабы собеседники его не обнаружили, оставил их и отправился к Ауристеле: надлежало уведомить ее о приезде его брата и посоветоваться с ней, как им от его гнева уйти, нечаянную же эту встречу в глухом лесу, благодаря которой он получил столь важные известия, Периандр почел за чудо. Так, полный новых замыслов и почти утратив надежду на исполнение своих желаний, явился он пред очи сокрушенной Ауристелы.

Мучительной боли в свежей ране не дают утихнуть желчная горячка и приходящий на смену ознобу жар, и эта боль час от часу становится нестерпимее. То же происходит и с душевными страданиями: время предоставляет человеку возможность подумать на досуге о том, из-за чего он страдает, и в конце концов у человека недостает уже сил терпеть эту муку, и он рад был бы расстаться с жизнью.

Итак, Ауристела, объявив свою волю Периандру, с сознанием исполненного долга, довольная, что объяснилась начистоту, и уверенная в том, что Периандр покорится своей участи, ожидала его ответа, а Периандр, схоронив свой ответ в тайниках молчания, покинул, как известно, пределы Рима, после чего с ним случилось то, о чем мы уже рассказали.

Рутилио, которого Периандр сейчас узнал, поведал Периандрову воспитателю Серафиду все, что произошло на острове варваров, и высказал предположение, что Ауристела и Периандр — это Сихизмунда и Персилес; он был убежден, что они встретятся с ними в Риме, куда, — о чем ему стало известно с первых же дней его знакомства с ними, — Персилес и Сихизмунда направлялись, выдавая себя за брата и сестру. Рутилио засыпал Серафида вопросами о том, как живут люди на дальних этих островах, подвластных Максимино и несравненной Ауристеле. Серафиду пришлось повторить, что остров Тиле, или иначе Фуле, в обиходной же речи именуемый Исландией, — это самый крайний остров в морях северных, «хотя, впрочем, чуть подальше есть, как я тебе уже сказал, еще один остров, именуемый Фрисландией, — остров тот, величиною с Сицилию, древним неизвестный, открыл в году тысяча триста восьмидесятом венецианец Никколо Темо^[71], правит же им королева Эусебия, мать той самой Сихизмунды, которую я разыскиваю. Есть там еще один остров, также немалых размеров, именуемый Гренландией, почти круглый год покрытый снегом; на одной из его оконечностей стоит монастырь в честь святого Фомы, и в том монастыре живут монахи — испанцы, французы, тосканцы и латиняне, и они обучают четырем языкам знатных людей острова, дабы те во время путешествий куда бы то ни было могли объясниться. Остров тот, как я уже сказал, погребен под снегом, но вот что там есть необычайного и достойного внимания: на вершине невысокой горы бьет мощный горячий источник, и вода, низвергаясь с горы и вливаясь в море, не только очищает его на большом пространстве от снега, но и утепляет в глубине, благодаря чему в этом месте собирается громадное количество рыбы самых разных пород, и ловом этой рыбы живет не только монастырь, но и весь остров: лов рыбы — это единственный его доход, единственная его пожива. В том источнике образуются также камни, обладающие способностью хорошо склеиваться: из этих камней получается бетон, который идет на постройку домов, и дома получают от этого такую прочность, будто они построены из чистого мрамора. Я мог бы много еще кое-чего тебе рассказать об этих островах — такого, что, пожалуй, покажется невероятным, а между тем все это истинная правда».

Периандр не слышал этого рассказа, но впоследствии, когда Рутилио пересказывал его другим, Периандр, имевший о северных островах точное представление, подтверждал его достоверность, и многие почли его вполне заслуживающим доверия.

Был уже белый день, когда Периандр очутился возле великолепного храма св. Павла, едва ли не самого большого во всей Европе, и вдруг увидел, что по направлению к нему движется множество всадников и пешеходов; когда же они приблизились, он разглядел Ауристелу, Фелис Флору, Констансу, Антонью, а также Ипполиту, которая, прослышав об исчезновении Периандра, порешила, дабы вся радость его обретения не досталась другой, ехать следом за

Ауристелой, на след же Ауристелы навела ее жена Завулоне, — Ипполита дружила с теми, с кем никто не дружил.

Периандр, пойдя навстречу этому сонму красавиц, поздоровался с Ауристелой и, взглядевшись, не заметил в чертах ее лица прежней строгости, глаза ее смотрели на него теперь ласковее. Ни от кого не таясь, он рассказал о встрече со своим воспитателем Серафидом и итальянцем Рутилио. Сообщив о том, что его брат, принц Максимин, заболел перемежающейся лихорадкой и лежит в Террачине, что он собирается в Рим, во-первых, для того чтобы полечиться, а во-вторых, для того, чтобы, скрывая высокое свое положение и под чужим именем, продолжить поиски беглецов, Периандр обратился за советом к Ауристеле и ее спутницам, как им теперь быть: зная, мол, нрав своего брата, он ничего доброго от этой встречи не ожидает.

Неожиданные эти вести сразили Ауристелу. В одно мгновение развеялись в прах ее мечты — блюдя свою непорочность, устремиться вместе с милым ее сердцу Периандром к благой цели.

Между тем все напрягали мысль, что посоветовать Периандру, и первая нашла выход из положения, хотя никто ее о том и не просил, влюбленная богачка Ипполита: она бралась отвезти Периандра и Ауристелу в Неаполь и предложила ему сто с чем-то тысяч дукатов, то есть все свое состояние.

Этот разговор слышал при сем присутствовавший Пирро Калабриец, и предложение Ипполиты было для него равносильно смертному приговору: должно заметить, что у таких проходимцев, как он, ревность вызывается не пренебрежением, но корыстью, а как благодеяние, оказываемое Ипполитой Периандру, наносило удар корыстным его побуждениям, то душой его овладело отчаяние, и внутри у него закипала дикая злоба на Периандра, который казался ему сейчас еще более привлекательным и статным, чем на самом деле, хотя он и правда был необычайно привлекателен и статен, о чем мы упоминали неоднократно: надобно знать, что ревнивцам свойственно преувеличивать и приукрашивать достоинства своих соперников.

Периандр поблагодарил Ипполиту, но великодушное ее предложение отвергнул. Прочие же ничего не успели ему присоветовать, ибо в это самое мгновение показались Серафид и Рутилио, и, едва увидев Периандра, поклонились ему до земли, Серафид же сейчас узнал его потому, что перемена в одежде не повлекла за собой перемену в благородном облике Периандра. Рутилио обвил руками его стан, Серафид — его шею; Рутилио плакал от радости, Серафид — от счастья.

Присутствовавшие с любопытством наблюдали за этой негаданной и приятной встречей. Лишь сердце Пирро калеными щипцами рвала на части зависть; ему стало невмочь терпеть эту муку, которую он не мог не испытывать, глядя на то, какие почести воздают Периандру и как его величают, и, сам не понимая, что он делает, а вернее, наоборот: отлично понимая, он выхватил шпагу и с такой яростью и с такой силой, нимало не задев, впрочем, рук Серафида, вонзил ее Периандру в правое плечо, что острие шпаги вышло через плечо левое, — он пронзил Периандра насквозь, но хорошо, что не наискось.

Ипполита первая заметила этот удар и первая крикнула:

— Ах, изверг, лютый мой враг! За что ты его убил?

Серафид и Рутилио невольно разжали объятия и опустили руки, уже обагренные кровью Периандра, и Периандр упал в объятия Ауристелы, а ей в этот миг изменил голос, нечем стало дышать, в очах не достало слез, голову она уронила на грудь, руки повисли без сил.

От этого удара, более грозного по виду, чем на самом деле, у всех захватило дух, краска сбегала с лиц, заливавшихся смертной бледностью, а смерть, пользуясь тем, как много

Периандр теряет крови, начала вытеснять его жизнь, и эта угроза, нависшая над его жизнью, предвещала друзьям его столь же близкий конец; по крайней мере Ауристела испытывала такое чувство, будто жизнь вот-вот вместе с последним вздохом излетит из ее уст.

Серафид и Антоньо бросились к Пирро и, невзирая на его свирепость и на его силу, схватили злодея и с помощью сбежавшихся на шум горожан отвели в тюрьму, а через несколько дней градоправитель приказал повесить его как неисправимого преступника и убийцу, и смерть Пирро освободила Ипполиту, и стала она жить да поживать.

Человеку не дано безмятежно радоваться своим радостям — ни одной секунды не может он быть за них спокоен.

Ауристела, раскаявшись в том, что поделилась замыслами своими с Периандром, уже с легким сердцем отправилась его разыскивать; она не сомневалась, что это ее раскаяние благотельно для Периандра, что оно принесет ему счастье: ведь она считала себя силой, приводящей в движение колесо его Фортуны, тем центром, вокруг которого вращаются его желания. И она не обманывалась, ибо Периандр сам возвращался к ней, дабы подчинить все свои желания желаниям Ауристелы. Но — о коварство изменчивой Фортуны! — за столь короткое время в жизни Ауристелы произошли такие резкие перемены! Она надеялась порадоваться, и вот она плачет; ей хотелось жить, и вот она умирает; она мечтала насладиться лицезрением Периандра, и вот она зрит перед собой его брата, принца Максимины, — он ехал с огромною свитою, разместившейся в нескольких каретах, из Террачины в Рим, и его внимание обратила на себя толпа, окружавшая раненого Периандра; он велел подъехать поближе, но тут от толпы отделился Серафид и поспешил к нему навстречу.

— О принц Максимин! — воскликнул Серафид. — Недобрые вести предстоит вам от меня услышать. Раненый, которого поддерживает прелестная девушка, — это брат ваш Персилес, а девушка — несравненная Сихизмунда, которую вы благодаря своей неутомимости наконец нашли, но нашли в грозный для нее час, в роковую для нее минуту, — видно, не судьба вам праздновать встречу с ними, а судьба — положить их обоих во гроб.

— Не только их, — по всей вероятности, и меня положат вместе с ними, — примолвил Максимин.

Выглянув из кареты, он сейчас узнал своего брата, хотя Периандр был залит и обогрен своею собственною кровью; узнал он и Сихизмунду, несмотря на мертвенную бледность, покрывавшую ее лицо, ибо волнение, согнав с него краску, не исказило его черт, напротив того: если Сихизмунда была прекрасна до этого несчастья, то теперь она стала еще прекраснее, — известно, что иные хорошеют от горя. Максимин сделал шаг — и упал в объятия, но в объятия уже не Ауристелы, а королевы Фрисландской и королевы острова Фуле, за каковую он уже ее почитал; столь внезапные перемены мы склонны приписывать всемогуществу так называемой Фортуны, на самом же деле это есть незыблемая воля небес.

Максимин выехал из Террачины в Рим с целью полечиться у лучших врачей, террачинские же врачи ему предрекали, что он умрет по дороге, — видно, в такого рода пророчествах они были искуснее и опытнее, нежели в лечении; впрочем, излечить перемежающуюся лихорадку редко кому удается.

Итак, перед собором св. Павла, в открытом месте безобразная смерть, выйдя навстречу красавцу Периандру, сразила его и покончила с Максиминим, Максимин же, чувствуя, что жить ему остается считанные мгновения, взял правою рукой левую руку своего брата и поднес ее к глазам, потом левою рукой взял его правую руку и вложил ее в правую руку Сихизмунды, после чего, с трудом переводя слабеющее дыхание, прерывающимся голосом заговорил:

— Своею душевною чистотою, милые мои дети, родные мои брат и сестра, вы заслужили то, что я вам сейчас объявлю. Сомкни же мне вежды, брат мой, и закрой мне очи для вечного сна, а другою рукой крепче сожми руку Сихизмунды в знак того, что ты обещаешь принадлежать ей, и да будут свидетелями этой помолвки та кровь, которую ты

пролил, и друзья, которые тебя окружают. Ты войдешь на престол твоих предков и примешь под свой скипетр королевство Сихизмунды. Скорей выздоравливай и владей обоими королевствами неисчислимые годы.

Эти слова Максимиана, столь ласковые, столь радостные и вместе столь печальные, оживили Периандра, и во исполнение воли брата он поспешил, пока тот еще не скончался, закрыть ему глаза и голосом, в котором слышались одновременно и радость и грусть, произнес клятву супружеской верности Сихизмунде.

Скоропостижная и столь прискорбная кончина принца поразила присутствовавших; воздух наполнился их стенаниями, землю оросили их слезы. Мертвого Максимиана отнесли в собор, а полуживого Персилеса перенесли в карету покойного и повезли в Рим, чтобы там лечить его, и в Риме путешественники наши уже не застали ни Беларминии, ни Делеазир, — оказалось, что они вместе с герцогом отбыли во Францию.

Горько было Арнальду услышать о неожиданном и внезапном замужестве Сихизмунды; еще горше было ему сознавать, что пошло прахом столько лет, в течение коих он оказывал ей всяческие услуги и благодеяния ради того, чтобы в конце концов мирно насладиться несравненною ее красотою. Но особенно надрывало ему душу воспоминание о том, что ему нашептывал злоречивый Клодьо, — Арнальд тогда не внял его предостережениям, и вот теперь, на горе Арнальду, они подтвердились. Смятенный, подавленный, ошеломленный, он хотел было удалиться, даже не попрощавшись с Персилесом и Сихизмундой, однако, приняв в соображение, что им надлежит занять королевский престол и что в этом их оправдание, и примирившись на том, что такова, уж видно, его судьба, передумал и пошел к ним. Персилес и Сихизмунда приняли его с отменным радушием и, чтобы хоть как-нибудь вознаградить, предложили ему жениться на младшей сестре Сихизмунды Эусебии, на что Арнальд охотно согласился. Он не задумываясь отправился бы с ними во Фрисландию за невестой, но ему надлежало испросить прежде дозволение у своего отца, ибо при заключении столь важного брачного союза, как, впрочем, и при заключении всякого брачного союза, крайне желательно, чтобы желания детей совпадали с желаниями родителей. Дождавшись окончательного выздоровления своего будущего свояка, Арнальд выехал к себе на родину просить у отца благословения, после чего он собирался тотчас же начать приготовления к торжествам, имеющим быть по случаю прибытия его невесты. Фелис Флора решила выйти замуж за Антоньо; ей не хотелось возвращаться в родные края, где ей пришлось бы жить среди родственников того человека, которого убил Антоньо, а это представлялось ей отнюдь не безопасным. Крорьяно и Руперта по окончании своего паломничества положили вернуться во Францию, где им было что порассказать о приключениях мнимой Ауристелы. Ламанчец Бартоломе и кастильянка Луиса поселились в Неаполе; говорят, будто они оба кончили плохо, оттого что несправедливо жили. Персилес похоронил своего брата в соборе св. Павла, взял к себе всех его слуг, еще раз посетил римские храмы и обласкал Констансу, Сихизмунда же ей подарила бриллиантовый крест и в конце концов выдала ее замуж за ее деверя — графа. Облобызав стопы святейшего владыки, Сихизмунда исполнила свой обет и наконец успокоилась, и прожила она на свете с мужем своим Персилесом до тех пор, пока не дождалась правнуков, и многочисленное и счастливое их потомство на долгие годы продолжило их род.

Пребенда. — В эпоху Сервантеса пребендами в католической церкви назывались те материальные блага, которые предоставлялись духовным лицам в виде денежного обеспечения, земельных владений, домов и т. д. В более узком значении слова пребендой в Испании называется денежная рента, предоставляемая каноникам. Пребенды обычно испрашивались у старших духовных чинов, в частности у епископов.

...*нимфами и гамадриадами*. — Нимфы — низшие женские божества, которыми воображение древних греков населяло окружающую природу. Нимфы вод, в зависимости от того, где они жили: в источниках, реках или морях, — разделялись на наяд, нереид и океанид. Нимфы рощ и деревьев носили имя дриад и гамадриад.

...даже не на пизанской глине. — Пиза, главный город одноименной итальянской провинции, издавна славилась своими изделиями из глины и алебаstra.

Кандия — древнее название острова Крит, славившегося высокой культурой сельского хозяйства, особенно виноделия.

Церера, Бахус, Венера, Марс — латинские наименования греко-римских божеств: Деметры (богини земледелия), Вакха (бога вина и виноделия), Афродиты (богини любви и красоты) и Ареса (бога войны).

...войну вел тогда... *Карл Пятый с государями германскими.* — Имеется в виду война, объявленная Карлом V протестантским князьям Германии в 1546 году. Эта война, в которой принимали участие испанские и итальянские войска, закончилась поражением князей в битве при Мюльберге (1547).

Я верую во все... что исповедует... римско-католическая церковь. — Читатель не должен преувеличивать значение восхвалений католической религии, вложенных в уста Антоньо и Риклы, и других высказываний в этом же роде, встречающихся в романе. Как известно, рукопись получила одобрение цензуры уже после смерти Сервантеса и поэтому навсегда останется невыясненным, что в романе было опущено и что добавлено благочестивым цензором. Но даже если допустить, что огромное большинство этих высказываний принадлежит Сервантесу и что смертельно больной писатель переживал период повышенной религиозности и находился в тяжелой материальной зависимости от церковных кругов, то все же нельзя не указать, что в романе имеется немало эпизодов, выражающих подлинное отношение автора к католической церкви. Таковы: защита Сервантесом вопреки Постановлениям Тридентского собора от 11 ноября 1563 года тайных браков и внебрачной любви, разоблачение им паломничества как одной из форм бродяжничества, изображение разврата, царящего наравне с показным благочестием в папском Риме, и многое другое. Порочной с точки зрения строгой церковности была и фабула романа. Паломничество Персилеса и Сихизмунды было предпринято ими не из религиозных побуждений, а являлось лишь более или менее удобной формой маскировки, чтобы спасти жизнь. Иронически звучит и концовка романа. Дав обет принять монашество, Сихизмунда после своего свидания с папой легко от него отказывается и выходит замуж за Персилеса, с которым живет долго и счастливо, окруженная многочисленным потомством. Все эти особенности романа позволяют усомниться в искренности высказываний Сервантеса в похвалу католической религии. Возможно, что и в этом случае мы лишь присутствуем при весьма нередкой в творчестве великого писателя маскировке его подлинных мыслей и чувств.

Мария избрала благую часть (лат.)

...остров этот называется Голландия... — Под этим названием в романе фигурирует Готланд, самый большой остров Балтийского моря, в настоящее время принадлежащий Швеции. С 1361 по 1645 год принадлежал Дании.

Гиберния. — Так именовалась в эпоху римского владычества Ирландия. Но поскольку здесь Сервантес рядом с Гибернией упоминает Ирландию, то приходится предположить, что под Гибернией он подразумевает весь район Ирландского моря с его островами.

Птица... барнасиас. — Легендарную птицу «барнасиас», так же как чудовищных рыб «кораблекрушительниц», Сервантес заимствовал из «Истории северных народов» епископа упсальского Улава Магнуса.

Юдициарная астрология. — Астрология, ложная наука, предсказывавшая будущее на основании наблюдений над положением небесных светил, распадалась на «натуральную», занимавшуюся явлениями природы, и «испытательную», или «юдициарную», стремившуюся предугадать судьбу отдельных людей и целых народов.

Розамунда. — В образе Розамунды и в сюжетной линии, с нею связанной, по-видимому, нашло себе отражение предание о возлюбленной английского короля Генриха II, жившей в XII веке и прозванной за свою красоту Розамундой, то есть Розой мира. Согласно преданию, Розамунда была убита из ревности женой Генриха II королевой Элеонорой. Отрицательная трактовка образа Розамунды в романе Сервантеса находит себе объяснение в резко враждебном отношении испанского общества того времени ко всему английскому, особенно обострившемся после гибели «Непобедимой Армады».

...из земли вырастет тростник царя Мидаса. — С именем фригийского царя Мидаса в античной мифологии связаны два предания: 1. За радушный прием, оказанный им воспитателю бога вина и виноделия Диониса Силену, Мидасу было предоставлено право просить в награду все, что он пожелает. Мидас захотел, чтобы все, к чему он ни прикоснется, обращалось в золото. Но так как пища при его прикосновении также превращалась в золото, Мидас попросил Силена взять свой дар назад. От этого дара он освободился, выкупавшись в реке Пактоле, ставшей после этого золотоносной. 2. Избранный судьей на музыкальном состязании Аполлона с богом стад и пастухов Паном, Мидас признал победителем Пана, и тогда разгневанный Аполлон превратил его уши в ослиные, вследствие чего Мидас вынужден был их прятать под колпаком. Однако это не помогло: тайна была открыта цирюльником, который, не смея рассказать об этом людям, вырыл яму и нашептал туда: «У царя Мидаса ослиные уши». Выросший на этом месте тростник поведал об этом всему свету. Сервантес упоминает оба мифа в своем романе.

Дочь Пинея. — В греко-римской мифологии дочь фригийского царя Пинея и богини земли Геи Дафна, убегая от влюбленного в нее Аполлона, нашла приют у своей матери, превратившей ее в лавровое дерево.

поэтом рождаются (лат.)

волкомания (лат.)

И таково же мнение Плиния... — Сервантес имеет в виду Плиния Старшего, крупнейшего ученого древности, родившегося в 23 году н. э. и умершего в 79 году во время извержения Везувия. Из его сочинений до нас дошла только «Естественная история», представляющая собою энциклопедию всевозможных знаний, накопленных древним миром о природе. Показательно, что, рассказывая о волках-оборотнях, Сервантес, по-видимому, относившийся с недоверием к этим рассказам, ссылается на авторитет Плиния.

Фетида — в греко-римской мифологии морская нимфа, действующее лицо многих античных сказаний. В золотые покои ее по вечерам опускался бог солнца Гелиос.

Гарпия. — В греко-римской мифологии гарпии — крылатые чудовища, полуженщины-полуптицы. Воображение древних греков приписывало им похищение людей, пропадавших без вести. Разгневавшись на слепого фракийского царя Финея, боги отдали его во власть гарпий, похищавших и осквернявших его пищу.

...коварная египтянка. — Согласно библейскому рассказу, Иосиф, сын Иакова, был продан завистливыми братьями измаильским купцам, которые перепродали его в Египте придворному фараона Потифару. Жена последнего, влюбившись в прекрасного юношу, попыталась соблазнить его, но он отверг ее настойчивые домогательства и вырвался из ее рук, оставив в них свой плащ. Оскорбленная отказом, жена Потифара обвинила Иосифа в попытке овладеть ею.

...вдали от Пафоса, Книда, Кипра и Елисейских полей... — Пафос, Книд и Кипр — местности, связанные в древности с культом Венеры (Афродиты). Пафос — город на острове Кипр, одном из главных мест поклонения богине. Книд — город в Карий, провинции Малой Азии, где находилась статуя Венеры (Афродиты) работы знаменитого греческого скульптора Праксителя. Елисейские поля, или Элизиум, — райская долина на западной окраине земли, где, по верованию древних, пребывали после смерти блаженные души.

Ганимед — в греко-римской мифологии — прекрасный подросток, которого Зевс (Юпитер) похитил с земли и сделал своим виночерпием.

...клянусь... всеми небесами, коих будто бы одиннадцать... — Согласно широко распространенной в странах Западной Европы в средние века и в эпоху Возрождения системе мироздания крупного географа, астронома и физика древности Клавдия Птолемея (жил в первой половине II века н. э. в Александрии), насчитывалось одиннадцать небесных сфер: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, Недвижные звезды, Первый двигатель, Кристальная область и Недвижное небо (эмпирей). Система мироздания Птолемея была признана церковью, и всякое выступление против нее приравнивалось к ереси.

Альгама. — Слово «альгама» происходит от арабского «Эль Гаммам», то есть горячая вода. Здесь имеется в виду Альгама де лос Баньос — местечко в Испании в сорока километрах к юго-западу от Гранады, с горячими источниками.

...занимаюсь.. искусством Зороастровым... — Зороастр (Заратустра) — основатель религии древних мидян и персов. Жил в VII веке до н. э. С именем Зороастра в древности связывалось представление о магии, волшебстве, предсказаниях и т. п.

Геркулес (Геракл) — знаменитый герой греко-римской мифологии. Совершил двенадцать подвигов на службе у царя Тиринфа и Микен Эврисфея, за что ему было обещано и Дано бессмертие.

Данея — фантастическая страна, выдуманная Сервантесом.

...я племянница битуанского короля... — Возможно, что Сервантес под словом «битуанский» имеет в виду «литовский»: по-испански Литва — Литуания.

...подобно... *Дидоне, оплакивавшей беглеца Энея.* — Согласно греко-римской мифологии один из главных защитников Трои сын Венеры (Афродиты), Эней, после падения этого города вынужден был пуститься в странствования, во время которых буря прибила его корабль к берегам Африки. Здесь он был ласково принят царицей и легендарной основательницей Карфагена Дидоной, страстно к нему привязавшейся. Когда Эней по повелению Юпитера (Зевса) неожиданно ее покинул и направился в Италию, Дидона сожгла себя на костре. В литературу Эней вошел как образец бесчувственного любовника, предательски покидающего свою возлюбленную.

Мы получили разрешение на дуэль от одного из вольных германских городов. — Вольными германскими городами назывались города, являвшиеся самостоятельными членами германской империи и в пределах своего округа облеченные верховною властью. Из союзов таких городов наиболее знаменитыми были Рейнский, Швабский и Ганзейский, образовавшиеся в XIII—XIV веках.

Ганнибал (247—183 до н. э.) — знаменитый карфагенский полководец, предводитель карфагенян во второй пунической войне.

...довелось мне видеть удалившегося в монастырь Карла Пятого... — Карл V в 1556 году отказался от испанской короны в пользу своего сына Филиппа II и удалился в монастырь св. Юста в испанском городе Касерес (Эстремадура), где и прожил еще два года в полном уединении, в состоянии, близком к помешательству. Умер в 1558 году.

Еще рассказал Синибальд о войне в Трансильвании, о военных действиях... турок. — Под войной в Трансильвании Сервантес имеет в виду посылку Карлом V испанских войск в Венгрию на помощь королю Фердинанду I для борьбы с мятежными вассалами и для операций против турецких войск, вторгшихся в Трансильванию.

После захвата Константинополя в 1453 году турки значительно усилили свой натиск в районе Средиземного моря и к западу от Дуная. Алжирские пираты все чаще стали нападать на берега Испании и все глубже проникать на испанскую территорию, причиняя большой вред интересам Испании в Африке. Это особенно сказалось в двадцатых — тридцатых годах XVI столетия, когда в Алжире и Тунисе появился талантливый авантюрист Барбаросса, отдавший оба эти государства под протекторат Турции. Усиление турецкой опасности вынудило Карла V принять ряд ответных мер, среди которых особенно важными были удачная военно-морская операция в Тунисе (1535) и неудачная в Алжире (1541).

...обитель... в Белеме... — монастырь ордена иеронимитов, усыпальница португальских королей на левом берегу Тахо. Построен в XV веке. Замечательный архитектурный памятник португальского Возрождения.

Аганиппа — источник у подножия горы Геликон в Беотии (Греция). Согласно античному преданию, возник от удара копытом крылатого коня Пегаса; почитался источником вдохновения.

Хуан де Эррера де Гамбоа. — Среди крупных испанских драматургов и поэтов так называемого золотого века имя Хуана де Эррера де Гамбоа не фигурирует. Возможно, что это Хуан Антонио де Эррера, о котором Сервантес отзывается с похвалой в четвертой главе своего «Путешествия на Парнас». Что касается той пьесы, которую Сервантес приписывает Хуану де Эррера де Гамбоа, то сюжет ее заимствован из античного мифа о Кефале и Прокриде. Согласно этому мифу, Кефал, любимец богини утренней зари Эос, из любви к своей жене Прокриде отверг любовь богини. Тогда оскорбленная отказом Эос убедила Кефала испытать верность Прокриды. Приняв образ незнакомого мужчины, Кефал, явившись к Прокриде, добился ее любви, а затем принял свой естественный вид. Прокрида, устыдясь своей измены, бежала на остров Крит. Решив подвергнуть своего мужа такому же испытанию, она приняла образ неизвестной девушки и склонила Кефала на любовь, после чего открылась ему. Взаимное испытание привело супругов к примирению. Миф заканчивается смертью Прокриды, которую Кефал случайно убивает на охоте волшебным, не знающим промаха дротиком.

Франсиско Писарро... Хуан де Орельяна... — Двум друзьям и покровителям Росаньо Сервантес дает имена знаменитых уроженцев Трухильо: завоевателя Перу Франсиско Писарро и его сподвижника Франсиско де Орельяна, которому принадлежит честь открытия реки Амазонки. (Сервантес ошибочно называет его Хуаном.) Никакого отношения к подлинным историческим лицам герои романа Сервантеса не имеют. Исторический Писарро был убит в Лиме в 1541 году, а Орельяна умер в 1550 году, то есть до того времени, к которому предположительно относится действие «Странствий Персилеса и Сихизмунды». Отцу Фелисьяны де ла Вос Сервантес также дает имя исторического лица, архиепископа толедского Педро Тонорьо, умершего в 1399 году.

Святые братства (Сайта Эрмандад), основанные между XIII—XV веками различными испанскими городами и их союзами для борьбы с произволом феодалов, постановлением от 1476 года о «Новой Эрмандаде Кастилии и Леона» были превращены в полевую жандармерию с очень широкими полномочиями. Так, в их ведение, согласно новому уставу, входил разбор следующих преступлений: богохульства, подделки монет, грабежа в населенной и ненаселенной местности, поджогов, насилий, убийства на большой дороге и т. п. Эта широта функций и полнейшая безнаказанность Эрмандады привели к тому, что к XV веку Святые братства превратились в шайки разбойников, вполне заслуживавших резкий отзыв Дон Кихота: «стражники с большой дороги, промышляющие разбоем» (том 1, глава 45). Данный эпизод «Северной истории» является красноречивой иллюстрацией к этим словам Дон Кихота. Чтобы правильно оценить размер опасности, угрожавшей Периандру и его спутникам, следует вспомнить, что лучникам Эрмандады, так называемым «куадрильерос», предоставлено было право расстреливать арестованных на месте. Обычно их привязывали к дереву, превращая в живую мишень. Характерно, что речь в этом эпизоде идет о старейшей и наиболее известной из Эрмандад, образованной союзом городов Талаверы, Толедо и Вильяреаль и утвержденной королевской властью еще в 1300 году. Весьма показательна и та суровая критика, которой подвергает в этой главе Сервантес представителей королевского правосудия.

...король *Филипп Третий* (1598—1621) — сын и преемник Филиппа II. Упоминание Филиппа III, сопоставленное с упоминанием о том, что год, в который происходит действие романа, является годом юбилейным, позволяет отнести события «Странствий Персилеса и Сихизмунды» к 1600 году.

«Здесь кончил песнь свою Салисьо» — несколько видоизмененный стих 1-й эклоги Гарсиласо де ла Вега, героями которой являются беседующие между собой пастухи Салисьо и Неморосо. Гарсиласо де ла Вега — знаменитый испанский лирический поэт (1503—1536), высший образец поэта в глазах Сервантеса.

Чистокровные христиане. — Старинными, или чистокровными, христианами назывались граждане, обладавшие официальным удостоверением о том, что в их роду никогда не было браков с лицами мавританского или еврейского происхождения.

Слияние двух славных рек Энарсса и Тахо. — Сервантес ошибается: Энарес не сливается с Тахо, а является левым притоком реки Харамы, впадающей в Тахо.

...святейший владыка... отверз сокровищницы церкви... — Год, в который совершают свое паломничество в Рим Периандр и Ауристела, был одним из тех годов, когда католическая церковь давала отпущение грехов верующим при условии выполнения ими некоторых церковных обрядов и взноса известной суммы денег. Такие годы назывались юбилейными, или столетними, так как первоначально предполагалось праздновать их раз в столетие. Первым юбилейным годом был 1300-й, когда папа Бонифаций VIII впервые провел в жизнь это мероприятие. Позднее срок празднования юбилейных годов все более сокращался и был доведен в 1470 году папой Павлом II до двадцати пяти лет. Побудительной причиной для такого сокращения была не краткость человеческой жизни, как это утверждали церковные власти, а то обстоятельство, что юбилейные годы, привлекая в Рим массу паломников, являлись источником огромного обогащения папской казны. Кроме суммарной (общей) индульгенции (так называется в католической церкви отпущение грехов), практиковалась и частная, индивидуальная, получить которую верующий мог, совершив «дела, достойные покаяния». К числу таких дел относились паломничество, молитва, пост. Именно к разряду частной индульгенции и относится послушание, наложенное на себя Ауристелой. Позднее частная индульгенция также стала продаваться за деньги по таксе, где была определена стоимость каждого греха. Использование юбилейного года в качестве сюжетного мотива дает возможность установить довольно точно, к какому времени Сервантес относит действие романа: это 1600 год.

...равноценна сокровищам Потоси. — Потоси сереброносная гора во времена Сервантеса на территории королевства Перу, в настоящее время на территории Боливии. Исключительное богатство рудников Потоси сделало это имя синонимом сказочных богатств.

Геркулесовы столпы. — Так в древности назывался Гибралтарский пролив, соединяющий Средиземное море с Атлантическим океаном. Столпы — гибралтарская скала и противоположная ей на африканском берегу скала Абила, согласно мифу, заброшенная туда Геркулесом.

...Фаларис и Бузирис, тираны Сицилии... — Фаларис — жестокий тиран г. Агригента в Сицилии, историческое лицо, жил в VII веке до н. э. Что касается Бузириса, то здесь память изменила Сервантесу: Бузирис не сицилийский тиран, а легендарный египетский царь, приносивший в жертву всех приезжавших в страну чужеземцев.

...сеньор алькальд желает прослыть афинским законодателем... — Сервантес имеет в виду первого законодателя Афин Дракона, назначавшего смерть за всякое преступление. Законы, им составленные, были настолько строги, что получили название «кровавых». Дракон жил около 620 года до н. э.

Dura lex — строгий закон (*лат.*)

Майорат — система наследования, по которой все имущество переходит нераздельно к одному лицу, обычно старшему в роде.

Хадрак — должностное лицо в поселениях морисков, соответствующее испанскому алькальду, старосте. Само слово явно арабского происхождения, употребляется в обращении и равносильно испанскому «ваша милость».

...в Испании воцарится король династии австрийской... — Сервантес имеет в виду короля Филиппа III, своими декретами 1609—1610 годов довершившего дело, предпринятое его отцом Филиппом II по изгнанию морисков (мавров, принявших христианство) из Испании.

...подобно Деянире, пославшей сорочку Геркулесу... — Согласно мифу, жена Геркулеса Деянира, ревнуя своего мужа, послала ему рубашку, пропитанную ядовитой кровью убитого им кентавра Несса. Умирая, Несс посоветовал Деянире сохранить эту рубашку, так как она должна была предохранить Деяниру от неверности мужа. Надев на себя рубашку с кровью Несса, Геркулес уже не смог освободиться от нее и, терпя невыносимые мучения, покончил с собой — сжег себя на костре на горе Эте, после чего вознесся на Олимп, где был сопричислен к богам. Деянира в ужасе также лишила себя жизни.

...точно новоявленную *Европу*, вынес на своих плечах... на... берег реки... — Европа — по мифу, дочь финикийского царя Агенора. Зевс (Юпитер), влюбившись в нее, принял образ быка и в таком виде перенес ее на себе на остров Крит, где принял образ прекрасного юноши.

...отвага Олоферна не устрашила робкую Юдифь... — Имеется в виду библейское сказание о еврейке Юдифи, уроженке города Ветилуи, осажденного войсками ассирийского (вавилонского) царя Навуходоносора под предводительством Олоферна. Юдифь спасла город, а вместе с ним и всю Иудею от вражеского нашествия. Явившись в лагерь Олоферна, красавица Юдифь завоевала его доверие и ночью отрубила ему голову его же мечом и с этими трофеями вернулась в Ветилую, обеспечив этим победу своему народу.

...окаменела, точно под взглядом Медузы. — Согласно греко-римской мифологии, взгляд Медузы обращал людей в камень. Медуза в отличие от своих сестер Эвриалы и Сфено не была наделена бессмертием и была убита сыном Зевса (Юпитера) и Данаи Персеем, отрубившим ей голову. Эту голову Персей отдал богине мудрости Афине (Минерве), поместившей ее в середине своего щита.

Я вижу ясно-ясно.., как отсекают голову отважному пирату, храброму юноше, принадлежащему к австрийской династии. — Первое предсказание Сольдино плохо поддается расшифровке и полно внутренних противоречий. Непонятно, каким образом отпрыск австрийской династии мог сделаться пиратом и почему ему, победителю мавров, пришлось отсечь голову. Возможно, что мы здесь имеем дело с ошибкой в испанском тексте, восходящей еще к первому изданию. Если это так, то предсказание имеет в виду побочного сына Карла V дона Хуана Австрийского, победителя при Лепанто, поставленного в 1568 году во главе эскадры, нанесшей ряд решительных поражений корсарам, опустошавшим берега Средиземного моря.

Меня берет за сердце судьба еще одного венчанного юноши... пронзенного тучей мавританских копий. — Что касается второго предсказания Сольдино, то оно относится к внуку Карла V, молодому португальскому королю Себастьяну (1557—1578), «венчанному юноше», вмешавшемуся в гражданскую междоусобицу в Марокко и убитому маврами в битве при Алькасаркивире. Труп его не был разыскан или опознан, что и нашло себе отражение в предсказании: «пронзенного тучей копий...».

Академия венценосцев. — Словом «венценосцев» удачно передано испанское слово «entronados», то есть «владелец престола». Ими в миланской литературной академии были не владетельные князья или государи, а люди, прославившиеся в науке или искусстве. По образцу миланской и других итальянских литературных академий в Испании были созданы свои: мадридская «Подражательная Академия», участником которой были Сервантес и Лопе де Вега, и приобретшая особую известность валенсийская «Ночная Академия».

Изыди, сатана (лат.)

...новоявленный Адонис. — Адонис — прекрасный юноша, в которого была страстно влюблена Венера (Афродита). Он был убит на охоте вепрем и превращен Венерой в цветок анемон. Скорбь о нем Венеры была так велика, что, согласно мифу, боги разрешили Адонису проводить в подземном царстве лишь треть года, остальное же время жить у Венеры или там, где он сам пожелает.

Сапожник... проживающий в Тордесильясе... — Название Тордесильяс нередко встречается в испанских исторических анналах (в частности, в истории движения комунерос в двадцатых годах XVI столетия). Обращает на себя внимание тот насмешливый тон, каким Сервантес говорит о «горбатом сапожнике», вероятно, находящий себе объяснение в том факте, что уроженцем Тордесильяса называет себя в заглавии своего романа автор подложного «Дон Кихота» Алонсо Фернандес Авельянеда.

...один испанский стихотворец, самому себе лютый враг... — Сервантес, по-видимому, говорит здесь об авторе сонета «К развалинам Италики» севильском поэте Франсиско де Медрано, посетившем в конце XVI или в начале XVII столетия Италию и побывавшем в Риме.

Луга Маргариты. — Эта местность названа так в честь Маргариты Пармской (1522—1586), побочной дочери Карла V, наместницы Нидерландов 1558 по 1567 год; Маргарита Пармская была дважды замужем — сперва за Алессандро де Медичи, а потом за Оттавио Флрнезе и жила долгое время в Италии.

Торквато Тассо (1544—1595) — знаменитый итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим». *Саратс* — Франсиско Лопес Дуарте — посредственный испанский поэт и Драматург, умерший в 1638 году. Среди его произведений видное место занимает героическая поэма «Обретение Святого Креста», изданная в 1648 году посмертно, но законченная, как это показывает данная глава, еще в первых двух десятилетиях XVII века. Основным содержанием ее является борьба римского императора Константина Великого (царствовал с 306 по 337 год) с одним из его главных соперников, Максенцием. Легенда рассказывает, что перед решительной битвой Константин увидел в небе лучезарный крест с надписью «Сим победиши». Не лишенная некоторых достоинств, поэма Сарате не выдерживает сравнения с «Освобожденным Иерусалимом» Тассо.

Паррасий (около 400 года до н. э.), *Полигнот* (V век до н. э.), *Апеллес* (IV век до н. э.), *Зевксид* (V век до н. э.) и *Тимант* (IV век до н. э.) — знаменитые древнегреческие живописцы.

...все, что он слышал о садах Гесперид, о садах волшебницы Фалерины, о знаменитых висячих цветниках... — Геспериды (миф) — дочери Атланта. Геспериды обитали на «счастливых островах» и здесь в своем саду стерегли золотые яблоки, свадебный подарок богини земли Геи супруге Зевса Гере. Висячие цветники принадлежали легендарной основательнице Ниневии и строительнице Вавилона Семирамиде. Сады эти слыли одним из семи чудес древности.

...двое *папских гвардейцев*... — Папская власть имела до 1870 года постоянную армию, к которой принадлежал отряд личной охраны папы.

Буквально — чистая доска *(лат.)*

Тинакрия — правильно Тринакрия — одно из древних названий о. Сицилия. Партенопей — так в поэзии, особенно античной, нередко назывался Неаполь.

...остров тот... открыл в году тысяча триста восьмидесятом венецианец Никколо Темо...

— Сервантес имеет в виду описание путешествия в северных морях венецианцев братьев Никколо и Антонио Дзено, вышедшее в Венеции в 1558 году. Это фантастическое описание, широко использованное Сервантесом в романе, было довольно ловкой компиляцией, составленной на основании имевшихся сведений о северных странах. Автором его был член венецианского Совета десяти и потомок мореплавателей Никколо Дзено. Описание путешествия приписывало братьям Дзено открытие в 1380 году «островов Фрисландии, Эстландии, Энгроне-ландии, Эстотиландии и Икарии, расположенных у Северного полюса». К описанию были приложены карты полярных областей, которыми также широко пользовался Сервантес во время работы над двумя первыми книгами своей «Северной истории».